ИНОСТРАННАЯ *литература*

ИНОСТРАННАЯ литература

7 1961

7 1961

ИНОСТРАННАЯ литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Рисунок румынского художника Эуджена Михаэску

7

1961

ИЮЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ИЗВЕСТИЯ“
МОСКВА

Содержание

Мой народ отыскал золотое руно
(Стихи)

С. ДАШДЭНДЭВ — Хорошо! Ч. ЛХАМСУРЭН — Счастье. М. ШИРЧИНСУРЭН — Затянула дымка голубая... Л. ХУУШААН — Возвращение на родину 3

ЛУИСА КАРНЕС — Дома. Партия в домино (Рассказы) 5

БОГУСЛАВ БРЖЕЗОВСКИЙ — Железный потолок (Роман. Продолжение) 20

ФАН ЦЗИ — Чанцзян (Стихотворение) . . 99

ИЗ КИТАЙСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН: Трубы. Кто украсил землю. Нагружаю корзину . 99

ЮПП МЮЛЛЕР — Пой вместе с нами, ветер! (Стихотворение) 100

ГАБОР ГАРАИ — Крановщик (Стихотворение) 101

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ — Авария (Одна из еще возможных историй) 102

МУХАММЕД ДИБ — На холмах (Рассказ) . . 129

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ПЯТЬ ПОЭТОВ РИСОРДЖИМЕНТО (К столетию объединения Италии). ЛУИДЖИ МЕРКАНТИНИ — Гимн Гарибальди. АНТОНИО ГАЦЦОЛЕТТИ — В тюрьме. ДОМЕНИКО КАРБОНЕ — Новарский барабан. ФРАНЧЕСКО ДАЛЬ ОНГАРО — Кнут. ДЖУЗЕППЕ ГАРИБАЛЬДИ — Лодочник с острова Капрера 136

ЧАРЛЬЗ ЧАПЛИН-младший — Мой отец Чарли Чаплин (Окончание) 143

КРИТИКА

Н. КОЗЛОВА — Поставлен вопрос о счастье 164
В. НЕДЕЛИН — «Возлюбившие войну» и их жертвы 171
В. ДНЕПРОВ — О фрейдистской психологии и реалистическом романе 185

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 205

ДОКУМЕНТЫ

ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ — Они пали непобежденными 212
Письма испанских патриотов 212

ОЧЕРКИ

ГАРРИСОН СОЛСБЕРИ — Выбитые из седла (Главы из книги) 223

КНИГИ, ЗАМЫСЛЫ, ТЕМЫ

Творческие планы зарубежных писателей

ФРЭНК ХАРДИ, БЭЗИЛ ДЭВИДСОН, ДЖЕК ЛИНДСЕЙ, ПАМЕЛА ХЕНСФОРД ДЖОНСОН, ЛАЙОШ МЕШТЕРХАЗИ, АРНОЛЬД ЦВЕЙГ, МАКС ЦИММЕРИНГ, БХАБАНИ БХАТТАЧАРИЯ, ЛАО ШЭ, ЧЖАО ШУ-ЛИ, ХУАН МИГЕЛЬ ДЕ МОРА, АЛЬБЕРТ МАЛЬЦ, АЛЕКСАНДР СЭКСТОН, СУАД ДЕРВИШ, МОРИС ДРЮОН, АНДРЕ СТИЛЬ, ГЕНРИХ БЕЛЬ, КАРЛЛЮДВИГ ОПИЦ, УРСУЛА РЮТТ, ЯН МЮРДАЛЬ 236

НАШИ ГОСТИ

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ — Из окопов, где защищают культуру 251

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

О. Россиянов — Почти полвека. ◇ И. Марцина — История одной жизни. ◇ М. Ваксмахер — Радость открытия большого поэта. ◇ Г. Рабинович — Рассказы Станислава Лема. ◇ Библиография новых изданий 257

Издано за рубежом

С. Востокова — Наследие великого сатирика. ◇ Е. Гальперина — Дорогами Европы? ◇ Режи Бержерон — «Дневник» братьев Гонкур 263

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ . . . 267

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 269

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . . 288

МОЙ НАРОД ОТЫСКАЛ ЗОЛОТОЕ РУНО

С. Дашдэндэв

ХОРОШО!

Мой народ отыскал золотое руно.
Где пустыня была, ныне — чудо: вода!
И течет в закрома налитое зерно,
И тучнеют на пастбищах наши стада.
Хорошо! Дело спорится в смелых руках,
Руки холят заботливо крепких телят —
Хорошо!— это значит разлив молока!..
Богатеет народ, и все краше земля...
Хорошо! Изобилие в каждой семье,
Труд в почете — работа кипит!
Вижу, счастливы люди, и нравится мне
Город новый, построенный ими в степи.
Хорошо! Это школа и крупный завод.
У народа забот через край!
Непочатость великих и малых работ
Для резца, для косы, топора.
Хорошо! Все кругом расцветает, трудись!
Радость — песней в груди, люди счастье творят.
Вот малыш, у него... у него впереди
Тайны мудрых страниц букваря.
Хорошо!.. Как весомостью мыслей и чувств
Передать эту всю красоту?!
Мой народ, покровитель наук и искусств,
Непременно догонит мечту.
Хорошо!.. Над отчизной родной в небесах —
Облаков озорных хоровод.
Хорошо! Вдохновенно творит чудеса
На земле обновленной народ.

Ч. Лхамсурэн

СЧАСТЬЕ

Счастье родины моей — свобода,
Старцев счастье — прожитые годы,
Счастье юных — книги и дерзанье.
В жизни счастье—труд и созиданье.
Счастье малышей — игрушек груда,
Живописцев — краски и этюды,
Новобрачных счастье — новоселье,
Свадьба, пляски, музыка, веселье.
Счастье — солнце над родимым краем.
Счастье — журавлей прилетных стаи.
Счастье — материнство, наши дети.
Счастье — это мир на всей планете.

Перевод с монгольского Г. Юнакова

М. Ширчинсурэн

ЗАТЯНУЛА ДЫМКА ГОЛУБАЯ...

Затянула дымка голубая
Горизонт — стык неба и земли.
Облака, над степью проплывая,
Медленно скрываются вдали.

Родина! Я повторю стократно —
Ты до удивленья хороша.
Как бы ни была ты необъятна —
Всю тебя вместит моя душа!

Весь простор, где мчатся в клубах пыли
Табуны коней под гром копыт,
Где орел, расправив гордо крылья,
Величаво в воздухе парит,
Где пасутся на лугах отары...
Я не знаю, что такое рай,
Но коль есть он, по преданьям старым,—
Это мой степной свободный край.

Перевод с монгольского А. Кафанова

Л. Хуушаан

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Букетом полевых ромашек
Вдали белеет стайка юрт,
И травы в бусинках-росинках,
То здесь, то там овечий гурт.
Стада, стада — богатство наше!
Их тьма, как звезд на небесах...
Я повидал иные страны,
Я побывал в чужих краях.

И только к дому подъезжая,
Я понял, как я молод был,
Когда отсюда уходил;
И только здесь я ощущаю,
Как крепко связан я с тобой,
Моя Монголия родная,
Край бесконечно дорогой!

Перевод с монгольского Г. Ярославцева

Луиса Карнес

ДВА РАССКАЗА

Перевод с испанского Р. Сашиной

Дома

После девяти лет тюрьмы я очутилась на улице. В левой руке у меня узелок с бельем, в правой — платок и в нем шесть песет.

И еще кое-что есть у меня: справка о том, что я находилась в заключении. Она закроет передо мной все двери, заставит отшатнуться всех, кто дорожит своей свободой. Но еще сильнее, чем эта бумажка, напоминают о прошлом следы пыток электрическим током на моей спине — свидетельство о пребывании в полицейском комиссариате Мадрида.

Сколько раз я думала об этой минуте! Представляла себе, как передо мной отворяются двери тюрьмы — и нет никого, кто ждал бы меня. Я мечтала о весеннем ветре, который пахнёт мне в лицо ароматом деревьев в цвету, о детских голосах, не искаженных эхом тюремных сводов.

Многое ожидала я увидеть на воле. Но все оказалось совсем иным.

Когда я вышла из тюрьмы, я не вздохнула полной грудью, не стала любоваться зеленеющими деревьями, не восклицала: «Теперь я свободна!»

Мною владела только одна мысль, которая преследовала меня все последние недели заключения и о которой я тщетно пыталась забыть: «Куда деваться?»

Братья погибли на Теруэльском фронте. Мать убита бомбой в начале войны. У меня не было ни сведений о ком-либо из знакомых, не было никакого имущества, если не считать узелка с бельем, полученного от Комитета общественного призрения, не было и документов, кроме справки, которая не открывает, а, наоборот, закрывает все двери. Удивительный этот документ вручают всем политическим, выходящим из тюрьмы, он обрекает мужчин на голод и преступления, а женщин — на проституцию и смерть.

Справка лежала в узелке вместе с остальным имуществом. Она ничего не принесет мне ни в настоящем, ни в будущем, кроме отчаяния; но избавиться от нее я не могу.

Когда-то на улице Моратин стоял дом неподалеку от Пасео дель Прадо, я выросла в нем. Ничем не примечательный дом, где жили небогатые люди; на крутой лестнице всегда пахло вареными овощами. Каждый вечер слышалась печальная мелодия — соседка играла на рояле.

Помню нашу крохотную квартирку на четвертом этаже, под самой крышей, низкий потолок в кухне и в каморке, где я обычно спала; ма-

ленькую столовую, всю залитую солнцем, и на окне горшки с мятой и сандалом. Помню, как тяжело дышала мать, взбираясь по лестнице с мешком грязного белья. Хорошо помню шелковистую травку и мелкие цветочки, пробивавшиеся между черепицами кровли, пушистый снег, лежавший на крыше зимой. Как сейчас вижу разостланное матерью для сушки белье, и кажется, до сих пор ощущаю его свежий запах.

К нам наверх доходили лишь слабые отголоски уличного шума; в этих смутных звуках таилось особое очарование, словно в музыке, доносящейся издалека: крики торговцев, смех детей, звон колоколов из ближней церкви.

Я любила оставаться дома, когда вечерело и на небе — так близко — одна за другой загорались звезды. Я не зажигала огня. Сидя у окна, я следила за тем, как постепенно темнели стебельки травы, росшей на черепичной крыше, как последний луч солнца падал на комод и дрожал на стеклянном колпаке, под которым стояла фигура святой девы в потускневшем коричневом плаще. Так я и проводила вечерние часы одна, глядя на крышу, на клочок неба и все чего-то ожидая. Мне нравилось слушать игру на рояле; здесь, у окна, музыка звучала почему-то нежнее, чем на лестнице; меня охватывала сладкая грусть, хотелось плакать. Звуки рояля непонятным образом сближали меня с матерью, я еще сильнее проникалась сочувствием к ее горькой доле, доле вдовы с тремя детьми, которая была вынуждена брать в стирку чужое белье. Я постоянно видела ее склоненной над деревянным корытом в том углу кухни, где скошенный потолок опускался совсем низко. Я не понимала тогда, как печальна моя юность, не замечала, какими старческими мыслями полна моя голова. Не представляла я себе и другой жизни: чего-либо кроме корыта с чужим бельем, клочка неба, черепичной крыши, поросшей травой и блеклыми цветами, прибитыми летним дождем.

Этот с детства привычный пейзаж казался вечным, и мне трудно было понять перемены, принесенные однажды на рассвете грохотом взрывов. Бомбы падали на Куартель де ла Монтанья, вдали от нашего дома, но стекла у нас дрожали.

Ранним июльским утром, когда цветы источали особенно густой аромат, мы с матерью, прильнув к окну, слушали, как гремели орудия. Соседи, очевидно, еще спали, а может быть, выбежали на улицу, у распахнутых окон никого не было.

Небо, всегда такое близкое и знакомое, теперь казалось каким-то иным. Его черная глубина с бесчисленными звездами выглядела необычно.

Держась за руки, мы не отрывали глаз от этого странного неба и никак не могли понять, откуда идут глухие удары, но после каждого взрыва сердце больно сжималось. Мы смотрели в темноту, плотным покровом легшую на крышу и придавившую дома к земле; слышались далекие выстрелы, и нам казалось, что во всем городе остались живыми только мы — две женщины, крепко держащиеся за руки, две черные фигуры в черном проеме открытого окна.

Потом я поняла, что означают эти глухие удары: во время одной из бомбежек погибла моя мать. Братья ушли добровольцами на фронт и не вернулись.

Я не могла оставаться одна в пустой квартире. Я бежала от клочка неба, который прежде так любила и на котором теперь по ночам скрещивались, как клинки, лучи прожекторов, разыскивая самолеты противника.

Многое из того, к чему я раньше была равнодушна, теперь целиком поглотило мое внимание. Мне стали близки и понятны муки раненых,

которых везли на грузовиках в госпитали, и страдания матерей, чьи сыновья пали в бою.

Солдаты уходили на фронт, женщины с рассвета стояли в очередях, доноры отдавали раненым свою кровь, в старинных дворцах, где раньше кутила золотая молодежь, швеи шили одежду для бойцов. Отныне все эти люди стали мне родными.

Я чувствовала, насколько мне близки все те, кто служит народу в час его героического пробуждения.

Впервые я ощутила родину как нечто близкое и прекрасное — она стала для меня матерью, родной матерью, которую мы, ее верные сыновья и дочери, обязаны защитить. Я радовалась, видя, что детей отправляют на юг, туда, где наступление ночи не предвещало смерть. Вместе со многими другими женщинами я проводила ночи у изголовья раненых. Но скоро дошла очередь и до меня: я была ранена на прифронтовом медицинском пункте и с тех пор слегка прихрамываю на правую ногу. Я гордилась своей хромотой так же, как сейчас горжусь рубцами, оставшимися от пыток, которыми фаланга наградила меня за верность родному народу.

Я была сиделкой и донором — и за это фалангисты приговорили меня к девяти годам заключения. Я побывала во многих тюрьмах на Майорке и в Мадриде. И вот, наконец, я снова на улице, в руке у меня узелок с поношенной одеждой — христианский дар Комитета общественного призрения — и справка о том, что я вышла из тюрьмы.

Я вдруг заметила, что вспоминаю подробности далекого прошлого; а ведь раньше мне казалось, что я не имею права думать о прошлом, чтобы оно не мешало моей борьбе за будущее.

В тюрьме я была как бы вне страшного мира, рожденного предательством. За ее стенами текла совершенно чуждая мне жизнь, и я еще в камере заранее боялась столкновения с этой жизнью. Там, в тюрьме, нас было много — женщин, скорбевших одной скорбью, закаленных в борьбе и не сдававшихся. Время шло, оставляя следы на наших лицах, но сердца, по-прежнему молодые и сильные, бились все так же дружно. Крепла вера в будущее, нас не могли сломить ни угрозы, ни посулы. И когда я прощалась с подругами, в их взгляде по-прежнему были вера и мужество.

Тюрьма осталась позади; за ее стенами по-прежнему томились мои подруги; горячая любовь к Испании, сплотившая их в одну семью, никогда не погаснет. Я же, расставшись с этой семьей, внезапно почувствовала себя словно ребенок, в толпе потерявший мать.

Я была на свободе. Надвигались сумерки. Мимо текла чужая жизнь. По сверкающим рельсам катились трамваи, раздавались резкие свистки паровозов.

Несколько минут я стояла, прислонившись к стене вокзала. Внизу, на путях, суетились железнодорожники, они были такие же, как до войны,— сновали взад и вперед по платформе, выгружали тюки, смазчики, с черными от масла и копоти руками, возились у колес.

Шли пассажиры с багажом, носильщики, согнувшись, тащили огромные чемоданы.

Ясный весенний день сиял над улицей Пасифико. Каштаны, стоявшие вдоль тротуара, купались в солнечном свете. А мне казалось, что я окружена враждебным мраком.

Я направилась к Пуэрта де Аточа; у входа в таверны больше не торговали фритангой*, и кончившие смену рабочие больше не толпились

---

* Кушанье из пережаренных помидоров, перца и тыквы *(Прим. перев.)*

у палаток, чтобы выпить стакан пенистого вина, в котором плавают дольки лимона.

От площади Антонио Мартина спускались трамваи. Их скрежет тоже казался мне незнакомым. Мимо проносились машины, люди шли, не обращая на меня никакого внимания, и от всего этого я чувствовала себя еще более одинокой, брошенной на произвол судьбы.

Полицейский регулировал редкое движение на улицах, впадающих в Пуэрта де Аточа.

Запах цветов, доносившийся из ботанического сада, навевал грусть. У ограды букинисты разложили свой товар, и любители по-прежнему жадно рылись в старых книгах. Этих чудаков совсем не коснулся бег времени. Они ничуть не изменились и не замечали ничего вокруг. Им не было дела и до смотревшей на них женщины с узелком; что им до моей хромоты, до моего пребывания в тюрьме, до шрамов от пыток у меня на спине!

Я направилась вверх по Пасео дель Прадо; с той минуты, как я оказалась на свободе, тоска все сильней сжимала сердце, я была совсем одна в этом враждебном мире, он не принимал, он отталкивал меня.

Повинуясь какой-то внутренней силе, против своей воли я пришла к моему старому дому. На первый взгляд, он не изменился. Внизу все та же мастерская жестянщика, на узком прилавке — все те же бидоны и пустые ведра. Стоял теплый весенний день, но я начала дрожать. На лестнице было по-прежнему темно, только больше не пахло вареными овощами. Звуков рояля тоже не было слышно. Двери смотрели своими окованными медью глазками, и я вздрогнула — показалось, что кто-то, притаившись, смотрит, как я, крадучись, поднимаюсь по ветхим ступеням.

Кто-то наблюдал за мной; на каждой площадке, за каждым глазком, в глубине длинных коридоров кто-то прятался и выслеживал меня. Старые ступеньки, по которым я столько раз бегала в детстве, скрипели под ногами. Этот скрип внушал ужас. Но отступать было поздно, да я и не могла побороть ту силу, которая с первой же минуты выхода из тюрьмы упорно влекла меня сюда.

Я подняла руку, она была как деревянная; прикосновение к дверной ручке словно обожгло ее. Дверь была перекрашена, все изменилось. Не знаю, что подумала женщина, открывшая мне. Бросились в глаза вешалка с тусклым зеркалом и литографии на стенах передней. Женщина смотрела сначала с удивлением, потом с состраданием; наконец, она, видимо, прониклась ко мне доверием и впустила в квартиру. Медленно, согнувшись, как под непосильной ношей, прошла я через переднюю. В кухне с низким потолком я стала искать глазами корыто, в котором мать стирала белье. На подоконнике не было горшков с сандалом, но сквозь оконное стекло по-прежнему виднелся клочок синего неба. Минуты тянулись бесконечно.

Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы в окне второго этажа я не увидела вдруг морщинистое лицо соседки, той, что когда-то играла на рояле. Это лицо принадлежало к дорогому мне миру воспоминаний. Но глаза соседки смотрели с недоумением и злобой — нет, они были из другого мира, чужого и враждебного, окружавшего меня со всех сторон.

Она резко захлопнула окно, и я в страхе отшатнулась. Я с трудом вырвалась из этих столь памятных мне стен и стала быстро спускаться по лестнице, беззвучно шевеля губами.

Старая торговка, чьи монотонные крики так часто убаюкивали меня в детстве, переходила улицу Уэртас; она словно вышла из прошлого, как если бы вовсе не было этих девяти лет; все тем же голосом, который

теперь показался мне таким родным, она кричала: «А вот кому нитки, гребенки, иголки, шпильки!..»

Сердце у меня готово было разорваться. Вытирая ладонями слезы, я быстро шла по улице, и горячее солнце жгло мне затылок.

Вот тогда-то я впервые и услыхала шаги... Все, что недавно так волновало меня, исчезло: старая квартира, где жили теперь чужие люди; знакомое окно, зеленые желоба на крыше и золотистый солнечный свет, заливающий все вокруг, как в прежние годы.

Узкая длинная улица Моратин уходила вдаль, она была пустынна. Стало страшно. Обычный уличный шум как бы утих, и только шаги за спиной гулко раздавались по каменным плитам. Они застали меня врасплох. Шпик?.. Это было столкновение с давно забытым прошлым. Шаги втягивали, вовлекали в жизнь, о которой я хотела забыть. Теперь все мысли сосредоточились на этих шагах. Они отличались от шагов других людей. Другие шагали мягче и легче; или это только так кажется? Почему же из всех шагов на улице я слышу только эти, твердые и уверенные?

Я не ожидала, что за мной будут следить. Какую опасность могу я представлять для моих преследователей? Что может сделать женщина, в течение стольких лет лишенная свободы, в мире, где все ей чуждо? И все же я слышу за собой эти твердые, уверенные шаги человека, который знает, куда идет. Силясь побороть страх, я глубоко вздохнула и остановилась на тротуаре возле маленького мальчика, очищавшего апельсин. Малыш крепко держал оранжевый плод, его маленькие пальчики словно впивались в его упругую округлость. Когда я подошла, ребенок поднял глаза; он крепко сжимал апельсин и недоверчиво смотрел на меня. Но я не замечала его взгляда, все время прислушиваясь к шагам за спиной,— преследователь тоже остановился.

А может быть, вовсе никто меня и не преследует? Конечно, это только мучительная галлюцинация... теперь все прошло. Но что-то все же мешало оглянуться. Ребенок по-прежнему пристально смотрел, спрятав апельсин за спину. Вдруг он бросился бежать и скрылся в ближайшем подъезде.

Тогда и я побежала.

Снова за спиной раздавались шаги. Теперь не было никаких сомнений — за мной следили. Но зачем им действовать тайком, чего они хотят? Я снова и снова задавала себе этот вопрос. Неужели недостаточно справки, которую я ношу с собой? Ведь эта бумажка говорит, что я все еще в их власти, они могут быть вполне спокойны.

Я решила, что они хотят установить, где я поселюсь, и сыщик — теперь я не сомневалась, что мой преследователь полицейский шпик — хочет взять на заметку мой дом. Но если так, почему же он ждал меня на улице? Разве недостаточно запомнить номер дома, в который я вошла? Откуда ему было известно, что я не останусь там навсегда? А может быть, все выпущенные на свободу, так же как и я, бегут, обезумев, к родному дому? Может быть, их тоже притягивает прошлое, волнуют места, над которыми еще витают тени былого счастья? Конечно, так оно и есть. Он знает: каждый из нас проходит этот путь — путь в прошлое, и каждый неизбежно возвращается к действительности, как возвратилась и я. Он не сомневался, что, лишь совладав со своими воспоминаниями, я отправлюсь искать постоянное пристанище.

Но я не знала, куда идти. Я понимала, что надо принять какое-то решение, найти место, где можно будет кончить этот длинный день, и тогда, быть может, исчезнет невыносимая усталость, сковавшая все тело.

Я вспомнила, что неподалеку отсюда, на улице Леон — швейная мастерская, где я раньше работала; маленькая мастерская, переходившая от поколения к поколению. Наша хозяйка была красивая энергичная женщина. Может быть, она и не знает, где я провела все эти годы, не знает, что я участвовала в войне, и в то же время, как большинство испанцев, по-прежнему сочувствует делу Республики? В тридцать шестом, когда начался мятеж, я ушла от нее и поступила в мастерскую, где по заданию профсоюза шила форму для бойцов народной милиции; но так поступили тогда многие швеи Мадрида. Их охватил настоящий патриотический порыв, и только негодяи могут считать это преступлением. Вспомнила я еще, что, когда шла война, я один раз встретила хозяйку в метро, во время бомбежки. Мы обнялись и плакали, у нас было тогда общее горе — мятежники терзали Мадрид. Тогда из уст ее вырывались слова проклятия; она проклинала людей, разрывающих на части родную страну. Может быть, она сейчас в глубине души со мной заодно проклинает их и ждет, когда, наконец, кончатся наши мучения.

Эта мысль вдохнула в меня новые силы. Нечего сомневаться! Я иду. Да, так лучше! Ни слова не скажу ей о моей справке, а то можно все испортить. Скажу, что жила в другом городе, была замужем, овдовела и теперь ищу работу. Ее зовут Роса, помню, мы звали ее Росита.

Улица Лопе де Вега тоже мало изменилась. Она всегда была тихой, особенно там, где выходит на Прадо. Дома небогатых людей, решетка монастырского сада с круглым металлическим глазком на воротах, начищенным и сияющим, как маленькое солнце. Два-три дома богачей и в конце — монастырь тринитариев, окруженный бедными домишками. А еще дальше — дома, которые меня с детства учили обходить. В дверях стояли изможденные женщины — мне даже не разрешали на них смотреть; казалось, они постоянно ждут кого-то, равнодушно, безнадежно, и в их позах была бесконечная усталость.

И сейчас они остались такими же, для них ничего не изменилось. Они курили, и на их лицах по-прежнему было написано безразличие.

Мне показалось, что, когда я подошла к этим домам, шаги за спиной участились. Теперь преследователь буквально шел за мной по пятам, и я едва не кинулась бежать, но удержалась. Пришло в голову, что он — торговец «живым товаром», из тех, что вьются вокруг безработных женщин, как вьется над своею жертвой коршун, готовясь вонзить в нее свои острые когти.

Я подумала об этом, и со мной произошло нечто странное. Я начала смеяться, смеяться безудержно. Я представила себе свое лицо — худое, усталое лицо тридцатитрехлетней женщины, с морщинами на лбу, с растрепанными седеющими волосами, да еще хромота, ведь я припадала на одну ногу. Неужели мой преследователь, видевший все это, все-таки надеется использовать меня для чьих-то любовных утех? Это было действительно смешно. Но я не могла больше смеяться. Я замедлила шаги, чтобы он поравнялся со мной на узком тротуаре. Что я ему скажу? Наверное, не удержусь и рассмеюсь ему прямо в лицо.

Но вот я уже иду по улице Леон, а он все не приближается. Я направляюсь к мастерской Роситы.

В нижнем этаже дома находилась лавка, где торговали обувью и циновками. От резкого запаха пеньки, как и прежде, защипало в носу.

Мастерская — на втором этаже. На двери все так же крупными буквами выведено: «Росита. Моды».

В прежние годы дверь всегда бывала открыта настежь. Сейчас же она оказалась запертой, и пришлось довольно долго дергать за ржавую

проволочную петлю, прислушиваясь, не звенит ли внутри разбитый колокольчик.

Мне повезло: дверь открыла сама Росита. Глаза ее запали и потеряли свой блеск, нежная округлость щек исчезла, лицо постарело. Но все же это была она.

Я почему-то сразу обратила внимание на ее платье — черное в белый горошек. Она носит траур, наверное по мужу. Его расстреляли, вот почему она так постарела. Все эти мысли пронеслись у меня в голове, прежде чем я заговорила: «Вы узнаете меня?» В ее угасших глазах я почувствовала враждебность и недоверие. Да, да, не увидела, а именно почувствовала. И моя решимость сразу исчезла; вся я как-то ослабела, губы дрожали. Росита узнала меня. В первую минуту она растерялась, потом вся напряглась и бессознательно вытянула вперед руку, как бы защищаясь. Почему Росита молчит? Я видела, что она пытается победить неприязнь, неприязнь, под которой тлеет искорка сочувствия.

Не знаю, сколько времени длилась эта мучительная немая сцена.

В переднюю вбежала маленькая девочка с черным бантом в светлых волосах и вцепилась в юбку Роситы. Та схватила ребенка, прижала к груди, закрыла руками, будто защищая от невидимой опасности. Наконец она заговорила, ее слегка подкрашенные губы шептали: «Не могу. Теперь не могу... Ты должна понять. Все теперь иначе. Ты ведь это знаешь лучше меня... Нет, не лучше, нет (она указала на черный бант на головке девочки). Ведь ты понимаешь, правда? Мне больно, что все так получается. Лучше бы умереть, чем так говорить с тобой. Но ты ведь должна понять. У нее теперь нет никого, кроме меня... Это может нам дорого стоить... Уверяю тебя, лучше бы мне умереть...»

Ее глаза больше не казались безжизненными. В них ясно был виден страх. Голос прерывался, и я не совсем разобрала последние слова. Но это уже не имело значения. Я молчала. Странная слабость овладела мной, и вместе с тем я ощутила что-то вроде смущения. Я чувствовала себя виновной в проступке, которого не совершала, и неподвижно смотрела на мать, прижимавшую ребенка к своему черному платью, на блестящие бессмысленные глазки девочки...

Больше не надо оглядываться в прошлое, от него не осталось ничего. Чужая всем, я обречена без конца бродить по чужому городу. Будто меня выслали, а место ссылки — родной город, ставший чужим.

Я вышла из мастерской Роситы, и дверь скрипнула за моей спиной.

Во рту пересохло, веки горели. Но слез больше не было, в душе — пусто. Я не замечала ничего вокруг, даже перестала слышать шаги.

Цели передо мной теперь не было, и я просто шла вперед, сама не зная куда. Мысли мешались. Снова чувство бесконечного одиночества, как у ребенка на темной улице. Больше чем когда бы то ни было захотелось услышать голоса друзей, оставшихся в тюрьме, ощутить их поддержку, ту веру, которая объединяла нас среди насилия и мук.

Я была совершенно одинока среди людей, далеких, как жители другой планеты, и я тоже была для них чужой. Одно мое присутствие приводило их в ужас, словно я прокаженная.

Не помню, как я оказалась в духоте подземки, в толпе людей, ожидавших поезда. Из жерла туннеля с влажным горячим фырканьем вырвался поезд. Свет огней ослеплял, порыв ветра чуть не сбил меня с ног. Толпа беспорядочно ринулась к поезду.

Но я не могла двинуться с места. Чья-то рука крепко сжала мою руку. Я не сомневалась: это мой преследователь. Конечно он. Даже на

время забыв о нем, я ни на минуту не ощущала себя свободной, все чувствовала, что за мной кто-то следит.

Встреча с Роситой так меня потрясла, я была так растерянна и погружена в свои переживания, что оказалась застигнутой врасплох. А ведь уже раньше мне стало понятно, что я в западне, из которой не вырваться. Да я и не сопротивлялась. Сырой воздух подземки липнул к телу, узелок с бельем все сильнее оттягивал руку. Не хватало сил, и я даже обрадовалась, что преследователь настиг меня и положил всему этому конец. Будь что будет, лишь бы не шагать больше по улицам в бессильном отчаянии!

И я отдалась во власть этой крепкой мягкой руки. Незнакомец подвел меня к одной из скамеек, стоящих вдоль стены. Наконец-то можно отдохнуть от этой погони. Теперь меня опять посадят в тюрьму, и я увижу своих любимых подруг. Эта мысль радовала меня, как, наверное, мысль о близкой смерти радует неизлечимо больного, терпящего страшные мучения.

Но мой спутник никуда не отвел меня. Мы сидели так близко друг к другу, как обычно на этих скамьях сидят влюбленные.

Наконец я осмелилась взглянуть на него. Человек среднего возраста, хорошо одетый, ничем не отличающийся от любого прохожего. Сколько таких людей встретила я за эти страшные часы! Но он, несомненно, знал обо мне, я не была для него, как для всех этих прохожих, просто женщиной, бредущей по улице с узелком в руке. Я прижалась к его плечу, и мне был виден только его энергичный профиль. Он чувствовал, конечно, на себе мой недоуменный взгляд, но не спешил с объяснениями. Вынув из кармана какую-то бумагу, он спокойно развернул ее и показал мне. Справка об освобождении из тюрьмы, такая же как и у меня, только сильно измятая. Конечно, мне следовало бы выразить удивление; больше того, сказать, как сильно я поражена, но я молчала. Я только все смотрела на него, но он, казалось, не замечал этого.

Он спрятал справку и снова, как влюбленный, наклонился ко мне и, не выпуская моей руки, тихо заговорил:

— Я боялся, что вы попытаетесь покончить с собой. И если бы вас даже удалось спасти, мы все равно потеряли бы ваш след в какой-нибудь больнице для бедных. Боялся я и того, что вы займетесь проституцией, на первый взгляд это обычно кажется самым легким выходом. Немало женщин погибло так. Не знаю, что вас спасло — сила или слабость.

Я молчала. Понемногу я начала приходить в себя, но все еще не понимала, что нужно этому человеку, который так необычно мне представился. Но я почему-то верила ему.

Кто он такой и чего хочет? А справка? Может быть, это всего лишь полицейская уловка, и документ, который я видела мельком, вовсе не на его имя?

Все эти мысли вихрем пронеслись в моей голове. И все же, не знаю почему, мне хотелось верить незнакомцу. Я словно лишилась воли и даже уже не пыталась понять, что происходит. Закрыв глаза, я готова была покорно идти за ним куда угодно. Только бы отдохнуть! Я заранее подчинялась любому его решению. Несколько минут мы молчали. Снова послышался грохот поезда, и платформа наполнилась его горячим дыханием. Незнакомец сказал:

— Идемте. Вы, наверно, хотите есть.

В поезде мы почти не разговаривали. Он достал газету и погрузился в чтение. Нас можно было принять за пожилых супругов, которые уже давным-давно обо всем переговорили.

А вот и Гран Виа. Темнело, на улицах зажглись фонари. Казалось. я впервые слышу шум города. Мы пересекли широкую улицу и вошли в недорогой ресторан. За столиками сидело всего несколько человек.

Он заказал горячий суп и маленькие кусочки мяса, смоченного в вине. Нам принесли хлеб, он был серый и мокрый. И все же не хуже того, что нам давали в тюрьме.

Поев, я почувствовала себя бодрее. Я посмотрела моему спутнику прямо в лицо и подумала: странное сочетание доброты и силы!

Он сжал мою руку и проговорил вполголоса:

— В глубине зала есть лестница. Когда я выйду, поднимитесь по ней.

Он расплатился и ушел, ласково потрепав меня по щеке. Я поднималась по ступенькам, полная радостных предчувствий. Ни суровое лицо кассирши, равнодушно глядевшей на меня, когда я проходила мимо, ни темная лестница не пугали меня. Все происходящее было необыкновенно, и в то же время казалось мне совсем обычным.

Наверху, за полуоткрытой дверью, знакомая рука вновь сжала мою.

С незнакомцем были еще двое. Открытые лица, внимательные, теплые глаза; все так просто, как если бы моего прихода ждали давно.

— На этот раз маршрут был длинным,— сказал тот, что привел меня,— но все сошло хорошо.— И, обернувшись ко мне, прибавил:— Положите узел. Вы дома.

Он огляделся и неторопливо произнес:

— Теперь вы будете жить здесь. Сначала вам, наверное, будет докучать шум типографских станков, но вы скоро привыкнете.

Я ловила каждое его слово. Казалось, в них заключены мое настоящее и мое будущее.

Я в первый раз оглядела комнату. Всюду лежали бумага и куски картона. Стояли витрины с извещениями о свадьбах и похоронах, валялись открытки с ангелочками, их обычно посылают, поздравляя с первым причастием. На стенах — календари, большие и маленькие. Потом я увидала два небольших станка и поняла, что нахожусь в типографии.

— Эти товарищи расскажут вам, что надо делать. Работа несложная, разберетесь... А сейчас отдохните немного, вам это необходимо.

По темному коридору он провел меня в маленькую комнатку под самой крышей. Там стояла кровать, очевидно приготовленная заранее.

В головах висела гравюра — добрый пастырь, несущий на плечах агнца. Мой спутник снял со стены гравюру, под ней я увидела портрет женщины с нежными и энергичными чертами лица. Человек внимательно смотрел на меня, и я смутилась. Он улыбнулся и указал на портрет.

— Ты ведь узнала ее, правда?— спросил он.— Да, это она. Во время войны ее лицо и ее голос знал каждый. Помнишь? Долорес!

— Да...

Он смотрел на портрет с любовью, как на лицо старшей сестры.

— Помнишь ее обращение к матерям по радио?

— В то время еще была жива моя мать. Мы с ней впервые слушали Долорес, но ее голос казался нам давно знакомым; она говорила то, что мы жаждали услышать, именно то, что мы чувствовали, но чего не умели выразить...

Тут только я заметила, что он говорит мне «ты», но и это показалось мне естественным, будто продолжается давно начатый разговор.

— Да,— снова сказал он,— она умела выразить наши чувства. Она вела нас тогда и ведет сейчас... Теперь тебе понятно, где ты?

Тепло разлилось по всему моему телу. Сжимая руку друга, я силилась подавить рыдания, подступавшие к горлу. Мы сидели рядом.

— Здесь начало твоего нового пути. Не всегда он будет легким. И не надо очень привязываться к месту, где приходится жить. Теперь куда бы тебя ни послали, ты повсюду дома. Может быть, тебе вскоре придется уступить эту кровать другой женщине, выпущенной из другой тюрьмы. Это тоже одна из наших задач. Сначала многие погибали, теперь же они выходят из тюрьмы — и мы сразу встречаем их, они больше не попадают в чужой мир, а возвращаются к тому делу, от которого их когда-то оторвали,— к борьбе за Республику. Борьба же эта в различной форме идет по всей Испании... А теперь отдыхай, девушка,— закончил он, помолчав.

Он встал, взглянул на меня и улыбнулся. Его красивое лицо было спокойно.

Он снова повесил на место гравюру, изображавшую доброго пастыря.

— Отдыхай. Теперь ты дома. Здесь или в другом месте, отныне ты всегда будешь среди настоящих испанцев — и значит, всегда дома.

Я поняла, что он сейчас уйдет. Тогда я вскочила, бросилась ему на шею, покрывая его доброе лицо поцелуями и слезами.

— Да, теперь я вернулась в мою Испанию... В мой прежний Мадрид, такой же, как девять лет назад. Не все еще пропало, ведь правда?

— Все еще впереди,— сказал он.— Не зря пролито столько крови. Мы победим, ты увидишь. Мы и сейчас побеждаем во всех концах земли... Верь.

Он провел рукой по моему лбу. Я видела, как он уходил. Через минуту в другом конце коридора послышались голоса, голоса трех братьев, они доносились ко мне издалека, но казались совсем близкими, родными...

Сладкая усталость овладела мною. Вокруг царила атмосфера доверия и надежды, и я с радостью в нее погрузилась. Все страхи исчезли, я уснула так крепко, как спала когда-то на руках матери. Ничто меня больше не испугает. Теперь я — дома!

Партия в домино

Две пары мужских рук лежали на круглом столе. Рядом — четыре неполных стакана с красным вином. Стол исписан цифрами и, как любой стол в мадридской таверне, покрыт кругами от мокрых стаканов. Вдоль этих пятен, словно диковинный двухвостый ящер, вытянулись костяшки домино.

Руки одного из мужчин — жесткие, грубые, такие руки не боятся холода и привыкли копаться в земле; руки другого — с набухшими венами, потрескавшиеся, в них въелось темное вино.

И эти две пары рук, такие разные с виду, совершенно одинаковыми беспокойными движениями сжимали и разжимали кулаки, брали и бросали костяшки домино, сминали окурки, горкой лежавшие на тарелке посреди стола.

Два человека сидели у стола; они сгорбились, втянули головы в плечи, плотно сжали губы. Каждый из них мог бы сосчитать удары сердца другого, если бы они вообще были в состоянии сейчас об этом думать.

Обоих угнетало одно и то же; оба время от времени тяжело переводили дыхание и жадно прикладывались к уже наполовину пустым стаканам.

С однообразным сухим треском ложились на стол костяшки, будто кто-то стучал по крышке пустого гроба, ждущего мертвеца.

Тусклая лампочка свисала с потолка и освещала две головы с одинаково жесткими линиями шеи и подбородка и одинаково неподвижные плечи. Это сходство, быть может, поразило бы их самих, если бы они могли вглядеться друг в друга, хоть на несколько мгновений прервать бесконечную партию в домино; казалось, прошли века с тех пор, как она началась, и ни один из них не мог решиться кончить ее. У обоих мускулы напряжены, оба тяжело дышат, горькая слюна наполняет рот, слабеют ноги... И оба пристально смотрят друг на друга; лица их бледны, на них живы одни глаза; острые как ножи взгляды то и дело обращаются к двери. А игра, нескончаемая и бессмысленная, все продолжается.

Лампочка над их головами освещает кровать с большими позолоченными шарами; в эту долгую ночь никто не раскрывал постели. На стене белокурый младенец несет на слабых плечах белоснежного агнца; в тусклом свете нежные краски олеографии поблекли. Комод, заваленный старым хламом, покрыт слоем пыли, а над ним, как бы вырвавшись из темноты, пламенеет букет роз из алого бархата.

Из черной ямы погреба с виднеющимися двумя ступеньками лестницы поднимается клейкая сырость, собравшаяся за сорок лет в кувшинах и бурдюках. На эту лестницу выходит раскрытая дверь из задней комнаты таверны, где два человека передвигают черно-белые костяшки.

Прошло всего пятнадцать минут, с тех пор как в погребе скрылись двое из четырех игроков, начавших эту партию час назад. Но тем, кто остался у стола, казалось, что прошли часы, нет — годы тревоги и мучительной неизвестности. Малейший шум приводил в смятение, время остановилось в тот момент, когда в яме погреба умолкли последние звуки шагов. Тяжелое молчание повисло в воздухе, и только два сердца стучали, как бы лишь для того, чтобы нескончаемо длилась и длилась эта необыкновенная игра.

Все шло так, как они рассчитывали, и тем не менее не они направляли ход событий, а сами события подчиняли их себе.

Легкое шуршание мыши, грызущей бумагу, усиливалось до страшного грохота. Они упорно избегали слов, обычно сопровождающих игру в домино. С момента ухода двух других игроков все шло в точности так, как было предусмотрено; но тем, кто остался наверху, казалось, что они уже очень давно это видели — двое исчезают в черной яме погреба. С той минуты все пошло по-иному: резкими толчками бьется пульс, тело приобрело неправдоподобную легкость, скрип стула подобен скрежету, а главное — эта ни на что не похожая, плотная, холодная тишина, которую так хочется расколоть будничными звуками живой жизни.

Много месяцев подряд их преследовала одна и та же мысль — и вот они сидят за партией в домино в задней комнате таверны; было решено

совершить это в предпраздничную ночь, когда веселый шум тек по улицам. Но теперь музыка уже давно умолкла, только изредка где-то вдали бороздит небо ракета. Простучали чьи-то каблуки, где-то открылась дверь, гулко отдаются мерные шаги сторожа. Но ни одного звука не слышно из погреба; черная яма словно завораживает людей у стола, погруженных в бесконечную игру.

* * *

Конечно, прежде чем подвергать риску жизнь нескольких людей, они все обдумали. Не один раз фалангисты совершали преступления, не один осиротевший ребенок попал в фалангистский приют, пока они решились, наконец, разорвать густую паутину, опутавшую квартал. Долгое время они жили как слепые. Страх заставлял молчать, пригибал плечи, принуждал рассчитывать каждый свой шаг ночью и днем. Люди подозрительно смотрели на почтальона, который мог принести письмо от какого-нибудь эмигранта из Америки; даже с другом разговаривали опасливо, если его не видели долгое время, а лицо нового соседа на лестнице попросту пугало. Даже молчаливые вздохи и взгляды брались на заметку какой-то невидимой силой, от которой зависели судьбы людей, живших на этой большой улице.

Предателя никто не знал, но все догадывались, что он следит за жизнью каждого, за теми, кто плачет, провожая сосланных и арестованных, кто кладет цветы на могилы расстрелянных, кто, обезумев, шлет проклятия палачам. Люди пристально смотрели друг другу в глаза; голос соседа, рука булочника, ежедневно отрывавшая талон от карточки, женщина, выбивавшая матрас, привратница, задыхающаяся в своей клетушке,— все, казалось, источает яд предательства, отравляющий воздух.

Доносчиком же оказался тот, кто всегда первый приходил в дома, где носили траур. Он изо всех сил стремился принимать участие в делах квартала и, чтобы предательски вызвать кого-либо на разговор, всякий раз первый начинал браниться и рассуждать о бедствиях, обрушившихся на нашу страну и на нас.

Он служил в министерстве мелким чиновником, но у него в доме всегда был белый хлеб. А жена его притворно вздыхала, стоя в очереди за куском серого хлеба, который отдавал кожей. Он хвастал, что будто бы после войны сидел в тюрьме, и всячески старался показать себя противником фаланги и сторонником Республики, о поражении которой скорбели жители квартала. Он слонялся повсюду, но чаще всего его видели в таверне на улице Альманса, где собирались рабочие.

Он слишком старался вызвать у всех доверие к себе, и это показалось подозрительным. Заметив, что вокруг него образовалась пустота, он стал реже посещать таверну — там при его появлении сразу смолкали все разговоры. Он потерял прежнюю общительность и теперь ограничивался лишь тем, что стоял и наблюдал за игрой в домино, не произнося ни слова, не позволяя себе ни единой, даже самой безобидной шутки. Оставался он в таверне недолго, выпивал у стойки стакан вина и при этом молча, как-то по-особому поглядывал на трактирщика Педро, у которого сын был в Америке.

Потом стало известно, что его жена тайно ведет переговоры с какими-то чужаками и собирается уступить им комнату. В квартале поселятся подозрительные люди. Это заставило поторопиться. Они давно уже все сказали друг другу взглядом, но никто до сих пор не отваживался произнести этого вслух. Когда они, наконец, заговорили о своих

замыслах, втайне приходивших на ум многим, возник план сыграть партию в домино, которую начнут четверо, а закончат только двое.

Этот план принадлежал трактирщику. Он как раз получил вино из Арганды, и его праздничный крюшон обещал быть лучше, чем в самых дорогих ресторанах города.

И действительно, второго августа в баре установили огромный чан с крюшоном, а в нем золотистых долек лимона и веточек ароматной корицы было намного больше, чем в любом крюшоне, продававшемся где-либо под праздник. Все вдруг почувствовали небывалую жажду, и кисло-сладкий напиток нескончаемой струей лился в глотки жителей улицы Альманса, а то и в животы огромных чучел — ряженые, весь день сопровождаемые толпами ликующих ребятишек, шествовали по улицам под звуки барабанов и волынок.

Теперь эти огромные фанерные куклы стояли в таверне у стены, касаясь потолка шерстяными париками. На лица гигантов сквозь мутное стекло двери падал зеленоватый свет уличного фонаря. Виднелись длинные красные носы, желто-зеленые ситцевые кимоно, по бокам фанерного туловища болтались огромные руки в широких рукавах. Все остальное тонуло в полутьме — цинковая стойка, полки с пустыми бутылками.

А в задней комнате по-прежнему раздавался стук костяшек. Вино давно уже было выпито, но трактирщик не решался наполнить стаканы. Невыносимая жажда терзала игроков, казалось, вся кровь высохла в их жилах. Они сидели неподвижно. А партии все не было конца. Пальцы словно налились свинцом; и такими же свинцово-тяжелыми и неповоротливыми стали языки за стиснутыми зубами.

Внезапно из погреба послышались глухой шум, звуки короткой схватки, страшное хрипение... Руки игроков сжались в кулаки, оба напряженно смотрели туда, в черную яму погреба, не в силах оторвать от нее взгляда. Потом они заметили, что говорят; оба одновременно произносят что-то бессвязное. Они не знали, кто первый начал, но, перебивая друг друга, неразборчиво бормотали обычные при игре слова и оба одновременно задвигали по столу костяшками. Белые и черные фишки перемешались, выложенная фигура странно изогнулась, как вывихнутый сустав.

И вдруг стук домино прекратился. Они пристально смотрели друг на друга. Сердце колотилось со страшной силой, вот-вот разорвется. Сухие губы потрескались, лица при свете лампы казались восковыми. Тщетно пытались они отвести друг от друга глаза — и не могли. Казалось, тяжелая холодная плита давила на грудь.

Одна и та же мысль пронзила каждого в эту минуту, никто не проронил ни звука, но глаза и дрожащие руки сказали без слов: «Кончено!» Они заглянули в погреб и с отвращением увидели голову доносчика, торчавшую из огромного чана с вином. Темно-красные волны медленно заливали его открытый рот, вылезшие из орбит глаза, длинный нос.

Они ведь только недавно видели его. (А может быть, это было много лет назад...) С притворно самоуверенным видом, прикрывая улыбкой растерянность, спускался он в погреб вслед за их товарищем — за одним из тех, с кем он начал нынешней ночью партию в домино. Конечно, спускаясь по ступенькам к пузатым бочкам, полным самого чистого во всей мадридской провинции вина, он надеялся на пистолет, который всегда носил с собой. Тогда он, как обычно, хвастливо посмеивался, и вот теперь они все еще видят эту усмешку, видят так ясно, что это причиняет боль, словно игла вонзается в сердце.

Но пистолет он не успел достать... приглушенный вопль... и конец. Тишина, бесконечная тишина, будто они на необитаемой планете...

* * *

Долгожданные шаги на лестнице заставили их вздрогнуть. Теперь горячая кровь, словно освободившись, разливалась по всему телу, стучала в висках, глаза сверкали.

Из погреба поднялся тот, кого они так бесконечно долго ждали. С того самого дня, когда решение было принято, они не раз представляли себе, каким образом проделают все это. И вот теперь они положили труп на ступеньки; он оказался гораздо тяжелее, чем можно было думать, а сами они двигались почему-то очень медленно. С головы мертвеца стекали струйки вина, вино пропитало их одежду, терпкий запах заползал в легкие, окружал их со всех сторон. Он напоминал запах крови.

Потом они вынесли труп в заднюю комнату таверны. На столе по-прежнему стояли пустые стаканы и было рассыпано домино.

Три человека двигались в полумраке. Зеленоватый луч, проникавший в комнату через стекло двери, проходил поверх их голов и падал на улыбающиеся лица фанерных гигантов.

Теперь надо спрятать труп предателя, как было заранее условлено; все трое действовали молча, с трудом сдерживая прерывистое дыхание. Иногда они случайно касались друг друга холодными руками и вздрагивали. Они выполнили задание, и это связало их вместе на всю жизнь. Не очень много знали они друг о друге. Школьный учитель, трактирщик и каменщик. Всех троих привело сюда и объединило одно стремление: добыть свободу Испании.

В трех мадридских семьях ждали в этот час отцов, но никто не догадывался, каким необыкновенным и рискованным делом они заняты. Их семьи не были знакомы между собой, но они трое теперь связаны навеки.

Как он давил их своей пугающей неподвижностью! Изо всех сил старались они втолкнуть труп в фанерное туловище гигантской куклы и не могли. Мертвец сопротивлялся, он не хотел входить в этот ярко размалеванный гроб. Мучительно бились их сердца, капли пота блестели на лицах, тела сковывал мертвящий холод.

Испытывали ли они удовлетворение от того, что совершили? Они исполнили добровольно принятый на себя долг. Угроза, нависшая над их кварталом, на время исчезла. Но в глубине души они не могли ощутить освобождения. Недвижный труп доносчика словно подчинял их себе. От него исходила какая-то злобная сила, невидимая паутина опутывала их. Они обменивались жестами, не решаясь заговорить, словно мертвец мог их подслушать, и даже эти жесты были неопределенными, будто они боялись, что он все еще следит за ними своими широко раскрытыми, остекленевшими глазами. Вино текло с его волос и темными струйками сбегало по лицу, капли попадали им на руки и жгли, как расплавленный свинец.

Правы ли они? На это они отвечали: да, правы. Они вырвали звено из цепи, которая сковала их родину. Это сознание внушало им веру в будущее. Другие руки, в других городах, множество рук настоящих испанцев, как и они полных благородного гнева, вырвут остальные звенья. И тогда загорится звезда искупления и повеет свежим ветром...

Наконец, труп взвалили на плечи самого сильного из них и сверху натянули кимоно гигантской куклы. Двое других минуту смотрели в глаза друг другу, потом крепко обнялись, отныне их жизни нераздельны, их соединил мертвец, скрытый под зелено-желтой одеждой истукана.

Внезапно вдали послышался сильный грохот — на Глориета де лос Куатро Каминос зажгли фейерверк.

Над кварталом взмыли разноцветные розы и звезды.

Они вышли на улицу. Там было пусто, лишь вдалеке одиноко горел фонарь. Двое гигантов — один в мужском, другой в женском платье — медленно двинулись по улице. Длинное женское кимоно скрывало того, кто нес на плечах труп. Второй, влезший в чучело гиганта-мужчины, шел рядом, не чувствуя острых камней, словно какая-то невидимая сила тянула его к мертвецу.

Третий — трактирщик — вышел с ними и плотно прикрыл за собой дверь. Кончилась небывалая партия в домино, сыгранная в эту праздничную ночь в его трактире. Некоторое время трактирщик смотрел вслед уходящим. Он дрожал, хотя стояла теплая августовская ночь. В небо взлетали ракеты и бенгальские огни. Сейчас необычное шествие, наверное, уже за чертой города. Через десять минут труп доносчика исчезнет в темной воде канала.

Все произошло так, как было задумано.

Богуслав Бржезовский

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОЛОК

Роман

Перевод с чешского И. Бернштейн и Л. Лерер

Глава пятая

1

В полдень, на третий день после возвращения на свою старую родину, как он любил говорить, Шмидтке решил предпринять небольшую прогулку по городу.

Ему сразу же по приезде предоставили в Дейвицах прекрасно обставленную квартиру в новом доме с большими окнами.

Шмидтке не спеша пересек Летну, потом по недостроенному мосту вышел на центральные улицы города — этой дорогой он привык ходить в свое учреждение на Зоммербергштрассе в достопамятные годы войны.

Нет, не из сентиментальных побуждений Шмидтке решил пройтись по прежней дороге. У него была своя цель. Ему хотелось вдохнуть воздух этого города и увидеть, что тут изменилось за время его отсутствия. Сейчас казалось, что он никогда и не покидал эти улицы, а ведь в мае будет три года, как ему пришлось ретироваться отсюда. Он думал тогда, что больше не доведется вернуться в эту страну, где он по чистой случайности родился.

Война так изменила Европу, что, видимо, ей уже не стать на ноги, во всяком случае при его жизни. Немцев отсюда выселили. Это было грандиозное предприятие, он никогда не поверил бы, что удастся его осуществить. Мать он нашел только в Кёльне, а тело брата отыскать не удалось. Собственно говоря, вся эта война была великолепным представлением. История полна жестокой иронии. Правда, иногда можно поддаться оптическому обману и поверить, будто существует нечто похожее на историческую справедливость. Такой иллюзии сейчас поддались чехи. А в прошлом — Гитлер. Теперь даже кое-кто из американцев воображает, что призван осуществить историческую справедливость. Короче, как говорится, много псов — зайцу смерть. И много пророков новой мировой войны, от чьих проповедей человечество не скоро придет в себя. Так что, в сущности говоря, сейчас безразлично, кому служить. Всегда можно убедить себя, что действуешь ради высоких целей, под каждое свинство можно подвести достаточно солидный идеологический базис. И какое-то время спустя, как только немцы оправятся и получат оружие, они снова начнут осуществлять историческую справедливость и переселяться ну хотя бы обратно в эту страну. В мире нет ничего невозможного, наоборот — все возможно, и из понимания этого следует исходить.

Бывают идиоты, воображающие, что существуют ценности, за кото-

---

Продолжение. Начало см. в №№ 5 и 6.

рые стоит сражаться,— черта с два! Ничего подобного больше нет, если только вообще оно когда-нибудь было. Существует только твоя шкура — о ней ты и заботься! Жизнь выкидывает забавные коленца. Ну хотя бы то, что Шмидтке идет опять по Пшикопам, мимо казино, где он попивал с генералом Гоффманом довольно приличный коньяк. А теперь это здание, тоже, видимо, по иронии судьбы, именуется Славянский дом... Хоп-ля! Как весело быть свидетелем истории и даже активным участником исторических событий, которые должны изменить круговорот земли! Снова разыгрывается одно из действий бесконечного фарса, именуемого историей. Пока это только прелюдия. Потом наступит катастрофа, а очищения человечество так и не дождется. Не дождутся его и авторы этого фарса. Надо полагать, что не дождется его даже такой благодарный зритель, как он сам, Фридрих Шмидтке, он же Фредерик Смит, он же Бедржих Шмидек.

Он идет по Праге и сам удивляется, как волнует и тревожит его этот город. Лица людей, которых касается его взгляд, кажутся ему знакомыми. Этот город обладает удивительным очарованием интимности. В нем есть какая-то особая притягательная сила, и если Шмидтке чувствует себя где-нибудь дома, то именно здесь, на этих узких улочках, за поворотами которых открываются неожиданные и поразительные виды. Он больше всего дома среди этих людей, чью личную жизнь ему так легко представить себе, да и профессии их он всегда может отгадать, хотя бы приблизительно.

Невероятно, до чего прочны у человека воспоминания детства и юности. В старости, когда иссякнет жажда приключений, Шмидтке, пожалуй, хотел бы жить именно в этом городе. Да и теперь уже наступают порой минуты, когда его пугает доводящая до отчаяния переменчивость обстоятельств и собственной судьбы, когда ему все становится безразлично. А этот город действует как бальзам, как успокоительный компресс.

Внешне тут ничего не изменилось, во всяком случае существенных изменений не видно. Он даже легко может представить себе улицу, которая теперь называется Революционной: старые дома в эклектическом стиле конца прошлого века, те самые, которые стояли тут до... ну, скажем, до революции. Ничего как будто не изменилось, но эксперт Смит прибыл сюда именно для того, чтобы влезть в душу этого города, чтобы узнать, где плохо, чтобы разнюхать, на чем может «шеф» — мистер Стейнхардт — нагреть руки, и не опасно ли для американского престижа вмешиваться в заваруху, которая здесь вот-вот начнется или даже уже началась.

Основная задача, разумеется, ясна — вырвать кормило из рук коммунистов и столкнуть их за борт. «Тут — ключевая позиция,— говорил мистер Стейнхардт.— Если нам удастся обеспечить нормальное, здоровое развитие событий в Чехословакии — это будет иметь исключительно важные последствия для всей американской политики в Европе». Нормальное и здоровое развитие. А что, собственно, нормально в наше ненормальное время и чьему здоровью послужит это развитие? Конечно, здоровью мистера Стейнхардта и Америки. Ну и пусть! Шмидтке ничего не имеет против. Все дело в том, с какой стороны приступить к пирогу, чтобы мистер Стейнхардт не слишком перепачкался повидлом. А разобраться в этом — дело Фрица. И у него не такой уж большой выбор средств. Кое-что он выудил вчера у этого пьяницы Краммера, правда не так уж много. Краммер посоветовал Шмидтке перечитать Швейка и заявил, что здесь им натянут нос. Потом он скис и заговорил о том, что у чехов необычайно развито политическое чутье.

«Чехи,— сказал он,— распознают мошенника и мерзавца, едва только тот откроет рот». Дурак! К чему эти обобщения!

А в самом деле, как забавно! Он снова идет по старой, проторенной дорожке. И тогда, когда он плюнул на Гитлера и Франко, он тоже шел этой дорогой. Из своего учреждения на Зоммербергштрассе спустился вниз к реке, там выбросил документы, а потом по Пшикопам прямо через Вацлавскую площадь — к Фишару. И сегодня не остается ничего иного. Все в мире повторяется. Старые, протоптанные дорожки! Сразу после войны казалось, что никому нет возврата к старым дорогам, что жизнь пойдет по новой колее. Но эти дороги испытаны и укатаны, и колесница политики снова свернула и покатила по ним. И хоть колеса скрипят и дребезжат, колесница все-таки катится.

Что ж, и Шмидтке пойдет по проторенной дорожке к доктору Фишару. Это зарекомендованная и испытанная фирма. Надо будет хорошенько прощупать его, помочь, если у него есть затруднения, создать затруднения, если их у него нет. А потом помочь. Сыграть на его тщеславии, убаюкать и под конец припугнуть. Шмидтке предполагал, что тшеславие и самовлюбленность не давали Фишару спокойно спать, и он обязательно влип в какую-нибудь историю. А что, если его совесть чиста? Тогда окунем ее в навозную жижу.

И здесь все по-прежнему. Только надпись по-немецки на двери конторы Фишара исчезла, она замазана и чуть-чуть просвечивает, а барышня, открывшая ему дверь,— нет-нет, не та, немного помоложе. Фарс начинается. Сыграем же его.

— Я хотел бы видеть доктора Фишара,— сказал он с самоуверенной небрежностью.

— Что вам угодно?

— Мне ничего не угодно. Доктору Фишару угодно меня видеть,— ответил он.

— Вам назначено прийти, он ждет вас?

— Будьте уверены, барышня, ждет всю жизнь. Я инженер Шмидек.

Она еще минуту смотрела на него с недоверием, но он обезоружил ее своей веселой улыбкой. Через несколько секунд на пороге кабинета появился доктор Фишар.

— Господи боже мой! — воскликнул он и протянул руки к Шмидтке, как будто призывал его в свои объятия. Но тут же сообразил, что слишком бурно выражает дружеские чувства, и сказал несколько спокойнее:— Откуда вы взялись? Заходите, заходите!

Все по-старому. На окне те же желтоватые занавески с нежным узором, стол, заваленный бумагами, стеклянный шкафчик, где хранится коньяк, круглый столик и мягкие кресла. Они с минуту испытующе смотрели друг на друга.

— Вы не изменились, Смит,— сказал Фишар.

— Ручаюсь, что нет! — весело ответил Шмидтке.— Я все тот же, всегда появляюсь вовремя и оказываюсь всюду, где что-нибудь происходит. И, само собою разумеется, как всегда, опять готов вам помочь.

— Опять? — спросил с горькой иронией Фишар.

— Опять! — ответил Шмидтке.— Откровенность за откровенность.

Он сел в кресло.

— Вы не интересовались мною вчера? — настороженно спросил Фишар.— Кто-то меня вчера разыскивал. Но о вас, по правде, я не подумал.

— Нет, то был не я, доктор, но это вовсе не значит, что я о вас не думал. А приехав сюда, думал особенно много. Один только вы можете

мне помочь сориентироваться в здешней политической неразберихе. Нужна краткая лекция. Только, пожалуйста, не излагайте мне принципов. С принципами все ясно. Суть дела в том, что необходимо убрать коммунистов...

Фишар прервал его жестом, давая понять, что Шмидтке упрощает, но тот продолжал:

— Я знаю. Вам все представляется слишком сложным. К чему вызывать духов, доктор! Ведь все очень просто. И всюду в Европе дело обстоит точно так же. Нам это ясно, и мы стараемся не усложнять. Мне важно понять расстановку сил. Каковы, например, шансы коммунистов и тех... ну, назовем их демократами. Такое определение, кажется, отвечает вашей терминологии, не так ли? Ведь вы, безусловно, демократ, Фишар, не правда ли?

— Я всегда был им,— сказал с усмешкой Фишар.

— Значит, вы против коммунистов. Вы выступали активно против них?

— Смотря как подходить к этому,— растерянно пробормотал Фишар, и им овладело неприятное чувство беспомощности, как бывало всегда, когда он сталкивался с этим человеком. Шмидтке снова завладел им и ведет куда хочет.

— Значит, выступали активно. Досадно.

— Почему вы так думаете, Смит?

Шмидтке с минуту размышлял, потом предложил Фишару сигарету.

— Я не курю.

— С каких пор? Это «Кэмел». Я узнал, что они здесь в цене,— сказал он, зажигая сигарету.

— Почему вы думаете, что это досадно? — повторил Фишар свой вопрос.

— С того момента как я вступил на древние каменные плиты этого города, я только и делаю, что вспоминаю. И могу вас заверить, что мне приходят в голову вещи, о которых я ни разу не вспомнил все то время, пока жил за океаном.

— А что вы делали все это время? — перебил его Фишар.

— Вы удивитесь, но, в отличие от вас, я изучал русский.

Фишар засмеялся и протянул руку к пачке «Кэмела», лежавшей на столе.

— Но сейчас речь не об этом. А вот хотелось бы знать, последовали вы совету, который я вам дал перед отъездом?

— Советов вы давали так много, и все были такие ценные,— иронически заметил Фишар,— что сразу и не догадаешься, какой именно вы имеете в виду.

Такой стиль разговора, полный иронических выпадов и намеков, был усвоен ими в пору революционного переворота, когда они вдвоем коротали долгие дни; теперь, после трех лет разлуки, оба, не без удовольствия, вернулись к нему.

— Не шутите, доктор. В отличие от вас, я обычно говорю всерьез. А тогда я вам сказал — не помню только, здесь или наверху, в вашей квартире...

— Что же вы мне сказали?

— Я сказал: тот, кто боится воды, должен прыгнуть в реку, чтобы избавиться от страха. Тот, кто боится коммунистов, должен идти к ним.

— Да, припоминаю,— сказал Фишар с меланхолической усмешкой.

— А вы этого, как я вижу, на мою и свою беду не сделали.

— Но, позвольте, у меня есть принципы, есть совесть!— воскликнул с негодованием Фишар.

— Да полно вам, доктор, ничего подобного у вас давно уже нет. Вам просто не хватает предусмотрительности и мужества.

— Я вижу, вы не отучились говорить дерзости.

— А вы не научились действовать с размахом, хотя я и старался научить вас этому. Вы могли бы подумать о том, что я не стану бросать слова на ветер. Это был скорее приказ, доктор. Да, приказ! Вы совершенно забыли, что обязаны нам.

— Кому? Гестапо?

Шмидтке засмеялся.

— Тем, кто вас вызволили из тюрьмы и кто вас могут когда угодно туда упрятать. Ведь ваше прошлое известно, и доказательства всегда под рукой. Будьте уверены, доктор. Но вернемся к делу.

— Разумеется,— согласился Фишар,— я не отказываюсь доставлять вам какую-либо информацию. Но только перестаньте угрожать мне, Смит. Ситуация сейчас несколько иная, чем была.

— И чем будет,— добавил Шмидтке.

— Спрашивайте. Что вас интересует?

— Я предпочитаю самопроизвольные словоизлияния. Главное для меня то, что скрыто, как говорится, на дне вашей души, ваши тайные думы, то, в чем вы сами себе не признаетесь. Как на исповеди, доктор. И никакого притворства, это было бы нехорошо между друзьями.

— Так вот,— начал доктор Фишар без колебаний и без сомнений.— Признаюсь, у меня возникали некоторые опасения, особенно в последнее время.

— Какие?

— Я боюсь, что коммунисты сильнее, чем предполагаем мы и чем думают те, кто стоят во главе политических партий. Я просто не вижу такой личности, за которой пошел бы народ. Бенеш...

— Я с вами согласен,— перебил его Шмидтке.— У нас тоже, пожалуй, слишком полагаются на него. Ну, а что же дальше?

— Мы просто недооцениваем коммунистов. Убедили себя или нас уговорили, что за ними никто не идет, а если идут, то по принуждению. Я в этом не уверен. Но даже если это так, то отсюда вовсе не следует, что народ идет за нами.

— Любопытная теория, доктор. Видно, что вы в последнее время много размышляли.

— Вчера мне пришлось столкнуться с подтверждением моих мыслей на практике,— задумчиво сказал доктор Фишар и пересел к письменному столу. Ему вдруг показалось, что он сидит слишком близко к Шмидтке и что ему мало места.— Верховный суд, и я должен заметить, в совершенно законном порядке, присудил госпоже Пруховой...

— Ах, господи! — весело воскликнул Шмидтке.— Как поживает наша приятельница?

— Ну, заботы и годы никого не красят,— сухо ответил Фишар.— Так вот, Верховный суд постановил вернуть ей завод в Кржижанове, национализированный в результате неправильного истолкования декрета тысяча девятьсот сорок пятого года. Теоретически и юридически все в порядке. Но практически она безусловно не получит ничего.

— Как же так?

— Ее просто не пустят на завод.

— Кто?

— Рабочие.

— Как — рабочие? Вы хотите сказать — коммунисты.

— Вот тут-то мы и столкнулись с загадкой, Смит. На заводе далеко не все коммунисты, не больше тридцати процентов рабочих — члены

компартии. Остальные — члены других политических партий или, большей частью, беспартийные. Но в забастовке участвовали все, и все протестовали против возвращения завода прежней владелице. Я опасаюсь, что в случае необходимости они взялись бы и за оружие.

— Какая же тут загадка, доктор? Не усложняйте все сверх меры. Обычный красный террор. Я люблю выражать свои мысли общепринятыми терминами,— сказал Шмидтке.

— Что ж, возможно,— пожав плечами, неуверенно заметил Фишар.— Так, вероятно, можно было бы написать в газетах. Но я боюсь, что это было бы неправдой. Во всяком случае, полуправдой.

— Террор остается террором,—поспешно возразил Шмидтке.—Я советовал бы вам поменьше размышлять и называть вещи своими именами.

— Я думал, что вы хотите разобраться в том, что происходит,— холодно ответил Фишар.— Поэтому и старался вам объяснить.

Шмидтке понял, что переборщил.

— Вы не должны на меня обижаться, доктор. Обиды ни к чему не приведут. Вы вправе со мной говорить так же, как я с вами. Боюсь только, как бы вы не запутались в дебрях психологии и не стали расценивать события слишком эмоционально. Так легко поддаться панике.

— Тогда объясните мне, почему там, на заводе все держатся вместе. Добровольно. Я позволю себе утверждать, что добровольно. Разговорами о терроре мы скрываем истинное положение вещей.

И Фишар вдруг заметил, что их роли переменились. Да, он в конце концов уже начал понимать кое-что из того, что происходит в стране, он думал об этом в поезде во время долгого и утомительного пути в Прагу. Марта сидела рядом, расстроенная и подавленная, она говорила, что чувствует себя как побитая собачонка. Действительно, им пришлось убраться из Кржижанова, словно назойливым попрошайкам. Перед тем как сесть в поезд, они еще прослушали сообщение городского радио о том, что рабочие бывшего пруховского завода единодушно объявили забастовку протеста и приняли решение не отдавать в руки фабрикантов-эксплуататоров то, что им по праву дала революция. Это решение одобрил заводской совет, и к нему присоединились представители всех политических партий и общественных организаций, входящие в комитет действия Национального фронта. То, с чем Фишар столкнулся в результате своей поездки, полностью противоречило представлениям, с которыми он приехал в Кржижанов. Можно было предположить, что коммунисты попытаются чинить им препятствия, но Фишар не сомневался, что все остальные испугаются возможных последствий и будут заботиться только о своей шкуре. Ничего подобного не произошло. В вагоне, все те долгие часы, когда Марта сидела с закрытыми глазами, забившись в угол купе, он обдумывал всю эту историю, пытаясь отбросить свои личные чувства и посмотреть на вещи объективно, глазами беспристрастного наблюдателя.

Он сказал об этом Шмидтке.

— И к каким же выводам вы пришли, доктор?

Фишар встал и несколько раз прошелся по комнате.

— Как я уже говорил,— размышлял он вслух,— большинство этих людей не состоит в коммунистической партии. Возможно, что они даже поругивают коммунистов. Но когда речь заходит о принципах, то они готовы их поддерживать. Беда в том, что принципы эти как раз и являются принципами коммунистического учения, а это предпосылка того, что им удастся захватить власть. Люди, может быть, и не осознают того, что я сказал, но они, вероятно, инстинктивно воспринимают эти

принципы как, как...— на секунду он умолк, подыскивая подходящее слово,—...как принципы исторической справедливости.

— Хо-хо!— расхохотался Шмидтке.— Я знал, что вы романтик. Так оно и есть. Каждый, кто впутывается в политику, считает, что именно он осуществляет историческую справедливость. Только от этих разговоров вы уж меня увольте, Фишар!

— Ну пусть историческая необходимость! В таком случае это еще хуже для нас, Смит. Тогда уже выхода нет.

— О каких принципах вы, собственно, твердите? Ей-богу, я не понимаю вас.

— Об основных принципах социализма. О существовании двух классов и о борьбе между ними, о национализации и экспроприации, о том, что надо ликвидировать эксплуататорский класс...

— Из вас получился бы превосходный агитатор.

Фишар только махнул рукой, и Шмидтке сам почувствовал, что его шутка была плоской и не попала в цель. Ему вдруг показалось, что миссия, которую он на себя взял, слишком для него сложна и что в этой стране все обстоит иначе, чем он предполагал, когда ехал сюда. До сих пор Шмидтке все представлялось в очень ясном свете. Но похоже на то, что речь идет вовсе не о свободе или диктатуре — черт бы побрал такие возвышенные понятия,— а о том, чтобы вырвать эту страну из рук красных и поручить ее заботам тех, на чьих руках американские перчатки. Оказалось, он не может найти общего языка даже с людьми, подобными Фишару.

— Вы этого не поймете, Смит,— слышит он слова Фишара, наблюдая, как тот задумчиво ходит взад и вперед по комнате.— Да и мне для того, чтобы понять, понадобилось целых три года. Все дело в том, что той струны, на которой играют коммунисты, нет на вашей американской скрипке.

Шмидтке только хотел было признаться, что действительно не понимает многого, как вдруг зазвонил телефон. Фишар быстрым движением схватил трубку. Он думал, что звонит Люция. Хотел, чтобы звонила она. Он не видел ее уже четвертый день.

— Алло! — энергично произнес он.— Да, Фишар!

Это был Нывлт. Заседание СТП * состоится завтра днем около двух. Он пришлет за Фишаром машину. Ситуация такова, что пора действовать. Видимо, сегодня днем подадут в отставку остальные министры, и можно ожидать, что события будут развиваться быстро. А СТП в конце концов — единственная реальная сила, которая может сыграть активную роль в момент кризиса. Фишар обещал приехать.

Шмидтке встал, ему захотелось немного размяться, глотнуть свежего воздуха; он подошел к окну и слегка приоткрыл его. Струя морозного воздуха ворвалась в небольшое, жарко натопленное помещение, и желтые занавески с нежным узором затрепетали.

Все то время, что Фишар разговаривал по телефону, Шмидтке смотрел из окна на пустынную улицу. Когда тот кончил, он закрыл окно, снова уселся в кресло и испытующе посмотрел на задумавшегося Фишара.

— Не хотите ли черного кофе? — спросил его Фишар.

— Лучше коньяк, доктор,— сказал он.— Если у вас есть.

Фишар поставил перед ним бутылку и рюмку.

— Днем подадут в отставку новые министры: из народной партии и словацкие демократы.

---

* Совет торговли и промышленности.

Шмидтке кивнул.

— А кто же останется? Я не очень разбираюсь в вашей политической ярмарке.

— Социал-демократы.

— А разве они не с остальными? — И когда Фишар пожал плечами, спросил:— Что же дальше?

— Бог его знает, Смит. По-моему, все дальнейшее — дело случая. Признаюсь, мне это стало ясно только теперь, пожалуй слишком поздно. Много зависит от президента. И почти все — от позиции Соединенных Штатов. Об этом вы могли бы что-нибудь знать. Я полагаю, вы сюда прибыли не в качестве туриста.

Шмидтке рассмеялся.

— Угадали, доктор. Я нахожусь здесь в качестве рядового сотрудника посольства. Поэтому сказать могу немного. Но, к счастью, я еще личный эксперт посла, а тот уж знает побольше.

— Ну так скажите! Не шутите, это очень серьезно,— сказал Фишар.

— Что вы хотите знать?

— Что предпримут Соединенные Штаты, если получится так, что их влияние и престиж окажутся в нашей стране под угрозой?

— Что предпримут? Я высказываю собственное мнение, доктор.— Прежде всего ухудшатся отношения с Советским Союзом.

— А дальше?

— Приготовятся к позиционной войне. Без канонады. В таком случае я окажусь полезным. И это будет означать, что вы допустили ошибку.

— То есть? В чем?

— А в том, что не послушались моего совета и не пошли с коммунистами сразу же. Вы при ваших способностях могли бы избежать всех неприятностей и сделать у них за это время приличную карьеру. Тогда вы были бы гораздо полезнее для меня. А как обстоит дело сейчас?

— Что вы имеете в виду? — устало и почти без интереса спросил Фишар.

— Может быть, вы все-таки перейдете на другую сторону? Возможно, коммунисты примут ваше покаяние. Для них это был бы небольшой, но по нынешним временам все-таки капиталец. Бывают ситуации, когда все средства хороши.

— Вы сошли с ума?

— И не думал,— засмеялся Шмидтке.— Я рассуждаю по-деловому и реалистически. Вы сами сказали, будто кое-что поняли. Я не вполне уловил, что именно, но все же мне стало ясно одно: вы не очень-то верите в победу вашей партии — как она называется?

— Национально-социалистическая.

— Замечательно! — расхохотался Шмидтке.— Как при Гитлере. И какой это осел придумал такую вывеску теперь. Так вы, значит, parteigenosse. Nationalsozialistische*...

— Ну что вы, Смит! — воскликнул раздраженно Фишар.— Это же элементарная политическая неграмотность. Между ними нет ничего общего. Это знает любой первоклассник.

— Ну хорошо, хорошо. Но вы действительно уверены в этом, доктор? Я вовсе не хотел вас обидеть,— восклицал Шмидтке, все еще смеясь.— Надо же как-то скрасить нашу жизнь, раз приходится заниматься таким неприглядным делом. Но давайте поразмыслим. Вы ду-

---

* Член национал-социалистской партии *(нем.)*.

маете, что нет способа завоевать их доверие? Я имею в виду коммунистов. А что, если вы продадите им какой-нибудь секрет?

Фишар с изумлением посмотрел на него. Голос Шмидтке доносился как будто издалека, он назойливо преследовал Фишара.

— Или сделайте публичное заявление, что вы все поняли, осознали, что выходите из этой вашей nationalsozialistische и предлагаете им свои услуги,— имейте в виду, что в определенных ситуациях самые невероятные вещи выглядят совершенно правдоподобными.

Фишар сидел, глубоко погрузившись в кресло и подперев голову руками, он слышал Шмидтке, но не отвечал. Ему так хотелось покоя. И он мучительно затосковал по Люции, по спокойному и трезвому характеру Люции. По ее телу.

2

Поезд отошел. Ондржей смотрел через полузамерзшее окно, еще миг он видел Марию, она подняла руку, как будто хотела помахать ему, но станция скрылась за поворотом. В окне проносились белые поля, замелькали стаи черных ворон. Он едет. Позади остались Мария, счастливая в своем неведении, Тонка, которую он с понедельника так и не решился навестить, оправдываясь перед самим собою недостатком времени, Бенедикт, лежащий у него в комнате.

Вагон наполовину пуст. В нем сидит несколько человек, которых он знает в лицо. В противоположном конце вагона Ондржей заметил молодого Минаржика с аптекарем. Он знал от Бенедикта, что члены народной партии и национальные социалисты устраивают сегодня объединенное совещание в областном центре П. Короче говоря, будет проведен инструктаж о совместных действиях.

«Прислали нашим членам предписание,— сказал ему утром Бенедикт,— чтобы мы разоблачали коммунистическую демагогию». Потом он рассказал ему о том, как прошло его и Шейбала свидание с Фишаром и Пруховой в ресторане у Враспира. Шейбал же никому ни слова не сказал, а когда его спросили об этом, начал божиться: «Бенедикт подтвердит, что я отказался что-либо предпринимать за спиной заводского совета». Ну, словом, все это уже позади. Прухова уехала из Кржижанова, и, если вопрос не разрешат сверху, предстоит еще порядочная волынка. Лучше и не думать об этом. Не думать и не курить. У него внутри просто все горит, сегодня ночью он кашлял больше, чем Бенедикт. Одна сигарета в час — и хватит. А этим реакционным заправилам наверняка не по вкусу, что Ондржей застукал их вместе во время этого политического «пикничка».

Ондржей видит, как длинные ноги Минаржика, положенные одна на другую, нервно подпрыгивают. Ондржей и Минаржик улыбаются, и вид у обоих беззаботный и самоуверенный. Они как будто знают друг друга, но в то же время словно не знают. До сих пор они действовали совместно, заседали на собраниях, договаривались, спорили редко, и то из-за пустяков, и вдруг — Ондржей это ясно почувствовал — между ними возникла натянутость. Может быть, они ненавидят Ондржея. А Ондржей? Ненавидит ли он их? Нет, Ондржей не чувствует ненависти. Вообще дело здесь вовсе не в чувствах. Только холодный разум говорит ему, что перед ним враги Ему лично они не сделали ничего плохого, как и он им. Наоборот. С молодым Минаржиком они еще мальчишками совершали прогулки за город, искали птичьи гнезда и играли в разбойников и полицейских. Ондржей был, конечно, всегда разбойником, а Минаржик всегда полицейским. И аптекарь был ему всегда

безразличен. Это была городская знать. Аптекарь любил поболтать у входа в аптеку с главным врачом больницы, с бургомистром, с каноником, с управляющим Годурой. Ненавидит их Ондржей? Да ничего подобного. Просто он пришел к убеждению, что они не имеют права на власть, права решать судьбу людей. Но они Ондржея ненавидят — ненавидят всех Ондржеев. Презирают их. Не признают за людей и в то же время боятся. Охотнее всего они бы вообще не замечали таких, как Ондржей, но те заставляют считаться с собой.

Аптекарь заметил, что Ондржей смотрит на него. Он кивнул. Ондржей ответил тем же. Затем повернулся Минаржик, тоже кивнул и осклабился.

Ондржей сунул незажженную сигарету в карман и запахнул поплотнее пальто. «Мы киваем друг другу, улыбаемся и делаем вид, что все в порядке,— подумал он.— А завтра Минаржик мог бы приказать бросить меня в концентрационный лагерь. Какие там совместные прогулки — ведь я всегда был разбойником, а он полицейским». И, вероятно, если потребовалось бы, Ондржей мог бы стрелять, хотя бы в этого самого Минаржика. Потому что сейчас речь идет о жизни и смерти как Ондржеев, так и Минаржиков.

Минаржики знают, что если власть будет в руках Ондржеев, они не смогут жить по своему разумению, их мир рухнет. А Ондржеи уже не могут больше жить под их властью. И вот наступило время решающего сражения. Теперь речь идет о том, быть или не быть. Для всех Минаржиков и для всех Ондржеев. А они двое — только представители всех остальных. И так как Ондржеи не могут жить, пока властвуют Минаржики, Минаржиков надо уничтожить. В этом нет ненависти, это ни хорошо, ни дурно, это просто необходимо. И не следует придумывать для этого возвышенные слова. Есть нечто, свидетельствующее о моральных преимуществах Ондржея, всех Ондржеев перед всеми Минаржиками, и в этом залог поражения Минаржиков. Для Ондржеев речь идет обо всех ему подобных, а у Минаржиков — каждый сам по себе. Минаржик, сын пекаря, владелец дома на Кржижановской площади, или Минаржик — фабрикант, или Минаржик — сахарозаводчик. И тот Минаржик, который едет в одном вагоне с Ондржеем, так же, как и аптекарь, знает это или догадывается об этом и потому кивает и притворно улыбается. Они знают это, но, возможно, не решаются себе в этом признаться. Они понимают, что осуждены на гибель. А человек вообще неохотно признается себе в том, что ему неприятно.

3

Людвик считал себя победителем, но в то же время не мог избавиться от предчувствия близкого поражения. Когда ночью он вышел от Люции — сам не зная, в котором часу, вероятно, под утро,— как только оказался на улице, его мыслями снова завладела Ольга. «Что мне теперь до нее?» — спрашивал себя Людвик. Но она была здесь, она встала на его пути, когда он шел по пустынным морозным улицам,— покорная, несчастная, взывающая о помощи. Такой Ольги в действительности не существовало. Он пытался прогнать мысли о ней, вызывая в памяти образ Люции, и в то же время спрашивал себя, что будет, когда Люция станет для него обыденностью, когда она будет с ним изо дня в день, когда он привыкнет к ней. Ведь Ольга — это мечта, а Люция — действительность. Что окажется сильнее? Действительность, прекрасная и волнующая. Но что будет, когда ее познаешь, когда она станет вполне осязаемой, привычной и перестанет быть прекрасной и волнующей?

Придя домой, он прилег и проснулся только в десятом часу, со стыдом и угрызениями совести вспоминая, что Люция в это время уже должна быть в театре.

Он решил зайти в редакцию, привести там в порядок свои дела и, главное, отнести корреспонденцию. До полудня стояла отвратительная погода, февральское небо было темно-серым, шел снег. Вероятно, поэтому Людвик двигался все еще как во сне, голова его была полна мыслями о Люции.

Он зажег лампу на своем рабочем столе и стал вслушиваться в тишину, прерываемую только глухим и далеким шумом печатных машин в подвале.

Поверх вороха бумаг лежал конверт, надписанный строгим, угловатым почерком. Писал Ондржей Махарт. Он приедет на съезд заводских советов, открывающийся в воскресенье. Когда-то Людвик предлагал ему свое гостеприимство. Может ли он теперь, с опозданием, воспользоваться им? Не составит ли Людвику труда встретить его в пятницу в восемь часов на вокзале?

Ондржей Махарт! Как давно все это было! Людвику захотелось увидеться с ним, и в то же время он вспомнил, что в десять у него свидание с Люцией в Театральном кафе. Правда, она не была уверена, что ей удастся ускользнуть от Фишара. Они решили повидаться в любом случае — при Фишаре или без него.

Люция уже не хочет оставаться с Фишаром наедине, она решила порвать эти странные отношения при первом же удобном случае. Людвик встретит Ондржея, отвезет его домой, а потом пойдет на свидание с Люцией. Ему показалось, что он должен встретиться со своим далеким прошлым. Людвик писал Ондржею, кажется, в конце августа сорок пятого года. Его посетили тогда в редакции «Глас лиду» два их товарища по заключению и попросили опубликовать в газете извещение о намечающейся встрече тех, кто вернулись из Катаринаберга. Людвик опубликовал извещение и одновременно написал Ондржею письмо, в котором сообщил о готовящейся встрече и предложил остановиться у него и жить столько, сколько тот захочет. В этом письме он рассказал о своей встрече с матерью, о новой квартире, о работе, то есть о внешней и не слишком интересной стороне своей жизни, хотя уже тогда был захвачен чувством к Ольге. Ондржей ответил ему, извинился, что не может приехать, так как слишком занят работой и общественными делами. Людвик не ответил ни на это письмо, ни на следующее. Ондржей сообщал ему, что прах Франтишека привезли из Раковника и что погребение в его родной деревне назначено на первое ноября. Он приглашал Людвика и даже просил его приехать. Людвик хотел тогда ответить, но откладывал со дня на день, полностью поглощенный своими личными заботами и радостями, пока не обнаружил, что уже поздно и день погребения Франтишека давно прошел.

Потом Людвик и вовсе забыл об Ондржее. Узкое бледное лицо Ондржея и его глубоко запавшие глаза возникали перед ним только тогда, когда что-нибудь напоминало Катаринаберг или когда у Прухových заходила речь о Кржижанове. Ондржей был неотделим от этих двух мест.

Погрузившись в воспоминания, Людвик не заметил, что редакция постепенно пробуждалась к жизни. В коридорах зазвучал смех и говор, из кабинетов доносились телефонные звонки. Рассыльный Кольский, как всегда, положил ему на стол первые утренние сообщения. Людвик хотел вернуть его — сказать, что он уже не редактор, и просить забрать материалы, но помешала вспыхнувшая в коридоре ссора. По голосу он

узнал Чермака. Людвик приоткрыл дверь. Окруженные людьми, в коридоре стояли друг против друга заведующий типографией Каменик и редактор Чермак.

— Что вы себе позволяете? Это террор! — кричал Чермак.

По выражению растерянности на лицах окружающих Людвик сразу понял, что речь идет не об обычном недоразумении между редакцией и наборщиками — это случалось довольно часто,— а о более серьезном деле. Заведующего типографией Каменика Людвик знал довольно хорошо. Это был образованный и остроумный человек, примерно такого же возраста, как Геврле, лет за пятьдесят. Говорили, что он лучше разбирается в правописании, чем все редакторы и корректоры вместе взятые. Людвика поражала его наблюдательность. Каменик выносил свои суждения о редакторах не на основании впечатлений от личного общения, а по тому, что они писали и, главное, как писали. Геврле он с нескрываемой иронией называл Мессией. «Мессию я не люблю,— сказал он однажды Людвику.— Пророки всегда нужны только для недобрых дел. А новоявленные особенно...»

Анархист в прошлом, он вскоре после войны вступил в социал-демократическую партию. От Шебанека, с которым Каменик долгие годы сохранял приятельские отношения, Людвик узнал, что, окончив учение, он вступил в бродячую труппу, но позднее вернулся к своей профессии. И в самом деле внешностью он напоминал актера. Лицо его было выразительно, хотя и не очень красиво. Казалось, на нем можно прочитать каждую мысль. Чермак и Каменик стояли друг против друга. Чермак был рассержен, жестикулировал и тщетно пытался найти поддержку у окружающих. Каменик, слегка ссутулившись, спокойно, в упор смотрел на Чермака. В его взгляде выражались и жалость и презрение. Он протягивал Чермаку лист бумаги, который брезгливо держал двумя пальцами.

— Возьмите его, господин редактор, мне не хотелось бы запачкаться,— сказал он.

Кто-то засмеялся, вернее, фыркнул. Шебанек с сияющим лицом стоял в дверях, попыхивая трубкой, его явно развлекало происходящее.

— От имени главного редактора я приказываю набрать статью! — орал Чермак.— Подумайте: наборщики решают, что должно идти в газету! Господа, мы здесь лишние,— обратился он к окружающим.

— Ты давно здесь лишний! — воскликнул Шебанек и с шумом захлопнул дверь.

— Да возьмите же вашу пачкотню, господин редактор,— повторил еще более настойчиво Каменик, протягивая статью Чермаку.— От меня это не зависит. Хоть бы я сто раз приказывал, ничего не выйдет. Да я и не стану этого делать. Попробуйте сами, пожалуйста.

И подчеркнуто театральным жестом он пригласил Чермака вниз, в типографию.

Чермак не двинулся, даже не протянул руки за статьей.

— Вы вошь. Забрались в шубу...— заорал Чермак.

Все притихли. Каменик с минуту, как будто оценивая, в упор смотрел на Чермака. Казалось, он вот-вот бросится на него. Каменик даже наклонился вперед, но вдруг сказал, неожиданно спокойно, мирно и почти шепотом, как будто открыл Чермаку какой-то секрет:

— Нет, не в шубу! Мы уже до вашей шкуры добрались и здорово кусаем вас...

Он смял рукопись, подошел к Чермаку вплотную и всунул ее тому в карман. Потом еще раз посмотрел на Чермака, расхохотался и, не сказав ни слова, ушел.

— До чего мы дожили! — вопил Чермак, вытаскивая из кармана свою скомканную рукопись.— До чего мы дожили, господа!

Он смотрел на рукопись и недоуменно качал головой.

Подобно Чермаку, Людвик ждал, что все присутствующие разразятся негодующими возгласами. Действительно, произошла неслыханная вещь — типография отказалась набрать статью, да еще по политическим мотивам!

Но никакого возмущения или огорчения не последовало, как не последовало и никаких выражений сочувствия. Неожиданно Людвик остался в коридоре вдвоем с Чермаком. Людвику было неприятно, он повернулся и, ни слова не говоря, вошел в свой кабинет. Чермак последовал за ним. Он сел в кресло около стола, зажал между колен руки, в которых все еще держал скомканную рукопись, и, наклонившись вперед, уставился куда-то в пол.

Людвик смотрел на этого элегантного мужчину, на его синий в полоску костюм с двубортным пиджаком, на его расплывшуюся физиономию с усиками, на прилизанные, заботливо расчесанные редкие волосы и, вдруг почувствовав удовлетворение, расхохотался.

Чермак поднял голову и, глядя на Людвика, сказал с такой искренностью и чистосердечностью, которых от него нельзя было ожидать:

— Ты смеешься, дружище. А мне страшно.

— Почему? — спросил Людвик. В эту минуту он понимал Чермака лучше, чем хотел бы показать.

— Ты видел! Как будто кобра укусила. Все...

— Кобра! Какая там кобра! — засмеялся Людвик.— Кобра не кусается. Она уставится на свою жертву, та застынет, не может даже пошевелиться. И позволяет себя сожрать без всякого сопротивления.

— Вот именно!

— А какое отношение имеют эти сведения из естествознания к Каменику?

Чермак махнул рукой, ему явно было не до шуток. Он расправил скомканную бумажку и положил ее на стол.

— Утром звонил Геврле и велел задержать выпуск газеты для иногородних подписчиков, чтобы дождаться официального сообщения об отставке министров и напечатать его с комментариями.— Он снова схватил бумажку и посмотрел в нее.— Заголовок он мне продиктовал сам. Гляди: «Положение крайне серьезное. Речь идет не о партиях, а о судьбе нации. Демократия несовместима с тоталитаризмом! Мы останемся верны гуманистическим идеалам Масарика»,— прочитал он по слогам.— «Комментарии напишите в том же духе,— приказал Геврле,— никаких нападок, понимаете? Взывайте к чувствам!»

Чермак положил перед Людвиком свои комментарии. Людвик заглянул в текст. Статья называлась «На перепутье». «В этот час нация переживает кризис, подобного которому она не знала с времен Мюнхена. Мы снова оказались на перепутье, на перекрестке исторических путей. И пусть никто не успокаивает себя тем, что нам не грозит внешний враг. Сегодня, как и тогда, решается вопрос о нашей независимости, сейчас, как и тогда, речь идет о свободе и демократии, о таких ценностях, без которых немыслима полнокровная жизнь нации. Тоталитаризм, пусть новой окраски, или демократия, дышащая гуманистическими идеалами президента-освободителя? Карты розданы...» и так далее.

— «Дышащая»,— иронически повторил Людвик и отложил статью в сторону.

Чермак, к счастью, не интересовался мнением Людвика. Он был погружен в свои мысли и сидел все так же неподвижно, уставившись в

противоположную стену. Людвик сделал вид, что поглощен работой В действительности он бесцельно перекладывал с места на место бумаги и ждал, когда Чермак поднимется и уйдет. Но тот и не собирался уходить. Он встал и нервно зашагал по комнате, потом вдруг остановился перед Людвиком и сказал таким тоном, будто сделал важное открытие:

— Ведь они могут действовать так же повсюду. Сегодня они не набирают статью, а послезавтра газета вообще не выйдет, они плюют на нас.

— Вполне возможно. А зачем же ты тогда пишешь эти глупости? — сказал Людвик.

— Знаешь, что мне пришло в голову...

— Тебе тоже что-то пришло в голову,— перебил Людвик, думая только о том, как бы поскорее отделаться от него. Им овладело чувство брезгливости. Он всегда должен был преодолевать это чувство, когда Чермак протягивал ему руку. Руки у Чермака постоянно были влажными, и Людвик долго ощущал их прикосновение. Он избегал встреч с Чермаком, словно в том было что-то порочное. В сорок пятом они часто бывали вместе на судебных заседаниях. Там Людвик с ним, собственно, и познакомился, во время первого процесса Рыхтермоца и Благи. Подсудимые были приговорены к смертной казни. Чермак как раз в этот день женился и пришел в зал суда прямо из ратуши. Приговор был оглашен после полудня. Через два часа оба приговоренных должны были быть казнены. Журналисты, которые находились на процессе, получили пропуска, разрешавшие присутствовать при казни. За обедом Чермак спросил Людвика, пойдет ли он туда. Людвик сказал, что это выше его сил. Чермак обрадовался, тут же побежал к телефону, и вскоре в ресторан пришла его жена, еще в свадебной вуали, робкое и нежное создание, почти ребенок. Чермак представил ее Людвику.

Он заискивал перед всеми, кто могли ему пригодиться или занимали более высокое положение, был груб и дерзок с теми, кто не были ему нужны или стояли ниже его на общественной лестнице. Как-то само собой получалось, что во время отсутствия Геврле он замещал его. Никто его не назначал на эту должность, но все молча примирились с фактом, в том числе и сам Геврле.

— Дорогой коллега,— обратился недавно Чермак к Людвику,— вы явно пренебрегаете указаниями министра просвещения: куда вы ведете ваш отдел?

— Не твое дело, ты разбираешься в этом, как свинья в апельсинах,— отрезал Людвик.

— Это не только мое мнение.

— Не сомневаюсь. Да у тебя вообще нет своего мнения.

Сейчас его отношение к Людвику совершенно изменилось. Очевидно, он еще не знает, что Геврле выставил Людвика из редакции.

— Людвик,— обратился к нему Чермак доверительным тоном.— Что ты думаешь? Только честно!

— О чем? — Людвик сделал вид, что не понимает.

— Да обо всем. О кризисе. Как все обернется. Можно, пожалуй, предположить, что они пролезут?.. Вот, изволь, такой Каменик.

Зазвонил телефон. Людвик был рад, что ему не придется отвечать на вопрос, который постоянно возникает перед ним самим в последние дни. Звонил Краммер.

— Я изнемогаю от метафизической жажды, поэтому и звоню вам, идеалист! — его веселый голос словно освежил Людвика, и он сразу же

забыл о Чермаке.— Я сыт по горло политикой,— сообщил Краммер.— Приходите, выручайте меня.

— Куда? — спросил Людвик.

— Пообедаем в «Сплите». А потом увидим.

Людвик хорошо знал, что обозначает «увидим» в устах Краммера. Ему хотелось выпить, и у него не было компаньона.

Добрые намерения Людвика рушились. В восемь приедет Ондржей, потом у него свидание с Люцией, а все послеобеденное время придется пить с Краммером. С минуту он думал, как бы отделаться от него, однако пообещал прийти. Ему все-таки хотелось увидеться и поговорить с Краммером, и он решил встретиться с ним, даже рискуя не отрезветь к приезду Ондржея.

Чермак упорно сидел, погруженный в размышления.

— Америка, однако, не может так все оставить,— заметил он.

— А почему бы ей не оставить? — возразил Людвик.

— Ну, вот взять Каменика,— продолжал Чермак.— Я знаю, что Геврле на него полагался. А он вот какой номер выкинул. Наборщики делают то, что он захочет. Практически он держит нас в руках.

— Верно,— согласился Людвик, каждым словом давая понять Чермаку, как ему надоели его рассуждения.

— А ты сам, собственно, за кого, приятель? — спросил Чермак и уставился на Людвика.— Может быть, ты в душе коммунист, а?

— Если тебе угодно,— ответил Людвик.

— Геврле говорил, что у тебя инфильтрат.

— Что? — удивленно переспросил Людвик.— Что у меня?

— Инфильтрат. Говорят, будто ты заражен коммунистическими идеями.

— Не знаю, что это такое,— сказал Людвик.— Но раз так говорит Геврле, значит, правда,— добавил он.

— В том-то и дело. Человеку необходима уверенность. А сейчас ее нет ни у кого. И при всем том выпускай еще газету. Определенно у нас работают идиоты. Вот коммунисты — те полны уверенности. По крайней мере, они производят такое впечатление. А ведь нет ничего важнее. чем уверенность. Это факт.

— У национальных социалистов разве нет уверенности? — спросил Людвик.

«Люди в эти дни,— подумал Людвик,— удивительно легко раскрывают свою душу, как-то саморазоблачаются». Чермак вдруг начал его интересовать.

— Когда ты там, у них, все выглядит вполне сносно.

— Где там?

— У них в секретариате... Господи Иисусе! Мне же надо позвонить старику,— завопил вдруг Чермак.

Он подошел к телефону и быстро набрал номер.

— Ну что? — спросил Людвик.

Номер был занят. Чермак положил трубку, но не снимал с нее руки.

— Послушаешь их, все выглядит совершенно просто. Раз, два и готово! Они подают в отставку, президент ее не принимает, начинается волынка, затем затяжной кризис, потому что Готвальду не удастся сколотить правительство, коммунистам поставят неприемлемые для них условия. И в результате на свет божий появится правительство из специалистов...

Не кончив говорить, он снова набрал номер.

— Само собой... алло! Ну да! У них там сегодня потеха!

— Где?

— Прошу секретариат. Говорит «Глас лиду», у телефона Чермак Найдите мне шеф-редактора Геврле... Да! Да! Он должен там быть. Поищите хорошенько...

Вдруг Чермак обратился к Людвику совершенно другим тоном, прикрывая трубку рукою.

— С президентом там чисто сработано...— Он не договорил, выпрямился и набрал в легкие воздух.— Говорит Чермак. Здравствуйте!

Людвик слышал разглагольствования Геврле, его голос доносился из телефонной трубки. Казалось, он не дает Чермаку раскрыть рта. Чермак пытался несколько раз прервать этот поток красноречия, выдавил из себя какие-то нечленораздельные звуки и снова смолк.

— Написал, написал, господин шеф-редактор,— сказал он подобострастно.— Вот статья лежит передо мною на столе. К сожалению, она не набрана, типография отказалась набирать. Поэтому я и звоню... Отказалась. От-ка-за-лась... Да-да!

Снова начал разглагольствовать Геврле.

— Видимо,— выкручивался Чермак,— из каких-то политических соображений. Господа наборщики не согласны. Им кажется, что статья направлена против коммунистов... Я тоже не понимаю. Они послали ко мне депутацию, Каменика и еще одного наборщика... Не знаю, молодой такой, не знаю его имени.

— Вахуле,— подсказал ему Людвик.

— Вахуле. Да-да, Вахуле, я не мог припомнить... Да, конечно, я взволнован... Он коммунист? — спросил Чермак Людвика, отвернувшись от аппарата.

Людвик пожал плечами.

— К сожалению, не знаю. Но это была настоящая депутация. Они заявили, что говорят от имени всей типографии. От всех ли, вот уж, действительно, не знаю. Вероятно, от большинства. Они проголосовали, как водится. Заявляют, что не будут в дальнейшем набирать такие статьи... Да-да,— горячо соглашался он, кивая головой.— Я обеспечу. Думаю, что ваше присутствие здесь необходимо... Да, совещание... Пожалуйста... Нет, этого не знаю. Никто из редакторов по этому поводу не высказывался... Да-да...

Еще какое-то время он слушал причитания Геврле, потом молча положил трубку, вытер вспотевший лоб и уставился в пространство.

Людвиг вопросительно посмотрел на него.

— Он не мог понять,— сказал Чермак после минуты молчания.— Он думал, что нет свободной машины или что-нибудь в этом роде. Ну, а я из-за этого разбиваться в лепешку не стану. В два часа совещание.

— Оно меня не интересует,— сказал Людвик.

Чермак с минуту смотрел на Людвика с недоумением.

— То есть как? — спросил он.

— У меня инфильтрат,— сказал Людвик.

Чермак рассмеялся.

— Это идея! А ну погляди-ка, и у меня температура! Если что — я болен. Пощупай, чертовски высокая температура. Скажи, что у меня закружилась голова. Сделай это, дружище, в долгу не останусь. Видишь, я шатаюсь...

Заплетающимися ногами, что должно было обозначать, что у него кружится голова, Чермак направился к двери. Там он оглянулся и сказал с таким серьезным выражением лица, что Людвик, вероятно, поверил бы ему, если бы сам не был свидетелем этой комедии.

— Мне плохо! Придется лечь в постель. Проклятье! Как раз в такой момент, когда все поставлено на карту.

4

Жизнь! Жизнь! Все говорят о жизни.

Фишар однажды сказал ей, что она не подготовлена к жизни, а Люция недавно заявила: «Все дело в том, что ты никогда не сталкивалась с настоящей жизнью». Очевидно, жизнь — это серьезный противник, с которым всегда надо сражаться. А кто не сражается с нею, тот, наверно, никчемный человек. Как она, Ольга. «Мы живем не так, как надо»,— вздыхал Людвик. Но как надо жить — этого ей никто никогда не говорил. Видно, вся беда в том, что у нее есть деньги.

«Деньги отвратительны, и можешь на них плевать, раз они у тебя есть»,— заявил Владимир. А вчера мама, измученная поездкой, сидела и пила коньяк, потом вдруг сказала: «Родилась ты, девочка, в самое неудачное время».

Может быть, надо трудиться. Ну, словом, что-нибудь делать. Но кому нужен ее труд? Да что она умеет? Немного знает немецкий, немного французский. Немного играет на рояле, немного в теннис, не очень хорошо водит машину. Всего понемножку, а в общем ничего. И тем не менее до недавнего времени она постоянно слышала: «Оленька у нас необыкновенная». Теперь, правда, уже давно никто так не говорит, но все-таки, раз все так считали, что-то в ней было. Почему она была необыкновенной? И почему раньше никого не удивляло ее безделье? Наоборот, все удивлялись тому, что она жаждет деятельности. Она готовилась к экзаменам для поступления в театральное училище. Дважды сдавала, и дважды ее не приняли.

«С училищем или без училища, если у тебя талант — ты все равно будешь играть»,— повторяла Люция слова своего отца. И Люция не кончала училища, а вот играет. Но откуда Ольге знать, есть ли у нее талант? Она знает только — театр ее неудержимо влечет, и она завидует Люции. Даже и теперь иногда завидует, хотя уже примирилась с мыслью, что с театром у нее ничего не получится.

Во время войны мама говорила:

«Подожди, война кончится. Альфред тебе поможет. У него достаточно знакомых, ведь не пойдешь же ты в бродячую труппу. А пока можешь брать частные уроки у какой-нибудь актрисы».

Последние два года войны она ходила к госпоже Н. Читала роли Джульетты и Роксаны. Госпожа Н. была любезна, но сдержанна в своих оценках, она постоянно повторяла, что театр — это усердие, тяжелый труд и снова усердие и что при небольшом таланте требуется особое упорство, иначе лучше все это оставить, выбросить из головы — красивая внешность, дитя мое, еще ничего не значит. Ольга уже тогда испытывала неприятное чувство, подозревая, что госпожа Н. занимается с нею лишь из желания оказать услугу и церемонится только, может быть, ради Фишара, который уговорил ее давать эти уроки, или, может быть, потому, что нуждалась в деньгах, а мать платила щедро и аккуратно. Ольга окружала ее вниманием, носила ей цветы и конфеты, а потом яички, сало, ветчину. Ей казалось все-таки, что она к чему-то стремится и чего-то достигнет. А теперь у нее нет ничего, совершенно ничего. Только красивая внешность. Зимой она облекается в каракуль. Весной наденет клетчатый костюм с приятной красноватой искрой, который только что отдала шить. Эту шубу она уже доносит, потом можно будет переделать ее в жакет, но на будущую зиму надо сшить что-нибудь новое. Только не каракуль, она носит его третью зиму. Мама обещала ей вчера какой-то спрятанный у нее мех. Они с матерью сидели вечером одни, впервые за долгое время никто не прищел, даже Людвик не появился. Мама устала с дороги, поезд опоздал на целый час, и была на-

строена брюзгливо. Поездка в Кржижанов, очевидно, окончилась бесславно.

«Вот голодранка, гнида паршивая! — ругала мама Маржку Рознерову.— Старика я выгоню весной, все равно от него никакой пользы».

С матерью стало трудно. Даже Ольга не всегда знает, как с ней обходиться; она невозможно раздражительна, нервозна, словом, сказывается возраст. Как только приехала, выгнала Элен, обнаружив, что та, отправившись на танцы, взяла без спросу ее перчатки.

Что за глупость! Из-за перчаток! Где теперь, весной, кого-нибудь найдешь? Сколько она себя помнит, всегда к весне они оставались без служанки, ни одна девушка не могла с мамой поладить. Теперь она пойдет просить Кратохвилову, чтобы та пришла прибрать и затопить. А что делать, если Кратохвилова вообще откажется ходить к ним прислуживать?

— Я все продумала в поезде,— заявила вчера мать.— Сейчас для нас решается вопрос быть или не быть...

— Почему же быть или не быть? — спросила Ольга.

У матери всегда крайности. Ольга не удивляется — ей теперь нелегко с Альфредом. И вообще ей нелегко. Но, с другой стороны, иногда ее капризы просто невозможно выдержать. Ольга понимает, что и Альфреду тяжело. Несомненно, мать много значила в его жизни, и Альфред не решается, а может быть, и не хочет порвать с ней. Она для него — воплощение устойчивости. Нет, Ольга не стала бы принимать Люцию всерьез, слишком уж велика разница в возрасте, да и Люция — Ольга знает это совершенно точно — не относится к Фишару искренне. Пока что ей с ним, может быть, неплохо, ведь он все ей дает! Все — от малого до большого! Она видела ту брошь, которую Альфред подарил ей к рождеству...

Марта набросилась на Ольгу.

— Что ты говоришь глупости. Мы либо подохнем, либо будем жить. У тебя хоть останется красивое тело, а у меня и этого нет. Найдешь какого-нибудь парня, который о тебе позаботится. А я продам, что удастся, все барахло, которое осталось, немножко золота, ковры, а может быть, и этот дом, ну и Швигов, конечно, и буду жить на это. А когда все проживу — ну что ж, кончен бал! Жить без денег я не сумею, не хочу и не буду...— Может, все было из-за коньяка, она выпила почти полбутылки.— И уеду отсюда!

— Куда же, бог с тобой, что на тебя нашло?

— Я же тебе говорю, что все продумала. Если у Альфреда не отнимут Штернберк — так в Штернберк. Правда, мне там все действует на нервы, но что поделаешь.

— Ты думаешь, что Альфред...

Мать махнула рукой и засмеялась, смех был каким-то безнадежным, не то горьким, не то жестоким. Ольга испугалась этого смеха.

— Когда ему станет плохо, приползет. Я от этого не в восторге, но ничего другого не остается.

— Откуда у тебя такие мысли? Ведь ничего особенного не происходит.

— Не происходит! В том-то и дело, что ничего не происходит. Все время ничего не происходит. В этом и беда. Все происходит незаметно. Ничего не происходит, и вдруг ты обнаруживаешь, что ни на что не имеешь права, что голодранка, которая без тебя сдохла бы с голода, задирает перед тобой нос, что тебе приходится сидеть и разговаривать с мужиком, у которого грязь под ногтями и который не умеет даже держать вилку. А ты с ним разговариваешь, заискиваешь. Ничего не про-

исходит! Тебе дали документ, что завод твой, но тебя на завод не пускают, и бумажку Альфред может выбросить в корзину либо использовать для других целей. А если теперь коммунисты все перевернут вверх дном...

Ольга не понимает мать. Что перевернут вверх дном? Разве они еще не перевернули? Что им еще надо? Разве того, что произошло, мало? Недавно все в их компании перессорились. Владимир с Людвиком, Кайда с Люцией, а потом Владимир с Фишаром. Больше всего спорили об искусстве, как будто это и есть самое главное.

Ольга просто ничего не понимает, и как это вообще можно понять? Вот ведь она живет по-прежнему, а все вокруг только и говорят, что под угрозой как раз ее образ жизни. Эти разговоры она слышит уже давно. Иногда и ей кажется — должно случиться что-то такое, что изменит ее жизнь. Она сама не способна выбрать путь, хотя и понимает — так дальше жить нельзя. Она в тупике. Над ней, над всей ее жизнью что-то нависло, приближается момент, когда все сорвется, когда что-то наступит. И хотя пока ничего не происходит, у них с матерью схожие ощущения, разница между ними только в том, что мать хотела бы во что бы то ни стало жить по-прежнему. А Ольга уже не может так жить. Иногда ей даже хочется, чтобы это уж поскорей наступило. Но что наступит? Что может наступить? Мама потеряет доходы, она начнет продавать и экономить, а так как она не умеет этого делать, то станет совершенно невыносимой. Нет, даже если случится что-либо подобное, судьба Ольги не очень-то изменится.

«Мы все время ждем чего-то. Мы все как те люди на картине Ванека «Зал ожидания»,— говорил Владимир. А Фишар однажды сказал, так просто, мимоходом, может быть, где-нибудь вычитал это: «Нам не дано решать, как жить, мы можем просто жить».

Жить. Как, собственно, живет Ольга? Она занята только собой. Лежит и читает, смотрит в окно, размышляет о своей жизни, ходит в кафе, болтает, вечером ждет — придет ли кто-нибудь, а если никто не придет, опять ляжет и будет читать. Иногда театр, иногда кутеж. Господи, а что ей еще надо? И надо ли вообще что-нибудь? Одно время ей казалось, что она любит Людвика. Она думала о нем, когда его не было с нею, все время представляла себе его, только о нем и мечтала, а знала его мало, только однажды он поцеловал ее вечером перед домом, и нос у него был холодный. А потом он вернулся, и это был совсем другой человек, совсем не тот, каким она себе представляла и о ком мечтала. А потом произошла история с Владимиром. Стояло противное жаркое пыльное лето сорок пятого года, и была страшная скучища. Все ушли. Она лежала одна на тахте и читала, шторы были спущены. Она лежала и думала, хорошо, если бы хоть Людвик пришел, если бы был тут кто-нибудь.

И вдруг появился Владимир. Анна — тогда еще у них служила Анна, вскоре потом они с мамой поссорились,— Анна открыла ему дверь, он вошел в комнату и подсел к Ольге на тахту. Она была босиком, в легком летнем платье.

«Боже, какое зрелище. Ты поразительно красива!» — воскликнул он.

Она засмеялась и продолжала лежать, потому что вдруг ее охватило необыкновенное волнение. Может быть, волнение передалось ей от него, может быть, оно таилось в полутьме, в этой духоте. Он был рядом, она чувствовала его руку на своей груди, к своему удивлению, не защищалась, ей было приятно его прикосновение, легкое, почти благоговейное, она видела его удивленные глаза и взгляд, в котором засветилась нежность, ее воспламенило его волнение.

Потом она вырвалась из его объятий со всей силой, на какую только была способна. Она чувствовала себя испачканной, грязной, была полна отвращения и ненависти к Владимиру, с удивлением разглядывала его. Он лежал на тахте, запрокинув голову, и отдыхал. В первом приступе ненависти она подумала, что должна его убить. Но отчаяние и слезы отняли у нее всю силу. Она опустилась в ванной комнате прямо на пол. Теперь она испытывала только сожаление, отвращение и брезгливое чувство к самой себе. Она вылила на себя потоки воды, как будто хотела смыть свой грех, счистить грязь. Когда она нашла в себе силы вернуться в комнату, его там уже не было. Ольга бросилась к окну, не решаясь посмотреть на место, где это случилось, открыла окно, потом вышла на балкон. Воздух был горячим и терпким, внизу лежала раскаленная, почти пустая улица и сонная, неподвижная Влтава. Все это только усилило в ней ощущение одиночества и вины, ей казалось, что она не может дышать, что на ней клеймо отверженной, что она никогда уж не сможет появиться между людьми. Ольга была противна самой себе и вдруг затосковала по Людвику, по его нежности, ей захотелось услышать хоть одно ласковое слово из его уст, узнать, что он прощает. Она пошла тогда к нему, ждала его у запертых дверей, но в тот момент, когда он вернулся, ей стало страшно. Она почувствовала к нему физическое отвращение, он дрожал от желания так же, как Владимир. И в его глазах было то же жадное выражение. Нет, она не могла. И Ольга с силой вырвалась из его объятий.

Уйти, только бы поскорей уйти! С тех пор она живет в какой-то клетке, замкнутая, постоянно настороженная. Чувства в ней словно умерли, все в ней молчит, когда Людвик прикасается к ней. Наверно, она уже не способна любить, наверно, она боится чувства, ей кажется, она бы не выжила, если бы повторилось то, что она испытала с Владимиром.

И все это называется жизнью. Но разве это жизнь? Что ей сделать, чтобы начать жить? Все это смешно. Она отправится к портнихе примерить весенний клетчатый костюм с красной искрой, затем к парикмахеру и потом, если успеет, зайдет в театр за Люцией. Они могли бы вместе пойти пообедать. Когда она уже собралась уходить, ей пришло в голову, что надо заглянуть к матери. Ольга открыла дверь в прихожую, на нее пахнуло холодом — боже, да тут просто мороз, в ее комнатах теплее.

Мама лежала, но не спала.

— У меня не хватает мужества встать,— сказала она вместо приветствия.— Что меня ждет? Одни неприятности!

— Тебе надо зайти к Кратохвиловой,— сказала Ольга.

— Это первая неприятность. А ты что собираешься делать? Куда идешь? Зайди к ней, пожалуйста, и отдай ей ключи.

— Я спешу к портнихе,— сказала Ольга.— Не так-то просто будет договориться с Кратохвиловой, ты ведь знаешь, что я вряд ли сумею.

— А что, если я на все наплюю? — вдруг взорвалась Марта.— Подумаешь — «к портнихе»! А если я скажу тебе — сама заплати за свои тряпки, сама убери, затопи, принеси уголь из подвала...

Ольга села на табурет возле постели Марты и молча глядела на нее. Вдруг ей показалось, что перед ней лежит чужой человек, а не ее мать.

— Что ты на это скажешь? — спросила Марта и рассмеялась.

Ольга пожала плечами.

— Что мне сказать,— ответила она тихо. Ей было чего-то бесконечно жаль и вдруг стало грустно.

— Ступай! — Марта повернулась лицом к стене.— В прихожей висят ключи, дай их Кратохвиловой и скажи, чтобы она пришла сюда.

Ольга поднялась и вышла, не говоря ни слова. Спустившись в подвал, она позвонила.

Когда открылась дверь, в нос ей ударил запах вареной капусты, коридор был полон пара.

— Заходите,— сказала Кратохвилова,— затворите дверь, сквозняк. Вы видите, барышня, я стираю.

Ольга подумала, что впервые зашла в квартиру Кратохвиловой, и несмело остановилась у дверей, будто ей было страшно идти дальше.

— Мама просит вас, пани Кратохвилова, чтобы вы к ней зашли, когда у вас будет время. Это неспешно.

— Я знаю,— сказала Кратохвилова, вытирая руки передником.— Вы ведь выгнали эту словачку. И, конечно, без предупреждения. Девушка ночевала здесь, у меня. Ей некуда было деваться, барышня, к вашему сведению.

— Боже мой, я об этом ничего не знала,— ужаснулась Ольга.— А где она теперь?

— Уехала домой, куда же еще. А я ей сказала: наплюй ты, девка, на господскую службу. Теперь все трудящиеся свободны.

— Мать хотела только протопить в квартире,— сказала Ольга в смятении.

— Так пусть протопит, я ей мешать не буду.

— Я хочу сказать — надо принести уголь.

— А для этого, барышня, берут корзину и идут в подвал. А если вы не знаете, где это, так я вам скажу — он как раз напротив нашей квартиры. Да-да, вот тут, сразу же за этими дверями. А уважаемой госпоже скажите, что она может прийти и поцеловать меня в...

Убегая, Ольга слышала, как Кратохвилова что-то кричала ей вслед, но не разобрала что. Перед входом в квартиру она пришла в себя, успокоилась и повесила ключи в прихожей.

— Кратохвилова не придет,— сказала она.

— Только этого не хватало. Ее нет дома?

— Она стирает или что-то в этом роде.

— А мне какое дело!

— Она не пришла бы, даже если бы была свободна. Почему ты не сказала, что выгнала Элен на улицу, не дала ей даже переночевать здесь? Она ночевала у нее...

— У кого?

— У Кратохвиловой.

— Я назвала ее воровкой, а она собрала вещи и ушла.

— Ну, словом, Кратохвилова не придет. Что теперь делать? Ты же не можешь оставаться в таком холоде. А что, если вечером ко мне кто-нибудь зайдет?

— Что мне до того,— зло бросила Марта.

Портниха, парикмахер. Было уже половина первого, когда Ольга зашла в театр за Люцией. На сцене никого не было. Она направилась за кулисы. Но и там коридоры и уборные были пусты. Она подумала, что репетиция кончилась и Люция ушла. Но когда Ольга шла обратно, за одной дверью она услышала шум и несмело приоткрыла ее.

В репетиционном зале было накурено, здесь собрались не только актеры, но и все работники театра. Ольга протолкалась в угол и, встав на цыпочки, принялась искать глазами Люцию.

На небольшом возвышении у рояля стоял актер Пергл и произносил речь:

— Таков замысел реакции! Мы, актеры, знаем, на чью сторону станем в этот решающий час. Смысл нашей жизни в том, чтобы служить народу. И мы не изменим своему долгу. Мы должны избрать из своих рядов комитет действия, как призывает нас коммунистическая партия, мы очистим наш коллектив от тех, кто хотят помешать нашей борьбе за справедливость, за социализм!

Он кончил, и раздались аплодисменты.

Ольга стояла среди группы молодых людей в синих комбинезонах, которые шумели, топали и аплодировали. Она почувствовала на себе их взгляды и смутилась. Несколько раз она робко и неуверенно принималась хлопать, стыдясь себя самой, потом заметила Люцию, которая стояла вместе с остальными и аплодировала. Ольга протолкалась к Люции и тронула ее за локоть. Люция была явно взволнована и захвачена происходящим. Она кивнула Ольге, не переставая аплодировать, и снова повернулась в сторону импровизированной трибуны. Только когда все успокоились и снова расселись по местам, она вышла с Ольгой в коридор.

— У нас собрание,— сказала Люция.— Сегодня не репетировали, слишком накаленная атмосфера. Тебе что-нибудь нужно?

— Ничего особенного, я только думаю... Мне хотелось бы с тобой пообедать, если у тебя есть время!

Люция посмотрела на часы.

— Уже половина первого! — изумилась она.— Собрание еще продлится какое-то время.

Ольге показалось, что Люция смотрит на нее с удивлением, и она добавила не совсем уверенно:

— Если ты не идешь с кем-нибудь другим, конечно...

Они условились, что Ольга подождет ее в столовой на Пршикопах. Там было полно, люди торопливо ели и тотчас уходили. Официант бросал на Ольгу неприязненный взгляд каждый раз, когда она упорно отказывалась заказать себе обед. Ольга глотала скверный вермут и пыталась разобраться, чем вызвано то ощущение недовольства, которое она сейчас испытывала. Она навязалась Люции, вот в чем дело! Но потом пришла к выводу, что дело тут не в Люции, а скорее в том, что непонятный страх заставил ее аплодировать заключительным словам Пергла. Да, она боится. И не может понять, что происходит. Что-то решается, а она лишена права участвовать в принятии решения. Там, в театре, она вдруг почувствовала себя лишней, никому не нужной, способной только мешать людям. Еще до недавних пор, когда ею овладевало это чувство покинутости и ненужности, она утешала себя тем, что с ней охотно встречается множество людей; не бывает вечера, чтобы кто-нибудь не пришел к ней или, по крайней мере, не позвонил по телефону и не пригласил ее куда-нибудь. Ну хотя бы Людвик, который приходил с удручающей аккуратностью. А вчерашний вечер она впервые за долгое время провела одна, правда, у нее немного посидела мама. Разговор был грустный, бессмысленный... все бессмысленно.

Пришла Люция в темном зимнем костюме, отделанном мехом, положила жакет и муфту на соседний свободный стул. Она голодна как волк. До чего же интересно наблюдать людей в такое исключительное время, как сейчас. Очевидно, действительно наступает решающий момент. И люди выворачивают душу наизнанку. Люция мало раздумывала о таких вещах, и ее даже удивило, с какой легкостью она приняла решение.

— Какое? — спросила Ольга.

— Меня выбрали в комитет действия, все за меня голосовали.

— А тебе понятно все это?

— Что именно? — спросила Люция, не разобрав, о чем идет речь.

— То, что происходит. Чего хотят коммунисты,— сказала Ольга.

— Мы сейчас репетируем одну историческую драму из гуситской эпохи. Я там играю королеву. И в одном месте Якубек из Стржибра, когда должен был решать, идти ли ему с таборитами, говорит: «В мир пришла правда, которой никогда еще не знали люди!»

Ольга видела, что Люция взволнована и сосредоточенно думает о том, что говорит.

— Ты думаешь, что они правы?..

— Возможно, я только чувствую это. Пожалуй, не знаю. Но все же это мое глубокое убеждение. Вроде того, как во время войны я чувствовала, что немцы не могут победить, потому что правда не на их стороне. Именно потому, что они неправы, они и не вправе побеждать.

— А я не чувствовала этого. Ни во время войны, ни теперь... А как вы об этих вещах договариваетесь с Альфредом?— не без иронии заметила Ольга.

— Мы об этом не говорим. Он со мной во всем соглашается,— сказала Люция.

— Ну что ты! Альфред?— воскликнула Ольга с удивлением и расхохоталась.— Не может быть!

— Может,— спокойно ответила Люция, набрасываясь на еду.— Ведь он совершенно бесхарактерный человек. Я долго не знала этого,— Люция произнесла эти слова так твердо, что Ольга с изумлением посмотрела на нее.

— Что он тебе плохого сделал?— спросила она удивленно.

— Мне? Ничего! Я ему, собственно, должна быть очень благодарна, он много раз мне помогал. И все же я думаю о нем именно так... Да, ведь ты хотела со мной поговорить?— прервала она свои рассуждения.

— Ну давай поговорим,— ответила Ольга,— хотя бы и об этом. И о себе. Иногда я просто не могу выдержать там, дома. Всю эту жизнь без смысла и без цели...

— Без работы,— поправила сухо Люция.

— Ну хотя бы без работы. Ну а что мне делать? Никому я не нужна, никто меня не захочет взять на работу. Я ведь ничего не умею.

— Если ты будешь цепляться за мамашины деньги, никогда ничего и не изменится.

— Но что же мне все-таки делать?— воскликнула Ольга и отодвинула тарелку.— Советы давать легко. Не идти же мне на улицу...

— Ты давно могла уйти из дома.

— Каким образом? Куда?

— Ну хотя бы с Людвиком. Так и то было бы лучше.

— Ну это я всегда могу сделать. Но боюсь,— сказала Ольга, растерянно взглянув на Люцию. Руки ее нетерпеливо вертели зажигалку.

— Дай мне сигарету. Я свои все выкурила,— сказала Люция, внимательно наблюдая за Ольгой.

Она закурила и сказала с деланным безразличием:

— Ты его не любишь?

— Не знаю,— пожала плечами Ольга.— В самом деле не знаю.

— Тогда...— начала было Люция, но как будто передумав, замолчала.

— Что? Что ты хотела сказать?

— Я подумала, что в таком случае не следовало бы притворяться.

— Ты с ним об этом говорила,— заключила Ольга, испытующе глядя на Люцию.

— Говорила,— кивнула Люция.— У него, как и у тебя, была потребность с кем-нибудь об этом поговорить.

— Но почему он выбрал именно тебя? — сказала Ольга не без горечи.

— Не знаю,— ответила Люция холодно.— А почему ты выбрала именно меня?

— Когда ты с ним об этом говорила?

— Довольно давно,— солгала Люция.

Она не чувствовала себя с Ольгой свободно и начала побаиваться ее вопросов. Но обязательно хотела это выяснить, ей необходимо было все знать. С утра ее переполняло какое-то чистое и радостное чувство, словно она вчера что-то нашла. Может быть, нашла того, кто поможет ей порвать с Фишаром.

Люция наблюдала вчера за лицом Людвика, когда его голова лежала на ее обнаженной руке, глаза его были закрыты, казалось, он заснул, ее рука болела от напряжения, но она ни за что не пошевелилась бы в ту минуту. Ее охватило блаженное состояние: у нее есть кто-то, кто не требует ее благодарности и ни о чем не просит.

— Со мной все обстоит не так-то просто,— сказала Ольга.

Люция слышит ее голос как бы издалека.

— Что именно? — спрашивает она.

— Наши отношения... мое отношение к Людвику, видишь ли, я страшно боюсь...

— Чего?

— Любви. Физической близости,— сказала Ольга, густо покраснев, и поспешно стала раскуривать сигарету.— Знаешь, между нами ничего нет.

Люция молчала, ей показалось, что после вчерашней ночи она не имеет права о чем-либо спрашивать. И Ольга не ждала советов и утешений.

— Я не знаю, что со мной,— сказала она почти шепотом, не глядя на Люцию.— Все во мне сжимается, когда он приближается ко мне. И не только Людвик. Любой мужчина... Это было так противно и гнусно, мне стыдно вспомнить об этом.

— Кто это был? — спросила только Люция.

— Владимир,— сказала Ольга и с отвращением бросила смятую сигарету в пепельницу.

5

На два часа дня Фишар был приглашен к Нывлту в его виллу в Дейвицах.

Яромир Нывлт стал после революции душой Совета торговли и промышленности. Возглавив руководство СТП, он действовал необычайно расчетливо. Нывлт знал, что возможности промышленников будут в ближайшее время ограничены и что любая инициатива в этой области означает бесполезную трату сил, поэтому он, сам в прошлом промышленник, всю энергию направил на расширение крупных торговых операций и прежде всего на внешнюю торговлю. У него были широкие знакомства за границей, и он мог рассчитывать на поддержку влиятельных иностранных кругов. Нывлт ничем не скомпрометировал себя в годы войны, которые провел в эмиграции в Англии, его сын сражался сначала на Западе, а потом на Восточном фронте. Сам он пользовался значительным влиянием в министерстве внешней торговли и, главное, глубоко понимал, чего от чехов хотят за границей. Его коньком были стекло и ювелирные изделия; в этих областях, говорил он, необходимо прежде всего восполнить недостаток квалифицированных сил, унесенных войной. Его усилия были

направлены на то, чтобы, по крайней мере, немцы не вытеснили Чехословакию с заграничных рынков. В качестве председателя СТП он поддерживал и помогал обновлять, часто бескорыстно и великодушно, фирмы, являвшиеся для него конкурентами. Его деятельность была, правда, значительно ограничена двухлетним планом, который он расценивал как страшный удар по национальной экономике, особенно по торговле.

В такое время, когда для развития хозяйства требуется размах, свобода рук в торговле, иными словами — инициатива, выдумка и предпринимательская смелость, не раз говорил он, вдруг напялить на себя такой корсет, что даже дышать невозможно! Мы и так страдали от чахотки, а теперь, когда коммунисты отвергли «план Маршалла»,— просто погибнем, и ни один пес по нас не завоет. Поговорите с любым человеком на Западе, ведь они смеются над нами. Думаете, им неизвестно, что тут, у нас, происходит? Коммунистам еще дорого обойдется их самонадеянность. Чертовски дорого. Око за око, зуб за зуб! Мы постараемся в любой области, а главное, в области внешней торговли, вскрыть им вены, и они подохнут от малокровия. Сперва ослабеют, а потом мы прихлопнем их, как мух.

Едва Фишар уселся, Нывлт начал говорить; он выложил свой план и поделился своими замыслами.

В ближайшее время необходимо провести реорганизацию СТП, чтобы в изменившихся условиях Совет был способен сыграть ту выдающуюся роль, которая его несомненно ждет. Нывлт не скрывал, что считает СТП ядром будущего правительства. Правительства специалистов. До сих пор деятельность Совета на семьдесят процентов была посвящена восстановлению предприятий — его помощью пользовались в тех случаях, когда надо было обходить законы и декреты и торговаться с министерствами и с фондом национальной реконструкции. А остальные тридцать процентов усилий поглощала сахарная промышленность. Нужно было насколько можно дольше оттягивать окончательное решение о национализации этой отрасли и тормозить все попытки реорганизовать ее. Из препирательств между политическими партиями как раз в вопросе о сахарной промышленности СТП может в будущем извлечь для себя немалую пользу, так как декрет о национализации допускает здесь множество различных истолкований. Необходимо приложить усилия к тому, чтобы СТП стал, а по законам логики это в ближайшее время окажется возможным, решающей силой в государстве. Надо к этому подготовиться. Руководству Совета следует избавиться от мелкотравчатости и типично чешского крохоборчества, которые мы теперь, к сожалению, встречаем даже у людей, в прошлом способных на большой размах и незаурядную предприимчивость.

Он говорит об этом с Фишаром именно потому, что рассчитывает на него как на будущего генерального секретаря Совета. Само собой разумеется, обновленного Совета, который будет организован через несколько минут в этой самой комнате.

— Доктор, ради бога, не сходите с ума! Знаете ли вы, что значило перед войной быть генеральным секретарем Союза промышленников? Я предлагаю вам именно этот пост. Но в действительности он будет многим выше. Сегодня это означает в три дня воздвигнуть храм национальной экономики, который в течение двух лет уничтожали коммунисты, а до этого пять лет — немцы.

Нывлт нравился Фишару. Это — реалист, в нем нет ничего от фанфарона. Он сохранил запал старых промышленников, их широкий размах, правда теперь ему немного подрезали крылья, и поэтому, даже когда он употребляет метафоры и громкие слова, вроде слов о храме на-

циональной экономики, в его тоне чувствуется легкая ирония, прежде всего по собственному адресу. Конечно нельзя не видеть, что он утомлен. Как будто на него свалилось какое-то бремя, может, личное горе скрывается за его нарочито безличной, гладкой речью. Он заметно картавит, но это, как ни странно, только усиливает производимое им впечатление солидности.

— Прежде всего,— говорит Нывлт,— необходимо убедить тех людей, которые вскоре сюда придут, в том, что мы — утопающие. Поэтому нет смысла торговаться о цене, которую нам придется заплатить за свое спасение. Короче говоря, нельзя в такие минуты ничего жалеть и бояться каких-либо жертв, доктор.

Может быть, если бы эта беседа происходила на несколько дней раньше, Фишар не стал бы колебаться. Но теперь, после возвращения из Кржижанова и разговора со Шмидтке, он заколебался, утратил уверенность и, главное, утратил надежду на возможность что бы то ни было спасти. Подсознательно он уже свыкся с мыслью, что не надо ничего предпринимать и нет смысла биться за заведомо проигрышное дело. Спрашивая себя в эти последние часы, что для него важнее всего, он находил только один ответ — моя собственная шкура, мой собственный покой.

Они сидели в просторном холле у камина, в котором горели большие поленья, и пили черный кофе. Здесь было приятно, и главное — удивительно тихо. Неподалеку от камина стоял длинный стол, вокруг стола мягкие кресла, на высоких окнах висели тяжелые шторы. В другом конце холла, погруженном в полумрак, виднелась лестница, ведущая в комнаты хозяев. Картины старых мастеров, охотничьи трофеи — все убранство холла напоминало старинные замки.

Во время разговора к ним присоединилась жена Нывлта. Она произвела на Фишара большое, хотя и странное впечатление. Немолодая — ей наверняка перевалило за сорок,— она скорее напоминала тень, чем живого человека. «Белая тень»,— подумал Фишар. Тихая, с трогательно нежной улыбкой, с бледным лицом, светившимся чистотой, спокойствием и невинностью. Она была в чем-то светлом. Фишар потом не мог вспомнить, в чем именно, но в чем-то удивительно простом, естественном и в то же время освежающем ее. И, хотя держалась она незаметно, Фишар все время ощущал ее присутствие и чувствовал, что найти доступ к тайным мыслям Нывлта он может только через нее. А планы и судьбы СТП его занимали в этот момент гораздо меньше, чем то, что в действительности Нывлт думает о создавшемся положении. Фишар отдавал себе отчет, что все сказанное потом было, собственно, адресовано ей, хотя она и не принимала участия в разговоре. Он знал кое-что об истории их брака. Одно время вокруг нее было много разговоров — она чем-то напоминала легенду о Пигмалионе. Нывлт встретил молодую девушку, дочь строительного рабочего, вытащил ее из страшной нужды и послал учиться куда-то в Швейцарию; он полностью завладел Элишкой и постарался сформировать ее характер согласно своим желаниям, а потом женился на ней. Говорили, что нет на свете более счастливой супружеской пары.

Фишар слушал рассуждения Нывлта и его предложения совершенно равнодушно, не комментируя и не задавая вопросов до тех пор, пока не появилась его жена. И вдруг в Фишаре проснулось любопытство, ему захотелось понять, что связывает этих людей.

Он сказал после недолгого молчаливого раздумья:

— Да. Все бы могло быть так. Конечно при условии, что совершенно изменятся тенденции всего предшествующего развития, что удастся исключить влияние коммунистов и Востока на нашу экономику. Разре-

шите мне задать один вопрос. Откровенный вопрос, и я хотел бы услышать на него столь же откровенный ответ.

— Пожалуйста, прошу вас,— сказал Нывлт, сильно картавя, и уставился на пламя в камине.

— Вы думаете, что существуют предпосылки для такой победы? — И так как Нывлт не сразу ответил, Фишар продолжал: — Нет смысла закрывать глаза на создавшееся положение. И я уверен, что вы не делаете этого. Я предпочел бы в данный момент говорить о том, что мы не произносим вслух, хотя и постоянно думаем об этом.— «Это слова Шмидтке»,— вспомнил он.— Так вот, мне часто приходит в голову: а не является ли все, что происходит — общее наступление коммунизма в Европе,— исторической необходимостью, результатом какой-то определенной исторической логики. Мы любим многое сваливать на плохую дипломатию, на ошибки политиков — у нас и на Западе. Но могут ли они не делать ошибок, если допустить, что речь идет об исторической необходимости?

Он сделал жест, словно бы прося извинения, и, немного погодя, добавил:

— Надеюсь, вы меня понимаете. Признаюсь вам, в последнее время эти вопросы тревожат меня, и я не уверен...

— Я хорошо представляю это,— прокартавил Нывлт и умолк.

Не шевельнувшись, он продолжал смотреть на пламя. Ясные светлые глаза его жены глядели на него с пугливым любопытством.

— Люди, которые представляют себе, что такое мировое хозяйство,— начал Нывлт издалека,— которые понимают, что значит и что будет значить в ближайшее десятилетие развитие техники, ясно отдают себе отчет в том, что со старыми методами, со старыми общественными учреждениями нельзя вступать в атомный век. Эти люди неизбежно ощущают противоречия, иногда, признаюсь вам, очень острые. Они не приемлют восточную общественную организацию, но хорошо знают, что западная уже не соответствует нынешнему ускоренному развитию. Одежда стала тесной. И если все продумать, то мы с ужасом увидим, что коммунисты не так уж далеки от истины. Сохранить старый мир могут только далеко идущие реформы...

— Какие? — перебил его Фишар.

Нывлт горько усмехнулся, как человек, которого уличили в непоследовательности, и сказал с легкой, едва уловимой иронией:

— В том-то и дело. Их еще только ищут. И, насколько я знаю, пока это далекая от практики философия. А в конце концов все сводится к одному решению.— Он махнул рукой и добавил: — Оставим это.

— К войне,— добавила жена с горечью и опустила свою чашку на стол.

Наступило долгое молчание, все пристально глядели на огонь. И снова молчание решился нарушить Фишар.

— Не стоит говорить об этом, если вам неприятно,— сказал он, словно извиняясь,— но, признаюсь, меня очень интересует, как вы будете себя вести, что станете делать, если победят коммунисты?

— А вы?

— Не знаю,— сказал Фишар.— Если бы я знал, я бы, вероятно, не спрашивал вас... Возможно, подчинюсь.— И он усмехнулся.

— Мы уедем,— сказал Нывлт.— Пока я не верю в такой исход и, главным образом, потому, что мне не хочется верить. Я надеюсь, что коммунисты совершат какую-нибудь ошибку, что они переоценят свои силы. И, может быть, это на время отодвинет их победу. Много ли нам остается жить? Поэтому я говорю так, как говорю, поэтому хочу реорга-

низовать СТП и буду делать вид, что ничего не происходит, что будущее за нами. И вам я советую поступать так же.

— Боюсь, что я уже не смогу,— сказал Фишар и посмотрел на часы.

Он вдруг почувствовал, что его захватили врасплох, что он зря тратит время. Все предполагают в случае неудачи уехать за границу. А он, Фишар, знает, что не сможет этого сделать. У каждого из них там уже давно что-то на примете, а вот его там ничто не ждет. У него есть квартира, полная дорогих старинных безделушек, и Люция... Есть еще Марта. Вот все, чем он живет. А что в этом хорошего? Он вдруг почувствовал, что потеряет Люцию, останется только Марта, старая, утомленная, истеричная Марта. И пустая, ненужная жизнь. К чему она?

— Куда мы уедем? — прервал неожиданно его мысли робкий, почти просящий голос жены Нывлта.— Почему ты мне об этом ничего не говорил, Яромир?

— Мы пока только теоретизируем,— сказал, картавя, Нывлт, и было заметно, что ему этот разговор неприятен.— Незачем было тебе об этом говорить. Правда, я принял кое-какие меры на всякий случай. Я подумываю о Канаде.

Она с трогательным отчаянием сжала руки.

— В Канаду,— прошептала она, и в тоне ее прозвучала безнадежность.

Потом она спросила — собственно, это был не вопрос, а скорее напоминание и упрек:

— А как же Карел?

— Надеюсь, что и он поедет.

Ее реакция на эти слова была неожиданно бурной. Она поднялась и, опираясь рукой о кресло, произнесла изменившимся голосом:

— Ты же знаешь, что он этого не сделает.

Нывлт сидел неподвижно, вполоборота к ней, и пристально глядел на пылающий камин.

— Я не стану тебя принуждать. Ты будешь решать сама.

Она села, судорожно сжала руки на коленях и только прошептала:

— Боже!

Вот оно что! Вот то скрытое горе, которое тяготило Нывлта. Фишар почувствовал себя виноватым.

— Простите,— сказал он.— Я не подозревал этого. Меня интересовала скорее теоретическая сторона вопроса.

— Нет-нет! — воскликнула она.— Вы не должны извиняться. Я вам благодарна за этот разговор.

— Элишка права! — сказал Нывлт.— Вы не должны упрекать себя, доктор. Может быть, без вас у меня не хватило бы мужества это высказать. Дело в том, что у моего сына совсем другие взгляды. Он ушел от нас еще во время войны, то есть,— поправился он,— точнее сказать, ушел от меня. И больше не возвращался в мой дом...

— Я никогда ни в чем тебя не упрекала,— сказала госпожа Нывлтова.— Никогда не упрекну. Не знаю только, сможет ли он теперь подчиниться твоей воле.

— Может быть, все эти рассуждения преждевременны,— попытался закончить разговор Нывлт.

— Ты же знаешь, что нет,— твердо ответила его жена.

Нывлт молчал и не решался возразить даже жестом. Обращаясь к Фишару, она сказала:

— Мой сын — коммунист, господин доктор.

Фишар смущенно кивнул и понял, что необходимо либо переменить тему разговора, либо уйти.

— Так вы хотите и после всего того, что было сказано, представить меня как будущего генерального секретаря СТП?

Нывлт встал и прошелся по холлу, заложив руки за спину и опустив голову. Наконец он остановился перед Фишаром и, глядя ему в глаза, сказал с усталой улыбкой:

— А что еще мы можем делать? Доиграем, доктор, этот фарс до конца.

Госпожа Нывлтова встала, подала Фишару руку и с едва заметной улыбкой на губах, не говоря ни слова, удалилась.

Нывлт снова сел у камина. Фишар молчал, боясь коснуться того, о чем тут только что говорилось. Ему пришла в голову фраза, которую он недавно где-то вычитал: «Сын восстанет против отца, жена против мужа». Он старался вспомнить, откуда эти слова, вероятно, из каких-нибудь старинных текстов.

— Вот так обстоит дело,— заговорил Нывлт.— Мой сын инженер, работает в Пльзени. Он иногда встречается с матерью, но порога этого дома не переступает. Я для него чужой человек, в лучшем случае. А не сегодня-завтра — враг. Я знаю, что он оказывает на мать влияние...

Он помолчал и снова спрятался за свою иронию.

— Он сеет в ее душе семена бунта. Конечно уверяет, что я ее поработил, пробуждает в ней, вероятно, прежние классовые инстинкты,— усмехнулся он.— Я не сержусь, боже сохрани,— продолжал он через минуту.— Не думайте, пожалуйста. Иногда я даже понимаю его. Он просто преодолел то, чего я преодолеть не могу. А может быть, ему и не пришлось этого преодолевать.

Фишар пристально посмотрел на Нывлта, и тот засмеялся.

— Французы называют это délicatesse *,— объяснил он своим обычным полуироническим тоном.— У меня это свойство проявляется прежде всего в непреодолимом отвращении к той вульгарной шумихе, которой коммунисты приправляют иногда — я признаю это — даже правду. Может быть, вам это покажется мелочью, ведь речь тут идет скорее о форме, чем о содержании, но я именно так это воспринимаю. Думаю, вы понимаете меня.

Конечно Фишар понимает — еще бы ему не понять! Ему-то определенно придется преодолеть это отвращение, придется перестроиться, перестать существовать в своем нынешнем облике и напялить какую-то маску, шутовской наряд. Лучше всего ему подойдет маска усталого человека, который со всем примирился и перестал тревожиться о суетных мирских делах, о политике и прочих глупостях, перестал мечтать и потихоньку доживает свой век. Он будет немного скучать, утратит свою значимость и перестанет вызывать интерес к себе. Возможно, Люция сохранит к нему добрые чувства из благодарности и хоть иногда зайдет пора довать старого человека и узнать, не нуждается ли он в чем-нибудь.

Останется раздражительная, капризная, истеричная Марта. Да, перспективы невеселые.

Правда, есть еще одна возможность. Не сдаваться, продолжать борьбу. Конечно, новые условия потребуют новых методов. Ему придется изображать человека, у которого, хотя и в последнюю минуту, но все же еще вовремя открылись глаза, который понял подлинный смысл событий и раскусил махинации и намерения... ну да, реакции. Вероятно, не он один выберет в ближайшее время такой путь.

---

* Изысканность *(франц.)*.

— Значит, вы окончательно решили,— обратился он к Нывлту.

— Да, даже если моя жена откажется поехать со мной — вы это хотели сказать? Да, я поеду один!

— А как вы думаете, что ждет тех, я имею в виду людей вроде меня, кто решат остаться?

— Что? Прозябание. И это — в лучшем случае, если они чисто случайно избегут тюрьмы,— ответил Нывлт, не задумываясь.

В сад въехали одна за другой несколько машин. Съезжались члены СТП. Фишар вдруг почувствовал, что он не в силах сидеть на заседании и выслушивать оптимистические речи. Ему надо подумать о собственном спасении. Именно теперь необходимо обеспечить себе прикрытие. Завтра, возможно, будет поздно. Он послушается Шмидтке. Шмидтке прав, как всегда. Пока он еще не знает, как это сделать, к кому обратиться, кому сообщить, что он прозрел, что у него в эти дни открылись глаза. Может, обратиться к Писену, старому члену коммунистической партии, с которым он перед войной сталкивался и которому даже несколько раз помог. Есть еще художник Ванек. Фишар видел недавно его имя в газетах, он занимает какой-то пост.

— Пойдемте,— сказал Нывлт и взял его под руку.— Сделаем веселое лицо и пойдем.

6

Людвик всегда склонен был переоценивать значение собственной жизни и воспринимал самые обыденные случаи, касавшиеся его лично, как нечто исключительное. В этом, конечно, не было ничего необычайного — так происходит с большинством людей, но у Людвика это проявлялось в большей степени. Он легко терял голову. Рушился мир, и вселенной грозила катастрофа. Любая встреча была для Людвика необычной. Часто, когда случаи производили на него особое впечатление, он готов был видеть в них более глубокий смысл, нечто роковое. Он был склонен к суеверию и, хотя не сознательно, а скорее подсознательно, верил, что кто-то свыше управляет жизнью людей. Он не мог точно назвать эту силу — это не был ни бог, ни рок. Людвик боялся таких слов. Скорее он верил в какую-то непостижимую закономерность, в то, что люди определенного типа непременно должны встретиться и что между такими людьми существует взаимное притяжение. Разумеется, на него сильно повлияли годы, проведенные в концлагере. Многие, кто побывали там, могут подтвердить, что самой легкой, естественной и удобной защитой от всего непостижимого, что там свершалось,— истязаний, казней, так называемой селекции,— был фатализм. Не вникать, не раздумывать. Чему быть, того не миновать. В то время в его душе не было глубоких противоречий. Он просто принимал события к сведению, независимо от того, нравились они ему или нет. Лишь позднее, размышляя о том, что произошло в ту пятницу, когда скрестились и переплелись судьбы многих людей, до того совершенно чуждых друг другу, он решил, что это было не случайно. Хотя, конечно, можно отделаться старыми поговорками, что мир тесен и что гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдутся. Очевидно, так оно и было.

Людвик решил не ходить на редакционное совещание. Впрочем, он и не знал, вправе ли вообще идти туда. Он сложил свои личные вещи, упаковал свою корреспонденцию и оставил их в проходной. В два часа, когда, вероятно, совещание началось, он сидел в «Сплите» с Краммером.

Краммер радостно приветствовал его. Он уже стал побаиваться, что ему придется пить до вечера одному. На шесть часов у него было назначено свидание с американцами, а до тех пор не оставалось ничего дру-

гого, заявил он, как топить свои мрачные мысли в алкоголе. Их разговор, естественно, вертелся вокруг этих мрачных мыслей, точнее сказать, Краммер продолжал размышлять в таком же духе, только с той разницей, что делал это вслух.

Он совершенно отвергал оптимистические прогнозы дальнейшего развития событий, а также отметал все попытки Людвика утешить и разубедить его.

— Должен вам сказать, милейший идеалист, что я принадлежу к тому типу людей, которых нельзя втиснуть в какие-то рамки. Для коммунистов все ясно и просто. Я для них реакционер, декадент, космополит, человек, как говорится, без роду, без племени. При этом, однако, я довольно ясно сознаю правомерность происходящего. А ведь то, что правомерно, то правильно и нередко — справедливо. Но я не смогу убедить коммунистов в том, что я так думаю и что я иной. Поэтому мне придется уехать. Я бы, пожалуй, поехал в Палестину, но, в сущности говоря, я антисемит. А коммунистам я никогда не прощу того, что они заставили меня вернуться к жене...

Он горько рассмеялся и с видом, выражающим покорность судьбе, выпил.

— Краммер,— сказал ему Людвик,— мне хотелось бы узнать одну вещь. Ведь вы прежде всего писатель, и все, что происходит вокруг вас, с вами и в вас, вы уже заранее проецируете в свои будущие литературные произведения...

— Откуда вы это знаете! — воскликнул Краммер.— Ведь, насколько мне известно, вы не пишете...

— Ну, одним словом, знаю,— ответил Людвик.— Вы сами изображаете героев ваших будущих романов. Уж такой вы человек.

— Верно, и вы тайком грешите этим...

— Речь сейчас идет не обо мне, а о вас. Ведь вы иначе жить не умеете. А как же вы сможете писать там?

— А как бы я стал писать здесь? — засмеялся Краммер.— Ведь коммунисты не любят психологических романов. Они вообще не любят психологии. Но то, что вы говорите, очень интересно. И даже, может быть, это правда. Я, честно говоря, ненавижу литературу. Именно потому, что жизнь вижу только сквозь нее. Я, вероятно, и вижу ее в ложном свете, поэтому-то и свою собственную жизнь я стилизую под литературу. Таким образом, всякое настоящее горе и всякая настоящая радость искажаются в моем представлении, верьте мне. И знаете, я много раз замечал, что даже в минуты сильнейшего душевного напряжения вдруг начинаю за собой наблюдать. И не только за собой, но и за другими. Однажды Фрэнсис в истерическом припадке (с ней часто бывали такие припадки, но этот был вызван ревностью и потому оказался очень сильным) хотела меня застрелить. Она вошла в комнату с револьвером в руке. Стоило ей нажать курок, и мне был бы конец. Но я смотрел на нее и на дуло револьвера и говорил себе: «Господи боже мой, никогда бы не поверил, что она на такое способна. Мне это определенно нравится. А я-то думал, что она посредственность»... Но, как видите, я жив и здоров. Фрэнсис в последнюю минуту предпочла разрыдаться. Она лежала на полу и билась в истерике. Словом, посредственность...

Краммер кончил. Он выглядел утомленным. Выпил залпом бокал вина.

— Ну а что вы будете там делать? На какие средства жить? — спросил Людвик.

— У Фрэнсис есть деньги. Во всяком случае, были...

— А если вы с ней не уживетесь?

— Что ж, это вполне вероятно,— кивнул Краммер.— Перед тем как вы пришли сюда, я поймал себя на том, что мечтаю. Мечтаю о совершенно реальном — о жизни. Настоящей, без литературы и без политики. Такого со мной давно уже не случалось.

— Что же это за мечта, Краммер? — спросил Людвик с сомнением в голосе.

— Я мечтаю об одном местечке в Калифорнии. У матери моей жены там небольшой пансион. Она сдает комнаты любовникам, новобрачным и коммивояжерам. После ее смерти Фрэнсис унаследует все это, и я бы мог спокойно дожить свой век на доходы от пансиона. Я перестал бы размышлять, рассуждать о литературе. Послушайте, ведь литература — это страшная глупость, и мир без нее отлично обойдется. Я буду думать только о деньгах, приглашу управляющего, который начнет меня обкрадывать, я стану препираться с ним из-за каждого гроша, а вечером буду сидеть в саду, курить трубку, смотреть на море и на горы и ни о чем, ну совершенно ни о чем не думать. Разве только о том, сколько выручу за день и не приписать ли мне пару долларов в счет того набоба из Фриско. А если Фрэнсис будет со мной, я спокойно и без угрызений совести стану колотить ее, когда она начнет действовать мне на нервы. Надо только избавиться от мозга и от сердца. В условиях нашей цивилизации они только мешают человеку, это безнадежно устаревшая, почти допотопная аппаратура. Наступит, надеюсь, время, когда их заменят более совершенным механизмом.

Эту же мысль Краммер развивал все послеобеденное время. Он утверждал, что в Америке существуют машины, которые считают гораздо лучше, чем человек, что приборы могут создать совершенную, с точки зрения формы, гармонию. Страх, сострадание, жалость, состояние горя и радости исчезнут, человек с искусственным сердцем и мозгом будет гораздо лучше и точнее работать, будет гораздо лучше и точнее убивать, будет жить без любви, без вдохновения и вообще без всяких потребностей. Мы вступаем в век автоматического человека, в век роботов. А люди с естественным сердцем и мозгом, люди со слабостями, безусловно будут порабощены этими совершенными человекоподобными автоматами. Наступит век атомного рабства, такого, какой человеческий мозг даже не в состоянии представить себе. Только попробуйте додумать все возможные последствия, и у вас закружится голова.

— Я не верю в это,— ответил Людвик.— Сам не знаю почему, но не верю.

— Не верите, потому что мы создали для себя, как противоядие такому апокалиптическому будущему, свой миф о жизни. Но ведь это только миф. А мы в него поверили. Это естественно. Умирающего легко убедить в том, что его спасет ацилпирин. Мы твердим, повторяем до омерзения фразы, вроде той, что жизнь неистребима. Но откуда мы это знаем? И почему она неистребима? А если даже так, то знаем ли мы все ее формы? Ну, допустим, что жизнь неистребима. Но ведь в конце концов могут выжить только бактерии и вши. И все же — это жизнь, да? А что же, разве сердце — такой уж сложный прибор, что его нельзя заменить обычным насосом? Разумеется, из искусственной ткани,— засмеялся он и продолжал: — Я себе представляю американские рекламы. Искусственное сердце с гарантией на десять лет. Запасное сердце! Замена на месте. Не поддается никаким инфарктам. У вас воспаление сердечной мышцы? Вы хотите избавиться от недостаточности митрального клапана? От стенокардии? Обратитесь в наше справочное бюро. Вы влюблены? Вас одолевает мировая скорбь? Можем предложить сердце и мозг с выключателем!

Водопад слов. Краммер пил понемногу, но не переставая, и все глубже и глубже погружался в самоанализ. Он находил в себе только безнадежность, которую пытался прикрыть циническими афоризмами.

Людвик вдруг начал бояться Краммера, его ужасающей безнадежности, его бездонного отчаяния. «Но так ли уж оно бездонно?» — подумал он вдруг. Людвик внимательно прислушивался ко всему, что тот говорил, не спуская с Краммера глаз, от него не укрылся ни один жест, ни одна гримаса. Людвик пил мало, он медленно потягивал все одну и ту же рюмку и не давал Краммеру доливать себе вина. Краммер обладал одним хорошим качеством: он никогда никого не принуждал. Правда, и его нельзя было ни к чему принудить. А в те минуты, когда Краммер рисовал картину обесчеловеченного будущего, Людвик вдруг понял: в своем будущем Краммер уверен. И именно потому, что он уверен в своем будущем, так как знает, что о нем позаботятся, он может позволить себе испытать безнадежность и отчаяние. Между Людвиком и Краммером сложились такие отношения, что они не боялись говорить друг другу в глаза самые неприятные вещи.

— Послушайте, Краммер,— начал Людвик.— Все ваши прогнозы — ведь это тоже от литературы, а? И ваша безнадежность, которую вы с таким шиком демонстрируете, она вытекает из избытка уверенности, признайтесь!

— Что вы имеете в виду? — удивленно поднял глаза Краммер.

— Ничего особенного. Думаю, что вам будет обеспечен не только безопасный, но и удобный отъезд отсюда. Думаю даже, что и в Америке о вас позаботятся.

Краммер засмеялся и с минуту внимательно смотрел на Людвика, как бы взвешивая, можно ли доверить ему свою тайну.

— Прекрасно, что мы расстаемся. Мы уже слишком хорошо знаем друг друга. Но у вас неплохое чутье, идеалист. Вы угадали — обо мне позаботятся оба моих американца.

— Точнее говоря, посольство. Это вполне безопасно.

— Как хотите,— согласился Краммер с грустью.— Вы правы, я трус. Простите меня и выпейте со мной.

Они выпили.

— А вы знаете, какую работу вам предложат там? — спросил Людвик.

— Не очень чистую, надо полагать. Но я уверен, что как-нибудь выкручусь, когда уж попаду туда.

— А когда вы уезжаете?

— Не знаю. Ничего не знаю, я в их руках. Они придут около шести.

— Вы думаете, что мы уж больше не увидимся? — спросил Людвик. Время приближалось к пяти, и ему, пожалуй, пора было уходить.

— Полагаю, что увидимся,— ответил Краммер, но Людвик почувствовал, что он чего-то не договаривает.— Вы уже уходите? — спросил он.

Людвик объяснил ему, что приедет приятель, которого он долго не видел и которому многим обязан. Возможно, жизнью.

— А стоит ли она благодарности? — Ирония Краммера вдруг утратила свою остроту. Он, видимо, сам устал от своего скепсиса.

— А кроме того, у меня позднее еще одно свидание,— объяснил Людвик.— Я рассчитываю поужинать в Театральном кафе.

— Симпатичное местечко. Я думаю, вы ничего не будете иметь против, если и я там объявлюсь. Конечно попозднее.

В этот момент Людвик даже не пытался представить, что могло бы получиться из встречи Краммера с Ондржеем. И в то же время ему хо-

телось, чтобы Люция познакомилась с Краммером. Он хотел бы поточнее узнать, что за человек Краммер, и полагался на чутье Люции, на ее непосредственность и знание людей.

— Если вам моя компания покажется приятной и терпимой,— сказал Людвик, пожимая плечами.

Краммер перебил его, махнув рукой.

— Это неважно. Мне не хочется оставаться одному.

Когда Людвик простился с Краммером и вышел на улицу, он почувствовал облегчение, словно проснулся после тяжелого сна и увидел светлое утро. Но сейчас было не утро, а почти вечер. Улицы были полны людей, трамваи и машины грохотали. Мороз щипал лицо. Все было восхитительно, реально. Людвик вдруг ощутил потребность войти в соприкосновение с людьми, которые сновали мимо него, окунуться в жизнь — шумную, галдящую, растекающуюся по тесным руслам улиц.

Над костелом святого Игнаца черное небо разорвала светящаяся синеватая полоса. Это было удивительно и как-то неестественно. «Щель во вселенную»,— подумал вслух Людвик.

7

Держать жизнь в своих руках! Фишар сам не знает, почему эти слова пришли ему на ум. Может быть, потому, что он смотрит на самоуверенного молодчика, который только что появился. Этот молодой человек — ему, видимо, немногим больше тридцати — пришел, когда все уже сидели за столом, сел на свободный стул возле Нывлта, молча пожал ему руку и застыл в неподвижности. Внимание Фишара сразу же привлекло его лицо, длинное, с острыми чертами и несколько выдающимся вперед подбородком. Его крепко сжатые губы не улыбались. Он производил впечатление чрезвычайно целеустремленного человека, который точно знает, зачем он здесь, чего хочет и чего ждет от странного общества, собравшегося в сводчатом холле виллы Нывлта.

Уж он-то держит свою жизнь в руках. Что-то в нем возбуждало зависть Фишара, может быть, его молодость или то ощущение уверенности, которое от него исходило. И он, Фишар, когда-то держал жизнь в руках. Или, по крайней мере, считал, что держит. Но в один прекрасный момент она выскользнула у него из рук. Уже в конце войны он потерял почву под ногами. Земля закачалась под ним. Приходилось балансировать, чтобы не сломать шею. И хвататься за что угодно, даже за таких типов, как Шмидтке-Смит. Но похоже на то, что чем дальше, тем становится хуже. Хлоп! — и ты на дне пропасти. Возможно, у каждого человека бывает в жизни такой период, когда он вдруг оказывается не в состоянии идти в ногу с происходящими событиями, допустит ошибку, а та порождает дальнейшие ошибки; солжет, и одна ложь влечет за собой другую; совершит преступление, и оно толкает на новые преступления. Просто человек выходит из-под собственной власти, теряет контроль над собой и становится игрушкой обстоятельств. Он не сопротивляется, не защищается, не ищет выхода. У всех, кто сегодня пришли сюда, почва ускользает из-под ног. И разница между всеми ними и Фишаром только в том, что он это сознает, а они — пока нет. В этот момент они еще полны веры в то, что их может спасти СТП, деньги или тот загадочный самоуверенный человек, который сидит по правую руку от Нывлта.

Нывлт начал речь. Он излагал по существу то же, что говорил Фишару незадолго перед тем, но более убедительно и выразительно, чтобы замаскировать свои сомнения. Он строил планы, говорил о будущем, о

необходимости постепенного и разумного перехода к здоровому и продуктивному предпринимательству, о планах реорганизации национализированной промышленности, о необходимости строить национальную экономику на более здоровом финансовом фундаменте, о патриотическом долге изменить ориентацию отечественного хозяйства, прежде всего в том смысле, что оно должно участвовать в грандиозном плане экономического обновления Европы, называемом для краткости «планом Маршалла». Он говорил о Фишаре как о будущем генеральном секретаре СТП, расхваливал его способности, такт, наблюдательность. Затем Нывлт коснулся реорганизации банков, прежде всего учреждения центрального торгово-промышленного банка, во главе которого он хотел бы видеть известного специалиста доктора Кнаппа.

Смотри-ка, Кнапп! Старый знакомый! И за него Фишар однажды пытался было ухватиться. Может, в банковских делах он и разбирается, но в остальном — набитый дурак. Фишар слышал, как он выступал свидетелем защиты в суде по делу протекторатного министра Бинерта, и казалось, только глупость и наивность, вызвавшие и у суда и у публики скорее смех, чем негодование, спасли его от ареста тут же, на месте. Теперь его, очевидно, гложет какой-то недуг. Куда девалась его педантичная элегантность!

— Старые бойцы собираются вновь,— приветствовал он Фишара высоким визгливым голосом.

Весь ссохшийся, желтый, он был воплощением ненависти. Вероятно, одна только ненависть привязывает его к жизни. Да, действительно, иногда человек должен слишком сильно любить или слишком сильно ненавидеть, чтобы остаться в живых. Люция утром по телефону была холодна, говорила с ним ледяным тоном. Сколько уж дней он с ней не виделся. Очевидно, поэтому она сердится на него. Нет, она не так мелочна.

— И хотя ситуация крайне серьезна и требует огромного напряжения наших нервов, я полагаю, господа, что могу заявить с полной ответственностью...— слышит он голос Нывлта.

Было бы даже забавно, если бы Фишар мог сидеть тут как сторонний наблюдатель, как человек, которого все происходящее здесь не касается, и смотреть, как с этих людей спадают маски. Вот напротив него сидит фабрикант Зеленый. Перед войной Фишар был у него в гостях, и они ездили на охоту. Марта иногда встречалась с его женой. Зеленый был скорее мелким жуликом, чем крупным мошенником; теперь он с обожанием смотрит на Нывлта, в нем он видит человека, который их спасет. Кажется, у него две фабрики кожаных изделий. Он вышел в люди, собственно говоря, во время войны. И теперь может все потерять. Тяжелая жизнь. Перед войной конкуренция Бати, которую он не мог выдержать, а теперь декреты о национализации. Интересно было бы заглянуть в его насмерть перепуганную душонку спекулянта. Там, наверно, не найдется места ни для чего другого, кроме денег.

А возле него сидит господин Гатле. Он похож скорее на мелкого лавочника, чем на крупного текстильного промышленника,— кругленький, веселый, довольный, добродушный. Во всяком случае, выглядит веселым и довольным. Дела идут помаленьку. Но в его добродушии Фишар имеет основания сомневаться. Он защищал его перед войной в нашумевшем скандальном процессе; были серьезные подозрения, что его жена не покончила с собой, а ее отравил добродушный пан Гатле. Этого не удалось доказать, вернее, никто не хотел этого доказывать. На этом деле заработали тогда многие, в том числе и он, Фишар. Он никогда не испытывал по этому поводу угрызений совести. И действительно, при чем тут совесть?

В былые времена он умел отделываться от подобных вещей шуткой — ведь такова его профессия и, честное слово, порой забавная и волнующая профессия. То есть сам Фишар умел делать ее забавной и волнующей. А угрызения совести не беспокоят и пана Гатле, постаревшего за это время на добрых двадцать лет. Фишара он не узнал совсем или принял его за кого-то другого. Он долго пожимал ему руку и повторял: «Передайте мой привет супруге. Как детки?»

Действительно, это какой-то парад кукол из паноптикума. Может быть, Нывлтом руководило врожденное чувство юмора, привычка иронизировать по собственному адресу, когда он решил собрать у себя именно этих людей. Фишар знает многих из тех, кто склонились сейчас над столом либо с надеждой устремили взгляд на говорящего Нывлта. И о каждом из них ему что-нибудь известно. Это поистине парад мошенников и жуликов, но эту свою сущность они всю жизнь прикрывали улыбками, экстравагантностью или наигранной скромностью. В их мире всегда что-то скрывали и что-то разыгрывали. Такое открытие Фишар сделал не сейчас, это известно ему давно. Он тоже притворялся и тоже пытался маскировать что-то вместе с ними и отдавал себе в этом отчет. Но теперь ему еще известно и то, что больше так не будет, что этому миру пришел конец, решительный конец, что этот мир гниет и разлагается, не способен защищаться и неизбежно потерпит поражение. Несомненно, это осознает сейчас и Нывлт. Он окончил свою речь, устало опустился в кресло, прикрыв ладонью глаза. Он рад, что уже отговорил, и теперь думает о своем.

Он предоставил слово господину Гуммелю. Да, он назвал имя — Гуммель. Гуммель будет информировать собрание о текущем моменте. Гуммель!

«Приблизительно пятнадцатого марта вас посетит человек, которого зовут Гуммель. Вам бы следовало запомнить это имя, доктор»,— говорил ему в среду утром Годура. А какой сегодня день? Пятница. Неужели это было только позавчера?

Может быть, тут простое совпадение имен? Но нет, это мало вероятно. Фишар знает, что перед ним тот самый человек, о котором говорил Годура. Человек, названный этим именем, встал, точнее, вскочил, вытянулся по-военному, лицо холодное, жесткое, без тени усмешки, столь же холодным и равнодушным взглядом он окинул собрание. Голос резкий, от него не скроешься, он заставляет слушать себя, он назойливо врывается в убаюкивающую тишину комнаты, залитую желтоватым светом, который падает со сводчатого потолка.

Кризис из скрытого состояния перешел за эти часы в открытую форму. И хорошо, что это произошло именно теперь. Самонадеянность коммунистов растет изо дня в день Пора переходить от обороны к наступлению. Ждать больше нечего. Завтра, возможно, будет поздно. Завтра могут быть потеряны и те позиции, с которых сегодня ведется наступление. И международная ситуация именно сейчас наиболее благоприятна. Ослабленный войной Восток еще не может себе позволить военную интервенцию. А коммунисты одни, без поддержки, не пойдут на захват власти насильственным путем. На их стороне практически только органы безопасности, да и то с оговорками, а на армию рассчитывать им нельзя: они слишком хорошо знают, кто там решает все. Офицерский корпус! А офицеры на нашей стороне или же перейдут на нашу сторону в решающий момент. Пока, возможно, мы будем действовать законным и мирным путем. Тем не менее придется принять, видимо, в ближайшие часы некоторые меры военного характера. Имеется в виду радиостанция,

захватить которую надо во что бы то ни стало. Для этого все уже подготовлено.

Следовало бы также учесть, что политический кризис затянется и может углубиться. Видимо, чем дольше он продлится, тем лучше. К каким результатам он приведет, сомневаться не приходится. Президент дал надежные гарантии влиятельным политическим деятелям. А это время надо использовать для того, чтобы привлечь на нашу сторону всех потенциальных союзников в таких организациях, как студенческие союзы, «Сокол» и тому подобное. Сегодня подали в отставку министры национально-социалистической и народной партий, к ним присоединились словацкие демократы, а к ночи присоединятся и социал-демократы. Большинство министров уйдет из правительства, и тогда, как обычно, премьер-министр должен будет заявить об отставке всего правительства. А это будет означать, что уйдут и коммунистические министры. Можно ожидать, и это даже вероятнее всего, что президент поручит формирование нового правительства снова коммунистам.

— И в этот момент мы, значительно усилившись, начнем ставить условия, и притом такие...

Учесть, рассчитать! Стоит хорошенько рассчитать, и все получится. Только Фишар таким расчетам больше не верит. Он уже из опыта знает, что даже самые точные расчеты в таких делах не оправдываются. Ну да, все учтено. Начиная с того, что коммунисты не примут условий, которые им поставят партии «гражданского блока». Затем, очевидно, президент обратится ко второй по величине партии — национально-социалистической, и условия коммунистов, в свою очередь, не примет Зенкл *. В общем, ни туда, ни сюда. И тогда, наконец, будет образовано правительство из людей, не причастных к политике,— правительство специалистов, которое спасет нацию. Из правительства уйдут и коммунисты и другие партии, и страной управлять будут, допустим, эти господа из СТП.

Где в этом уравнении неизвестные? Если бы у Фишара не было опыта, если бы здесь сидел Фишар 1945 года, его, наверно, убедил бы этот молодой, целеустремленный и бесстрашный человек. Потому что он действует на основе хладнокровного расчета, потому что он полон решимости ответить террором на коммунистический террор, потому что у него каменное лицо и каменное сердце. Настоящий мужчина! Маленький Наполеон. События у него в руках.

Все, кто здесь сидят, верят ему в эту минуту, потому что им хочется кому-то верить. А он сейчас начнет обдирать их. Четверть миллиона — немедленно, в ближайшие дни — два миллиона, затем — пять миллионов. Нет смысла торговаться о цене, как говорил господин председатель, которую вы заплатите за ваше спасение! Фишар посмотрел на Нывлта, тот сидел, удобно развалившись и вытянув под столом ноги. Он почувствовал взгляд Фишара, повернулся к нему и спокойно улыбнулся.

— Кто это? — спросил Фишар, указывая на самоуверенного оратора.

— Наш политический советник и верный друг,— ответил Нывлт, приложив палец к губам.

Когда Гуммель закончил свою, как казалось, впечатляющую речь, на какое-то время наступила тишина. Иногда и тишина бывает красноречивой, но эта была скорее сонной, вялой, утомительной. Желтоватый свет падал со сводчатого потолка на середину холла, а углы его были по-

---

* Петр Зенкл — лидер национально-социалистической партии.

гружены в полумрак. «Совсем как в склепе,— мелькнуло в мозгу у Фишара.— А это заседание напоминает сборище покойников». Ему стало смешно. Его вдруг потянуло на свежий воздух, к нормальной жизни. Он решил встать, сделав вид, что ему понадобилось выйти, а потом незаметно взять в коридоре пальто и сбежать отсюда. Но, когда он уже хотел осуществить свое намерение, слово взял Гатле. «Уйду, когда он кончит»,— решил Фишар.

Господин Гатле был взволнован. Прежде чем начать говорить, он выдавил из себя несколько раз сиплое «кхе-кхе», ударил костяшками пальцев по столу, потом дробно забарабанил пальцами. Было видно, как он тяжело дышит, как лицо его покрылось испариной.

— Так значит, нас должен спасти Бенеш. Опять Бенеш! Он может уже взять на это патент! Сперва он заигрывал с большевиками, а теперь будет нас от них спасать. Вы все заигрывали с большевиками. А когда увидели, что ничего из этого не получается, вам захотелось наших денежек. Я хочу знать, кто за всем этим стоит? Нам нужны гарантии, господа. Я ни кроны не поставлю на Бенеша. Зачем он ездил к ним, в Москву? Почему он сразу же не взял их за горло? Я хочу знать, кому даю деньги. И если вы, господин Гуммель, не гарантируете, что нам помогут американцы, так надо подождать. Если спасти положение могут только наши денежки, «соколы» и студенты,— то покорнейше благодарю! «Соколы» и студенты! — выкрикнул он еще раз.

Нывлт насторожился, но, прежде чем он собрался встать, Гуммель выпрямился — его лицо стало, если только это возможно, еще более каменным и более ледяным — и с нескрываемым презрением посмотрел на Гатле.

— Не будем дискутировать,— сказал он строго.— Это вам не болтовня за кружкой пива. На карту поставлено все, господа, и промедление опасно.

— Да кто вы такой? — вспыхнул снова Гатле и в ярости принялся колотить по столу своими маленькими круглыми кулачками.— Кто вы такой? Какие даете гарантии?

— А если вас кто-нибудь будет вытаскивать из воды, вы что, у него сперва потребуете удостоверение личности? — закричал в ответ Гуммель.

Нывлт встал и взглядом дал понять Гуммелю, что все уладит. Но, прежде чем он успел это сделать, Гатле, который все еще стоял за столом, вдруг закашлялся, весь скрючился и повалился на стол, потом глотнул воздух и сполз в кресло. Фишар обратил внимание на его глаза. Они вдруг неестественно расширились, и в них отразился ужас, словно он увидел что-то кошмарное. Но, прежде чем Фишар понял, что произошло, соседи Гатле склонились над ним.

— Боже мой, господин Гатле,— завопил сидевший возле него Зеленый.— Посмотрите на него.

Наступило замешательство. Скрюченное, холодеющее тело Гатле продолжало покоиться в кожаном кресле, и никто из присутствующих не решался к нему приблизиться. Все молча стояли полукругом перед ним.

Фишар сразу же отступил к камину. К нему подошел Нывлт.

— Вы хотите позвонить? — спросил он Фишара.

— Нет-нет! — ответил Фишар.— Мне нехорошо,— и он показал на сердце.

Нывлт снял с телефона, стоявшего на камине, трубку и нервно спросил:

— Вы не знаете, что делают, когда в доме покойник? Неужели сюда придет полиция, а?

Больше, чем его слова, Фишара поразил холодный, жестокий и враждебный взгляд Нывлта. Фишар молча поклонился и, не попрощавшись ни с кем, вышел.

8

Людвик ходил по длинному сумрачному коридору вокзала, ругая себя, а в голове его мелькали обрывки мыслей, и внимание перескакивало с предмета на предмет. Ожидание Ондржея и встреча с ним были для него не слишком приятной обязанностью.

«Заслуживает ли это благодарности?» — вспомнились ему слова Краммера.

Кого он, собственно, ждет? Тот Ондржей Махарт из Катаринаберга, конечно, давно уже не существует, как не существует Франтишек, как не существует Людвик Янеба. Пожалуй, только имена и остались. Он дожидается тут чужого человека, мир которого ему неведом, непонятен, он не может его даже представить себе. Встретятся два чужих человека, которые в лучшем случае будут одинаково удивляться, как чужды они друг другу. Еще утром мысль о встрече с Ондржеем волновала Людвика и возбуждала его любопытство. Но теперь ему стало ясно, что им не о чем говорить. Они будут делать вид, что все по-старому: подумать только, это ты, Ондржей! Это ты, Людвик! Ты женат? Где работаешь? И больше ничего. Еще, может быть: помнишь?.. Помню. Людвик даже не может представить себе лицо Ондржея. Временами перед ним вдруг предстает Ондржей таким, каким он был в Катаринаберге — худой с наголо обритой головой, с лихорадочно блестящими глазами. Людвик мысленно видит, как Ондржей сидит на нарах, поджав ноги и обхватив их своими тощими руками. Но тот Ондржей, который приедет, не будет тощим, голова его не будет обрита, на нем не будет полосатых лохмотьев и деревянных башмаков. Да узнает ли он Ондржея? Ондржей писал, что приезжает на съезд заводских советов.

«Нельзя допускать этого съезда,— говорил утром Чермак.— Восемь тысяч делегатов! Ты знаешь, сколько денег это стоит? А государственным служащим коммунисты не хотят прибавить зарплаты. Сброд все они. Хотят согнать своих людей в Прагу и устроить путч. Будут топать ногами и запугивать».

Вероятно, Ондржей тоже едет в Прагу топать ногами и запугивать. Мы будем притворяться, что все по-старому, что ничего не случилось и ничего не происходит. Но что-то происходит, незримо, незаметно, а каждого словно поджаривают на сковородке. Он сам поссорился с Геврле, Краммер хочет уехать, Прухова выгнала служанку, девять министров подали в отставку. Ольга мерзнет в нетопленной комнате.

Он зашел к ней после того как расстался с Краммером. И когда оказался в ее краях, в своих и Ольгиных краях, все доводы рассудка показались ему нестоящими и ничто не могло помешать ему зайти к ней. Он проводил у нее — за редким исключением — эти часы каждый день. Не может быть, чтобы она не ждала его, говорил он себе. А кроме того, он хотел проверить себя. Ему вдруг показалось, что любовь Люции сделала его сильным, но в глубине души он сознавал, что по-прежнему трусит, что он вооружился этой любовью лишь для того, чтобы завоевать Ольгу. Она вышла открыть ему дверь, закутанная в клетчатый плед, который обычно лежал на ее тахте.

— Заходи,— сказала она раздраженным тоном,— но смотри, замерзнешь. У меня нетоплено.

Он тут же пожалел, что пришел к ней.

— Я заглянул к тебе на минутку. Мне уже надо идти,— ответил он, демонстративно поглядев на часы.

— В театр... на что? — спросила она без всякого интереса, когда они вошли в холодную комнату.

У окна стоял электрокамин, но его тепла не хватало, чтобы обогреть сильно охлажденное помещение. Ольга завернулась в плед, с ногами забралась в кресло и взяла книгу. Она все еще читала «Долину решений».

— Почему ты не протопишь? — спросил Людвик после минутного молчания.— Случилось что-нибудь с печью?

— Мать прогнала Элен,— объяснила Ольга.— На какую пьесу ты идешь? — спросила она снова.

— Я не иду в театр, у меня свидание,— ответил он.

Ольга удивленно, не без кокетства, подняла на него глаза. Она не привыкла, чтобы он проводил свободные вечера не с нею, а с кем-нибудь другим.

— Приезжает Ондржей,— сказал он.

— Кто? — спросила она, не понимая, о ком идет речь.

Людвик рассказывал ей об Ондржее много раз. Он говорил о нем всегда, когда речь заходила о Катаринаберге.

— Ондржей Махарт. Из Кржижанова. Я был с ним в лагере.

— Он из Кржижанова? — вдруг заинтересовалась она.

— Ведь ты же о нем знаешь.

— Я не поняла, что речь идет о нем. Что он делает?

— По-моему, он работает на бывшем вашем заводе,— засмеялся Людвик.

— Пригласи меня! — вдруг решительно заявила Ольга и заметно оживилась.— Я хотела с тобой поговорить.

— О чем?

— В другой раз. У тебя мало времени.

— О чем, скажи. Тебе что-нибудь нужно? — настаивал он.

— Нет, право, лучше в другой раз. Когда мы останемся вдвоем. А сегодня мне хочется быть среди людей. Где можно вас найти?

— Не знаю, не покажется ли тебе это скучным. Будут одни воспоминания,— сказал Людвик.

— Так что же, мне сидеть тут одной в этом леднике?

— Почему ты не затопишь? — спросил Людвик, посмотрев на высокую печь, выложенную белыми изразцами.

— Я пришла домой только после обеда. Мы обедали с Люцией.

Когда она сказала это, Людвик немного испугался. Но ему ловко удалось изобразить полное равнодушие к тому, что она сообщила.

— Хоть бы ночью здесь было тепло,— сказал он.

Она с раздражением махнула рукой.

— Пришлось бы топить во всей квартире и у мамы тоже. Люция сказала...— она запнулась, но потом спросила: — что ты ей говорил обо мне?

— Не помню, чтобы мы с ней говорили о тебе,— солгал Людвик.

— Тогда кто-то из вас говорил неправду. Я, мол, притворяюсь, что питаю к тебе чувства,— засмеялась она.

— Не знаю, впрочем, может, что-нибудь такое и было!

— Я перееду к тебе,— сказала она вдруг, совершенно ошеломив Людвика.

— Ради центрального отопления? — спросил он с иронией.— Тебе не хочется топить.

И тут же Людвик почувствовал, что в другое время совершенно иначе реагировал бы на ее слова. Он безусловно сразу же постарался бы осуществить ее идею. Или, по крайней мере, сказал бы: «Я тебе это много раз предлагал, ты знаешь, что можешь переехать, когда захочешь». Но сейчас у него вызвало раздражение то, что она заявила ему об этом таким не допускающим возражения тоном. Его замечание обидело Ольгу.

— Ну хорошо. Не будем говорить об этом.

— Ты это и хотела мне сказать? — спросил он.

— Возможно,— сказала она холодно.

— Если ты хочешь идти со мной, самое время начать одеваться.

— Я приду к вам. Где вы будете?

— В «Театральном». Но не раньше девяти.

— Это меня устраивает. Если мне станет скучно, я дождусь Люцию.

Людвик улыбнулся. Все это превращалось в фарс. Краммер, Ондржей, Ольга, Люция. Что будет, когда они сойдутся все вместе?

Вокзальное радио сообщило о прибытии скорого поезда из Остравы. Людвик стоял, прислонившись к колонне, и втайне надеялся, что Ондржей не приедет и они не встретятся, и в то же время боялся, что они не узнают друг друга и разминутся. Он заглядывал в лица пассажирам, которые появлялись из темного туннеля и постепенно вливались в равномерно текущий плотный поток людей. Кто-то подошел к нему сзади и коснулся его плеча. Людвик обернулся.

— Пришел все-таки! — сказал человек, в лице которого Людвик с трудом распознавал черты прежнего Ондржея Махарта.

Ондржей окреп и показался Людвику гораздо меньше ростом, словно врос в землю. А глаза, лихорадочный блеск которых вспоминался Людвику, смотрели теперь спокойно, с веселым любопытством. Он был одет с провинциальной тщательностью и аккуратностью. Новое зимнее пальто, серая шляпа тоже выглядела совсем новой, добротное кашне аккуратно завязано. Перед Людвиком стоял человек, которого он не знал.

Людвик улыбнулся, пожал плечами и сказал только потому, что больше уже нельзя было молчать:

— А почему бы мне не прийти?

— А почему бы прийти? — ответил вопросом Ондржей.

— А куда бы ты пошел?

Оба рассмеялись.

— Не знаю,— сказал Ондржей.— В поезде говорили, что сегодня во всей Праге не найти ночлега.

— Не найти,— подтвердил Людвик.

Они вышли на улицу. Людвику показалось, что темнота стала еще гуще, небо затянулось темными тучами, люди превратились в мелькающие тени, а над ними из громкоговорителя разносился глубокий голос:

«Необходимо, чтобы самые широкие слои нашего народа узнали о том, что политическая обстановка в стране обострилась до крайних пределов».

Ондржей поставил чемоданчик и взял Людвика под руку.

— Подожди-ка,— сказал он, с интересом прислушиваясь.

Они остановились на краю тротуара у входа в здание вокзала, и пассажиры, выходившие оттуда с чемоданами, непрерывно их толкали.

— Встали поперек дороги,— сказал кто-то.

Людвик схватил Ондржея за руку.

— Пойдем,— сказал он.— Сегодня министры подали в отставку.

Ондржей не ответил, только кивнул головой.

«...с очевидной ясностью проявил себя как антидемократический, враждебный народу, антисоциалистический блок, который поставил перед собой цель подорвать режим народной демократии и добиться перехода власти в руки объединенных сил реакции...»

Ондржей стоял, слегка наклонив голову, и смотрел куда-то вдаль, весь превратившись в слух. Людвик увидел приближающуюся «семерку». Он взглянул на часы: было четверть девятого.

— Пойдем,— сказал он Ондржею,— вот наш трамвай. Ты услышишь все это еще сто раз.

Он подхватил чемоданчик Ондржея и, не выпуская его руки, повел через улицу, пробираясь среди толпы спешащих куда-то людей. Голос из громкоговорителя преследовал их:

«...лидеры этих партий изменили принципам Национального фронта... расколоть правительство...»

Они втиснулись в переполненный вагон. Ондржей протолкался в угол площадки. Людвик с чемоданчиком в руке невольно прижал его. Оба смущенно улыбались. Они посмеивались над своими злоключениями, чтобы только не разговаривать.

— После следующей остановки будет посвободнее,— сказал Людвик.

Ондржей молча кивнул. На углу Индржишской улицы, где им надо было пересесть, стояли толпы людей, и их громкий говор, смех и крики заглушали знакомый голос из репродуктора:

«...бездеятельные и не способные выполнить конструктивную программу правительства. Эти согласованные действия трех объединившихся партий завершились заявлением об отставке...»

Молодой человек без шляпы, вероятно студент, стоял на крыльце одного из домов и что-то выкрикивал, но его слова заглушало громыхание проезжавших трамваев.

Людвик с Ондржеем вскочили в один из них. Он был полупустой. Людвик сел, поставил чемоданчик Ондржея под скамью и указал Ондржею на свободное место.

— Я сидел всю дорогу,— сказал Ондржей, задумчиво глядя на улицу сквозь полузамерзшее стекло.

— Господи Иисусе Христе, снова будет война,— сказала женщина, сидевшая в углу вагона.— Говорят, гражданская!

Голова женщины была покрыта шерстяным платком, на коленях у нее сидел мальчик лет четырех.

— Ну что может случиться? Ничего не случится,— набросился на женщину человек в черной барашковой шапке, сидевший напротив.— Человечество уже устало от войны! — с пафосом, но не очень убедительно добавил он немного погодя и огляделся с победоносным видом, словно ожидая аплодисментов и выражения сочувствия.

Надо предложить Ондржею пойти поужинать в ресторан. Может быть, он откажется. Он, видимо, устал с дороги. И, вероятно, будет лучше, если откажется.

— Говорят,— продолжала женщина,— что здесь уже полно американцев. Офицеров. А войска их стоят на границе.

Никто не ответил ей, несколько человек безучастно смотрели по сторонам, другие уткнули нос в газету.

— У кого нет билетов? — спрашивал кондуктор, проходя через вагон.

Люди боятся. Они не любят перемен. Пусть жизнь течет помаленьку, всегда одинаково, чтобы завтрашний день походил на сегодняшний и послезавтрашний на вчерашний.

— Все бросились, как безумные, скупать все, что под руку попадется,— сказала женщина, подавая кондуктору замызганный билет.

— Куда вы едете, мамаша? — спросил кондуктор, разглядывая билет дальнозоркими глазами.

— Б Нусли, к дочери. Везу ей мальчишку. Она, видите ли, работает...

— Как вы сюда попали, ведь вы ехали на шестнадцатом.

— А я сошла взять мальчугана. Она ведь работает, понимаете.

Они подъехали к Морани. Людвик поднялся и кивком головы пригласил Ондржея следовать за собой.

— Через минуту мы дома,— сказал он.

— Здесь теплее, чем у нас,— заметил Ондржей, когда они шли по пустой темной улочке к дому, где жил Людвик.

9

Фишар был скорее подавлен, чем потрясен. Внезапная смерть Гатле лишь подтверждала, как ему казалось, что общество, которое он только что покинул, осуждено на гибель и переживает глубокое разложение. Если Фишара что-либо и волновало, так только этот внезапный переход от бытия к небытию, его простота и естественность и мысль о том, что нечто подобное однажды произойдет и с ним, с Фишаром. И тогда исчезнут заботы, мелочные интересы, потеряют смысл деньги, любовь и все остальное. Это конец. Абсолютный конец! Ему хотелось поскорее забыть об этом. Он был достаточно натренирован жизнью, чтобы уметь не думать о том, что его волновало. И теперь не будет думать. Теперь ты один, идешь в темноте по глухим улочкам, никто о тебе ничего не знает, и ты можешь вдоволь наслаждаться одиночеством и свободой, пусть иллюзорной. Он решил удлинить путь и пройти мимо Града, потом по Нерудовой улице к Карлову мосту. В Граде окна дворца, возвышавшегося над черепичными крышами, теперь покрытыми снегом, были освещены. Одно, два, три, десять, двенадцать окон. За одним из них сидит человек, который думает, что он творит историю. И еще он думает, что ход истории можно рассчитать математически. Он сидит и считает, пересчитывает, умножает, комбинирует, он хорошо разбирается в теории вероятности, он точен как машина, у него сильная воля — где-то Фишар читал, что он может работать по шестнадцать часов в сутки, он полон веры в себя, и он в хорошем настроении, потому что его расчеты верны. Ошибка невозможна. Политика — это шахматы. Хладнокровно рассчитанное передвижение фигур. Но человек этот до сих пор не понял того, что в последние дни стало ясно ему, Фишару. Речь идет теперь не о политике и, само собой разумеется, не о шахматах. Речь идет о жизни. Столкнулись два принципа. А жизнь нельзя рассчитать, жизнь — это не шахматы. Поэтому он, вероятно, будет удивлен, что противник ответит на его ход не так, как он предполагал — им самим продуманным и рассчитанным ходом,— что кони и пешки противника начнут скакать как и куда им захочется и что противник не спросит, дозволяется ли это правилами игры и предусмотрел ли такую возможность господин президент...

Фишар хорошо разбирается в этом. Он сам рассчитывал и комбинировал всю жизнь. Он тоже играл в шахматы, и хотя не предполагал, что творит историю нации, но был уверен, что творит хотя бы историю собственной жизни. И его расчеты не оправдались. Поэтому он больше не бу-

дет комбинировать и рассчитывать. Теперь он решил избавиться от всего, что получилось в результате его математических подсчетов... а может быть, просчетов. Прежде всего надо избавиться от Шмидтке, да, теперь как раз самый подходящий момент, чтобы избавиться от Шмидтке. Пнуть его ногой. Можно рискнуть и не обращать внимания на угрозы разоблачений.

Марта! Всякую сентиментальность по боку! Он хочет только одного — сохранить кусочек своего маленького счастья, уголок, где будет тепло и солнечно, и жить там с Люцией. Но согласится ли Люция разделить его одиночество, одиночество Сенеки, где нет места честолюбию, где царит тишина и нет никакой суеты, где будут только книги, где человек становится мудрым и примиряется со своим уделом? Вправе ли он обречь на такое одиночество человека, который хочет еще что-то создать, чего-то достигнуть, который еще мечтает завоевать мир и творить историю своей жизни? Но у него, вероятно, просто не хватит сил отказаться от Люции, нет, у него не хватит сил и на то, чтобы замкнуться в себе и порвать связь с жизнью. А эту связь с жизнью и олицетворяет Люция. Она — сама жизнь. Его восхищает, как она умеет прислушиваться к жизни, понимать ее, как она непосредственно реагирует на все проявления жизни. Он, Фишар, никогда не был способен на это. Он всегда приспосабливал самого себя и свою жизнь к кому-то или к чему-то. Теперь он пытается приспособиться к Люции, и ему становится страшно, что Люция заметит это, что она распознает, каков он в действительности, если еще не распознала. Иногда ему кажется, что она все знает. А иногда кажется, что он ей вовсе не нужен, она только терпит его возле себя, у нее есть еще другая жизнь, а он, Фишар, просто оказался случайно на ее жизненном пути и лежит на нем, как камень, который она не в силах сдвинуть. Ему не хочется думать о том, как к нему относится Люция. Он нашел бы в их отношениях слишком много трещин. Не стоит терзать душу. Пусть останется еще хоть ненадолго сладостная иллюзия, что все хорошо. Но поговорить с ней надо. Он скажет ей откровенно, к каким выводам пришел за последние дни. Он спросит Люцию, может ли рассчитывать на нее в своей новой жизни.

Спокойная жизнь, безо всяких тревог! Надо принять во внимание и то, что исчезнут все побочные источники дохода и останутся, в лучшем случае, одни только адвокатские гонорары. Градецкая и подборжанская фабрики пойдут ко всем чертям при следующей волне национализации, о которой уже кричат коммунисты, не будет доходов, которые приносят крупные фирмы, потому что они тоже пойдут ко всем чертям. Несомненно растают и подношения благодарных клиентов, потому что им не за что будет благодарить его. Останутся только разводы и всякие мелкие гражданские дела — грошовые гонорары. Останется старый дом на Штепанской улице, если и его не отберут. Говорят, и дома будут национализировать. Возможно, дом было бы благоразумнее продать, в него приходится вкладывать слишком много денег, но кто теперь его купит? Есть еще вилла в Штернберке, которая уж совсем ни к чему, а пока что приходится брать для ее ремонта средства со счета своего и Марты. Суммы, которые он положил на имя знакомых — своих и Марты, уж конечно обратно не получишь. С этим придется примириться и на них не рассчитывать. Конечно он сглупил с шелком — его не надо было продавать. Хитрец Маречек ему наговорил, что шелк испортится, если его не хранить по всем правилам, он якобы залеживается и день ото дня обесценивается. Фишар купил уйму шелка, это были какие-то парашюты, ему их продал в сорок шестом Яновитц, когда эмигрировал в Англию. И вот он дал себя обмануть Маречеку. Ничего подобного — шелк не портится,

не обесценивается. Маречек пустил его на дамские купальники и зашибает деньги.

За Карловым мостом он остановил проезжавшее мимо свободное такси и доехал до дома. Когда вошел в квартиру, на него пахнуло спертым, несвежим воздухом, бросился в глаза беспорядок в комнатах. В кухне громоздилась немытая посуда, никто не вытирал пыль, постель была не убрана. Комнаты не проветривались два дня. Он живет, по существу, лишь в одной комнате, а кухней он пользуется только тогда, когда хочет подогреть себе чай или сварить яйцо. В остальные комнаты он и не заглядывает. Прислуга, которая приходит к нему через день и которую он подозревает в кражах, смахивает пыль с кресел, пахнущих нафталином, и чистит пылесосом ковер. Квартира превратилась в музей. Необходимо все привести в порядок, возможно, не надо проявлять сентиментальность, а следует продать все это, как только подвернется удобный случай, и провести электрическое отопление в другие комнаты — это понадобится, если сюда переедет Люция. Электрическое отопление, конечно, влетит в копеечку, рабочие будут топтаться в квартире и изуродуют стены, весной надо было бы стены окрасить. В шкафу беспорядок, рубашки поглажены отвратительно. А Фишар не выносит плохо выглаженных рубашек. Нет, он возьмет жизнь в свои руки. Приведет ее в порядок. Он будет жить интенсивно, а не экстенсивно, как до сих пор. Он выбросит из своей жизни весь балласт, упростит ее, станет свободным — ну, а свобода это не что иное, как умение подчиниться необходимости. А ему необходимо начать жить по-новому, мыслить по-новому, просто-напросто признать, что изменение общественного строя, даже в том смысле, как это понимают коммунисты, полезно и что было бы безнадежным донкихотством упрямо защищать старое представление о жизни. Придется жить в неволе, уступать, постоянно бояться за себя. И конечно придется многим пожертвовать, а это нелегко. Особенно для таких людей, как Марта, для нее это будет неимоверно трудно, и неизвестно еще, способна ли она на это. Но он, Альфред, просто не может топтаться на месте, а тем более отступать. Он потерял бы все, и прежде всего Люцию.

Фишару показалось вдруг странным, что он не пришел к такому решению раньше, год или полтора назад, либо сразу же после того, как сблизился с Люцией. Это было летом сорок пятого года. Дурак он, достал ей квартиру, вместо того чтобы сказать — иди ко мне, ты видишь, я одинок, все это твое... Конечно Люция была робка, и он притворялся, что ему ничего не надо от нее, он не имеет права от нее чего-то требовать, он хочет только давать, потому что это доставляет ему радость. Он начал играть отвратительную роль доброго дядюшки, и потом Люция немало удивилась его любовным притязаниям. Тогда он мог довести все до благополучного конца. Но именно тогда он чувствовал себя очень неуверенно, не слишком-то полагался на свою, чудом обретенную, свободу, кроме того, боялся Марты и за Марту, словом, не сумел броситься, закрыв глаза, в этот водоворот. А теперь он имеет все основания сомневаться — согласится ли Люция. Люция заставляет его сомневаться во многих вещах.

Который час? Без четверти девять. Надо послушать последние известия, каждую минуту может случиться что угодно — руль могут резко повернуть вправо или влево, кроме того, сейчас самое время умыться, переодеться и идти в театр за Люцией.

Он включил радио и принялся снимать рубашку. Господин Гуммель, конечно, прихвастнул. Радиостанция вовсе не в их руках, спокойно и беспрепятственно передается воззвание ЦК коммунистической партии, зовут

народ в Прагу, и не заметно никаких признаков испуга. Напротив, они выглядят довольно самоуверенно, предостерегают, угрожают. Ну что ж, это, пожалуй, еще ничего не значит. Хуже то, что в их руках все командные позиции. В этом нет никаких сомнений, и трудно представить себе, чего они еще добьются. Снова и снова читают по радио воззвание и резолюции заводских собраний. Министры-предатели не должны вернуться в правительство. Парадоксальная ситуация! Он включил радио на полную громкость, чтобы было слышно в ванной.

Хорошо бы вырваться из мучительного круговорота мыслей, покончить с этим бесконечным монологом.

Ему показалось, что зазвонил телефон. Он набросил на себя купальный халат и, босиком, мокрый, поспешил в комнату. Ничего не было слышно, так отчаянно орало радио.

— Минуточку, прошу вас...

Он выключил радио. Господи, это Марта!

Глава шестая

1

Последнее обстоятельство, которое вывело Марту Прухову из равновесия, нормальным и здоровым людям может показаться мелким и даже комическим. Но так уж случается, что происшествие, смешное на первый взгляд, замкнет круг, и человек пойман. Он мечется, как зверь, за которым захлопнулась клетка, но спасения нет, он отчаянно бросается от стенки к стенке, от мысли к мысли, от представления к представлению, он в плену у самого себя. Тогда смерть кажется единственным выходом.

Вчера, сидя у Ольги и потягивая коньяк, она еще воспринимала все с юмором, правда с юмором висельника. Но в течение дня незначительные происшествия приобрели вдруг роковой смысл. Марта все больше и больше убеждалась в том, что она всеми покинута, исключена из человеческого общества, что наступил момент, которого она с ужасом ждала всю жизнь.

Когда в среду скорый поезд остановился в Тржебове, Альфред принес ей в купе горячие сосиски и булочку. Никогда никакие яства не возбуждали у нее такого аппетита, как эти вываренные сосиски с горчицей из вокзального ресторана. Но, едва откусив кусочек булки, она почувствовала, что шатается мост, поддерживающий три передних фальшивых зуба, и что всякая попытка жевать означает для нее катастрофу. Один из зубов, на котором держался мост, безнадежно расшатался и грозил при малейшем прикосновении сломаться или выпасть. К удивлению Альфреда, она больше не дотронулась до сосисок. Проклятые зубы! Они отравляли ей всю жизнь. Пломбы, мосты, коронки — челюсть вся в заплатах, как старая галоша. Для Марты это катастрофа Делать протез — это значит запереться в квартире, выходить только к зубному врачу с платком у рта и шепелявить.

Надо же, чтобы это случилось как раз теперь.

Когда на другой день она проснулась в ледяной комнате, когда вспомнила, что выгнала Элен и теперь некому затопить и сделать уборку, что нужно позвонить зубному врачу Яворскому, а потом Альфреду, чтобы тот прислал ей какие-нибудь деньги, когда вдруг ощутила, что вокруг нее все рушится,— она почувствовала страшную усталость, а

вместе с усталостью и равнодушие ко всему, в том числе к своей собственной судьбе. Ну и пусть выпадут зубы, ей все равно.

Что она еще хочет сохранить в своей жизни? Для чего или для кого что-либо сохранять? Она никому не нужна, и ей никто не нужен. Все ей противны. Особенно те, кто еще хотят жить, кто еще живут, кто еще чего-то ждут от жизни. Альфред! Или Ольга, которая явно не поняла, как велико горе матери, как она одинока и всеми брошена. Ольга думает только о себе, считает естественным, что мать позаботится о ее жизни, все устроит, поговорит с Кратохвиловой, будет до бесконечности платить и давать деньги. Ну что ж! Это вина самой Марты. Она так воспитала дочь. Когда сегодня утром в комнату зашла Ольга, Марта почувствовала к ней неприязнь.

Собственная дочь стала неприятна Марте только потому, что Ольге еще хочется жить, она еще может думать о весеннем костюме, о парикмахере и о том, что будет делать завтра. Она думает, что у нее впереди вся жизнь, думает о будущем. Надо предостеречь ее! Надо было бы сказать ей: посмотри, и я была молода, красива, богата...

Она вдруг поняла, что тот день, которого она всю жизнь боялась, наступил. Наступил. А это конец. Уже почти двадцать пять лет в ней живет этот страх. Двадцать пять лет в ее воображении вновь и вновь воскресает лицо старой беззубой нищенки. Оно возникало из тьмы именно тогда, когда Марта чувствовала себя особенно молодой и счастливой. Оно неожиданно представало перед ней, и ни с того ни с сего в ее ушах начинал звучать голос нищенки. Целых двадцать пять лет этот образ жил в подсознании Марты. Впился в ее память, как клещ. Иногда Марте удавалось прогнать это видение, заглушить зловещий голос, но сейчас оно снова перед нею, его нельзя прогнать, и самое странное, что Марте и не хочется прогонять его, она готова принять его, сдаться, отступить перед ним, и с удивлением осознает, что все это не так страшно, как ей казалось.

Они довольно часто бывали тогда, двадцать пять лет назад, в маленьком ресторанчике на Перштыне вместе со своими — ей хотелось сказать — друзьями. Но ни она, ни Альфред никогда не имели друзей. Это были только знакомые.

Очевидно, никого из них уже нет в живых, она давно ничего о них не слыхала. Люди приходили и уходили, не задерживались долго на ее жизненном пути. Только Альфред и та беззубая нищенка неизменно с нею. Старуха приходила в ресторан в половине десятого с точностью, порой раздражавшей Марту, и клала перед ней несколько роз, за которые платил Альфред. Это вошло в привычку, и Альфред давно уже покупал розы скорее ради нищенки, чем ради Марты. Нищенка никогда ничего не говорила, но Марте всегда казалось, что именно на нее она смотрит с бо́льшим интересом и любопытством, чем на остальных. Несколько раз Марта ловила ее испытующий взгляд на своем лице, и ей становилось не по себе. Она начала чувствовать отвращение к нищенке. Однажды они отмечали какой-то праздник. Все были возбуждены и веселы. В половине десятого, как обычно, появилась старуха, мужчины шумно приветствовали ее и раскупили все цветы. Когда она клала розы перед Мартой, их взгляды встретились. Марта прочла в ее глазах сочувствие, жалость и что-то похожее на предостережение. Она возмутилась Ей так хотелось швырнуть цветы в лицо нищенке. Но Альфред был тогда в отличном настроении и помешал Марте, обратившись к старухе:

— Послушайте, матушка, вы умеете гадать по руке?

Та покачала головой и сказала:

— Этого не следует делать. Человеческая судьба начертана не только на руке. Рука может обмануть.

— Неужели!? — воскликнул Альфред.— А тогда где же?

— Не знаю,— ответила она.— Но я могу узнать судьбу людей.

— И нашу тоже? — настаивал Альфред.

— Если захочу, то и вашу,— ответила она.

— Тогда скажите,— раздались крики, и кто-то положил на стол деньги.

Но старуха не притронулась к деньгам, она отвела взгляд и посмотрела на Марту. Какое-то мгновение.

— Ну скажите хотя бы этой красивой даме! — воскликнул Альфред.

Старуха опять покачала головой.

— Хорошо, что люди не знают своей судьбы,— сказала она, собрала розы, лежавшие перед Мартой, и перевязала стебли обрывком бечевки.— Вы бы их поставили в воду, сударыня,— добавила она, обращаясь к Марте.

Тут их взгляды встретились снова, нищенка засмеялась, и Марта заметила, что у старухи нет зубов.

— И я была когда-то красива и богата, и как еще богата! И я когда-то занимала вот это место,— и она указала на стул, на котором сидела Марта.

Потом она заковыляла прочь, кивая головой и опираясь на палку. Марта видит все, как будто это происходит сейчас. На плечах у старухи черный шерстяной платок с бахромой, на голове — серая косынка, завязанная под подбородком. Неестественно толстые отекшие ноги обуты в стоптанные туфли.

Прообраз ее собственной судьбы, пора которой сегодня наступает. Она не хочет защищаться и не может сопротивляться. Она всегда носила в себе образ нищенки. Он околдовал ее, он — ее проклятье.

Страшное видение появлялось в те минуты, когда ничто ее не тревожило, когда она жила в упоительном чаду. Она порхала, подымалась все выше и выше, полными горстями разбрасывала любовь, молодость, красоту, богатство, а вот сейчас лежит, и руки у нее пусты.

Ничего у нее нет. Ни любви, ни молодости, ни красоты, ни богатства.

Она лежит тут, никому не нужная.

И вдруг Марта услышала свой собственный смех. Молодой и беззаботный. Она видит себя в легком белом платье, с красным зонтиком в руках. Вот она бежит по бархатистому зеленому лугу в Швигове — она ненавидит свое отяжелевшее тело, которое лежит тут. Вот слышится ей звон бокалов и музыка — в действительности она вслушивается в тишину, в удручающую тишину. Наплыв тишины, глухота тела и слепота чувств. Она лежит иссохшая, застывшая, беззубая. Марта чувствовала приближение этого дня. Всегда, когда она скрывалась от пьянящей суматохи жизни и оставалась в тишине и одиночестве, когда тишина и одиночество были для нее лишь новым наслаждением, а не несчастьем, когда она еще не чувствовала заброшенности и пустоты — в такие минуты мимолетной передышки, вызывавшей приятный трепет, она часто спрашивала себя: «А что будет, если я потеряю все? Если не буду уже молода, красива и богата? Не придется ли мне продавать розы, как той старой нищенке?»

Она спрашивала себя только для того, чтобы полнее ощутить свое счастье и беззаботность. Никогда не согласится она быть старой, беззубой, не согласится жить без денег.

У нее есть Альфред. Обеспечение будущности! Страховка на случай старости.

Нет у нее даже Альфреда. Того Альфреда, перед которым, как она надеялась, ей никогда не придется ничего скрывать — ни старости, ни шатающихся зубов, ни усталости, ни страха. Она думала, что они доживут жизнь вместе, как тысячи стареющих людей. В мире, в покое, в воспоминаниях.

Но Альфреду еще хочется жить, он борется за жизнь, не собирается сдаваться, отдаляет тот день, которого все равно не избежит, как не избежала его и Марта. Он еще не хочет жить уединенно, не хочет покоя, не хочет воспоминаний. Он хочет продолжать обманывать жизнь и самого себя! Но это ему не удастся. Однажды и для него останется только одна щелочка, только один выход — смерть.

Что ей еще остается делать? Что еще может она сделать, чтобы в этом был хоть какой-то смысл? Можно спуститься в подвал за углем и затопить, можно выкупаться, можно одеться, намазать лицо кремом, напудриться, накраситься. Можно позвонить зубному врачу Яворскому и зайти к нему. Он удалит ей зуб. Мост придется снять, сударыня, здесь поможет только протез. И ничего не скроет пудра, крем и румяна. А потом что? Что еще может она сделать? Продавать вещи, класть заплату на заплату, всегда сидеть одной и ждать, не забежит ли Ольга, не заглянет ли из вежливости Альфред. Может еще начать попрошайничать. Сначала выпрашивать крупные подачки, затем мелкие, потом подбирать объедки и, наконец, ходить по кабакам в стоптанных башмаках и думать про себя или говорить вслух: «И я здесь сидела, и я была красива, молода и богата».

Ее считали глупой, думали, она не разбирается в мужских делах, в политике, в бирже, в торговле. Может быть, она и вправду была глупа, но по-своему разбиралась во всех этих делах. И прежде всего понимала, что не желает ими заниматься. Они наводили на нее тоску. Но она всегда безошибочно распознавала, что ей полезно, а что опасно для жизни.

Когда началась война и пришли немцы, она знала — это можно пережить, ей и при них останется достаточно места, когда после революции Альфред очутился на самом дне пропасти и ему казалось, что наступил конец, она все же ощущала где-то в тайниках души, что еще можно хотя бы ненадолго избежать конца, можно выкрутиться. Но сейчас она точно знает, что наступил конец всему, что больше не удастся выкрутиться, что все лазейки будут закрыты. А если даже и можно было бы еще какое-то время пытаться оттягивать конец, то у Марты для этого уже нет сил.

Остается только пить!.. Умертвить себя, окаменеть, ничего больше не желать. Она сама себя добьет из милости. Остается только одна лазейка, и за ней подстерегает смерть. Марту все равно загонят в тупик — раньше или позже. Так лучше уж пусть будет раньше. Она сама, добровольно, слышите — добровольно уйдет из жизни. Не позволит загнать себя. Все равно тело, которое лежит тут,— это уже не ее тело. Оно отяжелело, одряхлело, мешает ей.

Она не спит и не бодрствует. Комната темная, пустая, холодная, она в ней заперта, как в склепе. Но и за стенами склепа все пусто, дико, холодно. Ей кажется, она лежит посреди обдуваемого холодными ветрами космоса, в ледяной, беззвездной тьме. Время исчезло. Нет ни вчерашнего дня, ни завтрашнего.

Какое облегчение, что не будет завтра! Видимо, она на минутку заснула или только собрала все силы, чтобы встать. В квартире совсем

темно и тихо. Наверно, уже ночь. Неважно, который час. Надо осуществить то, что задумано.

Она зажигает маленькую лампочку, встает и идет к телефону. Механически набирает номер, который набирала почти половину своей жизни.

Она слышит голос Альфреда. Голос из другого мира. Нет-нет, из того мира, где она еще недавно жила.

— Прощай,— говорит она ему,— прощай, Альфред...

И это имя показалось ей вдруг совершенно чужим, будто она говорит с незнакомым человеком. Какое ей, собственно, дело до того человека, на другом конце провода? Он невероятно далеко, за горами, за морями, за могилами — там, где Марта уже не хочет жить.

— Я все тебе простила, и ты меня прости!

Она машинально повторяет фразы, которые приготовила во время долгих одиноких размышлений, повторяет, словно по чьему-то приказу. Повторяет и ничего при этом не чувствует. Он что-то объясняет. Он узнал голос Марты. Он беспокоится, не больна ли она. Нет ли у нее жара?

Нет, у нее нет жара. Она чувствует себя хорошо.

Он извиняется. За что-то извиняется. У него собрание, у него было собрание, у него будет собрание. Все в полном порядке, нет никаких причин для беспокойства.

Да, все в полном порядке.

Она положила трубку, но не на рычаг. Из трубки доносились какие-то хриплые звуки, он еще что-то говорит, что-то объясняет, пытается ее утешить. Наверно, он зовет ее, наверно, он испугался, что она не отвечает. Но она не может отвечать, этот человек ей безразличен, ей безразличны его слова, все ей безразлично.

Она наденет черное платье, то, вечернее, которое заказала себе осенью. Она еще ни разу не надевала его. Остался неоплаченный счет за Ольгин зимний костюм, надо было бы привести все в порядок. Кажется, обычно в таких случаях все приводят в порядок. Но Марта уже не может и не хочет делать этого. Она уже не успеет, пусть этим займутся другие, те, кто останутся, для кого все это еще имеет значение. Пусть это сделает ее адвокат. Она ведь имеет адвоката. Всю жизнь имела адвоката. Некоего доктора Фишара.

На шею она наденет жемчуг. Пожалуй, его жалко... жалко! Даже Марты не жалко, ничего не жалко. «Этот жемчуг остался от матери,— когда-нибудь скажет Ольга,— он был на ней в день ее смерти...»

Чего только не скажут!

Мертвые бледны, пугающе бледны, она подкрасит губы и щеки, пригладит волосы щеткой и все...

Что еще надо сделать. Она как лунатик бредет в ванную...

Сейчас она закроет глаза и будет думать о чем-нибудь приятном. Перед ее взором зеленая трава сада, она бежит босая, кто-то зовет ее, но она убегает, вот она перескочила через ручеек, она уже в лесу, звенят бокалы, она поднимает один из них, она молода, красива, рот полон белых зубов, она видит себя...

2

Ондржей убрал свои вещи в шкаф, умылся в ванной и надел чистую рубашку. Людвик торопился. Он хочет идти куда-то ужинать, говорит, что у него с кем-то свидание. Он даже не снял пальто, нетерпеливо топчется на месте и курит сигарету за сигаретой. Ондржею никуда не хо-

чется уходить из уютной теплой комнаты. Он достал из чемодана маленькую бутылочку сливовицы, ему дала ее как-то Тонка, и он прихватил ее с собой в дорогу.

— Выпьем по случаю встречи,— сказал он.

Они выпили и вышли на морозную улицу. Прага была возбуждена, но Ондржей, не знавший города, сразу не заметил этого. Людвик же ощущал возбуждение города даже на улицах, относительно спокойных и тихих. На Пршикопах им пришлось выйти из трамвая, потому что толпа людей, неожиданно вынырнувших из темноты, остановила движение. В тусклом свете фонарей все казалось более таинственным и величественным. Толпа волновалась и гудела, люди скандировали какие-то лозунги. Сквозь этот шум прорывался зычный голос громкоговорителя.

Ондржей с Людвиком молча пробирались по Гибернской улице. Толпа поредела, но улица перед Народным домом была снова забита людьми. От вокзала волнами докатывались выкрики: «Долой министров-предателей!» Эти улицы, полные гула и скрытого напряжения, наэлектризовали Ондржея. Он остановился на краю тротуара, и ему захотелось влиться в шумный волнующийся поток людей. Он чувствовал себя в своей стихии. В этот момент Людвик взял его под руку, и рука эта стала тяжелой. Конечно он мешает Людвику.

— Пойдем,— устало и нетерпеливо сказал Людвик.

— Куда?

— Посидеть в тепле.

Ондржей усмехнулся. Ему не хочется в тепло, меньше всего в эту минуту хочется быть в тепле и тишине. Наоборот, его влечет к себе вихрь, буря. Но рука Людвика сжимает еще крепче его локоть.

И вдруг Ондржей оказался в ярко освещенном помещении. Духота, табачный дым, неясный гул голосов. Около стойки толпятся шумящие, спорящие люди, которых загнал сюда с улицы холод. В дальних залах почти пусто. Только за двумя или тремя столиками сидят люди.

Людвик устроился так, чтобы видеть гардероб и вход. На столе, покрытом пестрой скатертью, стояла ваза с искусственными цветами. Оба вдруг поняли, что теперь-то и настала минута настоящей встречи. Они не виделись два с половиной года.

Что за люди встретились за этим столиком?

— Зачем мы здесь? — сказал Ондржей, разглядывая просторное помещение.— Наше место там, на улице...

— Там ли мое место — не знаю,— ответил Людвик неуверенно.

Ондржей внимательно посмотрел на него и, помолчав, спросил:

— Где же твое место?

— Не знаю,— пожал плечами Людвик.— Может быть, я и хочу к тем, кто на улице. Но там холодно и неуютно. Пусть решают за меня, а я подчинюсь...

«Зачем я так говорю? — спрашивал себя Людвик.— Ведь это крамеровщина. Да и правда ли это?» Он почувствовал на себе взгляд Ондржея. Людвик хорошо знал этот пронизывающий взгляд. Еще с Катариберга. Он пристыженно замолчал. К счастью, подошел официант и поставил перед каждым тарелку со шницелем.

— Все зависит от того, как решат теперь социал-демократы,— сказал Людвик, потому что его вдруг испугала тишина и, главное, молчание Ондржея.

«Может быть, от этого как раз ничего и не зависит»,— подумал Ондржей. У них в Кржижанове председатель социал-демократической организации учитель Ганоусек. От него ничего не зависит.

— Ты думаешь? — только сказал он и тут же заметил, что это прозвучало иронически.— То есть,— поправился он поспешно,— все зависит от людей, от тех, кто на улице, и от нас, от тебя тоже. Сейчас никто не может оставаться сам по себе. Он не выдержит одиночества. Погибнет, просто-напросто погибнет...

Людвик молчал, он смотрел в сторону гардероба, как будто ждал, что оттуда придет спасение. И оно действительно пришло. Появилась Ольга. Она пробиралась через толпу и оглядывала зал. Заметив Людвика, издали кивнула ему головой. Людвик встал и медленно пошел ей навстречу. Все на ней было безукоризненно. Каракулевая шубка, каракулевая шапочка, каракулевая муфта. Она стояла стройная, самоуверенная, улыбающаяся.

Они вернулись из гардероба. Ондржей поднялся, смущенно и неловко. Она выглядела необыкновенно юной и свежей. Подала ему руку, и он назвал свое имя, а ее имя он не разобрал, потому что Людвик как раз в этот момент неосторожно задел бокал и вылил почти все вино.

— Страшно холодно. За весь день я сегодня ни на минуту не согрелась,— сказала Ольга и села на место Людвика у стены.

— Подогретого вина? — спросил Людвик, ища глазами официанта.

— Можно,— сказала Ольга равнодушно.— Я вам не помешаю? — спросила она, повернувшись к Ондржею.

— Нет-нет,— поспешно заверил ее Ондржей.— Скорее я обременяю Людвика,— добавил он нерешительно.

Ему показалось, что он становится все более неуклюжим.

— Вздор! — пробормотал Людвик.

— Я много о вас слышала,— сказала Ольга и посмотрела прямо в лицо Ондржея.— Ну, а как Кржижанов?

Ондржей с удивлением взглянул на нее.

— Я проводила там лето еще ребенком. Чтобы все было ясно,— засмеялась она,— я дочь Пруховой. Надеюсь, вас это не шокирует...

Теперь Ондржею чудится, что он расслышал это имя, но только не сумел понять. Молодая Прухова! Он засмеялся.

— Мне кажется, я даже помню вас,— ответил Ондржей. И хотя он сказал «кажется», но помнил ее совершенно ясно.— Однажды вы уронили мяч в пруд.

— В парке,— воскликнула она оживленно,— у мостков, где женщины всегда полоскали белье.

— Как раз тогда там не было никаких женщин. Это было в пасхальный понедельник. Вы ужасно кричали. Я вам его вытащил. Можно даже подсчитать, когда это было. Я ходил в первый класс городского училища,— размышлял он вслух.

— Это забавно! — воскликнула она.

Ондржей действительно очень хорошо помнил этот эпизод. Он себе казался тогда героем. Они играли в футбол, гоняли тряпичный мяч. Там были молодой Минаржик, Францек, Эмач, родители которого содержали кондитерскую на площади. Целая банда мальчишек возвращалась домой по аллее. У старых ворот стояла Прухова. Ее знали все — как же, городская знать! А над спуском, ведущим к пруду, ревела вот эта особа. На поверхности пруда, полного зеленых лягушек, плыл большой яркий мяч, безнадежно удаляясь от берега. На Ондржее были новые трусы. Синие. Мама нашила на них по бокам красные полосы. И он без размышлений прыгнул в холодную воду. Он был охвачен тогда каким-то благородным чувством. Воображал, что спасает не мяч, а человека. И торжественно вручил мяч Пруховой. Ондржей ждал слов благодарности и восхищения, но она посмотрела на него удивленно и свысока и

только кивнула головой, как будто в поступке Ондржея не было ничего особенного. «Видишь, она плюет на тебя»,— презрительно заметил Пешек Груза.

— А что делает Мария Рознерова? Она замужем? — услышал Ондржей.

— Нет, не замужем,— он усмехнулся.— Она теперь работает у нас на заводе.

— Мы ровесницы, вместе росли. С весны до осени мы не расставались с нею. Ее родители...

Ондржей кивком дал понять, что знает об этом.

— Я вижу, вы все знаете. Вы работаете вместе с нею? Я была бы рада ее повидать!

— Я хорошо ее знаю,— сказал Ондржей.

— Шлифуешь трубки! — вспомнил Людвик.

— Теперь я редко работаю в цехе,— ответил Ондржей со смущенной улыбкой.

— Партийный работник, да? — воскликнул Людвик.— По меньшей мере председатель заводского совета?

Снова смущенная улыбка и снова утвердительный кивок головой. Уж хоть бы заговорили о чем-нибудь другом. Ольга рассмеялась.

— Это забавно! Маму бы наверняка хватил удар, если бы она узнала, что я тут сижу с вами. Это вы ее позавчера выставили с завода?

— Мир тесен,— попытался Ондржей отделаться шуткой.— Я думаю, мне лучше уйти.

— Ничего подобного! — воскликнула Ольга.— Наоборот. Я хотела с вами встретиться. Знала, что вы будете здесь. И мне хотелось спросить, что, собственно, произошло в Кржижанове. Я ничего не могу узнать. Мать слишком взволнована. Скажите, кто же устроил все? Вы?

— Я? — засмеялся Ондржей.— Рабочие решили большинством голосов.

— И вы этому действительно верите? — спросила Ольга.

— Чему?

— Что они решили голосованием?

— Я присутствовал при этом. Почему бы мне не верить? — не понял Ондржей.

Она не ответила, только сухо засмеялась.

— Почему ты не веришь этому? — удивленно спросил ее Людвик.

— Почему? — сказала она с легким раздражением.— Да потому, что знаю — этим людям совершенно безразлично, кому принадлежит завод...

— ...и, значит, я их заставил это сделать...— добавил Ондржей иронически.

— Вы или кто-нибудь другой. Может быть, вас тоже заставили.

— Что заставили? — не понял Ондржей.

— Заставлять их,— засмеялась она.

— И вы действительно верите в то, что говорите?

— Ольга,— сказал почти умоляюще Людвик,— ведь ты не думаешь этого на самом деле.

Она только пожала плечами. Людвик закурил. Ондржей машинально тоже взял сигарету. Людвик наклонился, чтобы дать ему прикурить, но Ондржей положил сигарету обратно.

— Я решил курить поменьше,— объяснил он.

— Чего вы, собственно, хотите? — снова обратилась к нему Ольга теперь уже с заметным раздражением.

— Кто? Я? — спросил Ондржей, делая вид, что не понял.

— Я имею в виду коммунистов,— сказала Ольга.

— У меня дома лежит брошюра, которая называется «Чего хотят коммунисты»,— стремясь предотвратить спор, пошутил Людвик.

— Оставь свои остроты,— нервно оборвала его Ольга.— Я говорю серьезно.

— А почему бы вам не прочесть эту брошюру? — спросил Ондржей.

— Потому что мне хочется знать, чего вы, Махарт, от всего этого ждете, на что лично вы рассчитываете?

Ондржей засмеялся, открыл портсигар и закурил.

— Да речь идет вовсе не обо мне. Во всяком случае, не обо мне прежде всего.

— Тогда о чем же прежде всего? — настаивала Ольга.

Она сжала вдруг побелевшие губы и нахмурилась так, что на переносице образовались две морщинки. Людвик знал: это верный признак волнения.

— Если я вам скажу, вас это все равно не удовлетворит,— ответил Ондржей.

— Ну скажите.

— Прежде всего речь идет о социализме,— сказал он и, увидев ее разочарование, снисходительно усмехнулся: — Я ведь говорил, что вам этого объяснения недостаточно.

— Недостаточно,— призналась она.— Я, собственно, не знаю, что это значит. Можно ли при социализме жить, и как будут жить люди?

— На это я вам не могу ответить, потому что не знаю, как вы себе представляете жизнь,— сказал Ондржей.

— Но ведь вы навязываете людям свое представление о ней.

Он смотрел на нее и видел, как она напряжена и взволнована. Но, почувствовав на себе любопытный взгляд Людвика, решил перейти в наступление. И заговорил спокойно, но убежденно:

— Ничего подобного! Мы просто осуществляем наше представление о том, как должна выглядеть жизнь. А вам кажется, что мы его навязываем. Мы создаем новые условия жизни. И, оттого что вы должны им подчиниться, оттого что вы отказываетесь их принять как неизбежную необходимость, вам кажется, что мы их вам навязываем. Что же, если хотите — навязываем!

Она с удивлением посмотрела на него. Он воспользовался ее замешательством и спросил, глядя ей прямо в лицо:

— Чем вы занимаетесь?

Она отвела глаза и пыталась скрыть свое смущение улыбкой:

— Что вы имеете в виду?

Людвик понял, что, задавая этот вопрос, она хочет выиграть время.

— Самые обыкновенные вещи. Как вы зарабатываете на жизнь?

— Никак! — ответила Ольга вызывающе.— Живу на деньги матери. Не работаю. А кому какое до этого дело?

— До этого есть дело тем, у кого ваша мать хотела отобрать завод.

— Он принадлежал и принадлежит ей. По закону.

Ондржей сухо и отрывисто засмеялся.

— По вашему закону,— сказал он твердо.— Но у революции свои законы. Их создаем мы. Те самые люди, вон там, на улице, Людвик.

Ондржей не глядел на Ольгу. Он в упор смотрел на Людвика.

— Я пойду,— добавил он и встал.

— Подожди,— вскочил Людвик.

Ольга, улыбаясь, потягивала из бокала подогретое вино. Должно быть, она обрадовалась тому, что Ондржей уходит.

— Мы ведь еще с тобой не поговорили,— настаивал Людвик.

Ондржей так и не успел ответить. Людвик вдруг утратил к нему интерес. В эту минуту к их столику подошли Краммер, Сеймур и Шмидтке.

— А мы все-таки нашли вас,— воскликнул Краммер.

Ольга в удивлении встала.

— Боже мой, неужто Смит! — воскликнула она.— В самом деле Смит! Как вы сюда попали?

Шмидтке подошел к Ольге, галантно поклонился и поцеловал руку.

— Самым обыкновенным образом. Я просто путешествую,— ответил он.— Вы бесконечно похорошели за это время.

Сеймур развалился на стуле, вытянул ноги и с любопытством разглядывал окружающих.

— Пока пролетариат борется, мы крадемся к власти,— возгласил Краммер, присаживаясь к столику.

Людвик подошел к Ондржею, чтобы задержать его.

— Разреши мне уйти,— сказал Ондржей,— я здесь лишний...

— Надеюсь, вы не покинете нас, идеалист,— крикнул Краммер вслед Людвику.

— Я сейчас вернусь,— ответил Людвик, направляясь с Ондржеем в гардероб.

— Как раз этого ты не должен был бы делать,— заметил Ондржей.

— Я должен,— ответил Людвик.— Вот тебе ключи. Я позвоню, когда вернусь.

Ондржей промолчал. Он кивнул и вышел на темную морозную улицу.

— Хочу пить. Хочу сегодня как следует напиться,— воскликнул Краммер, когда Людвик вернулся к столику.— С нами красивая девушка, так предадимся же горькому веселью!

3

Он не мог поверить, что звонит Марта. Покорность, преданность, спокойствие. И голос ее изменился. Он звучал как бы издалека, она говорила тихо и монотонно, словно отвечала выученный урок.

— Прощай, Альфред!

Он не понял.

— Кто это? — Он повторил свой вопрос несколько раз, прежде чем убедился, что это действительно Марта.— Тебе что-нибудь нужно?

Он хотел сказать «милая», но в последнюю минуту проглотил это слово. Нет, ей ничего не нужно. И это было самое удивительное. Она позвонила ему просто так, ни с того ни с сего, вероятно потому, что хотела услышать его голос, затосковала по нему. Вздор! Этому невозможно поверить. Он был растерян, напряжен, насторожен. Это было безусловно не в характере Марты.

— Я все тебе простила, и ты меня прости!

Господи, к чему такая сентиментальность? Откуда это вдруг у нее? К чему разыгрывать такой спектакль? У него возникло неприятное чувство, что она просто хочет вызвать его на разговор о прошлом и будущем, о грехах и прощении, о любви и дружбе.

Но только, дорогая моя, на такую удочку ты меня не поймаешь. Для этого мы несколько стары.

Он сделал вид, что не расслышал ее слов, не обратил внимания на ее настроение, и начал деловой разговор о практических вещах.

Он говорил и говорил, пока вдруг не почувствовал, что говорит в пустоту, Марта его не слушает, она отошла от аппарата.

— Алло! — он приостановил поток слов.— Алло! Ты меня слушаешь, Марта? Ты у телефона? Алло!

Ничего! Молчание. Трубка гудела, как пустая раковина. Он подождал еще немного и нерешительно повесил ее. Потом стал поспешно одеваться. Что на нее нашло? Почему вдруг такой надрыв? «Прощай. Я тебе все простила, и ты меня прости». Бессмыслица! Марта трезвая и рассудительная женщина. Но, может быть, именно потому, что рассуждает трезво, она и могла прийти к таким выводам...

«Если зайду в тупик, покончу со всем этим»,— чуть что с легкостью заявляла Марта. И он никогда не принимал ее слов всерьез. Пустяки. Наверно, обычная неисправность телефона.

Уже в пальто, собираясь уйти, Фишар вернулся от двери и медленно, со страхом набрал номер Марты.

Занято!

С успокоенной совестью он вышел. Пробираясь через толпы людей на Вацлавской площади, на Индржишской улице, он слышал обрывки разговоров возбужденных чем-то людей, и Прага казалась ему враждебной, где-то под спудом она гудела, грозилась выйти из берегов и все затопить. Прага кипит, она подобна дрожащему от ярости, рычащему зверю, готовящемуся к прыжку. Фишар боится толпы. Однажды он видел в американском кинофильме суд Линча... а потом ему приснился сон: он бежал по пражским улицам и проспектам, скрывался в нишах, карабкался по крышам и падал. Он проснулся тогда в ужасе. Да, где-то в глубине его сознания кроется инстинктивный ужас перед толпой.

Он обрадовался, когда за ним закрылась дверь театра. В вестибюле было тепло и царила почти монастырская тишина. Толстая буфетчица осторожно и бесшумно раскладывала по коробкам свой товар; увидев Фишара, она улыбнулась, посмотрела на часы и сказала тоном заговорщика:

— Барышня придет с минуты на минуту. Вы давно у нас не были, пан доктор!

Фишар уселся в плюшевое кресло. Он радовался предстоящей встрече с Люцией — не видел ее уже четыре дня, но в то же время в мысли его снова вторглась Марта, и это отравляло ему радость. Он же знает, что у нее что-то не в порядке, что-то случилось. Все, что она говорила, и то, как она говорила, находилось в вопиющем противоречии с тем образом Марты, который жил в нем больше двух десятилетий. Он встал, расстроенный и взволнованный, и спросил толстую буфетчицу:

— Могу я позвонить?

Она открыла ему кабину. Господи, почему он так волнуется? Он набрал номер Марты. Занято. У Ольги с весны свой телефон. У него где-то записан ее номер. Фишар поискал в записной книжке. Телефон у Ольги в порядке, раздались гудки, но трубку никто не поднял. Она, вероятно, у Марты, подумал он, и это его немного успокоило. Ну, разумеется. Если с Мартой что-нибудь приключилось, там же есть Ольга. А какие, в конце концов, у него еще остались перед Мартой обязательства?..

Через стекло кабины он увидел Люцию. Она спешила. Фишар выбежал из кабины и догнал ее.

— Люция,— прошептал он и поцеловал ей руку.— Как давно я тебя не видел.

— Пойдем ужинать,— предложила она равнодушным тоном, не проявляя никакой радости при виде его. Фишара это немного задело.

— Я думал, что сегодняшний вечер мы проведем вдвоем. Там будет компания? — спросил он.

Она кивнула.

— Досадно,— сказал он с печальной покорностью.— Я так ждал этой встречи, Люция. У меня на сердце много такого, чем хотелось бы с тобой поделиться. Ты не могла бы побыть со мной хоть часок? Зайдем ненадолго к тебе...

— Я ведь уже условилась, а если попаду домой, сразу же свалюсь. Очень устала. Потом я не ужинала, а дома у меня ничего нет.— Она хваталась за все доводы, чтобы только не оставаться с Фишаром наедине.

Они молча пробирались через толпу, окружавшую Народный дом. Фишар был подавлен. Люция почему-то замкнута, неприступна, не соглашалась ни на одно его предложение, не проронила ни одного ласкового слова. В такие минуты он превращался из пылкого влюбленного в доброго дядюшку, снисходительного к ее капризам, благодарного за то, что она уделяет ему хоть чуточку внимания. Это была самооборона. Он отступал из страха потерять все и в такие минуты начинал говорить ей «вы».

— Тогда мне придется принять решение без вашей помощи,— сказал он, улыбнувшись.

— Какое решение? — неосторожно задала вопрос Люция и тут же раскаялась в своем любопытстве.

— Бывают мгновения, Люция, когда нам необходим человек, который нас хоть немножко понимает. А я благодаря вам в последнее время привык к сознанию, что мне есть к кому прийти со своими тревогами, что я не одинок. Человек никогда не отучится ошибаться.

Он засмеялся, старался, чтобы в его смехе была точно отмеренная доза горечи. Не слишком много, не слишком мало. Ровно столько, чтобы возбудить в Люции участие, чтобы получить от нее доказательство благодарности.

— Вам действительно не обойтись без моей помощи? — спросила она, испытующе посмотрев на него.

— Ничего другого мне не остается! — ответил он, даже улыбнувшись.

— Тогда зайдем на минутку в кафе,— сказала она, покорившись.

Кафе было переполнено и прокурено. Всегда тихое, полупустое, оно в этот вечер превратилось в шумный кабак. И сюда проникла та Прага, которой Фишар боялся. Они пробирались между столиками, вокруг которых теснились люди.

Он добился своего, остался вдвоем с Люцией, но это нисколько его не радовало. Напротив, он жалел, что принял ее предложение. Не такой встречи он хотел. Он тосковал по Люции преданной, благодарной, любящей, думал, что останется у нее на ночь. В последнее время она не соглашалась на это, а он терпеливо подчинялся в надежде, что в подходящую минуту, когда она будет уступчива и мягка, податлива на его уговоры, он добьется ее обещания переехать к нему. Надеялся, что ее прельстит перспектива беззаботной спокойной жизни. Никогда и ни в чем, Люция, я не буду посягать на твою свободу. Ты сможешь когда угодно уйти от меня и не услышишь ни слова упрека. Я не буду связывать тебе крылья. Напротив! Лишь для того чтобы помочь тебе выше взлететь, я и хочу, чтобы ты жила рядом со мной. Я хочу быть тебе помощником, добрым советчиком, хочу, чтобы твои успехи на сцене стали моими успехами. Но если он скажет ей что-либо подобное здесь, в этом заплеванном кабаке, все будет испорчено. Лучше терпеливо дожидаться более удобного случая.

— Похоже, что надеяться не на что,— сказал он с досадой, оглядывая помещение в поисках свободного места.— Уйдем отсюда...

Когда они шли к выходу, Фишар заметил за большим столом, окруженным молодыми людьми, Владимира Бездека. Он что-то горячо доказывал, энергично жестикулировал, будто с кем-то ссорился. Люция его не видела, а Фишар хотел сделать вид, что не узнал. Но Владимир заметил их, встал и, пробираясь по узким проходам между стульями, поспешил к ним. Люция не подала ему руки.

— Я не знал, что вы принимаете разглагольствования пьяного всерьез,— сказал Владимир.

— Мне сейчас негде помыть руки,— ответила Люция холодно и отступила в сторону.

— Что у вас с Люцией произошло? — спросил Фишар.

— Да так, небольшой обмен мнениями,— сказал Владимир.— Еще и сегодня у меня из-за этого болит нос. Я вам хотел только сказать, что дела идут прескверно.

— Что вы имеете в виду? — спросил Фишар.

— У меня сведения из Народного дома. Мы с коллегами ждем здесь развязки. Дело приняло неожиданный оборот, и, видимо, из отставки ничего не получится. Только декларация — и та ни рыба ни мясо. Вам, доктор, следовало бы хорошенько отрепетировать полуоборот.

Фишар терял терпение. Люция демонстративно повернулась и медленно направилась к выходу. Он следил за нею глазами и рассеянно слушал Бездека.

— Да что полуоборот, этого, пожалуй, теперь недостаточно, доктор. Придется сделать поворот на все сто восемьдесят градусов,— засмеялся Бездек.

— Лучше бы вы побольше заботились о себе и поменьше о других,— сказал Фишар полушутя, полусерьезно.

Он в нетерпении протянул Бездеку руку.

— Я не эгоист, доктор. Хочу поделиться с вами тем, что знаю. Советую подождать меня. Рядом в погребке. В любом случае я доберусь туда до полуночи. Уже с текстом декларации. Я так или иначе хотел вам позвонить.

— Не могу вам обещать,— сказал Фишар.

— Сократите на сегодня часы любви,— ответил Владимир, посмотрев вслед Люции.

Она уже подошла к двери, и Фишар поспешил к ней. Она ни о чем не расспрашивала, но он почувствовал себя обязанным извиниться.

— Простите, Люция,— сказал он.— Я не подозревал, что вы не разговариваете с Бездеком. Он информировал меня о ходе заседания в Народном доме. Многое зависит от того, чем оно кончится. А он получает сведения из первоисточника. Ведь все эти события связаны с моим решением...

— Какие события? — спросила Люция.— Правительственный кризис? А что вам до него? Вы ведь не министр? — засмеялась она.

— Исход кризиса,— сказал он,— будет иметь далеко идущие последствия для всей моей жизни. Может быть, вы не понимаете значения всего происходящего?

— Действительно, не понимаю,— сказала она.— То есть не понимаю, какое все это имеет отношение к вам? Ко всей вашей жизни, как вы говорите.

— Дело в том, что я был, да и сейчас, к сожалению, близок к тому, чтобы стать министром,— сказал он с горечью и сам удивился своим словам. Зачем он это говорит? Иногда он лжет, сам не зная зачем.

— Вы?! — удивилась она.

Ну да! Он знает, зачем лжет: не хочет потерять Люцию, пытается пробудить в ней интерес к себе. Он хочет участия или сочувствия. Чего угодно, лишь бы было какое-нибудь чувство. Может быть, даже ее возмущение было бы ему приятнее, чем это равнодушное, безучастное, даже без тени любопытства, выражение лица.

— На меня рассчитывают в новом правительстве,— сказал он веско, но все с той же точно отмеренной дозой горечи.

— На вас?! — воскликнула она удивленно и рассмеялась.— Почему же именно на вас?

Это казалось ей непонятным, даже лишенным всякого смысла, и Фишар обиделся.

— Речь идет о правительстве специалистов,— сказал он таким тоном, словно разговаривал с ребенком.

— О чиновничьем правительстве, как все его называют? — спросила она, оставаясь безучастной, но в ее тоне он почувствовал презрение.

Надо было отступать.

— Да,— кивнул он устало.— Конечно против моей воли. У меня своя точка зрения на сей счет. Как бы ни разворачивались события, я знаю, чем все кончится.

— Чем же? — с интересом перебила она его.

— Расчет простой,— сказал он уверенно.— Победят коммунисты. В этом уравнении нет ни одного неизвестного.

— И это думаете вы? — удивилась Люция и в то же время заметила, что они снова прошли мимо Театрального кафе и идут по направлению к ее дому. Она остановилась, но, прежде чем ей удалось заставить его возвратиться, он сказал твердо:

— Да! Я видел слишком много грязи в другом мире. И решил сделать из этого выводы.

— Какие? — спросила она.

В ней боролись противоречивые чувства. Она знала, что нельзя верить ни одному его слову, но тем не менее все, что она слышала, разжигало ее любопытство.

— Все это, Люция, связано с тем, о чем я сегодня хотел с тобой говорить,— сказал он и умолк.

— Так скажите сейчас!

— Нет! Сейчас не буду. Это слишком важное дело, чтобы его можно было решить так, мимоходом, на улице.

Он горько, даже скорбно усмехнулся. Но как раз эту его усмешку, эту складку вокруг губ Люция ненавидела. Было в этой усмешке что-то циничное, жесткое и самоуверенное. Он вымогает у нее участие. Она должна быть серьезна, невероятно серьезна, потому что он принимает какое-то решение. Она должна была бы быть сейчас сговорчивой, с уважением слушать его, как слушает ученица учителя, дочь — отца, неопытная девушка — мудрого и зрелого человека. Когда-то он все-таки помог ей, и она должна быть ему благодарна. Благодарна всю жизнь. Преданна, покорна, полна уважения.

— Придется мне умерить свое любопытство! — сказала она.— Я обещала... вернемся.

Фишар понимает, что ему следовало бы теперь поклониться, поцеловать ей руку, молча и гордо уйти. Но не может решиться на это. Он чувствует, что поведение Люции вызвано какими-то обстоятельствами, которые ему удастся узнать, если он останется с нею.

— Пожалуйста,— поклонился Фишар и зашагал, взяв Люцию под руку.

Но, когда они вошли в Театральное кафе, он обнаружил там, к своему изумлению, Шмидтке, Янебу, Ольгу и еще каких-то людей, которых Люция не могла знать. Ее поведение показалось ему еще непостижимее. И Люцию удивило, даже несколько смутило это шумное общество, теснившееся у столика. Она с изумлением посмотрела на Людвика, ожидая от него объяснения. Он ответил ей благодарным, радостным, извиняющимся взглядом. Любое общество приятнее для нее, чем свидание с Фишаром наедине, молча ответила она ему. Начались спешные взаимные представления. Она не запомнила в ту минуту ни одного имени. Кто-то подал ей стул. Она села, и вдруг ей захотелось только одного — поесть.

4

Бенедикт скучает и не может понять, почему должен лежать в постели, когда у него ничего не болит. Температура упала после первого же укола пенициллина, прекратился и мучительный кашель. По правде говоря, первые два дня, когда ему приходилось вставать и идти по холодному коридору или надо было подбросить в печку уголь, у него кружилась голова, и он был рад снова поскорее лечь в постель.

Погоди-ка, он свалился во вторник, сегодня пятница, значит, он лежит у Махарта третий день. «Что же, я так и буду валяться у чужих, господин доктор?» — спросил он сегодня у врача. «И не думайте вставать, дружище. У вас двухстороннее воспаление легких. Раньше от этого умирали».

Вот Бенедикт и вылеживает. Но долго ли так выдержишь? Старая Махартова носит ему мясной суп и чай с лимоном.

И зачем он, собственно, приплелся сюда? Той ночью, когда он решил идти к Махарту, ему это было яснее, чем сейчас. Может, в горячке был или спьяну. Хватил три кружки пива, а потом еще грог впридачу, ну его и разобрало — к выпивке он не больно приучен, боится хлебнуть лишнего. Уж он-то знает, что может натворить пьяница, насмотрелся на отца. Тот всегда бывал под мухой, колотил мать и их, детей, а потом скулил где-нибудь в углу... Это еще счастье, что он сам пришел сюда. Если бы с ним такое стряслось дома, он бы окачурился, прежде чем о нем кто-нибудь вспомнил бы.

— Ты что же это, Йозеф,— сказала ему вчера старая Махартова,— совсем о себе не думаешь. Живешь как пес. Достать приличную квартиру себе не можешь? Бабенку подходящую не найдешь? Чужие люди за тобой толком никогда не присмотрят...

Это верно! Но одно упирается в другое. Без квартиры бабу себе не найдешь а на что квартира без бабы? А потом втемяшилась ему в голову Тонка, собственно говоря, он никогда и не думал ни о какой другой женщине. Еще мальчишкой, когда и понимать-то не понимал что к чему, бегал Бенедикт к ним в лавку, смотрел, как она там вертится возле весов, продает изюм. Потом, когда она вышла замуж за Франтишека, он убеждал себя, что долго с этим обормотом она не проживет, его посадят, и кончен бал. Любой бабе опротивеет такая жизнь.

«Она хорошая, Тонка, и не заслуживает плохого к себе отношения,— сказал ему Махарт в вечер своего отъезда.— Но я-то плохой, Йозеф. Вот и не знаю, как быть теперь. Да что тебе говорить!»

Значит, здорово втрескался он в Маржку Рознерову. А ведь за Маржкой раньше бегал Слезак, тот, из типографии Валоуха. Его посадили вместе с Махартом, а потом в последний момент прикончили.

«Я тоже всю жизнь думал только о Марии,— сказал ему Махарт вчера, когда они погасили свет.— Но что я мог сделать. Франтишек был

хороший товарищ. А потом, когда он погиб, стало еще хуже. И я сам все испортил. Просто потерял голову. С некоторыми женщинами нельзя торопиться».

«А теперь у тебя с Тонкой ничего нет?» — спросил Бенедикт.

Ондржей, понятно, долго молчал, а потом сказал:

«Нет. Теперь уже ничего!»

«А ты ей говорил, что, мол, не хочешь с ней иметь дела?»

«Нет еще! Не мог я. Боюсь, что и не смогу. Это не так просто».

Бенедикт и сам удивляется, почему он не злится на Махарта. В другое время он бы злился, особенно если бы лежал в своей конуре, вертел в руках револьвер и глазел на образок «Дай бог счастья». Он представлял бы себе, как отделает Махарта, а теперь не злится на него даже за то, что тот спал с Тонкой. Пожалуй, он ему завидует, черт возьми! Раньше он думал, что Махарт стал ему поперек дороги, и, если бы его не было, все сложилось бы иначе. Теперь Бенедикт понял, что вовсе не Ондржей ему помеха, дело совсем не в этом. Ондржей достал для него лимоны и сказал: «Вот тебе, слопай их все сразу, в них витамины. И оставайся здесь, не пущу тебя в твою конуру. Паздера говорил, что он тебе присмотрит какую-нибудь квартирку, а пока не получишь ее, будешь жить у меня. Ведь надо иметь головы на плечах — не грызться же нам из-за бабы. На свете существуют дела и поважнее».

Это, конечно, так! Бенедикт, пожалуй, сам был порядочной свиньей, еще похуже, чем Махарт. Всю жизнь его словно сжимали какие-то ржавые обручи. Никак не мог он от них освободиться, и люди не могли к нему подступиться. А когда обручи вдруг лопнули и он мог, наконец, подойти к людям, а люди к нему, стало ясно, что все не так-то просто, что у каждого свои заботы. А вот сейчас, черт побери, он себя чувствовал здесь как у родных. Кто бы для него столько сделал? Когда ему было плохо, старая Махартова таскала ему через обледенелый двор мясной суп, а Махарт ставил под мышку градусник и говорил: «Покажи язык, как ты себя чувствуешь? Ну хватило тебя, чертяку! Я был у тебя дома, там ведь вода течет по стенам и тут же замерзает, ну и мы, ясное дело, хороши, что тебя там бросили».

Бенедикт не виноват, что разревелся, как грудной младенец, он лежал на брюхе и всхлипывал в подушку, чтобы никто не видел. Ему было страшно жаль себя. И все из-за паршивой болезни. Ведь от болезни никто не застрахован, она сваливается на тебя, когда меньше всего этого ждешь. Ему было так плохо, как никогда в жизни, порой он терял сознание и нес какую-то чушь. Ему было плохо, и в то же время так хорошо, как еще не бывало. Наверно, оттого он и разревелся.

Бенедикт услышал, как старая Махартова ковыляет по двору. Тащится еле-еле, вот заскрипели двери в прихожей, и через минуту она появилась в комнате.

— Ну, как ты себя чувствуешь, парень? — спросила она.— Пока я переползу через двор, бог знает сколько времени уходит.— Она поставила кастрюли на стол.— Все остыло.

— Тетушка, не чудите, пожалуйста,— сказал Бенедикт.— Не носите мне все эти разносолы. Поскользнетесь еще, чего доброго, грех на мою душу ляжет. Что ж это ваш Ондржей лед не сколет?

Она подогрела суп на печке.

— У него других забот хватает. И правильно! Когда было совсем худо, ну что тебе рассказывать, ты и сам натерпелся, я сколько раз на него сердилась. Мир не переделать, говорила я, вот если бы ты думал о своем ремесле и не совался в революцию, тебя бы оставили на работе. А он и слушать не хочет. Надо, мол, все переделать до основания. Иначе

лучшего не жди. И переделал, ничего не скажешь. С тех пор я молчу. Что ж тут сердиться! Взять хоть бы этот лед. Не беда. Выглянет солнышко, и ничего от него не останется. Да что там лед. Надо теперь смотреть в оба, чтоб у вас не отобрали того, что вам принадлежит!

— А как же! Вы, тетушка, видать, тоже коммунистка, да? — спросил он.

— Вот тебе суп с лапшой и мясо,— сказала она, ставя кастрюлю на стул возле его постели.— Нет, я не коммунистка, хотя почему бы мне и не быть ею. А уж если на то пошло, так я коммунистка! Сын, правда, говорит мне: «Ничего, не тревожься, мама, я и за себя и за тебя поработаю». Когда речь идет о нашем, кровном, мы все коммунисты. А ты разве нет?

— А как же,— буркнул Бенедикт и набросился на суп.— Ясное дело!

— Вот тебе рогалик и чай, подогреешь после, чтоб мне не ходить сюда. А вечером я тебе снова еду принесу.

— Не надо,— сказал Бенедикт.— Я уже здоров. Пойду к себе.

— Не выдумывай! Тебе еще нельзя. Ондржей сказал: «Мама, если он захочет уйти, не отпускай». Ты упрямый, это верно. Но уходить не смей, а то мне из-за тебя влетит.

— Конечно! Он всегда должен настоять на своем! Ну, спасибо вам.

— Не за что. Теперь пойду к старику, он еще не ел.

Когда она ушла, унося в корзине посуду, Бенедикт встал, натянул брюки и обулся, надел пальто, а поверх укутался в одеяло Ондржея. Потом набрал в ящик из поддувала золы, вышел во двор и посыпал ею обледенелые камни.

«Мир переделывает, а лед посыпать золой не может»,— думал он, но уже без всякой злобы. Его трясло от холода. Он залез под одеяло и через минуту уснул.

Проснулся Бенедикт только под вечер. У его постели стоял доктор Пешек, а за ним старый Паздера. В комнате было почти темно. Паздера включил свет.

— Добрый вечер! — сказал он.

Доктор выслушал Бенедикта, сделал укол пенициллина, написал какой-то рецепт. «Пошлите за этим»,— сказал он и ушел. Остался Паздера, он сел на край постели и принялся рассказывать:

— Так вот, твои министры не желают иметь с нами ничего общего. От нас, видите ли, плохо пахнет. Им хочется от нас отделаться.

— Какие это мои министры? — пробурчал Бенедикт.

— Ну как же, «братья». Они больше не хотят делить с нами власть. Подавай им все или ничего. Ну так вот — не получат ничего. Обойдемся и без них!

— Я тоже так думаю! — согласился Бенедикт.

— Я пришел сказать тебе, что ты получишь новое жилье. Голечек освободит тебе в своем доме верх, и, как только станешь на ноги, можешь тащить туда свои монатки. Там сухо и попросторней, чем здесь,— добавил он, оглядываясь вокруг.

— А почему сам Голечек? Ведь он же районный секретарь,— удивился Бенедикт.

— А почему бы не Голечек! — вдруг раскричался Паздера.— Мы людоеды, что ли?

— Чего же он раньше этого не сделал? Почему только сейчас?

— Раньше мы не знали, как ты живешь.

— Будто вы уж у меня действительно никогда не были, дядюшка!

Не сочиняйте, пожалуйста. Мало ли вы меня ругали да уговаривали, чтобы я к вам переметнулся.

— Одного человека не трудно и проглядеть. Больно ты нам нужен! Трепач ты, только тебя нам и не хватает!

— Дядюшка, не подзадоривайте меня. Не то я еще больше взбеленюсь. И если бы я не должен был вас поневоле уважать, потому что вы были другом отца и опекуном братишки, так я бы вас давно уже выставил, скажу вам по правде. Мне ваши советы и проповеди ни к чему.

Паздера несколько раз открывал было рот, собираясь что-то сказать. Потом встал и с минуту смотрел на Бенедикта.

— Ну как,— спросил он,— что же передать Голечеку?

— Передайте, что ладно,— пробурчал Бенедикт.

— Махарт говорил, ты взялся как будто за ум,— сказал Паздера и надел шапку.— Правда, в самую последнюю минуту. Ну что ж, я пойду.

Он кивнул головой на прощание. Бенедикт сердито отвернулся к стене, закрыл глаза и открыл их только тогда, когда услышал скрип калитки во дворе. Умеет вытягивать жилы этот противный старикан. Чтоб его черти взяли! В душе у Бенедикта был мир и покой, а теперь на него снова напала злость, и хочется сделать все наперекор своему же решению. Но Паздера — это Паздера, и незачем о нем думать. Как будто его и нет! Наверно, уже шесть часов. На дворе совсем темно.

Бенедикт с удивительным проворством вскочил с постели, побрился бритвой Махарта и умылся водой, которая грелась в кастрюле на печке. Он вдруг почувствовал себя свежим и здоровым. Бенедикт погасил свет и проскользнул через дворик. Ветер пахнул ему в лицо, он нащупал задвижку, открыл калитку и, очутившись на улице, прибавил шагу. В аптеке еще горел свет, но железная штора была уже наполовину спущена. Он приподнял ее и проник внутрь. За прилавком стояла девушка в очках и перекладывала какие-то скляночки.

— Добрый вечер,— сказал он.

Девушка даже онемела от удивления.

— Приготовьте мне вот это лекарство, барышня,— продолжал Бенедикт и подал ей рецепт.— А я пока поговорю с аптекарем.

— Господина аптекаря нет,— заметила она.

— Неважно. Я пройду к нему в квартиру,— сказал Бенедикт и зашел за прилавок.

Провизорша, изумленная его самоуверенным тоном, робко отступила.

— Что вам приготовить,— спросила она,— ведь это обыкновенный сироп?

— Так приготовьте сироп. Я его потом захвачу.

Он прошел через комнату, где сильно пахло лекарствами и где стояли шкафы, полные бутылочек и баночек, вошел в освещенный коридор, поднялся по ступеням на второй этаж и там позвонил.

Служанка, открывшая дверь, вопросительно посмотрела на него.

— Мне надо поговорить с аптекарем,— сказал Бенедикт.

— Господин аптекарь только что пришел и ужинает,— сказала девушка.

— Неважно! — настаивал Бенедикт.— Я должен с ним поговорить. Скажите ему, что по очень важному делу. Мое имя Бенедикт, Бенедикт Йозеф.

— А вы насчет политики? — спросила девушка.

— Ага,— кивнул Бенедикт.

— Ну, тогда подождите,— сказала она и вошла в одну из дверей.

Дверь осталась приоткрытой. Бенедикт увидел просторную, ярко освещенную комнату. Под большой люстрой стоял круглый стол, покрытый белой скатертью. За столом сидели аптекарь с салфеткой на груди, его жена и сын. Они ели. В передней пахло чем-то жареным. Бенедикт видел, как аптекарь снял салфетку, встал и не спеша вышел в прихожую.

— Привет! — сказал он, увидев Бенедикта.— С чем пришел?

Это был высокий, почти на голову выше Бенедикта, полный и крепкий мужчина. Он всегда держался с достоинством и теперь старался сохранить привычную осанку, хотя был в жилете и в шлепанцах.

— С чем пришел? — переспросил Бенедикт.— А вот с чем.

Он вынул из кармана разорванное партийное удостоверение. Аптекарь поднял брови — он не понимал, чего хочет Бенедикт, но в конце концов взял удостоверение и с любопытством стал его рассматривать.

— Что это? — спросил он.

— Это...— начал было Бенедикт, но осекся и затем произнес заранее приготовленную фразу: — Я возвращаю вам, как председателю, свое удостоверение потому, что не хочу иметь ничего общего с вами.

Наступила тишина. Аптекарь с минуту стоял молча, видимо, до него еще не дошел смысл происходящего.

— Ах так! — удивленно пробормотал он и потянул носом.— Так они тебя все-таки поймали.

Аптекарь брезгливо держал удостоверение за уголок и не знал, что с ним делать.

— Поймали, не поймали — не имеет значения,— сказал Бенедикт. Он еле стоял, у него начала кружиться голова, и весь он обливался потом.— Но вы все же примите это к сведению.

Они стояли друг против друга. Часы на старом комоде пробили половину седьмого. Их звон как будто разбудил аптекаря. Он швырнул под ноги Бенедикту удостоверение, которое до тех пор держал в руке, и вдруг взорвался:

— С какой стати всякое хамье лезет ко мне в квартиру! Вы пришли угрожать мне, что ли? Разве вы не знаете, где секретариат? Думаете, я вас боюсь, голодранцы вы несчастные?

Служанка стояла в коридоре возле двери, испуганно прижимая к груди передник. Из другой двери вышла жена аптекаря, в комнате расплакался ребенок.

— Не ори на меня,— заревел Бенедикт.— А это возьми себе,— и он отбросил удостоверение носком ботинка. Потом быстрым взглядом окинул прихожую и, выходя, буркнул в дверях: — Прощайте!

Бенедикт ушел, хлопнув дверью. В аптеке он взял сироп, подлез под полуопущенную штору и очутился на темной Кржижановской площади. Он чувствовал себя очень слабым после недавнего жара, но было ему необыкновенно легко и свободно. Однажды он уже пережил нечто подобное. Было это за городом, он вышел на Поланку, и перед ним вдруг открылся широкий, почти безграничный простор — казалось, достаточно поднять руки, чтобы взлететь. Никогда до этого или позже он не ощущал так остро сладость освобождения. Только сегодня. Но тогда на Поланке это было без всякой причины, разве только оттого, что ярко светило солнце, а он был один и чему-то радовался. Сегодня для этого есть причина. Может быть, он сломал железные обручи, которые его сжимали и мешали сблизиться с людьми. Сейчас он выдержал сражение не только с аптекарем, но и с самим собой. Он чувствовал, что ничего не боится, совершенно ничего, он освободился и поэтому радуется всему, даже освещенные витрины заставляли его прибавить шагу и кричать от радо-

сти. «Двухстороннее воспаление легких. Раньше от этого умирали»,— сказал доктор.

Бенедикт чувствовал, как спину его холодит мокрая рубашка. Он поднял воротник пальто, засунул поглубже в карманы руки и, сгорбившись, мерил большими шагами полупустую улицу. У домика Чигаковых он остановился, скорее его что-то остановило. Возможно, освещенное окно, за которым ему почудилась тень Тонки. Он взялся за дверную ручку, нажал, и дверь отворилась. Бенедикт вошел в темный коридор. Через щель между полом и дверью пробивался свет. Он открыл дверь раньше, чем Тонка успела ответить на его тихий стук, и сам испугался своей смелости. Тонка сидела в белой, чисто убранной кухне с вязаньем в руках и ждала Ондржея. Поэтому она оставила дверь незапертой, хотя обычно тщательно запиралась даже днем — боялась оставаться одной. Входя, Бенедикт заметил на ее лице улыбку. Но улыбка сразу исчезла, уступив место удивлению. Тонка отложила вязанье и встала.

— Это ты, Йозеф,— сказала она, явно разочарованная.— Ты что-нибудь мне принес?

Он заходил к ней несколько раз, но обычно с определенными целями, она сама звала его что-нибудь исправить. В доме всегда ведь надо что-то починить.

— Я шел мимо,— сказал он,— и решил зайти спросить, не надо ли тебе чего.

Он продолжал стоять у двери.

— Ты хороший парень,— ответила Тонка.— Но как раз сейчас мне ничего не надо.

— Ну вот,— сказал он покорно и должен был бы добавить: «Так я пойду»,— но не мог произнести этих слов и отчаянно искал предлога продолжить разговор.

Тонка невольно помогла ему, хотя ей не терпелось, чтобы он ушел. Она боялась, что каждую минуту может прийти Ондржей и столкнуться с ним.

— Ты был на окраине? — спросила она, чтобы прервать молчание.

— Я иду туда,— ответил он.— Теперь я временно живу у Махарта.

Он произнес имя Ондржея, надеясь возбудить ее интерес. И не ошибся. Она явно испугалась.

— Погорел, что ли? — спросила она.

— Нет, скорее замерз,— засмеялся Бенедикт и от смущения начал раскачиваться.— Меня свалило как раз у него, и я уж там остался.

— Что тебя свалило?

— Воспаление! Вот здесь,— и он указал на грудь.— Лежу со вторника, а сегодня не мог больше выдержать. Поживу там до воскресенья. А когда Махарт вернется, перееду.

— Да ты бы сел, Йозеф, что стоишь у двери,— пригласила она.

Тонка немного побаивалась Бенедикта. Но любопытство взяло верх — она не видела Ондржея со вторника.

Ее одиночество было мучительным. Она жила в доме одна, почти ни с кем в городе не общалась, самое большее перекинется несколькими словами с соседкой. Францек аккуратно посылал ей деньги, немного, правда, но ей хватает, иногда кое-что подбрасывала мать, чаще всего то, чем торговал старый Шимон.

Тонка знала, что Францек хочет от нее одного: чтобы она сохранила в порядке дом, и делала это даже слишком заботливо и добросовестно. Во вторник после ухода Ондржея почтальон принес ей два письма. Никогда ей никто не писал. От Францека иногда приходила открытка, в которой он сообщал, почему не послал ей белье и когда его пришлет.

Первое письмо было анонимным, от неизвестного доброжелателя, который сообщал, что ее муж живет в Чешске Липе с другой женщиной. Это ей было безразлично. Второе письмо взволновало ее гораздо больше. Оно было послано жилищным отделом. Тонке предлагалось сообщить, сколько жилых комнат в доме № 53 и сколько человек в нем проживают. Она поняла, что это значит.

Ондржей давно уже говорил ей: «Ты дома не сохранишь, тут жилья по меньшей мере на две семьи. Знаешь, в каких условиях люди живут?» И хотя она порой тяготилась своим одиночеством, но не могла без ужаса представить себе, чтобы этот просторный дом заполнили чужие люди. Она привыкла к тишине и к тому, что ей ничем не приходится ни с кем делиться. К тому же она знала, что тогда наступил бы конец посещениям Ондржея. Стало бы невозможно сохранить в тайне их отношения, как это просто чудом удавалось до сих пор.

— Ну что ж, я, пожалуй, присяду,— сказал Бенедикт, расстегивая пальто и комкая шапку в руках.

— Дай-ка сюда пальто, я повешу.

Бенедикт отдал Тонке пальто вместе с шапкой. Она ушла в переднюю, и за те несколько секунд, что он был один, его вдруг охватил страх. Что, собственно, ему здесь нужно?

— Я напою тебя чаем с ромом,— сказала она, вернувшись в комнату.

— Без рому. Доктор сказал, что с ромом нельзя. Махарт тоже давал мне чай с ромом.

— А кто же там о тебе заботится, кто тебе готовит? — спросила она, поставив чайник на электрическую плитку.

— Старуха Махартова. Она хорошая женщина,— сказал он.— А на той неделе я перееду.

— Куда же он уехал? — спросила робко Тонка, усаживаясь на стул против Бенедикта.

— Кто? Махарт?

— Ага,— кивнула она.

— В Прагу, на этот самый съезд.

— А когда?

Она понимала, что надо умерить свое любопытство, ее интерес к Ондржею мог показаться Бенедикту подозрительным.

— Сегодня рано утром, встал еще затемно. Вернется в воскресенье или в понедельник. Не беспокойся,— добавил он.

Она внимательно посмотрела на Бенедикта и сразу поняла, что он все знает.

— А чего мне беспокоиться? Мне все равно,— проговорила она не очень убедительно.

— Ну да! — пробурчал Бенедикт.— Да ведь я знаю!

— Что ты знаешь? — вскрикнула Тонка.

— Что знаю? — повторил он.— Говорю тебе, что знаю все и, может, больше, чем ты.

Она встала, заварила чай и поставила перед Бенедиктом чашку, сахарницу и чайник.

— Хочешь есть? — спросила она.

— Нет, не хочу,— ответил Бенедикт.

— Ну рассказывай, что же ты знаешь, всезнайка? — сказала она, плохо скрывая любопытство.

— Знаю только то, что тебя ждет нелегкая жизнь. Я понимаю, что такое одиночество. Иногда становится невмоготу. Совсем голову теряешь.

— Обо мне можешь не беспокоиться.

— Да ведь я тебе добра желаю, Тонка,— сказал он, слегка заикаясь.— Всю жизнь думаю о тебе, ты ведь знаешь. Я тебе зла не желаю... Ты еще девочкой мне нравилась...

Произнося эти слова, Бенедикт не решался на нее посмотреть. Слегка сгорбившись, он глядел на чашку с чаем.

— Я знаю, что ты хороший, Йозеф,— сказала она после минутного молчания, когда Бенедикт, потягивая чай, спрашивал себя, правильно ли сделал, что пришел сюда.

Он поставил пустую чашку на блюдце и встал.

— Ну, пойду,— заявил он.— Я пришел только за тем, чтобы сказать тебе, что ты всегда можешь рассчитывать на меня, если тебе что понадобится. Ведь я, в общем, совсем не такой, как обо мне думают...

Она продолжала сидеть, потом испытующе посмотрела на него, будто решая, может ли спросить его прямо.

— А почему ты мне это говоришь именно сейчас? Именно сегодня? Скажи, что случилось с Он...— Она запнулась, но потом договорила:— ...с Ондржеем?

— Я же говорю, он уехал,— отрезал Бенедикт.

«У него есть другая»...— подумала Тонка и сразу же произнесла это вслух. Она сама была удивлена — как будто не знала об этом и в то же время знала.

Он молчал, кажется кивнул головой, но это неважно. Значит, правда. Тонка теперь точно знала, что это правда.

— Кто она? Скажи... Слышишь, Йозеф, я должна знать...

Он испугался, увидев ее лицо. Оно выражало горе, страх и гнев. Она встала, подошла к нему, взяла его за плечи и заставила посмотреть на себя.

— Слышишь, скажи, кто она!..

— Тонка, не сходи с ума,— пытался он успокоить ее.— Я ничего не знаю. Честное слово...

— Скажи, кто она? Я тебя отблагодарю, Йозеф. Обещаю. Как мне тяжко, если бы только знал,— сказала она, обращаясь скорее к себе, чем к Бенедикту.

Бенедикт посмотрел на нее и вдруг весь обмяк.

— Рознерова,— сказал он и ждал, что Тонка разразится слезами.

Но Тонка даже не шелохнулась, только едва заметно кивнула головой, словно он лишь подтвердил то, что ей было и раньше известно.

— Смотри не говори, что узнала это от меня,— добавил он.

Тонка сидела, глубоко задумавшись. Бенедикт поднялся, с минуту смотрел на нее — ему очень хотелось ее утешить, но он не знал как.

— Так я пойду,— сказал он, и она снова только кивнула головой.

5

Когда пришли Люция с Фишаром, компании пришлось перебраться к большому столу, так как все уже не могли поместиться за маленьким круглым столиком, который вначале заняли Ондржей с Людвиком. Люция села во главе стола. Людвик попытался занять место возле нее, но Фишар его опередил. Людвик сел между Фишаром и Ольгой. Она вела оживленную и, видимо, довольно интимную беседу со Смитом. Против Люции на другом конце стола сидел Краммер с Сеймуром, который, хотя и не понимал ни слова, улыбался всем присутствующим и выглядел необыкновенно довольным.

— Что вас свело со всеми этими людьми? — спросила Люция Людвика.

— Игра судьбы,— засмеялся тот.— Я стараюсь не задумываться о таких вещах.

— Послушайте, вас можно поздравить? — вдруг спросил Фишар.

— С чем? — не понял Людвик.

— Говорят, вы займете место Геврле,— заметил как бы между прочим Фишар, сосредоточив главное внимание на своей тарелке.

— Ах, вот в чем дело? Нет,— ответил холодно Людвик.

— То есть как? Насколько мне известно, это было решено. Он говорил с вами об этом?

— Говорил.

— Ну и что же?

— Мы не договорились.

— Не может быть! В чем же вы не сошлись?

— У вас могут быть из-за этого неприятности, доктор. Не надо ни за кого ручаться. Сейчас нельзя ручаться даже за самого себя,— сказал Людвик.

Люция засмеялась.

— Альфред,— обратилась к Фишару Ольга.— Когда мы видели господина Смита в последний раз — четвертого или пятого?

— Не помню,— довольно неохотно ответил Фишар.

— Четвертого! Это был день моего рождения. Вы принесли мне тогда «Зал ожидания» Ванека. Уж я-то знаю, когда у меня день рождения!

— Тогда, значит, четвертого,— сказал Фишар.

Вот дура! До чего же наивна, а сердиться на нее нельзя, она не знает обстоятельств дела. Но почему Шмидтке начинает такие неразумные и неуместные разговоры и вспоминает о том времени, о котором и ему и Фишару лучше бы забыть?

Ему следовало уйти. Извиниться и уйти. Это было бы вполне естественно, и никто не удивился бы теперь, когда ужин закончен. Быть здесь ему неприятно, у него нет настроения, он утомлен, у него не хватает больше сил все время находиться в напряжении. И, в конце концов, зачем он тут? У Люции было назначено свидание, правила вежливости не требуют, чтобы он оставался с ней. Но с кем у нее свидание? Из всей компании она знает только Ольгу и Янебу. Она не хотела остаться вдвоем с ним, с Фишаром. В этом все дело.

— С кем, собственно, у вас тут было свидание? — не удержался и спросил он снова с точно отмеренной дозой горечи и иронии.

— Вот с кем,— и она указала на компанию за столом.

— Ведь вы тут никого не знаете, кроме Ольги и Людвика.

— Именно поэтому,— ответила она вызывающе,— знакомые не могут сказать ничего нового. Это Краммер? Он привел американцев? — обратилась она к Людвику.

— Да,— ответил Людвик.— С одним из них он был знаком еще по Нью-Йорку.

— С которым? — вмешался в разговор Фишар.

Людвик показал на Смита, беседующего с Ольгой.

— Вы с ним тоже знакомы? — спросил Людвик и внимательно посмотрел на розовое упитанное лицо Фишара. Он решил было прямо спросить Фишара, не приходилось ли ему в дни революции ехать в автомобиле по дороге на Раковник. Но теперь. когда настал удобный момент, вдруг заколебался. Об этой удивительной встрече он вспомнил тогда, когда Смит и Фишар пожимали друг другу руки. Они несомнен-

но были настолько хорошо знакомы, что уже не интересовали друг друга либо имели серьезные причины делать вид, будто не знакомы. И в то же время, когда Людвик наблюдал за ними, в памяти его явственно возник разговор Краммера со Смитом в «Сплите».

Смит: «...и во время войны тоже, ненадолго, правда...»

Краммер: «Как так, во время войны?»

Смит: «Ну да! С определенным заданием, если угодно...»

Краммер: «Ага! Шпионаж. Тогда вы можете нам рассказывать все что угодно, хотя бы и то, что вас зовут Смитом».

Людвик счел этот разговор пустой болтовней и никогда бы о нем не вспомнил. Но Смит возбудил в нем повышенный интерес к себе с того момента, как выяснилось, что он знаком также и с Ольгой. Людвик понял, что познакомил их Фишар.

— Мне кажется,— неуверенно ответил Фишар на вопрос Людвика,— что я с ним однажды встречался. В какой-то компании.

Ложь. Людвик в этом не сомневался. Маска спала. Совершенно ясно — у Фишара есть веские причины что-то скрывать. Это усилило любопытство Людвика. Он наклонился через стол к Люции и Фишару и сказал таким тоном, будто доверял Фишару какую-то тайну:

— Послушайте, доктор, бывало с вами когда-нибудь так? Вы видите чье-то лицо и вместе с ним в вашей памяти всплывает бог знает какой давности ситуация, совершенно забытая вами.

— Но ведь это совершенно естественно,— засмеялся Фишар.

Люция, видимо, поняла, что Людвик преследует своими словами какую-то цель, и смотрела на него внимательно и сосредоточенно.

— Я готов поклясться,— продолжал Людвик, не спуская глаз с Фишара,— что видел вас и господина Смита вместе и при достаточно необычных обстоятельствах.— Маска на лице Фишара сидела плотно. Он уставился в стол, словно внимательно прислушиваясь к словам Людвика, и даже закурил вопреки своей привычке. Потом обратился к Людвику и, глядя ему в глаза, сказал:

— Видит бог, я буду рад, если вы поможете моей памяти. Со мной происходит как раз обратное: я узнаю лицо человека, но не могу вспомнить обстоятельств, при которых встречался с ним. Что касается этого господина — я имею в виду господина Смита,— то с ним я, видимо, встретился в компании Ольги. Она и сама так говорит.

— Ольги там наверняка не было. Она там и не могла быть,— сказал Людвик.— Во время революции мы стояли на Кожланском шоссе, в нескольких километрах от Раковника...

— Вы разрешите налить вам еще вина? Один я не могу пить,— прервал Фишар Людвика, обратившись к Люции.

Она молча кивнула.

— Продолжайте, Людвик. Мне очень интересно.

— Из проезжавшей по шоссе машины какие-то эсэсовцы застрелили одного из наших. Некоего Франтишека Слезака. Следом за ними ехал черный автомобиль, который мы остановили. Я готов поклясться, что два человека, которые вышли из него, были вы и Смит. Если это действительно были вы, невозможно, чтобы вы не вспомнили об этом.

Фишар рассмеялся. Теперь маска была пригнана безупречно.

— Никогда в жизни я не был в Раковнике,— сказал он совершенно спокойно.— Но само по себе это необыкновенно интересное явление.— Он решил отвлечь внимание Людвика и Люции и свести эту историю к общим рассуждениям.— Моей самой заветной мечтой было изучить медицину, и особенно психиатрию. Но отец хотел сделать из меня адвоката, и мне не оставалось ничего другого, как заниматься

этими вопросами дилетантски. Разве вам никогда не случалось совершенно ясно ощущать, что вы что-то однажды уже видели или пережили? В психиатрии существует для подобного состояния французский термин: déjà vu *. И это не что иное, как определенный вид истерии, вызванный усталостью, душевным перенапряжением, волнением. И в самом деле! Кто сегодня не истеричен, не утомлен, не перенапряжен, не взволнован... я, например, безусловно.

Он посмотрел на часы и сказал, обратившись к Люции:

— Вы не обидитесь, Люция, если я вас оставлю? — и оглянулся, отыскивая глазами официанта, чтобы расплатиться.

— Неужели вы нас покидаете, доктор? — воскликнул Смит, заметив, что Фишар собирается уйти.

— Мне очень жаль,— сказал с холодной улыбкой Фишар, взглянув на часы,— но я должен идти.

— Пойдемте навестим госпожу Марту,— предложил Шмидтке.

— Боюсь, что время для визитов слишком позднее,— сказал Фишар, но потом вспомнил о своем телефонном разговоре с Мартой и добавил, обернувшись к Ольге: — Но если Ольга нас приглашает...

— Ну конечно же она нас пригласит! — сказал Шмидтке.

— Не могу,— огорченно возразила Ольга,— у меня страшно холодно.

— Ничего, по крайней мере мы протрезвимся,— указал Шмидтке на Краммера, развалившегося на стуле.— Здесь, как видите, дело безнадежное! — Он сделал знак официанту, который обходил столы и получал деньги.

— Как хотите,— сказала Ольга.— Я вас предупредила.

В гардеробе они встретились с Владимиром Бездеком.

6

Тонка Чигакова принадлежала к тому сорту людей, которые не слишком-то рассуждают о причинах грозящей им опасности, но инстинктивно чувствуют ее и реагируют на нее совершенно примитивно. В опасности ее жизнь. И она бросилась на первый видимый источник опасности. Им, по ее разумению, была Мария Рознерова. Ничего, она ей покажет, этой дряни! Ишь, шлюха, на чужое добро зарится! Ей до смерти хотелось расцарапать в кровь, искусать соперницу, и притом сейчас же, не откладывая. О последствиях она не раздумывала. И об Ондржее забыла в ту минуту. Ондржей — это Ондржей, обыкновенный мужик, а мужики все одинаковы. Нет, виновата эта потаскуха, которая вешается ему на шею.

Как только Бенедикт ушел, Тонка принялась с лихорадочной быстротой одеваться. Она хотела уже выйти из дому, когда к ней постучала маленькая дочка Кастнеровых и сказала, что старики Шимоновы просят ее сейчас же прийти. Взяв девочку за руку, Тонка поспешила на Гусову улицу. Родители ужинали. Мама, как всегда, пила кофе, отец отрезал себе краюху хлеба, положил на нее кусок сала, посолил, поперчил и стал есть, запивая пивом.

— Ну вот, наконец, явилась,— сказал он.

— Что стряслось, папаша? — спросила Тонка.

— Ты должна нам помочь. Коммунисты собираются провести реквизицию. Мать уже не стоит на ногах. Придется нам с тобой все сделать.

---

* Уже виденное *(франц.)*.

— А вы не могли сказать мне раньше? Сейчас у меня нет времени.

— Ты что? — продолжал старик, не прекращая жевать.— Так уж у тебя много работы? Нет того, чтоб прийти да помочь старикам родителям в лавке!

— А на что мне сдалась лавка. Я замужем. У меня своих дел хватает.

— Знаю, знаю, с мужиком валяться,— набросился старик на Тонку.

— А кому какое дело! — вскипела она.— Я вас послушалась, вышла замуж за Чигака. Вот и получайте, что хотели.

Тонка понимала, что лучше бы промолчать, иначе дело кончится плохо. Отец продолжал нарезать хлеб и сало, словно ему было безразлично, что она говорит. Но Тонка хорошо его знала: может вдруг вскочить и, ни слова не говоря, стукнуть как следует. А ей теперь все равно.

— И с чего это вы вбили себе в голову, что будет реквизиция? Что им реквизировать?

— Ты смотри держи язык за зубами,— прикрикнул он,— если что чатреплешь своему большевику, так я тебя знать не желаю. А сейчас живо раздевайся, пойдем вниз.

— Я вам объяснила, что у меня сегодня нет времени. Не горит же.

— А я тебе говорю — не рассуждать! — он стукнул ножом по столу.

— И что вам вдруг взбрело в голову,— сказала с раздражением Тонка и сняла пальто.— Это одна болтовня.

— Хорошая болтовня! Спроси хоть Зиглосера. Все попрятали товар.

— Еще посадят вас за такие дела,— сказала Тонка.

— Ну и пусть посадят. Все что есть — все припрячу. Даже если и придется продавать одни спички. Пускай эти голодранцы подыхают с голоду.

— Господи боже мой! — запричитала старая Шимонова.— Не надо так говорить, отец! Как-то жили ведь и дальше проживем. Бог дал, бог и взял...

— Господь бог и дерьма не взял у нас, а черти-коммунисты все отберут. И Зиглосер говорит: «Когда они придут к власти, господин Шимон, все вылетим в трубу. Для них нет ничего святого. А это может случиться хоть завтра. Надо надеяться на войну!»

— Боже праведный,— заохала старуха Шимонова,— неужто опять война, отец?

— Пусть уж война — все лучше, чем сейчас.

— Уголь убрали из подвала? — деловито спросила Тонка.

— А кому его убирать? Мать на ногах не стоит, а я целый день в лавке. Я бы не прочь нанять хоть твоего босяка...

— Папа, перестаньте! — кипя от злости, крикнула Тонка.

— Так вот что я скажу: рот держать на замке. И если кто сболтнет... А ты ничего от него не слыхала? — обратился он к Тонке.

— От кого? — мрачно спросила Тонка.

— Да от своего хахаля. Уж если ты с ним путаешься, так могла бы хоть что-нибудь выведать.

— А что мне выведывать! Где у вас старое тряпье? — обратилась она к матери.

— В чулане.

— Да хоть узнала бы, что они замышляют.

— Это ясно и так,— с каким-то злорадством заявила Тонка, переодеваясь в темном чуланчике.— Заберут все, что найдут.

— У нас-то они ничего не найдут,— засмеялся Шимон.

— Возможно,— согласилась Тонка.— А что вы будете со всем своим добром делать, когда у вас отберут лавку и выселят отсюда? Будете ночью пробираться и через щелочку любоваться на него?

— Нас выселят? Он говорил тебе что-нибудь?

— А что ему говорить! И меня в моем домишке тоже не оставят одну. А на спекулянтов они злы. Говорят — разворовывают народное достояние.

Старик сидел и отсутствующим взглядом смотрел прямо перед собой. Он тяжело дышал. Одышка его усиливалась с каждым месяцем.

— «Народное достояние»! — вскричал он с возмущением.— Это мое достояние! А народ пусть сперва заведет себе это самое достояние, если ему так хочется. Мне плевать на народное достояние. Свое добро я упрячу в подвал. Выноси-ка уголь, а я заколочу ящики.

Еще во время войны, когда надо было прятать товары, добываемые с помощью темных махинаций, они вместе с Францеком поставили в подвале перегородку, аккуратно все заделали, побелили и устроили в отгороженной части тайничок. В него можно было проникнуть через маленькую массивную дверцу, которую заваливали углем и прикрывали досками. Тайник был хорошо замаскирован, но неудобен. Когда старый Шимон хотел туда попасть, он должен был откидывать часть угля. В последнее время у него уже не хватало сил, и он всегда звал на помощь Тонку. Она ненавидела это занятие, но не решалась ослушаться отца. С детства она привыкла повиноваться ему с первого слова, а если иногда и решалась протестовать, то всегда знала, что это бесполезно и кончится трепкой. Поэтому и сейчас Тонка торопилась поскорее все сделать. Отправиться к Марии Рознеровой — эта мысль не покидала ее. Быстро покончив с углем, она поднялась наверх и очутилась в комнате, которая теперь напоминала склад. Ей вдруг захотелось разреветься. Между постелями громоздилось несколько тяжелых сундуков, под окном стоял рояль, покрытый рыжей скатертью, на рояле — посуда: тарелки, чайники, хрустальные вазы, большой радиоприемник, а посередине комнаты — стол, на котором в беспорядке были навалены банки с огурцами, большой сверток венгерской колбасы, всевозможные консервы, главным образом сардины, коробки с надписью «Гребни», ящик с гвоздями, большой рулон толя. Старуха Шимонова сидела на краю постели и парила свои отекшие ноги в тазу с горячей водой. В комнате пахло ромашкой.

— Я не смогу сдвинуть их с места,— сказала Тонка, с ужасом глядя на большие ящики, которые заколачивал отец.— Я надорвусь — ведь я в положении.

— Господи помилуй! Отец! — завопила Шимонова.

— Как давно? — с сомнением в голосе спросил Шимон и испытующе посмотрел на Тонку.

— Ну, подсчитайте сами. На рождество Францек был дома,— сказала она.

— То-то. А я было подумал... Я бы тебе морду разбил. Так значит, всего два месяца, и кто еще знает, точно ли это. Ящики во что бы то ни стало надо перетащить вниз. А чужого человека подпускать к ним нельзя.

— Господь с тобой, отец, ведь у нее будет выкидыш!

— Без паники. Надо только подтащить их к погребу, а вниз мы их спустим по доскам.

Они провозились с ящиками до половины десятого. Тонка, грязная и вспотевшая, не могла распрямить спину. Старик сидел в кресле и с трудом ловил воздух широко открытым ртом.

— А теперь пусть приходят! — сказал он удовлетворенно.

Тонка мылась рядом в чулане. Отец вдруг стал ей противен. Раньше она не понимала, до чего он жаден! Думала, что так и следует, без этого, мол, в торговле не обойдешься. Но сейчас перед ней встал вопрос: во имя чего он скопидомничает, ради кого копит, жадничает, подвергается опасности? Ведь все об этом знают.

— А своему большевику скажи,— слышит она голос отца,— что он может неплохо жить. Я сумею отблагодарить. Ты ему намекни. Только, конечно, услуга за услугу. Где надо, пусть закроет глаза, где надо, пусть замолвит словечко... Ежели что случится.

— Ему наплевать на это,— ответила Тонка из чулана.— Но если себя опозорите, если все тут найдут и будут вас судить, так я вам больше не дочь, так и знайте.

— Без паники. Старый Шимон еще понадобится, они сами к нему прибегут. Я бы очень удивился, если бы люди действительно так переменились...

Тонка, уже одетая, вышла из чулана.

— Ну, счастливо оставаться,— сказала она, думая только о том, как бы поскорее уйти.

Марию Рознерову она знала в лицо, но не помнит, чтобы им приходилось когда-нибудь разговаривать.

Ночь была светлая, городок лежал чистый и тихий под искрящимися звездами. Когда Тонка бежала по белой аллее вдоль пруда, ей казалось, что жизнь, зарождающаяся в ней, делает ее бесконечно сильной, и никто не посмеет оспаривать ее права на Ондржея.

Мария была одна, Терезка ушла в кино. Она как раз собиралась лечь, когда раздался звонок. Мария поспешно прикрыла постель, застегнула халат и пошла отпереть дверь. Наверно, кто-нибудь с завода, сегодня приняли решение поставить дежурные посты в цехах и на заводском дворе. Может быть, что-нибудь случилось, и ей пришли сообщить об этом.

На пороге стояла женщина, которую Мария знала в лицо, но не могла вспомнить, кто она и как ее зовут. Женщина была в темном пальто с меховым воротником, в руке у нее была сумка, на голове шляпа, которая показалась Марии смешной. «А ведь я никогда в жизни не носила шляп»,— вдруг подумала она.

Тонка была немного обескуражена ее приветливой улыбкой.

— Заходите, пожалуйста,— сказала Мария.— Что вам угодно?

Что ей угодно? Тонка просто хотела сказать этой девице, чтобы она и не помышляла об Ондржее, чтобы оставила его в покое. Имейте в виду, я жду от него ребенка! Найдите себе другого парня, а на моего не заглядывайтесь. Она думала, что ей нетрудно будет высказать все это Марии, но, оказывается, ошиблась.

— Могу я с вами поговорить? — спросила она.

Марию поразил ее тон, и прежде чем пригласить посетительницу в комнату, она спросила:

— О чем?

— Сейчас узнаете! — сказала Тонка, и потому, что она рассердилась на собственную кротость, добавила: — Только это вам не очень понравится!

Мария посмотрела на часы, то есть, вернее, хотела посмотреть, но обнаружила, что уже сняла их и положила на ночной столик.

— А нельзя ли отложить этот разговор до завтра?

— Я, барышня, не сплю так долго, как вы! — отрезала Тонка.

— Не сердитесь,— сказала Мария, указав ей на вешалку,— но я вас совсем не знаю. То есть не могу вспомнить, кто вы такая,— сказала она, не спуская с Тонки глаз.

Тонка сняла шляпу, вернее, сорвала ее с головы, потом сбросила пальто. На ней была шелковая блузка и серая юбка. Крашеная блондинка, с белым круглым лицом и небольшими водянистыми глазами. Господи, что нужно от нее этой женщине? Скоро десять, сеанс в кино закончится около половины одиннадцатого, Терезка придет не скоро. Мария начала слегка побаиваться решительных действий гостьи. Она провела ее в кухню и указала на стул. Присела и сама, с любопытством рассматривая пришедшую.

— Я хочу сказать вам, чтобы вы выбросили из головы Махарта,— заявила Тонка.— Он не свободен.

Мария могла ждать чего угодно, но только не того, что этот визит имеет какое-то отношение к Ондржею.

— Только ради этого вы и пришли? — с трудом пробормотала она, превозмогая страх, который вдруг сжал ей горло.

— Да,— прозвучал ответ.— Я хочу предупредить вас, чтобы вы оставили его в покое и нашли себе кого-нибудь другого.

— Но, позвольте,— воскликнула Мария, возмутившись,— вам до этого нет никакого дела.

— А вот тут вы и ошибаетесь, барышня,— сказала Тонка сдавленным голосом.

— Да откуда вы вообще взяли, что я и Ондржей... Ведь это вздор!

— Не выкручивайтесь. Я знаю все.

Мария поднялась, негодуя.

— Я хочу знать, с кем разговариваю,— сказала она.

— Если для вас это так важно, то я Чигакова.

Чигакова. Господи, это имя ей ровно ничего не говорит! Она знает сейчас об этой особе столько же, сколько знала раньше. Чигакова? Чигакова? Нет, ничего!

— Как вам вообще это пришло в голову! — начала она спокойно, надеясь, что таким образом умиротворит собеседницу и побольше от нее узнает.

Пухлые пальцы Тонки нервно перекладывали сумочку из руки в руку.

«Баба что надо — по глазам видно»,— говорят ребята на заводе о Пепке Мацоурковой. И у этой тоже «по глазам видно». Мария не знает, что именно видно, но несомненно что-то нечистое, непристойное.

«Прикидывается простушкой,— думает Тонка.— Притворяется, будто не знает в чем дело». А в чем, собственно, дело? Почему Тонка здесь? Из-за того, что Ондржей увивается за этой девкой и Тонка чувствует, что та чем-то выше ее, что та значит для Ондржея больше, чем может значить Тонка?

— Чтобы вы поумерили свой аппетит и понапрасну не надеялись,— сказала Тонка, не заметив, что отвечает скорее самой себе.— Мы живем с Махартом. Я разведусь, и мы поженимся,— добавила она таким тоном, словно это было уже решено.

— Что? — пролепетала Мария.— С Ондржеем Махартом? — повторила она, как будто хотела убедиться, не произошло ли ошибки.

Она смотрела на Тонку и не могла себе представить, чтобы Ондржей имел что-нибудь общее с этой особой. Все в Марии возмущалось.

— А зачем вы мне это рассказываете? — повторила она ледяным тоном, будто это ее не касалось.— Мне совершенно безразлично, что

у вас с Ондржеем Махартом. Простите, но уже слишком поздний час для таких пустых разговоров.

Однако Тонку ей не провести, Тонка и не собирается уходить.

— Пожалуйста, не притворяйтесь,— сказала она.— И не воображайте, что вы сделаны из другого теста, чем остальные. Ахнуть не успеете — влипните так же, как я!

Марию как громом поразило. Она снова опустилась на стул и больше не скрывала своего ужаса.

— Вы ждете ребенка от него?

— Лучше, чтобы вы знали все,— кивнула головой Тонка.— Вы не замужем, вам-то что. А такую жизнь, как моя, я бы никому не пожелала.

Мария молчала.

— Лучше вам знать, как обстоит дело,— сказала Тонка и поднялась.— Чтобы понапрасну не мечтали.

В этот момент щелкнул замок. Вернулась Терезка. Увидев в прихожей незнакомую женщину, она с любопытством взглянула на Марию.

— Терезка, проводи, пожалуйста, эту даму и отопри ей парадное. Я не могу,— сказала Мария, пытаясь овладеть собой.

Терезка спустилась с Тонкой по лестнице, не обменявшись с ней ни единым словом.

— Спокойной ночи,— сказала Терезка, отворив Тонке дверь.

Та не ответила. Когда же Терезка вернулась в кухню, она увидела, что Мария вся в слезах лежит на кушетке.

— Кто она такая? Что ей нужно? — допытывалась удивленная Терезка.

— Она пришла сказать мне, чтобы я понапрасну не мечтала. Она права, Терезка!

И Мария горько расплакалась.

7

Когда компания вошла в квартиру Ольги, всем показалось, что там не так уж холодно. Но первое впечатление было обманчивым. Хотя электрический камин оставался включенным и в отсутствие Ольги, очень скоро все замерзли. Разговор не клеился. Сеймур расхаживал по комнате, оставляя следы на бежевом ковре, «бесконечно красивом, но непрактичном», тер пальцы, пытаясь согреть их. Фишар сидел, засунув руки в карманы, и повторял:

— Это просто скандал, Ольга, почему ты не затопишь? И у Марты такой же холод?

— Она прогнала Элен. Некому затопить,— объяснила Ольга.

— Это повторяется каждый раз, когда от вас уходит служанка. Вам давно пора завести у себя центральное отопление.

— Я вас предупреждала,— ответила Ольга.— У мамы не в порядке бронхи, и она принципиально против центрального отопления.

— Нет ничего выше принципов,— поддакнул Краммер.

— Я надеюсь, уголь у вас есть? — спросил Шмидтке.

— Да, но только в подвале,— ответила Ольга.

— И, надеюсь, что-нибудь выпить тоже есть? — добавил Краммер.

— Нет на свете таких препятствий, которые нельзя было бы преодолеть,— возгласил Шмидтке.— Сейчас мы затопим! А когда станет тепло, пригласим на огонек госпожу Марту.

— Прошу вас, Смит, дайте ей возможность спокойно спать. Завтра тоже будет день! — сказал Фишар.

— Вы в этом уверены? — засмеялся Шмидтке.— Ну-ка, двое муж-

чин, встать и шагом марш в подвал. Где у вас тут необходимое снаряжение?

Поднялся Владимир и, после минутного колебания, Людвик. На балконе они нашли четыре запорошенных снегом ведра и в одном из них даже уголь и немного дров. Они принесли все это в комнату, и Фишар взялся развести огонь. Людвик, Владимир и Шмидтке пошли в подвал за коксом. Сеймур сидел на корточках и наблюдал за тем, что делает Фишар. Люция попросила плед и завернулась в него. Краммер откупоривал бутылку с вином, которую ему принесла Ольга.

«Почему она здесь?» — размышлял Фишар, глядя, как Люция пытается согреть ноги у электрического камина. Его удивило, что Люция пришла сюда, ведь она отдалялась от своего дома и ей потом предстояла долгая дорога, а такси в такую погоду конечно не найдешь. Он хорошо знал, что после спектакля Люция стремится только к покою и тишине. Без сомнения ее занимает Краммер, но он пьян, во всяком случае был совсем недавно пьян сверх всякой меры. И у Фишара он вызывает интерес. Краммер жил во время войны в Америке. Интересно было бы знать, как он оценивает ситуацию.

Краммер говорит о чем-то с Люцией.

— В этом вы ошибаетесь,— слышит Фишар слова Краммера.— Коммунисты против индивидуального террора. Они будут ликвидировать их как класс, понимаете? Всех одновременно.

— А вы думаете, что избежите этой ликвидации? — спросил его Фишар, не отходя от печки.

— Я просто уклонюсь! — сказал Краммер, осторожно разливая вино в бокалы.

— Как же вы уклонитесь? — спросил Фишар, вставая и рассматривая свои перепачканные руки.

— Как? Я собираюсь облегчить работу коммунистам и постепенно буду ликвидировать себя сам. Конечно наиприятнейшим способом. А потом уеду. Разумеется, это только отсрочка. К вашему сведению, я лично против такой ликвидации в принципе ничего не имею. И даже считаю ее полезной, потому что, по правде говоря, мы совершенно ни к чему не пригодны. Даже затопить печку не умеем, по-моему, у вас там погасло,— рассмеялся он.

Фишар снова подошел к печке. Действительно, дрова сгорели, а уголь так и не воспламенился. Теперь решил попытать счастья Сеймур. Владимир, Людвик и Шмидтке вернулись из подвала.

— Что нового? — обратился Фишар к Владимиру.— Вы обещали сказать нам, чем кончилось дело с социал-демократами.

— Ни туда ни сюда. В отставку они не уходят, доктор. Выпустили только декларацию. Надеяться не на что,— ответил Владимир.

Краммер рассмеялся.

— Мне все это кажется комичным. Как будто кто-то заявил: «Я хочу уйти, но, пожалуйста, не отпускайте меня!» Это как раз мой случай. Я хочу уехать, но буду страшно рад, если вы меня не отпустите.

— Все это только индифферентность и неспособность,— сказал Фишар.— Надо бы понять, что правда сама за себя не сражается.

— О! Так почему же вы не сражаетесь за правду, дружище, раз вы знаете, где она? — перебил его Краммер.

— Вот именно! — ответил Фишар.— Ни один интеллигентный человек не воспринимает нынешнюю ситуацию односторонне.

— Интеллигентный человек, — сказал Краммер, — размазня, он плюхнется туда, куда его ткнут носом!

— Вы бы, доктор, лучше оставили излишние мудрствования,— заметил Шмидтке таким тоном, который, как полагал Фишар, мог себе позволить если бы они были вдвоем, но никак не в присутствии Люции, Людвика и...

— Ну, кажется, пора разбудить госпожу Марту,— обратился Шмидтке к Ольге.

— Я не отважусь будить ее сейчас,— сказала Ольга.

— А откуда вы знаете, что она спит? Может быть, ее именно сейчас одолевают неприятные мысли, и она будет рада, если кто-нибудь ее освободит от них.

— Пойди посмотри,— сказал Ольге Фишар.— Вечером я говорил с ней.

— Ну и что?

— Она показалась мне странной. Не могу точно объяснить, в чем дело, ну словом, это была не Марта.

Ольга взяла ключи от квартиры Марты и пошла к ней. Но едва только она переступила порог передней, как ей показалось, что тут не все в порядке. Газ!

Она зашла в кухню и проверила кран. Он был закрыт. Потом, не решаясь включить свет, она вошла в гостиную. Она знала, что Марта обычно спит в углу на тахте.

— Мама, ты спишь? — тихо спросила Ольга.

Ей ответило молчание — полное, абсолютное, мертвое. Она зажгла свет. Постель была постлана, на столике у тахты стоял телефон, трубка была снята и лежала рядом. Снотворное, недопитая бутылка коньяку.

«Она ушла»,— подумала Ольга, превозмогая беспокойство, которое увеличивалось с каждой минутой.

В спальне она увидела раскрытый шкаф и выдвинутые ящики с бельем. Не было маминого черного вечернего платья, которое она еще ни разу не надевала. Но шуба висела на своем месте.

— Боже мой, в чем же она ушла?

Когда Ольге еще не было четырнадцати лет, она иногда спала с матерью в одной комнате и, случайно просыпаясь среди ночи, всегда прислушивалась к ее дыханию. И если не слышала его, то всегда страшно пугалась, думая, что мать умерла. «Мамочка, мамочка!» — будила она ее отчаянными воплями.

— Мамочка! — позвала она несмело и с отчаянием в сердце.

Оставалась еще одна комната — та, которая была рядом с половиной Ольги. Она открыла высокую белую дверь, на нее пахнула из тьмы холодная и сырая пустота.

— Мамочка! — крикнула она в темноту.

За стеной раздался взрыв хохота. Среди общего смеха прозвучал голос Владимира. Она не поняла, что он говорит. Оставляя всюду свет, она пробежала через все комнаты в переднюю и снова почувствовала запах газа. Ольга вернулась обратно и везде открыла окна.

А потом осталось самое последнее — заглянуть в ванную комнату. Она дрожала от холода и от волнения, дрожала всем телом. Дверь в ванную была заперта. Она колотила в нее, неистово крича:

— Мамочка, мамочка, отопри!

Ольга ломилась в дверь, но дверь не поддавалась. Ольга заглянула в замочную скважину и убедилась, что ключа в замке нет и что в ванной горит свет. Но она могла разглядеть только белый умывальник — ничего больше.

Оставив открытой дверь Мартиной квартиры, Ольга пробежала через площадку к себе и ворвалась в гостиную, где собралось все обще-

ство. Разгоревшиеся лица, удобно усевшиеся с бокалами в руках люди — все это вдруг показалось Ольге нереальным.

Остановившись на пороге, она смогла выдавить из себя лишь одно слово:

— Мама!..

Никто не понял, в чем дело. Один Фишар встревоженный вскочил и подошел к ней.

— Что случилось? — спросил он, хотя уже все понял.

Она указала рукой на открытые двери. Только теперь все затихли. Людвик и Шмидтке поднялись. За ними остальные. На лице Ольги был написан ужас. Она дрожала, судорожно сжимала на груди руки и вся съежилась, словно хотела удержать свое тело руками и заставить его успокоиться.

— Пойдите туда кто-нибудь, я боюсь!

Фишар направился было к выходу, но у дверей заколебался и, обернувшись, робко и умоляюще посмотрел на остальных. К нему присоединились Шмидтке и Людвик. За ними неуверенно двинулись Сеймур с Владимиром. Ольга прислонилась к стене. Люция подошла к ней и спросила как можно спокойнее:

— Что случилось?

— Она убила себя. Убила себя, я знаю!

Ольга упала в кресло и, закрыв лицо руками, шептала:

— Я не хочу этого видеть!

Один только Краммер продолжал сидеть. Он то и дело подливал себе вина и пьянел все больше и больше. Он услышал последнюю фразу Ольги: «Я не хочу этого видеть!»,— и она поразила его. Казалось, это был ответ на вопрос, который задавал себе и сам Краммер. «Я ведь тоже не хочу этого видеть»,— говорил он себе мысленно. Люди почему-то боятся определенности, но все же когда имеешь дело даже с самой неприятной определенностью, она всегда лучше неопределенности. Она становится фактом, а с фактом приходится считаться и, главное, примиряться. Все люди в эти дни живут в состоянии неопределенности. Как только появится определенность, они поймут, как надо действовать. Или подчинятся фактам, или восстанут против них, или убьют себя...

— Идем туда со мной,— прошептала Ольга Люции.

Люция ведет ее, обняв за талию. Они идут через освещенную переднюю, двери Мартиной квартиры открыты настежь, все толпятся у дверей ванной. Шмидтке где-то раздобыл кусок проволоки и смастерил из нее отмычку. Став на колени, он пытается открыть дверь.

— Выключите газ, тут где-нибудь должен быть специальный кран! — крикнул он.

Людвик ходит по передней и ищет газовый кран. Он нашел его под электрическими часами, в противоположном углу передней. Повернул рычаг. В этот момент удалось открыть дверь.

Марта лежала на полу мертвая. Лицо ее было спокойно, и на нем играло что-то вроде улыбки, обнажавшей ее белые зубы; одна рука на сердце, другая упала на холодные плитки пола. Марта была тщательно одета, губы накрашены, и их ярко-красный цвет резко выделялся на лиловом закоченевшем лице.

Шмидтке переступил порог и, держась одной рукой за край белой ванны, включил верхний свет. Все остальные стояли, застыв в неподвижности. Когда Люция подвела Ольгу к дверям, все расступились.

— Мамочка! — прошептала Ольга.— Боже мой...

Потом она положила голову на грудь Люции, все в ней как бы обмякло. Она разразилась рыданиями.

«Вы не знаете, что делают, когда в доме покойник?» — вспомнил вдруг Фишар слова Нывлта.

«Это Марта,— говорил он себе, глядя на неподвижное, закоченевшее тело.— Она мертва»,— мысленно повторил он несколько раз, чтобы понять, что это значит. С ней ушел огромный кусок его жизни, той жизни, с которой он в последнее время не знал, что делать. Конец. Да, конец. Он был взволнован, но, к своему удивлению, убедился, что это волнение не было неприятным. Наоборот, казалось, с его плеч свалился какой-то груз. Он посмотрел на Люцию. Она держала в объятиях Ольгу, которая прятала лицо на ее груди, словно боялась взглянуть на мертвую мать.

Он отошел от двери и чуть не столкнулся с Сеймуром, который ходил взад и вперед по коридору, размахивал руками и что-то бормотал, удивленно улыбаясь.

Шмидтке подошел к Фишару:

— Вот это называется умением уйти вовремя, доктор. Нам бы неплохо этому поучиться.

Фишар не ответил, только грустно покачал головой. Шмидтке остановил Сеймура, взяв его за руку.

— Пойдемте, Сеймур,— сказал он по-английски.— Мы тут не можем ни помочь, ни помешать. Мы просто-напросто лишние,— добавил он по-чешски, обратившись также и к Фишару.

Людвик подошел к Ольге, которая все еще отчаянно цеплялась за Люцию, уткнувшись лицом в ее плечо. Он остановился, глядя на Люцию с видом полной беспомощности. Она ободряюще улыбнулась. Людвик несмело прикоснулся к плечу Ольги. Та подняла голову и посмотрела на Людвика большими, полными слез глазами.

— Людвик,— прошептала она, как будто только теперь заметила его и, высвободившись из объятий Люции, бросилась ему на шею.

Он обнял ее и отвел в соседнюю комнату. Она упала в кресло и застыла как бы в беспамятстве. Фишар ходил по комнате, заложив руки в карманы. Его трясло, как в лихорадке.

— Ради бога,— взмолилась Ольга,— не оставляйте меня.

— Я сейчас вернусь,— сказал Людвик, делая знак Фишару, чтобы тот занялся Ольгой, и вышел в коридор.

— Люция...— сказал он убитым голосом.

— Ради бога,— перебила она его,— не собираетесь же вы извиняться? Я пойду.

В передней Ольгиной квартиры уже одевались Сеймур и Шмидтке. В комнате за столом сидели с полными бокалами Краммер и Владимир, как ни в чем не бывало продолжая оживленный разговор.

— Она настоящий Сократ,— разглагольствовал Краммер.— Избежать смерти не такое уж трудное дело, достопочтенные мужи. Гораздо труднее избежать подлости.

— Мораль, принципы, характер, убеждения — все это балласт,— говорил Владимир.— Это совершенно лишнее для современного человека. Чем раньше он избавится от подобной ветоши, тем лучше.

Люция, наконец, нашла свою сумочку, которую долго искала. Уходя, она остановилась на пороге и посмотрела на Владимира и Краммера.

— Разложение. Тлен,— произнесла она, скорее для себя.

— Вы что-то сказали? — поднял голову Краммер.

— Нет-нет,— поспешно ответила она и быстро вышла.

(Окончание следует)

Стихи

Фан Цзи

ЧАНЦЗЯН

Я о тебе пою, река,
Река моя Чанцзян,
Ты сколько горя унесла
В Великий океан?

Но грянул бой, и алый флаг
Взметнулся в облака,
От крови красной ты была,
Чанцзян, моя река!

Связала общая борьба
Рабочих и крестьян,
И мы теперь быстрей тебя
Вперед идем, Чанцзян!

Ты, омывая берега,
Глядишь на нас века,
Гордись же — счастлив наш
народ,
Чанцзян, моя река!

Перевод с китайского И. Голубева

ИЗ КИТАЙСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН

ТРУБЫ

К облакам устремились трубы,
Сотни дымных железных рук.
Есть ли дерево выше, чем трубы,
И прекрасней, чем трубы, бамбук?
Ленты белого дыма повисли,
Трубы тянутся в вышину.
Трубы с дымом — гигантские кисти,
Рисующие весну.

КТО УКРАСИЛ ЗЕМЛЮ

Зеленым-зелена... желтизна, желтизна...
Там — побеги, здесь — пшеница,
Как высокая стена.
Это кто украсил землю да не вдруг?
Пара сильных и упрямых наших рук!

НАГРУЖАЮ КОРЗИНУ

Я корзину нагружаю и несу.
И согнулось коромысло на весу.
Ты, жена, теперь поверишь чудесам:
Эту гору, эту гору
Перенес я сам!

Перевод с китайского Л. Черкасского

Юпп Мюллер

ПОЙ ВМЕСТЕ С НАМИ, ВЕТЕР!

Как на флейте,
ты играл долиной.
Ты свистел
на остром гребне гор.
И вокруг
все сосны до единой
шелестом листвы
вплетались в хор.

Но однажды,
встреченный цементом,
ты от изумленья
стал в тупик:
обращаться
с новым инструментом
дирижер оркестра
не привык.

И на клавишах
воды зеркальной
серый груз бетона
ощутив,
ты завыл протяжно и печально,
хороня
свой вековой
мотив.

Эй, дружище ветер,
брось кручину!
Вместе с нами
о победе пой!
Прославляй
красавицу плотину —
наш великий подвиг
трудовой!

Перевод с немецкого Ольги Берг

Габор Гараи

КРАНОВЩИК

Аист железный на тонких ногах
Ходит по рельсам походкой пружинной,
Тяжесть любая ему как пушинка!
Только минута — и груз в облаках!

Что, если б ринулась вниз, а не вверх
Эта громадина, все разбивая?!
Но неспроста наверху, улыбаясь,
Очень спокойный сидит человек...

Что ему видно из сердца машины?
Мусор войны, кирпичи и руины,
Чистый, безоблачный небосклон...

Может, он чувствует, что́ в нем я вижу?
Мир, возносящийся выше и выше!
Силу, которою он наделен!

Перевод с венгерского Игоря Кобзева

Фридрих Дюрренматт

АВАРИЯ

Одна из еще возможных историй

Перевод с немецкого В. Адуевой и М. Павловой

Часть первая

Случаются ли еще истории, истории для писателей? Согласится ли еще кто-нибудь рассказать о себе, романтически, лирически обобщить свое «Я», испытывая потребность говорить о своих надеждах и разочарованиях и о своей манере любить женщин, говорить совершенно правдиво, как будто правдивость может все это сделать всеобщим — и не в медицинском или, в лучшем случае, в психологическом смысле? Неужели никто не хочет этого сделать, скромно отступив на второй план, тактично умалчивая об интимном, обрабатывая сюжет, как скульптор материал, развиваясь вместе с ним и, подобно классикам, пытаясь не отчаиваться сразу, когда невозможно не видеть явную нелепость, которая отовсюду выпирает, когда писать становится все трудней, и все более одиноко, и бессмысленно. Хорошая отметка в истории литературы не должна интересовать — кто только не получал хороших отметок, какая только халтура не превозносилась, —требования дня важнее. Но и здесь опять дилемма и неблагоприятное положение рынка. Жизнь предлагает сплошные развлечения, вечером кино, поэзия на полосе ежедневной газеты, для большего, уже начиная с франка, требуется душа, признания, правдоподобие, должны быть выданы высшие ценности, мораль, ходкие сентенции, что-то должно преодолеваться или утверждаться, иногда христианство, иногда модное отчаяние, в общем — литература.

Ну а если автор все решительнее, все упорнее отказывается производить все это, так как ему ясно, что основа его творчества лежит в нем самом, в его сознательном и подсознательном, дозированных в зависимости от обстоятельств, в его вере и сомнениях, и если он все же полагает, что именно это совершенно не касается публики, ибо для нее достаточно того, что он пишет, изображает, лепит, соблазнительно показывает поверхность, и только ее, об остальном следует молчать, не комментируя и не болтая? Придя к такому выводу, автор приостановится, начнет колебаться, почувствует себя беспомощным, это почти неизбежно. Появляется ощущение, что больше не о чем рассказывать, всерьез начинаешь подумывать об отставке. Может быть, еще удастся сделать несколько попыток, а дальше уже неизбежен крен в биологию — чтобы приблизиться, хотя бы мысленно, к этому извержению человечества, к грядущим миллиардам, к этим беспрерывно поставляющим утробам,— или в физику, в астрономию, дать для порядка отчет о подмостках, на которых мы все суетимся. Остальное — для иллюстрированных журналов, для «Лайф», «Матч», «Квик», «Зи унд Эр»: президент в кислородной

палатке, принцесса со своим асом, кинозвезды и долларовые личности, выходящие из моды, едва о них заговорили. Наряду с этим будни, в моем случае — западноевропейские, точнее, швейцарские, плохая погода и плохая конъюнктура, заботы и неприятности, личные потрясения, но без связи со Всемирным, с положением вещей значительных и незначительных, с цепью необходимостей. Судьба покинула сцену, где идет действие, чтобы подкарауливать за кулисами; не говоря уж о ходкой драматургии, на сцене все становится несчастным случаем — болезнь и кризис. Даже война зависит от того, предскажет ли ее рентабельность электронный мозг, хотя всем известно, что этого никогда не случится, пока вычислительные машины работают исправно; только поражение еще можно предсказать математически: беда произойдет в том случае, если будут допущены фальсификации, запрещенное вмешательство в электронный мозг. Но и это не самое страшное. Страшнее, если ослабнет гайка, какая-то катушка придет в негодность, ошибочно сработает клавиша — конец мира из-за технической ошибки, короткого замыкания. Итак, больше не грозят ни бог, ни возмездие, ни судьба, как в пятой симфонии, одни только несчастные случаи на дорогах, прорывы плотин из-за неточной конструкции, взрыв завода атомных бомб, вызванный рассеянным лаборантом, плохо закрытый чан с бактериями. В этот мир аварий ведет наш путь, на его пыльном краю рядом со стендами, рекламирующими обувь фирмы Балли, «студебеккеры», мороженое и памятники жертвам катастроф; случаются еще истории, где в заурядной личности вдруг проглядывает человечество, мелкое происшествие вырастает до всеобщего, обнаруживаются правосудие и справедливость, может быть, даже милосердие, случайно пойманное, отраженное в монокле пьяного.

Часть вторая

Несчастный случай, впрочем безобидный, авария и на этот раз: Альфред Трапс, назовем его имя,— текстильный вояжер, сорока пяти, еще не располневший, приятной наружности, с приличными манерами (хотя и выдающими известную дрессировку, за которой проглядывает что-то от лоточника) — этот наш современник только что двигался в своем «студебеккере» по одной из больших улиц маленького городка и мог уже надеяться через час добраться до места своего жительства, города побольше, когда машина забастовала. Она просто дальше не шла. Красная лакированная машина беспомощно лежала у подножия небольшого холма, вдоль которого протянулась улица. На севере нависло густое облако, на западе солнце стояло еще высоко, почти как в полдень. Трапс выкурил сигарету и сделал все что мог. Владелец гаража, который в конце концов перетащил «студебеккер» к себе, заявил, что повреждение нельзя исправить раньше завтрашнего утра, нарушена подача бензина. Так ли это, выяснить было трудно, да и не стоило пытаться: автомеханикам вы сдаетесь беспрекословно, как когда-то рыцарям-разбойникам, а еще раньше — местным богам и демонам. Разумнее, вероятно, было бы, потратив полчаса, вернуться на ближайшую железнодорожную станцию и отправиться хоть и несколько осложненным, но кратчайшим путем домой, к жене, к детям — все четверо мальчики. Но Трапс решил заночевать. Было шесть часов вечера, жарко, стояли самые длинные дни, городок, или, вернее, селение, на краю которого находился гараж, выглядело приветливо, разбросанное вдоль лесистых холмов, на маленьком возвышении кирха и пасторский дом и древний могучий дуб, укрепленный железными кольцами и подпорками, все солидно, чисто,

даже навоз перед крестьянскими домами старательно сложен и утрамбован. Где-то неподалеку фабричка и множество трактиров и гостиниц, одну из которых Трапсу когда-то хвалили, но все комнаты были заняты участниками съезда скотоводов, и текстильному вояжеру указали на виллу, где иногда принимают постояльцев. Трапс колебался. Еще можно было вернуться домой поездом, но его соблазняла надежда на какое-нибудь приключение, бывают же иногда в селениях девушки, как на днях в Гросбистрингене, которые умеют ценить текстильных вояжеров. Поэтому он, приободрившись, направился к вилле. Звон колоколов кирхи. Коровы идут ему навстречу, мычат. Вот одноэтажный дом в большом саду, ослепительно-белые стены, зеленые жалюзи, наполовину закрыт кустами, буками и елями, со стороны улицы — цветы, главным образом розы, среди них пожилой человечек в кожаном фартуке, возможно хозяин дома, занимающийся легкой садовой работой.

Трапс отрекомендовался и попросил пристанища.

— Ваше занятие? — спросил старик, подойдя к забору. Он курил сигару и был еле виден за калиткой.

— Занимаюсь текстильным делом.

Старик внимательно оглядел Трапса, смотря по привычке дальнозорких поверх маленьких очков без оправы:

— Конечно, вы можете здесь переночевать.

Трапс спросил о цене.

Обычно он за это ничего не берет, объяснил старик, он живет один (сын его в Соединенных Штатах), о нем заботится экономка, мадемуазель Симона, поэтому он даже рад иной раз приютить гостя.

Трапс поблагодарил. Он был тронут гостеприимством и отметил про себя, что в деревне нравы и обычаи предков еще не исчезли.

Калитка открылась. Трапс огляделся. Посыпанные гравием дорожки, газоны, тенистые уголки и озаренные солнцем лужайки.

Он ждет к себе нескольких господ сегодня вечером, сказал старик, когда они подошли к цветнику, и принялся заботливо подрезать розовый куст. Придут друзья, которые живут по соседству, кто в селении, кто подальше к холмам, пенсионеры, как и он, поселившиеся здесь из-за мягкого климата и еще потому, что здесь не чувствуется фён, все трое одинокие вдовцы, любопытные ко всему новому, свежему, животрепещущему, и поэтому ему доставит удовольствие пригласить господина Трапса поужинать в их мужской компании.

Трапс замялся. Он, собственно, собирался поесть в селении в известном на всю округу трактире, но не отважился отклонить предложение. Он чувствовал себя должником. Он принял приглашение бесплатно переночевать, и ему не хотелось показаться невежливым. Он притворился обрадованным. Хозяин повел его наверх. Приветливая комната, умывальник, широкая кровать, стол, удобное кресло, на стене Ходлер, старые кожаные переплеты на книжной полке. Трапс открыл чемодан, умылся, побрился, погрузился в облако одеколона, подошел к окну, закурил сигарету. Солнечный луч, соскользнув с холмов, озарял буковую рощу. Он бегло перебрал в уме события этого дня: доклад представителя акционерного общества, затруднения с сырьем, тот мальчишка требует пять процентов, ничего, он еще свернет ему шею. Потом выплыло в памяти каждодневное, беспорядочное: ожидаемый адюльтер в отеле «Турин», вопрос, не купить ли его младшему (которого он любил больше остальных) электрическую железную дорогу, надо бы позвонить по телефону жене, известить ее о своей невольной задержке. Но он отказался от этой мысли. Как делал часто. Она к этому уже привыкла, да и все равно не поверит. Он зевнул, позволил себе еще одну сигарету.

Потом смотрел, как по дорожке шагали три старых господина, двое рука об руку, лысый толстяк позади. Приветствия, рукопожатия, разговор о розах. Трапс отошел от окна, подошел к книжной полке. Судя по заглавиям, которые он прочитал, предстоял скучный вечер: Гетцендорф, «Убийство и смертная казнь», Савиньи, «Современное римское право», Эрнст Давид Хёлле, «Практика допроса». Все ясно. Его хозяин юрист, по-видимому бывший адвокат. Трапс приготовился к обстоятельным рассуждениям — что́ понимает такой книжник в настоящей жизни, ровным счетом ничего, на то и существуют законы. Еще можно было опасаться, что начнут говорить об искусстве или о чем-нибудь в этом роде, и тогда он легко может осрамиться, ну да ладно, если бы он не ушел с головой в дела, он тоже был бы в курсе всех этих высоких материй. Так без всякого желания спустился он вниз, где все расположились на открытой, еще залитой солнцем веранде, в то время как экономка, здоровенная особа, накрывала на стол рядом в столовой. Все же он смутился при виде общества, которое его ожидало. Он был рад, что сперва ему навстречу пошел хозяин дома, сейчас почти франтоватый, в слишком широком сюртуке, редкие волосы тщательно зачесаны. Трапса приветствовали. Краткой речью. Он сумел скрыть свое удивление, пробормотал, что он имеет особое удовольствие, поклонился холодно, сдержанно, сыграл светского дельца и подумал с тоской, что он задержался в этом селении, только чтобы поохотиться за какой-нибудь девчонкой. Это не удалось. Он оглядел трех остальных старцев, которые ни в чем не уступали чудаковатому хозяину. Точно огромные вороны, они заполняли летнюю веранду с плетеной мебелью и легкими гардинами, древние, опустившиеся, грязные, хотя сюртуки у всех, как он сразу же установил, были из материи высшего качества, исключая лысого (по имени Пиле, семидесяти семи лет, сообщил хозяин, представляя гостей), который с большим достоинством восседал на неудобном табурете, хотя кругом было много удобных стульев, сверхкорректно выпрямившись — белая гвоздика в петлице — и непрерывно поглаживая свои кустистые черные крашеные усы. Явно пенсионер, может быть в прошлом церковный служка, разбогатевший благодаря счастливому случаю, или трубочист, а возможно, машинист. Еще более опустившимися выглядели двое других. Один (господин Куммер, восемьдесят два), еще толще, чем Пиле, необъятный, будто составленный из сальных подушек, сидел в качалке — багровое лицо, громадный нос пьяницы, за стеклами золотого пенсне жизнерадостные выпученные глаза и при этом, очевидно по ошибке, ночная рубашка под черным костюмом и набитые газетами и бумагами карманы, в то время как второй (господин Цорн, восемьдесят шесть), худой и длинный, в левом глазу монокль, на лице рубцы, нос крючком, белоснежная львиная грива, запавший рот — весь воплощение позавчерашнего дня,— криво застегнутый жилет и разные носки.

— Кампари? — спросил хозяин дома.

— Пожалуйста,— ответил Трапс и опустился на стул, в то время как длинный, худой рассматривал его в монокль.

— Господин Трапс, вероятно, примет участие в нашей игре?

— Конечно. Игры забавляют меня.

Старые господа улыбаются, качают головами.

— Наша игра, может быть, несколько необычная, — пояснил хозяин с некоторым колебанием. — Она заключается в том, что мы по вечерам играем в наши старые профессии.

Старцы улыбнулись снова, вежливо, сдержанно.

Трапс удивился. Как он должен это понимать?

— Ну,— уточнил хозяин,— я был когда-то судьей, господин Цорн прокурором, господин Куммер адвокатом. Вот мы и разыгрываем судебный процесс.

— Вот как,— понял Трапс и нашел эту идею приемлемой. Может быть, вечер все-таки не потерян.

Хозяин оглядел его торжественно.

— Вообще говоря,— пояснил он мягким голосом,— мы заново проводим знаменитые исторические процессы — процесс Сократа, процесс Иисуса Христа, Жанны д'Арк, Дрейфуса, не так давно процесс поджигателей рейхстага, а однажды мы объявили неправомочным Фридриха Великого.

Трапс удивился.

— Так вы играете каждый вечер?

Судья кивнул.

— Но лучше всего, конечно,— продолжал он,— когда объектом игры является живой материал, что часто создает особенно интересные ситуации, только позавчера один член парламента, который произнес в селении предвыборную речь и опоздал на последний поезд, был приговорен нами к четырнадцати годам тюремного заключения за шантаж и взятки.

— Строгий суд,— заметил развеселившийся Трапс.

— Дело чести,— просияли старцы.

Какую же роль ему предоставят?

Снова улыбки, сдержанный смех.

Судья, прокурор и защитник у них уже есть, это должности, которые требуют знания дела и правил игры, заметил хозяин, только место подсудимого свободно, но господина Трапса, он хочет это подчеркнуть, ни в коем случае не вынуждают принять участие в игре.

Предложение хозяина обрадовало Трапса. Кажется, вечер спасен. Не будет ни поучений, ни скуки, по-видимому, даже будет весело. Он был простой человек, не отличающийся особой силой мысли и склонностью к такого рода деятельности, человек деловой, бывалый, умеющий идти на риск, когда это нужно, любитель хорошо поесть и выпить, не брезгующий крепкой шуткой. Он примет участие в игре, сказал Трапс, и сочтет для себя честью занять осиротевшее место подсудимого.

Браво, проскрипел прокурор и захлопал в ладоши, браво, это слово мужчины, это он называет смелостью.

Трапс с любопытством осведомился о преступлении, которое будет ему приписано.

— Это не существенно,— ответил прокурор, протирая монокль,— преступление всегда найдется.

Все засмеялись.

Господин Куммер поднялся.

— Пойдемте, господин Трапс,— сказал он почти отечески,— отведаем портвейна, который здесь подают, он очень старый, вы должны с ним познакомиться.

Он повел Трапса в столовую. Большой круглый стол был праздничнo накрыт. Старые стулья с высокими спинками, потемневшие картины на стене, все старомодное, солидное, с веранды доносилась болтовня стариков, через открытые окна проникал вечерний свет, было слышно чириканье птиц, на столике выстроились бутылки, на камине бордо в плетенках. Защитник аккуратно налил чуть дрожащей рукой из старой бутылки портвейн в две маленькие рюмки, наполнил их до

краев, чокнулся с Трапсом, пожелав ему здоровья, осторожно протягивая рюмку с драгоценной жидкостью.

Трапс сделал глоток.

— Превосходно,— похвалил он.

— Я ваш защитник, господин Трапс,— сказал господин Куммер.— Поэтому да будет между нами добрая дружба!

— За добрую дружбу!

Лучше всего, заявил адвокат, приближая к Трапсу свое красное лицо с носом пьяницы и старомодным пенсне и придвигаясь к нему так, что его задело гигантское брюхо, неприятная мягкая масса, лучше всего, если господин Трапс сразу сознается ему в своем преступлении. Тогда он мог бы гарантировать, что на суде удастся проскочить. Ситуация, правда, не слишком опасна, но и недооценивать ее не следует. Длинного тощего прокурора, еще далеко не растратившего свои духовные силы, надо бояться, да и хозяин дома тоже, к сожалению, склонен к строгости и даже, пожалуй, к педантичности, что к старости — он насчитывает семьдесят восемь — еще усилилось. Несмотря на это, ему, защитнику, удавалось большинство дел провести успешно или по крайней мере не допустить самого худшего. Только в одном случае — убийство с ограблением — действительно ничего нельзя было сделать. Но об убийстве с ограблением здесь как будто не может быть и речи, насколько он может судить, или все-таки?..

Он, к сожалению, не совершил никакого преступления, засмеялся Трапс. И тут же сказал:

— Ваше здоровье!

— Признайтесь мне,— ободрял его защитник.— Вы не должны меня стесняться. Я знаю жизнь, ничему больше не удивляюсь. Передо мной проходили судьбы, господин Трапс, открывались бездны, можете мне поверить.

Ему очень жаль, посмеивался Трапс, действительно он обвиняемый, который предстанет перед их судом без всякого преступления, и в конце концов это дело прокурора — обнаружить его, ведь он сам это сказал, тут надо ловить на слове. Игра есть игра. Любопытно, что из этого получится. Будет ли настоящий допрос?

— Надо думать!

— Это меня радует.

На лице защитника выразилось сомнение.

— Вы чувствуете себя невиновным, господин Трапс?

Трапс засмеялся:

— Как стеклышко.

Разговор показался ему забавным.

Защитник протер пенсне.

— Зарубите себе на носу, мой молодой друг, невиновность, есть она или нет,— это еще не самое важное, все дело в тактике! Это безумие рассчитывать перед нашим судом остаться невиновным. Напротив, разумнее всего сразу же выбрать себе какое-нибудь преступление, например такое подходящее для деловых людей — обман. Тогда при допросе может оказаться, что обвиняемый преувеличивает, что, собственно, тут имеет место вовсе не обман, а безобидная подтасовка фактов из рекламных соображений, как это обычно практикуется в коммерции. Путь от виновности к невиновности, правда, нелегок, но все-таки возможен, зато совершенно безнадежно желать во что бы то ни стало доказать свою невиновность: результат бывает сокрушительный. Вы проигрываете, в то время как могли бы выиграть, и лишаетесь возможности выбрать вину самому, вам ее уже навязывают.

Трапс, улыбаясь, пожал плечами: он сожалеет, что ничем не может быть полезен, но он действительно не знает за собой ни одного дурного поступка, который вступал бы в противоречие с законами, он это утверждает.

Защитник снова надел пенсне. С Трапсом ему будет трудно, думает он, тут найдет коса на камень.

— Но самое главное,— заключил он беседу,— обдумывайте каждое свое слово, не болтайте лишнего, в противном случае вы и не заметите, как вас приговорят к длительному тюремному заключению, и уже ничем нельзя будет помочь.

Тут пришли остальные. Заняли места за круглым столом. Дружеская застольная беседа, шутки. Сперва были сервированы различные закуски, холодное мясо, яйца по-русски, устрицы, черепаховый суп. Настроение было превосходное, хлебали с удовольствием, чавкали без стеснения.

— Ну-с, обвиняемый, что вы можете нам предъявить? Надеюсь, солидное убийство?— прокряхтел прокурор.

Защитник запротестовал:

— Мой клиент — обвиняемый без преступления, так сказать, уникальное явление в юридической практике. Утверждает, что невиновен.

— Невиновен?— удивился прокурор. Рубцы покраснели, монокль чуть не упал в тарелку, болтался на черном шнурке. Карлик-судья, который только что начал крошить хлеб в тарелку с супом, остановился, укоризненно посмотрел на Трапса и покачал головой. Даже лысый молчаливый Пиле с белой гвоздикой в петлице изумленно уставился на него. Наступила устрашающая тишина. Ни стука вилки или ложки, ни чавканья, ни хруста. Только Симона в глубине комнаты тихонько хихикала.

— Мы должны проверить,— спохватился наконец прокурор.— Чего нет, того и быть не может.

— Приступайте,— засмеялся Трапс.— Я в вашем распоряжении.

К рыбе было подано вино, легкий игристый невшатель.

— Ну что ж,— сказал прокурор, разделывая форель,— посмотрим. Женаты?

— Одиннадцать лет.

— Детки?

— Четверо.

— Профессия?

— Специалист по текстилю.

— Иначе говоря, коммивояжер, дорогой господин Трапс?

— Генеральный представитель.

— Отлично. Потерпели аварию?

— Совершенно случайно. Впервые в этом году.

— Ага. А до этого?

— Ну, тогда я ездил еще на старой машине,— объяснил Трапс.— «Ситроен» образца 1939, а теперь у меня «студебеккер», красный, лакированный, модель экстра.

— «Студебеккер», вот как, интересно, и только недавно? До этого, очевидно, не были генеральным представителем?

— Был рядовым, обычным вояжером по текстилю.

— Конъюнктура,— кивнул прокурор.

Рядом с Трапсом сидел защитник.

— Будьте внимательны,— шепнул он.

Вояжер по текстилю, или генеральный представитель, как мы теперь можем его называть, беззаботно занимался бифштексом, соус тар-

тар, выжал на него лимон (собственный рецепт), немного коньяку, перцу и соли. Более приятной еды ему еще никогда не приходилось отведывать, он просто сиял, до сих пор он считал самым лучшим развлечением вечера в «Шларафии», но эта мужская вечеринка доставляет ему еще больше удовольствия.

— Ага,— подхватил прокурор,— вы посещаете «Шларафию». Какую кличку вы там носите?

— Маркиз де Казанова.

— Прекрасно,— прокряхтел прокурор обрадованно, как будто это сообщение было очень важным, и снова вставил монокль,— нам всем приятно это слышать. Можно ли по этой кличке судить о вашей частной жизни, дражайший?

— Внимание,— прошипел защитник.

— Дорогой господин прокурор,— ответил Трапс.— Только до известной степени. Если у меня и бывает что-либо с женщинами на стороне, то только случайно и, так сказать, походя.

Не будет ли господин Трапс так любезен, не расскажет ли он собравшимся коротко свою жизнь, попросил судья, доливая невшатель, так как решено дорогого гостя и грешника отдать под суд и по возможности упечь его на многие годы, если только удастся узнать всю его подноготную, частное, интимное, узнать кое-что о его связях с женщинами и, если возможно, посолонее и поострее.

— Рассказывать, рассказывать! — хихикая, потребовали старые господа у генерального представителя. Однажды у них за столом оказался сутенер, он рассказал увлекательнейшие и пикантнейшие истории из своей практики и при всем том отделался только четырьмя годами тюремного заключения.

— Ну-ну,— засмеялся Трапс,— что уж мне рассказывать. Я веду обычную жизнь, господа, заурядную жизнь, как я должен сознаться. Выпьем!

— Выпьем!

Генеральный представитель поднял бокал, умиленно посмотрел в остановившиеся глаза четырем старикам, которые впились в него так, будто он был необыкновенным лакомством, и все чокнулись.

Солнце наконец зашло. Адский гомон птиц умолк, но в свете сумерек еще был виден весь ландшафт — сады и красные крыши между деревьями, лесистые холмы, вдали предгорья и несколько глетчеров; умиротворенное настроение, деревенская тишина, торжественное предчувствие счастья, божьей благодати и вселенской гармонии.

Трудное детство прожил он, рассказывал Трапс, пока Симона меняла тарелки и ставила на стол гигантское дымящееся блюдо. Шампиньоны а ля крем. Его отец был фабричный рабочий, пролетарий, соблазнившийся учением Маркса и Энгельса, озлобленный, безрадостный человек, который никогда не заботился о своем единственном ребенке. Мать — прачка, рано увядшая женщина.

— Только начальную школу мог я посещать, только начальную школу,— твердил он со слезами на глазах, с горечью и тут же, растроганный своим жалким прошлым, чокался уже «резерв де морешо».

— Любопытно,— сказал прокурор,— любопытно. Только начальная школа. Собственными силами пробивались наверх, уважаемый.

— Я думаю! — похвастался тот, подогретый «резерв де морешо», окрыленный дружеской беседой и торжественностью господнего мира за окнами.— Я думаю. Еще десять лет назад я был только приказчиком и разъезжал с чемоданчиком от дома к дому. Тяжелая это работа странствовать, ночевать где-нибудь на сеновалах или в подозрительных ноч-

лежках. Снизу начал я, с самого низу. А теперь, господа, если б вы видели мой счет в банке! Я не хочу хвалиться, но есть ли у кого-нибудь из вас собственный «студебеккер»?

— Будьте осторожны,— шепнул озабоченно защитник.

— Как же все это произошло?— спросил прокурор с любопытством.

Он должен быть внимательным и не слишком много говорить, предупредил защитник.

Он один взял на себя представительство фирмы «Гефестон» на всю Европу, сообщил Трапс и посмотрел на всех торжествующе. Только Испания и Балканы в других руках.

Гефест, греческий бог, захихикал маленький судья, накладывая себе шампиньонов, весьма искусный кузнец, который поймал богиню любви и ее возлюбленного, бога войны Ареса, в такую тонкую невидимую сеть, что все остальные боги не могли нарадоваться этому улову. Но что означает «Гефестон», монопольным представителем которого является уважаемый господин Трапс,— это для него весьма неясно, так сказать, завуалировано.

— И все-таки вы близки к истине, уважаемый хозяин и судья,— засмеялся Трапс.— Вы сами сказали «завуалировано», и неизвестный мне греческий бог, у которого почти одно имя с моим товаром, сплел очень тонкую и невидимую сеть. Если сегодня существует нейлон, перлон, мирлон, искусственные ткани, о которых высокий суд, вероятно, слыхал, то существует и гефестон — король искусственных тканей, нервущийся, прозрачный и притом благодать для ревматиков, столь же незаменимый для индустрии, как и для моды, для войны, как и для мира. Совершеннейший материал для парашютов и вместе с тем пикантнейшая материя для ночных сорочек прекрасных женщин, насколько я знаю из собственного опыта.

— Слушайте, слушайте, — заквакали старики, — собственный опыт — это хорошо,— здесь Симона снова переменила тарелки и принесла блюдо телячьих почек.

— Настоящий банкет! — просиял генеральный представитель.

— Меня радует,— сказал прокурор,— что вы умеете ценить подобные вещи, и по заслугам! Лучшие продукты предлагаются нам, и в изрядных количествах, меню как из прошлого столетия, когда люди еще отваживались на такие пиршества. Похвалим же Симону! Похвалим нашего хозяина! Он ведь сам все закупает, этот старый гном и гурман, что же касается вин, то ими занимается Пиле, скотовод из соседнего селения. Похвалим и его! Но вернемся к вам, наш дорогой делец. Разберем ваш случай дальше. Вашу жизнь мы теперь знаем, приятно было с ней ознакомиться, и ваша деятельность тоже теперь нам ясна. Только один незначительный пункт еще неясен: как достигли вы в вашем деле такой прибыльной должности? Только прилежанием, железной энергией?

— Следите,— прошипел защитник.— Становится опасно.

Это было не так легко, ответил Трапс и жадно посмотрел, как судья нарезает жаркое, сперва он должен был победить Гигакса, и это была тяжелая работа.

— А, и господин Гигакс, кто же это такой?

— Мой прежний шеф.

— Его нужно было отстранить, хотите вы сказать?

— Его нужно было убрать, выражаясь грубым языком моей профессии,— ответил Трапс и придвинул к себе соус.— Уважаемые господа. вам придется потерпеть. Это будут откровенные слова. Все жестоко в деловой жизни: как ты мне, так я тебе, кто там хочет быть джентльменом — пожалуйста, но тот погибает. Я гребу деньги, как сено, но и над-

рываюсь, как десять слонов, каждый день мотаюсь по шестьсот километров на своем «студебеккере». Конечно, уж я себя вел не так прилично, когда нужно было старому Гигаксу приставить нож к горлу и чикнуть, но я должен был выдвинуться, что поделаешь, дело есть дело.

Прокурор с любопытством посмотрел поверх блюда с телячьими почками:

— Убрать, приставить нож к горлу, чикнуть — это ведь довольно злобные выражения, дорогой Трапс.

Генеральный представитель засмеялся:

— Это, разумеется, надо понимать в переносном смысле.

— А господин Гигакс чувствует себя хорошо, уважаемый?

— Он умер в прошлом году.

— Вы безумец,— прошипел защитник взволнованно.— Вы, очевидно, совсем сошли с ума!

— В прошлом году,— посочувствовал прокурор.— Очень жаль. Сколько же ему было лет?

— Пятьдесят два.

— Цветущий возраст. И отчего он умер?

— От какой-то болезни.

— После того как вы заняли его место?

— Незадолго до того.

— Хорошо, у меня больше вопросов нет,— сказал прокурор.— Нам повезло. Выплыл мертвец, и это в конце концов главное.

Все засмеялись. Даже лысый Пиле, который благоговейно склонился над своей тарелкой, педантично, безостановочно поглощая неизмеримые количества, поднял голову.

— Здорово,— сказал он и погладил черные усы.

Затем умолк и снова погрузился в еду.

Прокурор торжественно поднял бокал.

— Господа,— сказал он,— по этому поводу давайте попробуем «пишон-лонгвиль» 1933 года. Отличное бордо к отличной игре!

Они снова чокнулись и выпили друг за друга.

— Черт возьми, господа! — изумился генеральный представитель, осушив одним глотком свой бокал и протягивая его судье.— Это колоссально!

Наступили сумерки, и лица собравшихся стали трудно различимы. В окнах появились первые звезды, и экономка зажгла три тяжелых канделябра, при свете которых тени сидящих за столом рисовались на стенах, как удивительные чашечки фантастических цветов. Задушевная располагающая атмосфера, взаимная симпатия, изысканное обращение.

— Как в сказке,— изумился Трапс.

Защитник отер салфеткой пот со лба.

— Сказка — это вы, дорогой Трапс,— сказал он.— Мне еще никогда не попадался обвиняемый, который с бóльшим душевным спокойствием решался бы на такие неосторожные высказывания.

Трапс засмеялся:

— Напрасные страхи, дорогой сосед! Когда начнется допрос, тогда уж я головы не потеряю.

Мертвая тишина, как уже было однажды. Ни хруста, ни чавканья.

— Несчастный вы человек! — простонал защитник.— Что вы хотите этим сказать: «Когда начнется допрос»?

— А что,— удивился Трапс, накладывая салат,— разве допрос уже начался?

Старики усмехнулись, хитро посмотрели друг на друга, заблеяли от удовольствия.

А лысый, все время сидевший молча, захихикал:

— Он этого не заметил, он этого не заметил!

Трапс смутился. Шутовская веселость показалась ему жутковатой. Это впечатление, правда, вскоре прошло, и он снова присоединился к общему веселью.

— Господа, извините,— сказал он,— я представлял себе нашу игру более торжественной, официальной, более напоминающей зал суда.

— Милейший господин Трапс,— разъяснил ему судья,— для нас весьма ценно ваше удивление. Наша манера вести суд кажется вам непривычной и слишком легковесной, как я вижу. Но, многоуважаемый Трапс, все мы четверо сидящие за этим столом уже ушли на покой и освободили себя от груды ненужных юридических формул, протоколов, писанины, статей и всего того мусора, которым завалены залы наших судов. Мы судим, не оглядываясь на жалкий кодекс законов и на его параграфы.

— Смело,— заметил Трапс уже несколько отяжелевшим языком,— смело. Господа, это мне нравится. Без параграфов — это смелая мысль.

Защитник церемонно поднялся. Он отправляется подышать воздухом, сообщил он, прежде чем дойдет до каплуна и всего прочего, маленькая прогулочка для здоровья и одна сигарета будут весьма кстати, и приглашает господина Трапса его сопровождать.

Они спустились с веранды в ночь, которая наконец наступила, теплая и торжественная. Из окон столовой падали золотые полосы света на газоны и розовые кусты. Небо было звездное, безлунное, деревья стояли темной массой, и между ними едва можно было различить дорожки, по которым они побрели, поддерживая друг друга. Оба отяжелели от вина, покачивались, то и дело спотыкались, старались держаться прямо и курили парижские сигареты — красные точки в темноте.

— Боже мой,— вздохнул Трапс,— какая была потеха! — И указал на освещенные окна, в которых то и дело появлялся массивный силуэт экономки.— Приятно все это, приятно!

— Дорогой друг,— сказал защитник, пошатываясь и опираясь на Трапса,— прежде чем мы вернемся и схватимся с нашим каплуном, позвольте мне обратиться к вам с предупреждением, с серьезным предупреждением, к которому вы должны отнестись с доверием. Вы мне симпатичны, молодой человек, я испытываю к вам нежность, я хочу говорить с вами как отец: мы гигантскими шагами приближаемся к проигрышу нашего процесса.

— Чепуха,— ответил Трапс и пробуксировал защитника по дорожке вокруг большой черной шарообразной группы кустов. Дальше был пруд, они нащупали в темноте каменную скамью и сели. Звезды отражались в воде, потянуло прохладой. Из селения доносились звуки гармоники и пение, слышался альпийский рожок, союз скотоводов веселился.

— Вы должны подтянуться,— предостерег защитник.— Противник захватил важные укрепления, мертвый Гигакс, так некстати вынырнувший из вашей безудержной болтовни, представляет страшную угрозу, все это очень скверно, неопытный защитник уже сложил бы оружие, но при некотором упорстве, используя все шансы и прежде всего если вы сами будете крайне выдержаны и осторожны, я, пожалуй, смогу еще кое-что спасти.

Трапс засмеялся. Это очень смешная игра, заявил он, надо ее непременно ввести в «Шларафии».

— Не правда ли? — обрадовался защитник.— Прямо оживаешь. Я совсем было зачах, милый друг, после того как вышел в отставку и оказался без дела, без своих привычных занятий и должен был в этой дере-

вушке доживать свой век. Что здесь может случиться? Ничего, только фён дает себя знать, вот и все. Здоровый климат? Без духовной деятельности — смехотворно. Прокурор был при смерти, у нашего хозяина предполагали рак желудка, Пиле страдал диабетом, я возился с повышенным давлением. Таков был результат. Собачья жизнь. Изредка мы собирались вместе, грустили, с тоской говорили о нашей старой профессии, о былых успехах — наша единственная скудная радость. И тут прокурору вдруг пришла мысль ввести эту игру, судья предоставил свой дом, а я свое состояние — ну да, я холостяк и, будучи не одно десятилетие адвокатом верхушки общества, отложил хорошенькую сумму, мой милый, трудно поверить, как оправданный разбойник из высоких финансовых кругов щедр к своему защитнику, это граничит с расточительством,— и эта игра стала источником нашего здоровья. Гормоны, кишечники, поджелудочные железы стали снова действовать безупречно, скука прошла, снова появились энергия, молодость, гибкость и аппетит. Видите,— и он, невзирая на свое брюхо, сделал несколько движений, которые Трапс с трудом разглядел в темноте.— Обвиняемых обычно играют гости,— продолжал защитник, после того как снова уселся.— Иногда местные жители, иногда туристы, а два месяца назад нам удалось приговорить немецкого генерала к двадцати годам тюрьмы. Он был здесь проездом с супругой, только мое искусство спасло его от виселицы.

— Грандиозно,— изумился Трапс,— такая деятельность! Но с виселицей — это что-то уж слишком, вы преувеличиваете, уважаемый господин защитник, ведь смертная казнь отменена.

— В практике государственного судопроизводства,— уточнил защитник,— но мы в нашей частной юридической практике ввели ее снова: именно возможность вынесения смертного приговора придает нашей игре такую напряженность и такое своеобразие.

— И палач тоже есть у вас, вероятно? — засмеялся Трапс.

— Разумеется,— подтвердил защитник с гордостью,— Пиле.

— Пиле?

— Удивлены, да?

Трапс судорожно глотнул.

— Ведь он скотовод и поставляет вина, которые мы здесь пьем.

— Трактирщиком он был всегда,— усмехнулся защитник добродушно.— Государственной деятельностью занимался только по совместительству. Почетная обязанность. Был одним из опытнейших специалистов своего дела в соседней стране, теперь уже двадцать лет как на пенсии, но все еще не утратил своего мастерства.

По улице проехал автомобиль, и в свете фар засветился дым от сигарет. На секунду Трапс увидел защитника, необъятную фигуру в засаленном сюртуке, жирное, довольное, добродушное лицо. Трапс задрожал. Холодный пот выступил у него на лбу.

— Пиле.

Защитник удивился:

— Но что с вами, мой добрый Трапс? Я вижу, вы дрожите. Вам нехорошо?

— Я не знаю,— прошептал генеральный представитель и тяжело вздохнул,— не знаю.

Он видел перед собой лысого, который довольно тупо жевал, сидеть с таким субъектом за одним столом — это уж чересчур. Но что ему делать, бедняге, с такой профессией — мягкая летняя ночь, еще более мягкое вино настраивали Трапса гуманно, великодушно, он все-таки был человеком, который много видел, знал жизнь, не какой-нибудь ханжа или обыватель, нет, текстильный специалист крупного масштаба; да,

конечно, Трапсу теперь казалось, что, не будь здесь палача, вечер был бы менее приятным и забавным, и он уже радовался, предвкушая, как представит в лучшем виде свое приключение в «Шларафии», куда палача, вероятно, можно будет когда-нибудь пригласить — небольшой гонорар плюс накладные расходы,— и тут он с облегчением захохотал:

— Попался! Струсил! Игра становится все веселее!

— Доверие за доверие,— сказал защитник, когда они поднялись и, рука об руку, ослепленные светом из окон, ощупью брели к дому.— Как вы убили Гигакса?

— Это я-то его убил?

— Ну да, раз он мертв.

— Но я его не убивал.

Защитник остановился.

— Мой милый молодой друг,— сказал он сочувственно,— мне понятны ваши колебания. Из всех преступлений труднее всего сознаться в убийстве. Обвиняемому стыдно, он не хочет сознаться в содеянном, всячески вытесняет его из собственного сознания, вообще с предубеждением относится к своему прошлому, преувеличивает свою вину и не доверяет никому, даже своему отечески настроенному другу-защитнику, что как раз ошибочно, так как настоящий защитник любит убийство, восторгается, когда сталкивается с ним. Выкладывайте, господин Трапс. Я чувствую себя хорошо, только когда стою перед настоящей задачей, как альпинист перед четырехтысячником, я могу себе позволить так выразиться в качестве старого восходителя. Мозг начинает лихорадочные поиски догадок и уловок, и это доставляет огромное удовольствие. Вот почему ваше недоверие — большая, позволю себе сказать, решающая ошибка. Поэтому выкладывайте все начистоту, старый ребенок!

Ему не в чем сознаваться, по-прежнему твердил генеральный представитель. Защитник остановился. Он уставился на Трапса, ярко освещенный светом из окна, за которым все задорнее звучал звон бокалов.

— Юноша, юноша,— пробормотал он неодобрительно,— вы опять за свое? Вы все еще не хотите отказаться от ошибочной тактики и все еще притворяетесь невиновным? Разве вы уже не капитулировали? Хочешь не хочешь — надо сознаться. А в чем — это всегда найдется. Как до вас все медленно доходит! Давайте-ка, милый друг, не церемоньтесь и не тяните, вытряхивайте все, до самых печенок. Рассказывайте, как вы прикончили Гигакса. В состоянии аффекта, что ли? Тогда мы должны приготовиться к обвинению в убийстве. Спорю, что прокурор на это метит. Такое у меня подозрение. Я этого типа знаю.

Трапс покачал головой.

— Мой милый господин защитник,— сказал он,— вся прелесть нашей игры и состоит в том — если мне как новичку позволительно высказать свое мнение,— что играющему становится жутковато и даже страшно. Игра грозит перейти в действительность. Вдруг спрашиваешь себя, не преступник ли ты, не убил ли ты в самом деле старого Гигакса? Во время вашей речи мне стало прямо-таки тошно. И потому доверие за доверие: я не повинен в смерти старого гангстера. Уверяю вас.— С этим они вошли в столовую, где уже подали каплуна и в стаканах сверкало «шато пави» 1921.

Растроганный Трапс подошел к серьезному, молчаливому лысому и пожал ему руку. Он узнал от защитника о его прежней профессии и хочет подчеркнуть, что ничего не может быть приятнее, чем сидеть за одним столом с таким бравым человеком, у него нет никаких предрассудков на этот счет, наоборот, и Пиле, поглаживая крашеные усы, забормотал, краснея и смущаясь, на своем ужасном диалекте:

— Очень приятно, очень приятно, к вашим услугам.

После этого трогательного братания каплун показался особенно вкусным. Он был приготовлен по особому рецепту, который Симона хранила в тайне, как сообщил судья. Все чавкали, ели руками, хвалили шедевр кулинарии, чокались, пили друг за друга, слизывали с пальцев соус, чувствовали себя превосходно, и в этой атмосфере благодушия процесс был продолжен.

Прокурор, повязанный салфеткой,— каплун перед клювообразным чавкающим ртом — надеялся к следующему блюду получить признание обвиняемого.

— Милейший и почтеннейший обвиняемый,— допрашивал он,— вы, конечно, Гигакса отравили?

— Нет,— засмеялся Трапс,— ничего подобного.

— Ну, скажем, застрелили.

— Тоже нет.

— Подстроили автомобильную катастрофу?

Взрыв смеха, защитник снова прошипел:

— Будьте настороже, это ловушка.

— Чепуха, господин прокурор, все, что вы сказали,— сплошная чепуха,— воскликнул Трапс задорно.— Гигакс умер от инфаркта, и это был уже не первый, первый был у него несколько лет назад, он должен был следить за собой, хоть он и изображал здорового человека, все же при любом волнении инфаркт мог повториться, это я знаю точно.

— Ага, и от кого именно?

— От его жены, господин прокурор.

— От его жены?

— Осторожнее, ради бога,— прошептал защитник.

«Шато пави» 1921 превзошел все ожидания. Трапс налил себе уже четвертый бокал, и Симона поставила возле него отдельную бутылку. Может быть, прокурор удивится — здесь генеральный представитель чокнулся со старым господином,— но, чтобы высокий суд не подумал, будто он что-то скрывает, он хочет сказать правду и на этом стоять, даже если защитник будет шипеть ему свое «осторожнее!». С госпожой Гигакс у него, собственно, кое-что было, ну да, старый гангстер часто бывал в отъезде и самым безобразным образом забывал о своей аппетитной женке, тогда он изредка выступал как утешитель, на тахте в квартире Гигакса, а иногда, позже, и в супружеской постели, как это случается в жизни.

При этих словах Трапса старики замерли, но потом сразу одновременно громко завизжали от удовольствия, и лысый, все время молчавший, закричал, подбросив в воздух свою белую гвоздику:

— Сознался! Сознался!

Только защитник в отчаянии бил себя кулаками в виски.

— Такая неосторожность! — воскликнул он. Его клиент обезумел, его словам просто нельзя верить, и тут Трапс с возмущением запротестовал, чем вызвал всеобщий восторг. Затем начались длинные прения между защитником и прокурором. Словесная перестрелка, полушутливая, полусерьезная дискуссия, сущности ее Трапс не понял: все вертелось вокруг слова dolus, значения которого генеральный представитель не знал. Спор становился все яростнее, громче, все непонятнее, вмешался судья, тоже разволновался, и если вначале Трапс еще старался прислушиваться, чтобы уловить, о чем все-таки идет спор, то потом он от этого отказался и с облегчением вздохнул, когда экономка подала сыры — камамбер, бри, эмментальский, грюер, тет де муан, лимбургский, горгонцола,— и решил: dolus так dolus, чокнулся с лысым, который по-

прежнему хранил молчание и, кажется, тоже ничего не понимал, и набросился на еду, как вдруг прокурор снова обратился к нему.

— Господин Трапс,— спросил он, растрепанная львиная грива, багровое лицо, в левой руке монокль,— вы все еще дружите с госпожой Гигакс?

Все уставились на Трапса. Засунув в рот кусок хлеба с камамбером, он благодушно жевал. Затем отпил глоток «шато пави». Где-то тикали часы, из селения снова донеслись далекие звуки гармоники, мужское пение: «В трактире «Швейцарская шпага».

После смерти Гигакса, пояснил Трапс, он эту бабенку больше не навещал. Он не хочет в конце концов дискредитировать честную вдову.

Это объяснение, к его удивлению, снова вызвало непонятное, таинственное веселье, стало еще оживленнее, прокурор закричал: «Dolo malo, dolo malo!» — заревел греческие и латинские стихи, начал цитировать Шиллера и Гете, в то время как маленький судья задул все свечи, кроме одной, и стал при ее свете, громко мыча и фыркая, показывать руками на стене самые фантастические теневые картины — козы, летучие мыши, черти, лешие,— Пиле барабанил по столу так, что плясали стаканы, тарелки и блюда, и приговаривал:

— Пахнет смертным приговором, пахнет смертным приговором!

Только защитник не участвовал во всем этом. Он пододвинул Трапсу блюдо. Пусть угощается, они должны утешиться сыром, ничего другого не остается.

Подано «шато марго». С ним вернулось спокойствие. Все пристально смотрели на судью, который начал осторожно откупоривать бутылку (год 1914) каким-то особенным старомодным штопором, при помощи которого ему удалось вытянуть пробку из лежащей бутылки, не вынимая ее из плетенки, при этой процедуре все присутствующие затаили дыхание: пробку полагалось извлечь без единого повреждения, ведь она была единственным доказательством того, что это бутылка 1914 года, так как четыре десятилетия давно уничтожили этикетку. Пробка вышла не вся, остаток ее нужно было удалить очень осторожно, на пробке еще можно было прочесть год, ее передавали из рук в руки, нюхали, удивлялись и в конце концов вручили генеральному представителю на память о замечательном вечере, как сказал судья. Он пригубил вино, прищелкнул языком, наполнил рюмки, после чего все снова стали нюхать, потягивать, издавать восторженные восклицания, восхваляя щедрого хозяина. Каждому поднесли сыр, и судья предложил прокурору начать свою обвинительную речь. Тот потребовал, чтобы зажгли новые свечи, должно быть торжественно, благоговейно, необходима сосредоточенность, внутренняя собранность. Симона принесла свечи. Чувствовалось общее напряжение, генерального представителя все это начинало тревожить, его знобило. Но в то же время он находил свое приключение очаровательным и ни за что не согласился бы от него отказаться. Только его защитник был не слишком доволен.

— Хорошо, Трапс,— сказал он,— выслушаем обвинительную речь. Вы будете поражены, узнав, что́ вы натворили своими необдуманными ответами, своей ошибочной тактикой. Если раньше дело обстояло неважно, то сейчас — положение катастрофическое. Но смелее, я вам помогу выбраться, только не теряйте голову, это будет стоить вам нервов — выскочить целым и невредимым.

И началось. Общее откашливание, еще раз чокнулись, и прокурор под улыбки и хихиканье начал свою речь.

— Самое приятное в нашей мужской пирушке,— сказал он, поднимая бокал, но продолжая сидеть,— заключается в том, что нам уда-

лось распознать убийство, так тонко выполненное, что оно, конечно, с блеском ускользнуло от нашей государственной юстиции.

Трапс изумился и вдруг рассердился.

— Я совершил убийство? — запротестовал он.— Послушайте-ка, это заходит слишком далеко, защитник уже подбирался ко мне с этой дурацкой версией,— но тут он опомнился и сам стал смеяться, еле успокоился, что́ за превосходная шутка, теперь он наконец понял, какое преступление хотят ему приписать, прямо животики надорвешь.

Прокурор с достоинством посмотрел на Трапса, протер монокль, вставил его снова.

— Обвиняемый,— сказал он,— сомневается в своей виновности. Вполне естественно. Кто из нас знает самого себя, кому из нас известно все о собственных преступлениях и тайных злодеяних? Одно уже сейчас можно подчеркнуть, прежде чем страсти в нашей игре вспыхнут снова: если Трапс убийца, как я утверждаю, как я глубоко убежден, то мы переживаем необыкновенно торжественные минуты. И с полным основанием. Это радостное событие, раскрытие убийства, событие, которое заставляет сильнее биться наши сердца, ко многому обязывает, ставит нас перед новыми задачами и решениями, и поэтому я хочу прежде всего поздравить нашего дорогого предполагаемого преступника, так как без преступника невозможно раскрыть убийство и отправлять правосудие. Итак, с особенным удовольствием — за здоровье нашего друга, нашего скромного Альфреда Трапса, которого благосклонная судьба привела к нам.

Взрыв ликования, все поднялись, выпили за здоровье генерального представителя, который благодарил — слезы на глазах — и уверял, что это лучший вечер в его жизни.

Прокурор, тоже со слезами:

— Лучший вечер в его жизни, объявляет нам наш уважаемый Трапс. Лучший, какое слово, какое потрясающее слово! Вспомним о том времени, когда, состоя на государственной службе, мы занимались нашим мрачным ремеслом. Тогда обвиняемый стоял перед нами не как друг, но как враг, и если прежде мы вынуждены были его отталкивать, то теперь мы можем прижать его к груди. Так давайте же обнимемся!

С этими словами он вскочил, сорвал Трапса со стула и заключил в объятия.

— Прокурор, милый, милый друг,— бормотал генеральный представитель.

— Обвиняемый, милый Трапс,— всхлипывал прокурор.— Будем говорить друг другу «ты». Зови меня Курт. За твое здоровье, Альфредо!

— За твое здоровье, Курт!

Они целовали, обнимали, гладили друг друга, пили друг за друга, росло умиление, царила атмосфера благоговейной дружбы.

— Как все-таки все это изменилось,— восторгался прокурор.— Если еще недавно мы только преследовали обвиняемого от происшествия к происшествию, от преступления к преступлению, от приговора к приговору, то теперь мы обосновываем, возражаем, спорим и заключаем с выдержкой, спокойствием, добродушием, учимся ценить, любить обвиняемого, его ответная симпатия рвется нам навстречу, рождает взаимные братские чувства. А когда эти чувства установились, все дальнейшее уже дается легко, преступление перестает быть мучительным, приговор становится отрадным. Так позвольте же мне в связи с раскрытием убийства произнести слова признательности.

Трапс между тем снова в блестящем настроении:

— Доказательства, Куртхен, доказательства!

Нужно отдать справедливость, мы имеем дело с отличным, красивым убийством. Наш дорогой преступник мог бы усмотреть в этом грубый цинизм, но ничто так не чуждо мне; красивым может быть назван поступок в двух смыслах — философском и технически виртуозном; наша маленькая компания, уважаемый друг Альфредо, отказалась от предрассудка заведомо видеть в преступлении нечто безобразное, отталкивающее и, наоборот, в правосудии нечто прекрасное, хотя, может быть, и устрашающее; нет, мы и в преступлении признаем красоту, ибо в нем, в преступлении, заключена предпосылка для торжества правосудия. Это философская сторона. Теперь оценим техническую сторону. Оценка. Я думаю, что нашел верное слово, моя обвинительная речь не будет устрашающей, такой, которая могла бы обеспокоить нашего друга, привести его в замешательство, это только оценка, которая объяснит ему его преступление, доведет до его сознания, что только на фундаменте чистого познания можно воздвигнуть безупречный памятник правосудию.

Восьмидесятишестилетний прокурор остановился, обессиленный. Несмотря на свой возраст, он говорил громким трескучим голосом, размашисто жестикулируя, при этом много пил и ел. Он отер со лба пот повязанной вокруг шеи салфеткой, вытер затылок. Трапс был растроган. Он грузно сидел в кресле, отяжелевший от ужина. Он был сыт, но не хотел отставать от четырех стариков, хотя и сознавал, что их гигантский аппетит и гигантская жажда заставили его потрудиться. Трапс был бойкий едок, но такой жизненной силы, такого обжорства ему еще никогда не доводилось видеть. Он сидел, тупо уставившись на прокурора, изумленный и вместе с тем польщенный сердечностью, с которой тот к нему обращался. Он слышал, как церковный колокол пробил двенадцать и издали, из темноты, донесся хор скотоводов: «Наша жизнь, как длинная дорога...»

— Как в сказке,— изумлялся генеральный представитель,— как в сказке.— И затем: — Значит, я совершил убийство? Именно я? Меня только интересует, каким же это образом?

Судья откупорил еще одну бутылку «шато марго» 1914, и отдохнувший прокурор начал снова.

— Итак, что же произошло? — сказал он. — Каким образом я открыл, что нашему славному другу можно приписать убийство, и притом не обычное убийство, нет, виртуозное убийство, без кровопролития, без таких средств насилия, как яд, пистолет и прочее?

Он откашлялся. Трапс сидел, напряженно уставившись на него, сигара во рту.

— Как специалист, я должен исходить из положения,— продолжал прокурор,— что преступление может подстерегать нас в каждом происшествии, в каждом человеке. Первой догадкой, что в лице господина Трапса нам встретился человек, облагодетельствованный судьбой и отмеченный преступлением, мы обязаны тому обстоятельству, что текстильный вояжер еще год назад ездил в старом «ситроене», а теперь гордо разъезжает в «студебеккере». Я знаю, конечно,— продолжал он,— мы живем во времена высокой деловой конъюнктуры, и потому наша догадка была еще смутной, скорее походила на предчувствие, что тебя ждет какое-то радостное переживание, а именно — раскрытие убийства. То, что наш милый друг занял пост своего шефа, что он вытеснил шефа, наконец то, что шеф умер,— все эти факты еще не были прямыми уликами, но только моментами, которые это предчувствие укрепляли, усиливали. Подозрение, обоснованное логически, пришло только тогда, когда стало известно, от чего умер легендарный шеф: от инфаркта. Тут надо было сопоставлять, комбинировать факты, надо было проявить острый

ум, чутье следователя, осторожно продвигаться, подкрадываться к правде, в обычном узнавать необычное, в определенном увидеть неопределенное, различить контуры в тумане, верить в убийство именно потому, что это казалось абсурдным, принять убийство. Рассмотрим предложенный материал. Набросаем портрет умершего. Мы о нем знаем мало, и эти сведения мы получили от нашего милого гостя. Господин Гигакс был генеральным представителем фирмы искусственной ткани «Гефестон», за которой мы охотно признаем все приятные качества, перечисленные здесь нашим милейшим Альфредо. Это был человек, осмеливаемся мы предположить, который шел на все, бесцеремонно использовал своих подчиненных, умел делать дела, хотя средства, которыми он при этом пользовался, часто бывали более чем сомнительными.

— Это верно,— воскликнул Трапс, воодушевляясь,— мошенник изображен точно!

— Далее мы можем заключить,— продолжал прокурор,— что он любил изображать здорового, сильного человека, удачливого дельца, способного выйти из любого положения, прошедшего огонь и воду, поэтому Гигакс скрывал свою тяжелую сердечную болезнь, и, здесь мы тоже сошлемся на Альфредо, эта болезнь вызывала у него какую-то ярость, как мы легко можем себе представить, она как бы подрывала его престиж.

Непостижимо, поразился генеральный представитель, это прямо колдовство какое-то, он готов спорить, что Курт был знаком с покойным.

— Да замолчите же наконец,— прошипел защитник.

— Если мы хотим дополнить портрет господина Гигакса,— объяснил прокурор,— к этому следует добавить, что покойный обращал мало внимания на жену, которая нам представляется хорошо сложенной, соблазнительной женщиной, во всяком случае приблизительно так выразился наш друг. Для Гигакса главным был успех, дело, видимость, фасад, и мы можем с известной долей вероятности предполагать, что он был убежден в верности своей жены, считал, что представляет собой нечто исключительное, образцового мужчину, и не допускал, что у его жены может возникнуть даже мысль о нарушении супружеской верности, и для него было бы жестоким ударом, если бы он узнал, что жена изменила ему с нашим Казановой из «Шларафии».

Все засмеялись, и Трапс хлопнул себя по ляжкам.

— Так и было! — сияя, подтвердил он.— Гигакс обо всем узнал, и это его доконало.

— Вы просто сумасшедший,— простонал защитник.

Прокурор поднялся и радостно посмотрел на Трапса, который скоблил ножом кусок сыра.

— Так,— сказал он,— а каким же все-таки образом узнал об этом старый грешник? Созналась его аппетитная женушка?

— Для этого она была слишком труслива,— ответил Трапс,— она страшно боялась гангстера.

— Гигакс сам обо всем догадался?

— Для этого он был слишком самоуверен.

— Может быть, ты сам сознался, мой милый друг и донжуан?

Трапс невольно покраснел:

— Да нет же, Курт,— сказал он,— как ты можешь так думать. Просто один из его чистоплотных деловых друзей раскрыл старому мошеннику глаза.

— Как так?

— Хотел мне навредить. Терпеть меня не мог.

— Бывают же люди,— удивился прокурор.— Но как же этот честный человек узнал о твоей связи?

— Я сам ему рассказал.

— Ты рассказал?

— Ну да, чего только не расскажешь за стаканом вина.

— Понятно,— кивнул прокурор,— но ведь ты только что сказал, что этот деловой друг Гигакса относился к тебе враждебно. Не был ли ты заранее уверен, что старый мошенник обо всем узнает?

Тут защитник энергично вмешался, даже встал, обливаясь потом, воротник его сюртука размок. Он хочет обратить внимание Трапса, разъяснил он, что на этот вопрос отвечать не следует.

Трапс был другого мнения.

— Почему же? — возразил он.— Вопрос совершенно безобидный. Мне было безразлично, узнает об этом Гигакс или не узнает. Старый гангстер вел себя по отношению ко мне так бесцеремонно, что мне вовсе не к чему было о нем беспокоиться.

На мгновение в комнате снова наступила тишина, мертвая тишина, потом разразилось веселье — шум, гомерический хохот, ураган восторга. Лысый обнял Трапса, расцеловал его, защитник смеялся так, что потерял пенсне, на такого обвиняемого просто нельзя сердиться, судья и прокурор кружились по комнате, натыкаясь на стены, трясли друг другу руки, карабкались на стулья, разбивали бутылки, от радости расшалились вовсю.

— Обвиняемый снова сознается,— гремел прокурор, сидя на ручке кресла,— милого гостя невозможно перехвалить, он играет свою роль превосходно. Случай ясен, получено последнее подтверждение,— продолжал он, раскачиваясь и напоминая старый, обветшалый монумент в стиле барокко.— Теперь обратимся к нашему уважаемому милейшему Альфредо! Значит, его выдали этому гангстеру шефу, пока он разъезжал по стране на своем «ситроене». Еще год назад! Он может гордиться этим, наш друг, этот отец четырех деток, этот сын простого фабричного рабочего. И по праву. Еще во время войны он был мелким торговцем без патента, бродягой, торгующим контрабандными текстильными товарами, спекулянтиком с черного рынка — поездом из селения в селение или пешком проселочными дорогами, часто помногу километров, через темные леса, к дальним поместьям, с грязной кожаной сумкой за спиной, а то и просто с корзинкой, облупленный сундучок в руке. Теперь он добился многого, обосновался в деле солидно, стал членом либеральной партии, в отличие от своего марксиста отца. Но кто же станет отдыхать на ветке, на которую в конце концов взобрался, если над ней, еще выше, выражаясь поэтически, видны другие ветки с лучшими плодами? Он, правда, хорошо зарабатывает, носится в своем «ситроене» от одного текстильного предприятия к другому, машина неплохая, но наш милый Альфредо видел выныривающие справа и слева новые модели, они мчались навстречу, пролетали мимо, обгоняли его. Страна богатела, кому же не хотелось испытать это на себе?

— Точно так это и было, Курт,— просиял Трапс.— Именно так.

Прокурор чувствовал себя в своей стихии, он был счастлив, как ребенок, задаренный игрушками.

— Это легче было решить, чем сделать,— продолжал он, все еще сидя на ручке кресла,— шеф не давал ему подняться, он безжалостно использовал его, все более опутывая и соблазняя возможностью новых связей.

— Совершенно верно! — вскричал генеральный представитель возмущенно.— Вы не имеете понятия, господа, в каких клещах держал меня старый гангстер!

— Тут надо было идти на все,— сказал прокурор.

— Еще бы! — подтвердил Трапс.

Восклицания обвиняемого вдохновили прокурора, теперь он стоял на стуле, размахивая салфеткой, как флагом, забрызганный вином, на жилетке салат, томатный соус, прилипшие кусочки мяса.

— Наш друг начал продвигаться в деле, хотя тоже не совсем честно, он сам признает. Мы можем себе представить примерно, как это было. Он установил тайные связи с поставщиками своего шефа, обещал им лучшие условия, путал карты, сговаривался с другими агентами, играя одновременно на повышение и на понижение, но потом ему пришла мысль использовать другой путь.

— Другой путь? — удивился Трапс.

Прокурор кивнул.

— Этот путь, господа, вел через тахту в квартире Гигакса прямо в его супружескую постель.

Все засмеялись. И Трапс громче всех.

— Действительно,— подтвердил он,— злую шутку сыграл я со старым гангстером. Ситуация была слишком уж комическая, как я теперь вижу. Я, собственно, до сих пор стыдился этого, кому приятно себя выворачивать наизнанку, совершенно чистого белья ведь ни у кого не бывает, но среди таких близких друзей стыдиться нечего. Удивительно! Я чувствую, что меня понимают, и начинаю сам себя понимать, точно я знакомлюсь с человеком, который и есть я сам, которого я раньше знал только приблизительно, как генерального представителя в собственном «студебеккере», с женой и детьми где-то там.

— Мы с удовольствием констатируем,— сказал прокурор тепло и сердечно,— что нашему другу блеснул луч света. Поможем ему, чтобы все прояснилось окончательно. Проследим же мотивы его поведения с усердием неутомимых археологов, и мы наткнемся на великолепие погребенных преступлений. Он вступил в связь с госпожой Гигакс. Как он к этому пришел? Он увидел аппетитную бабенку, это мы можем себе представить. Может быть, это было поздно вечером, может быть, зимой, часов в шесть.

Трапс:

— В семь, Куртхен, в семь!

— Город был уже ночной, с золотыми уличными фонарями, с освещенными витринами и кинотеатрами, с зелеными и желтыми световыми рекламами повсюду, все так заманчиво, соблазнительно. Он поехал в своем «ситроене» по скользкому асфальту улиц в тот квартал особняков, где жил его шеф.

Трапс с воодушевлением:

— Да, да, квартал особняков!

— Папка под мышкой, доклады, образцы, требовалось решить важный вопрос. Но лимузина Гигакса не было на обычном месте у тротуара. Несмотря на это, он пошел через темный парк, позвонил, госпожа Гигакс открыла дверь, сегодня ее супруг не вернется домой, и горничная ушла, на госпоже Гигакс было вечернее платье, нет, лучше купальный халат, но, может быть, господин Трапс все-таки выпьет аперитив, она его сердечно приглашает, и так они уселись вдвоем в гостиной.

Трапс поразился.

— Откуда ты все это знаешь, Куртхен? Это какое-то колдовство!

— Опыт,— пояснил прокурор.— Судьбы все разыгрываются одинаково. Это даже не было обольщением, ни со стороны Трапса, ни со стороны женщины, была просто благоприятная возможность, которой он воспользовался. Она сидела одна и скучала, ни о чем особенном не думала, была рада с кем-нибудь поговорить, в доме приятное тепло, и под купальным халатом в пестрых цветах на ней была только ночная сорочка. И когда Трапс, сидя рядом с ней, увидел ее белую шею, соблазнительную линию ее груди, услышал, как она болтала, как злилась на мужа, что, вероятно, почувствовал наш друг, он понял, что можно начинать, хотя на самом деле давно уже начал. И тут-то вскоре он все узнал о Гигаксе, о том, как плохо обстоит дело с его здоровьем и что любое сильное волнение может его убить, узнал его возраст, как он груб и жесток со своей женой и как твердо убежден в ее верности,— чего только не узнаешь от женщины, которая хочет отомстить своему мужу. Так тянул он эту связь теперь уже с умыслом, ведь нужно было любыми средствами разорить шефа, будь что будет. И вот наступило мгновение, когда у него в руках было все: деловые партнеры, поставщики, белая мягкая обнаженная женщина по ночам,— так он затянул петлю, вызвал скандал. Намеренно. И это мы тоже можем себе представить: снова вечер, располагающие сумерки. Мы находим нашего друга в ресторане, скажем, где-нибудь в кабачке старого города, немного слишком натопленном. Все солидно, патриотично, доброкачественно, в том числе и цены, окна в форме сердечка, дородный хозяин...

Трапс:

— В погребке ратуши, Куртхен!

— ...Значит, дородная хозяйка, вынуждены мы поправиться. В окружении портретов покойных завсегдатаев кабачка. Продавец газет, который входит и выходит, позже — Армия спасения, распевающая песни — «Впустите солнечный луч», несколько студентов, профессор, два стакана и солидная бутылка на столе. Понемногу выпивают. И наконец в углу бледный, жирный, с расстегнутым воротничком, апоплексичный, обливающийся потом, как жертва, на которую нацелились, чистоплотный деловой друг, не понимающий, что все это означает, почему вдруг Трапс пригласил его, внимательно слушающий, из уст самого Трапса узнающий о супружеской измене, чтобы потом, часом позже, как это и должно было случиться и как наш Альфредо и предвидел, поспешить к шефу из чувства долга, дружбы, внутренней порядочности и уведомить обо всем своего заслуживающего сожаления друга.

— Лицемер,—воскликнул Трапс, его круглые глаза блестели, он в восторге слушал прокурора, счастливый, что может узнать правду, свою гордую, смелую, одинокую правду.

Затем:

— Так свершилась судьба, наступило точно рассчитанное мгновение, когда Гигакс обо всем узнал. Старый гангстер, как нам представляется, еще мог поехать домой, охваченный яростью, и тут, уже в машине, вдруг боли в области сердца, пот, дрожащие руки, полицейские возмущенно свистят, никакого внимания к знакам уличного движения, мучительный путь от гаража к дверям дома и наконец потеря сознания, может быть, тут же в коридоре, в то время как навстречу выбегает супруга, разряженная соблазнительная женушка. Это продолжалось не слишком долго, врач еще успел впрыснуть морфий, и — на тот свет, последний слабый хрип, всхлипывания супруги. Трапс дома в кругу своих близких берет телефонную трубку — потрясение, тайное ликование, все достигнуто, настроение приподнятое, через три месяца «студебеккер».

Снова хохот. Добрый Трапс, которого все это ошеломило, смеялся вместе со всеми, хотя и несколько смущенный, почесывал затылок, кивал, соглашаясь с прокурором, и нисколько не чувствовал себя несчастным. Он был даже в хорошем настроении. Он находил, что вечер удался наилучшим образом, его, правда, немного смущало, что ему приписывали убийство, и он время от времени впадал в задумчивость. Свое состояние он находил скорее приятным, возникало ощущение высших понятий — правосудие, вина, раскаяние,— и это наполняло его чувством изумления. Страх, который охватил его в саду и возвращался снова при каждом взрыве веселья за столом, казался ему сейчас необоснованным и даже смешным. Все относились к нему так человечно. Все общество, шатаясь, со спотыкающимся защитником, перекочевало в гостиную, безвкусно убранную безделушками и вазами, к черному кофе. Громадные гобелены на стенах, виды городов, исторические картины, клятва на Рютли, битва при Лаупене, гибель швейцарской гвардии, знамя семи смельчаков, лепной потолок, оштукатуренные стены, в углу рояль, удобные кресла, низкие, громадные, на них вышивки с благочестивыми изречениями: «Блажен, кто идет путем правды», «Чистая совесть самая мягкая подушка». За открытыми окнами видна была сельская улица, неясная в темноте, скорее угадываемая, сказочная, утонувшая, с колеблющимся светом фонарей и фар автомобилей, которые в этот час появлялись уже редко, их прошло всего два. Ничего более увлекательного, чем речь милого Курта, он еще никогда не слыхал, заявил Трапс. По существу к сказанному очень немногое можно добавить, некоторые незначительные поправки, конечно, можно сделать. Так, например, чистоплотный деловой друг был маленьким, и худым, и со стоячим воротничком, и совсем не потный, и госпожа Гигакс приняла его не в купальном халате, а в кимоно с довольно глубоким вырезом, так что ее сердечное приглашение могло быть понято буквально — это была одна из его острот, образец его скромного юмора,— и инфаркт у старого гангстера случился не дома, а на одном из его складов, его еще успели привезти в больницу, но вскоре последовал разрыв сердца и — конец, но все это, как он уже говорил, не существенно. А в основном все верно, все, что здесь изложил его замечательный друг прокурор: он действительно позволил себе кое-что с госпожой Гигакс, только чтобы погубить старого мошенника, да, он теперь ясно вспоминает, как он, лежа в его кровати, рядом с его женой, смотрел на его фотографию, на это несимпатичное толстое лицо с роговыми очками на выпученных глазах и как пришла ему мысль, а с ней дикая радость, что именно тем, чем он сейчас так весело и усердно занимается, он хладнокровно готовит ему конец.

Уже сидели в мягких креслах, украшенных благочестивыми изречениями, когда Трапс закончил свой рассказ, после чего взял чашечку горячего кофе, помешал его и при этом отпил из большой пузатой рюмки коньяк 1893 — «роффиньяк».

Итак, сейчас нам осталось вынести приговор, объявил прокурор, сидя боком в огромном кресле, перевесив через ручку ноги в разных носках (серо-черный и зеленый в клетку). Друг Альфредо действовал не dolo indirecto, как было бы, если бы смерть наступила для него неожиданно, но dolo malo, со злым умыслом, на что указывают факты. Ведь, во-первых, он сам спровоцировал скандал, во-вторых, после смерти обер-гангстера перестал посещать его аппетитную женушку, из чего безусловно можно заключить, что супруга была только орудием осуществления его кровожадных планов, так сказать, изящным орудием убийства, и что, таким образом, перед нами убийство, осущест-

вленное при помощи психологического воздействия. И хотя кроме супружеской измены не произошло ничего противозаконного, тем не менее это только видимость, да и эта видимость сейчас исчезает. После того как наш дорогой обвиняемый по-дружески сам во всем сознался, он, прокурор, имеет удовольствие — и этим он заключает свою оценку — требовать у высокого суда смертного приговора как награды за преступление, которое вызывает восхищение, изумление, уважение и с полным основанием может считаться одним из удивительнейших преступлений нашего века.

Смех. Аплодисменты. Все набросились на торт, который только что внесла Симона, чтобы, как она выразилась, увенчать вечер. За окном показалась неправдоподобная, как аттракцион, поздняя луна, узкий серп, в тишине только мерный шум деревьев, изредка автомобили, какой-нибудь запоздавший прохожий, осторожно пробирающийся зигзагами. Генеральный представитель чувствовал себя в безопасности, сидя рядом с Пиле на мягкой плюшевой кушетке, изречение: «Блажен, кто в кругу любимых»; он обнял молчаливого, который только временами изумленно восклицал «Здорово» со свистящим «з», прижимался к его напомаженной элегантности. С нежностью. С благодушием. Щека к щеке. От вина он отяжелел, почувствовал умиротворение, он наслаждался: в обществе, где тебя понимают, быть самим собой, не скрывать больше никакой тайны, так как тайна уже не нужна, чувствовать, что тебя ценят, уважают, любят. Мысль, что им совершено убийство, овладевала им все больше, умиляла его, делала его жизнь возвышеннее, героичнее. Это его просто воодушевляло. Он задумал и совершил убийство, так это ему теперь представлялось, для того чтобы выдвинуться, не из деловых или финансовых соображений, не из желания иметь «студебеккер», но — и это очень верно сказано — чтобы стать более значительным, более глубоким человеком, как ему представлялось — в меру его способности мыслить,— достойным почитания, любви ученых, образованных людей, теперь они, даже Пиле, казались ему древними магами, о которых он однажды читал в «Ридерз дайджест», которые постигли не только тайны звезд, но и тайны юстиции (он опьянялся этим словом), которую он в своей деловой жизни знал только как некую абстрактную каверзу и которая теперь взошла, словно гигантское непостижимое солнце, над его ограниченным горизонтом, словно не вполне постигнутая идея, и именно поэтому заставляла его трепетать еще сильнее. Так, потягивая золотисто-коричневый коньяк, услышал он — сначала глубого удивленный, потом все более и более возмущенный — доводы толстого защитника, усердно пытавшегося превратить его поступок в нечто обыкновенное, обывательское, обыденное. Он с удовольствием выслушал изобретательную, остроумную речь прокурора, сказал господин Куммер, отнимая пенсне от красных набухших комков своего лица и помогая себе короткими изящными геометрическими жестами. Конечно, старый гангстер Гигакс мертв, подзащитный от него много терпел, в нем поднималось настоящее ожесточение, он пытался его свалить, кто станет это оспаривать, с кем это не случается, и все же представить смерть сердечнобольного делового человека как убийство — это фантазия.

— Но я ведь убил! — запротестовал Трапс, точно с неба свалившись.

В отличие от прокурора, он, защитник, считает обвиняемого невиновным, более того, не способным на преступление.

Трапс, уже с горечью:

— Но я ведь виновен!

Генеральный представитель фирмы, изготовляющей искусственную ткань «Гефестон», может служить образцом для многих. Однако, если он считает обвиняемого не способным на преступление, то это все же не значит, что он считает его совершенно невиновным. Напротив, Трапс виновен во многих преступлениях. Он нарушает супружескую верность, иной раз мошенничает, но тем не менее нельзя утверждать, что вся его жизнь состоит из сплошных измен и обманов. Нет, нет, у него есть свои положительные стороны, даже свои добродетели. Друг Альфредо прилежен, настойчив, верен своим друзьям, старается обеспечить будущее своих детей, в общем и целом — верный гражданин своего отечества, но он подпорчен безнравственностью, как бы слегка подкислен, как это присуще людям заурядным, как это и должно быть им присуще, но именно поэтому он и не способен на большую, чистую, гордую вину, на решительные действия, на ясное, недвусмысленное преступление...

Трапс:

— Клевета, явная клевета!

Он не преступник, а жертва эпохи, западной цивилизации, которая, увы, все больше и больше теряет веру (она становится все туманнее) и которая настолько погружается в хаос, что человек не может уже различить никакой путеводной звезды. В итоге — полная растерянность, одичание, торжество кулачного права и отсутствие подлинной нравственности. Что же произошло сегодня? Этот заурядный человек попал совершенно неподготовленный в руки утонченного прокурора. Его инстинкт завоевателя, его частная жизнь со всеми ее приключениями, жизнь, которая состояла из деловых поездок, борьбы за кусок хлеба и из более или менее безобидных развлечений,— все это вдруг просветилось насквозь, исследованное до конца, вскрытое, ничем не связанные факты оказались связанными, во все внесен логический план, случайное представлено как закономерное, как причина поступков, которые могли и не совершиться, случай превратили в умысел, легкомыслие — в намерение, так что в итоге следствия самым неожиданным образом выскочил в конце концов убийца, как кролик из цилиндра фокусника...

Трапс:

— Это неверно!

Если рассматривать дело Гигакса объективно, не поддаваясь мистификациям прокурора, то приходишь к выводу, что старый гангстер своей смертью обязан самому себе, своей беспорядочной жизни, своей конституции. Чем вызывается болезнь у таких дельцов, хорошо известно, постоянные волнения, заботы, расстроенное супружество и нервы, но собственно причиной инфаркта был сильный фён, о котором упомянул Трапс, фён вообще опасен для сердечников.

Трапс:

— Смехотворно!

Таким образом, здесь безусловно произошел просто несчастный случай. Конечно, подзащитный действовал неразумно, но он, как и все, подчиняется законам деловой жизни, что он и сам все время подчеркивает. Конечно, он готов был убить своего шефа, чего только мысленно не представишь себе, но именно только мысленно, действия, соответствующего этим мыслям, не произошло, и оно не может быть установлено. Признать обвинение было бы абсурдом, и еще абсурднее, что его подзащитный теперь вообразил, будто совершил убийство; он помимо автомобильной аварии потерпел еще аварию душевную, и потому он,

защитник, просит вынести Альфреду Трапсу оправдательный приговор и т. д. и т. д.

Генерального представителя все больше и больше сердил этот доброжелательный туман, которым обволакивалось его прекрасное преступление, в котором оно тонуло, расплывалось, становилось нереальным, призрачным, продуктом атмосферного давления. Он чувствовал себя недооцененным и поэтому, как только защитник кончил говорить, снова пожелал выступить. Он объяснил, поднимаясь с негодованием, тарелка с куском торта в правой, рюмка «роффиньяка» в левой, что хотел бы, прежде чем будет вынесен приговор, еще раз самым решительным образом подтвердить, что согласен с речью прокурора — при этом у него на глазах выступили слезы,— это было убийство, сознательное убийство, сейчас это ему ясно, речь защитника, напротив, его глубоко разочаровала, даже возмутила, именно у защитника он рассчитывал встретить понимание, надеялся на это, и потому он просит вынести приговор, больше того, просит наказания не из покорности, но из воодушевления, так как впервые этой ночью ему открылось, что значит жить настоящей жизнью — здесь наш бравый запутался,— для чего нужны высшие идеи правосудия, вины и раскаяния, как и те химические элементы и соединения, из которых сварена его искусственная ткань, если употреблять понятия его отрасли; осознав это, он как бы родился заново, во всяком случае — запас слов вне его специальности у него довольно скудный, пусть его извинят, так что он, собственно, едва может выразить то, что думает,— во всяком случае, выражение «родился заново» кажется ему даже недостаточно сильным, не отражающим того счастья, какое охватывает его, кипит в нем.

Так, наконец, дошло до приговора, который маленький, тоже изрядно опьяневший судья огласил под смех, кряхтенье, вопли восторга и даже попытку запеть (господин Пиле), огласил не без труда не только потому, что забрался на рояль в углу, или, точнее, в рояль, так как он перед тем его раскрыл,— сама речь доставляла ему большие трудности. Он запинался, путал или не договаривал слова, начинал предложения, с которыми не мог справиться, пристегивал к ним другие, хотя давно забыл их смысл, но все же ход мыслей в целом еще можно было уловить. Он исходил из вопроса, кто прав,— прокурор или защитник, совершил ли Трапс одно из выдающихся преступлений нашего века или он невиновен. Ни одну из этих точек зрения он не может полностью поддержать. Трапсу действительно не по плечу был допрос прокурора, как полагает защитник, и по этой причине он соглашался со многим, что на самом деле происходило вовсе не так, но все же Трапс убил, хоть и не с дьявольским умыслом, нет, только по легкомыслию, бездумности, свойственной тому миру, в котором он живет и действует как представитель фирмы искусственной ткани «Гефестон». Он убил, потому что для него самое естественное — прижать кого-нибудь к стене, идти напролом, к чему бы это ни привело. В мире, через который он проносится в своем «студебеккере», с нашим милым Альфредо ничего бы не произошло, ничего не могло бы произойти, но он оказался так любезен и пришел к ним, в их тихую белую виллу (тут взгляд судьи затуманился, и все последующее он произнес под радостные всхлипывания, прерываемые время от времени взволнованным могучим чиханием, причем его маленькая голова погружалась в громадный носовой платок, что вызывало все возрастающий смех присутствующих), пришел к четырем старым людям, которые осветили его жизнь чистым лучом правосудия, у этого правосудия, правда, несколько странные черты, он знает, знает, знает это, это проступает на четырех морщинистых лицах,

отражается в монокле старого прокурора, в пенсне толстого защитника, усмехается беззубым ртом пьяного, уже слегка заикающегося судьи и вспыхивает на лысине отставного палача.

Остальные, нетерпеливо прерывая эту лирику:

— Приговор, приговор!

Это странное, причудливое, отставное правосудие, но это именно правосудие...

Остальные, скандируя:

— Приговор, приговор!

...именем которого он сейчас приговаривает их милейшего, прекраснейшего Альфредо к смерти...

Прокурор, защитник, палач и Симона:

— Хей, ура!

Трапс, тоже всхлипывая от волнения:

— Благодарю, дорогой судья, благодарю!

Хотя юридически приговор основан только на том, что подсудимый сам признал свою вину, но это в конце концов самое главное. Поэтому его радует, что он вынес приговор, который так безоговорочно принят подсудимым, человеческое достоинство не нуждается в снисхождении, пусть же наш уважаемый гость радостно встретит увенчание своего убийства, которое, как он надеется, произошло при не менее приятных обстоятельствах, чем само убийство. То, что у заурядного человека обнаруживается лишь случайно, вследствие несчастного случая или как проявление самой природы, как болезнь, закупорка кровеносных сосудов, злокачественная опухоль, здесь выступает как необходимый моральный итог, только здесь завершается жизнь как произведение искусства, обнаруживается человеческая трагедия, озаряется светом, принимает безупречную форму, завершается.

Остальные:

— Конец! Конец!

Да, можно смело сказать: только в акте объявления приговора, который превращает обвиняемого в приговоренного, осуществляется рыцарский жест правосудия, не может быть ничего более высокого, благородного, великого, чем акт, которым человек приговаривается к смерти. Это и произошло. Трапс, этот, может быть, не совсем законный счастливчик — так как по существу здесь возможен только условный смертный приговор, от которого он, судья, однако, отказывается, чтобы не вызвать разочарования у их милого друга,— короче, Альфредо сейчас стал им равен и достоин быть принятым в их общество как образцовый участник игры и т. д.

Остальные:

— Шампанского!

Вечер достиг апогея. Шампанское пенилось, веселье собравшихся ничем не омрачалось, все нарастая, даже защитник снова оказался втянутым в атмосферу общей симпатии. Свечи догорали, некоторые совсем погасли, за окном первое предчувствие утра, далекого солнечного восхода, бледнеющие звезды, свежесть и роса. Трапс был в восторженном настроении и в то же время чувствовал себя усталым, потребовал, чтобы его проводили в его комнату, падал с одной груди на другую. Уже только лепетали, все были пьяны, гул наполнял гостиную, бессмысленные речи, монологи, уже никто никого не слушал. Пахло вином и сыром. Генерального представителя, счастливого, усталого, гладили по голове, ласкали, целовали, как ребенка любящие дедушки и дяди. Молчаливый повел его наверх. С трудом поднимались они по лестнице на четвереньках, на середине застряли, запутавшись друг в друге, не

могли двигаться дальше, прикорнули на ступеньках. Сверху из окна падал серый утренний свет, смешиваясь с белизной оштукатуренных стен, снаружи первые шорохи возникающего дня, с далекой железнодорожной станции — свистки и шум маневрирующих паровозов, как смутное напоминание о несостоявшейся поездке домой. Трапс был счастлив, у него не было никаких желаний, чего никогда еще не случалось в его жизни, жизни мелкого буржуа. Вставали неясные картины, лицо мальчика — его младший, которого он больше всех любил,— потом, в тумане, селеньице, куда он попал в результате своей аварии, светлая лента улицы, которая поднималась по небольшой возвышенности, пригорок с кирхой, могучий шумящий дуб с железными кольцами и подпорками, лесистые холмы, бесконечное сияющее небо за ними, над ними, повсюду, без конца. Но тут молчаливый сдал, забормотал: «Хочу спать, хочу спать, устал, устал»,— заснул на самом деле, слышал еще только, как Трапс полз наверх, затем упал стул, лысый на мгновение проснулся на лестнице, еще полный снов и воспоминаний о потонувших страхах и минутах, полных ужаса, потом вокруг него, спящего, неразбериха ног — это остальные поднимались по лестнице. Кряхтя и попискивая, разложив на столе пергамент, они нацарапали на нем смертный приговор, составленный необычайно возвышенно, с остроумными оборотами, академическими выражениями, на латыни и старо-немецком, затем все отправились наверх, чтобы положить свое произведение генеральному представителю прямо на кровать, в знак приятного воспоминания об их грандиозной выпивке. За окном рассвет, рань, первые голоса птиц, резкие и нетерпеливые. Так они поднялись по лестнице, перелезли через лысого. Один держался за другого, а тот опирался на третьего, все трое пошатывались, шагали с большим трудом, особенно на повороте лестницы, где заминка, отступление, новое продвижение и крушение были неминуемы. Наконец они добрались до комнаты для гостей. Судья открыл дверь, и вся торжественная группа застыла на пороге: в раме окна висел Трапс, неподвижный темный силуэт на равнодушном серебре неба, в тяжелом запахе роз, так окончательно и бесповоротно, что прокурор, в монокле которого отражалось разгорающееся утро, должен был тяжело глотнуть воздух, прежде чем он беспомощно, сокрушаясь о потерянном друге, с болью воскликнул:

— Альфредо, добрый мой Альфредо! Господи, да что же ты вообразил? Ты испортил нам лучшую пирушку!

Мухаммед Диб

НА ХОЛМАХ

РАССКАЗ

Перевод с французского М. Ваксмахера

За поворотом селение словно уходит в землю, словно прячется в складках земли, повернувшись спиной ко всему предгорью. Обнаружить селение можно лишь тогда, когда ты стоишь наверху, над ним, — тогда оно внезапно открывается взору. Потому что все эти жалкие жилища, кроме нескольких глинобитных хижин, выдолблены прямо в склоне горы; стена с прорезанным в ней отверстием — вот, по существу, и все, что служит — служило! — человеку кровом.

Чтобы добраться до селения, нужно свернуть с проезжей дороги, немного не доходя до того места, где она начинает идти в гору, свернуть на тропу, которая петляет по дну оврага. Ты словно попадаешь в закрытую бухту. Такое впечатление, что среди этих холмов человек более одинок, чем лодка в море. Здесь и раньше никогда не светилось больше десятка огоньков. А теперь и вовсе все опустело, все мертво. Таящая в себе смутную угрозу тишина, как будто беря вас под свою защиту, запрещает идти дальше, не дает углубляться в это нагромождение треснувших стен, рухнувших крыш, хибар без дверей и окон. То здесь, то там виднеется разбитый горшок, осколки глиняного блюда, железная жаровня, кучка золы. Возвратятся ли когда-нибудь сюда жители? Возможно. Кто знает?.. Большинство брошено в лагери, где их ожидает медленная смерть, многие убиты, некоторым удалось найти пристанище в городе. Все они были уроженцами этих краев, и никогда не приходилось им покидать родные места. У некоторых были свои клочки земли, раскиданные между конвульсивно изогнутыми складками предгорий,— клочки земли, упорным трудом, пядь за пядью отнятые у камней и карликовых пальм. Остальные жители были сельскохозяйственными рабочими. Многие феллахи еще раньше скрылись, о них было известно лишь одно: они сражались «там, в горах».

Вот уже три года как во всей округе не появлялся ни один европеец — если, конечно, не считать солдат. А из солдат последние месяцы здесь бывали только парашютисты. Их преследовали неудачи за неудачами, и тогда их нагнали сюда побольше, и они принялись за мирное население. Начались операции по «прочесыванию». Последняя из них длилась две недели. Парашютисты убивали людей, скот, взрывали дома, мародерствовали. В одной деревне они убили пятнадцать человек, в другой — тридцать, там после пыток зарезали девять крестьян, а там, в соседней деревне, — одиннадцать, а рядом — семь и еще в одном месте шесть...

— Настанет день, и будет точно подсчитано число всех этих убитых, и тогда вы увидите, на что способна Европа. И Америка вместе с ней. Потому что все они одним миром мазаны. Уж я-то их знаю. Пусть же народ не забудет их преступлений,— так говорил старый Слиман Каси, инвалид первой мировой войны.

Вместе с соседями он в течение нескольких ночей ходил к европейскому поселку, чтобы подобрать тела убитых крестьян. Они рисковали попасть под пули, но нельзя же бросить своих близких, оставить их, как собак, без погребения. К тому же среди замученных насмерть феллахов был внук Слимана, Таеб. Их пытали на глазах у односельчан... Настал день, и всех жителей села, всех до единого, согнали и увели. Кругом стоял страшный грохот: треск выламываемых дверей, приказы, проклятья... А заря еще только занималась тонкой ниточкой на горизонте, и в хижинах почти ничего нельзя было разглядеть. С автоматами наготове парашютисты кидались на людей, выталкивали их наружу. Хомада замешкался — и тут же получил пулю в живот. Старики, молодежь, женщины, дети — все были согнаны в центр селения. В серых рассветных сумерках они смотрели, как солдаты выливают на землю, выбрасывают их скудные запасы масла и инжира, рвут в клочья одеяла, расстреливают домашнюю живность. Мулы, куры, собаки, овцы метались и кричали, как раненые люди.

— Что ж, все в порядке вещей, но в конце концов вы будете изгнаны с этой земли, все как один,— бормотал Слиман. Он думал, что после погрома солдаты проверят у них документы и отпустят на все четыре стороны. Но внезапно на крестьян были наведены автоматы. Последовал приказ идти вперед. И им пришлось тронуться в путь — некоторые едва успели набросить рубаху на плечи. Их довели до поселка, где живут европейцы. Солнце уже припекало. Вот и школа, где размещены отряды специальной службы.

Теперь уже совсем непонятно, что с ними собираются делать: школа была знакома им лишь постольку, поскольку они когда-то приводили сюда своих детей...

Всех согнали в зал. Велели сесть на корточки, не вставать, не шевелиться. Часовой получил приказ — в случае неповиновения стрелять.

Затем вошел унтер-офицер, загорелый, с глазами неопределенного зеленоватого цвета, и с ним — четверо парашютистов в гимнастерках с короткими рукавами. Он обменялся с ними многозначительным взглядом — и допрос начался. Удары ногами, кулаком, дубинкой градом обрушились на феллахов. Унтер судорожно стиснул челюсти, а его подчиненные, пьянея от собственной жестокости, неистово избивали свои жертвы. Зал наполнился криками, мольбами о помощи, малыши в ужасе плакали. Человек пять или шесть были тяжело ранены. Потом воцарилась невыносимая тишина.

Унтер-офицер объявил бесцветным голосом:

— Даю вам десять минут. Вы должны назвать имена партизан, склады оружия, явки. Тот, кто все расскажет, будет вместе с семьей эвакуирован из Алжира.

Он подождал несколько секунд. Не дождавшись никакого ответа, вышел. Через открытую дверь виден был большой костер, разведенный посреди двора, в огне лежали железные прутья. В зал внесли магнето. Крестьяне старались не смотреть друг на друга.

Унтер снова вошел в зал. Десять минут прошли. Он шагнул к феллахам. С минуту он глядел на них своими стеклянными потухшими глазами, в которых теперь можно было прочесть лишь одно: неистовую жажду убийства. В тишине слышно было, как тяжело дышат люди. В

горле старого Слимана что-то хрипело. Уже становилось жарко. Духота в зале была невыносимой. Не говоря ни слова, унтер направился к Ахмеду Рамдану, подростку лет четырнадцати, который сидел на полу, скрестив ноги; унтер схватил его за плечо. Черные зрачки мальчика задрожали. И когда его вытащили на середину зала и он увидел, что его окружили парашютисты, выражение его лица напоминало маску ужаса. Но чувствовалось, что он старается побороть свой страх.

Один из парашютистов резким движением руки разодрал рубаху и штаны мальчика сверху донизу. Ахмед оглядел себя, взглянул на французов — ему было стыдно. Не решаясь смотреть в сторону односельчан, он рванулся было, как молодой зверек, который хочет спастись бегством, но парашютистам не стоило никакого труда его усмирить. Они скрутили ему за спиной руки, связали ноги и кинули его, извивающегося и бьющегося, на две доски. И начали свою страшную работу.

Трудились все четверо, то и дело сменяя друг друга: один с электродами, другой с бритвой, третий с раскаленными железными прутьями, четвертый с топором. Весь в крови, ребенок испускал крики, от которых разрывалось сердце. Вдруг он дернулся и замолк. Палачи, точно в удивлении, остановились. Все кончилось слишком быстро. Тело мальчика представляло собой сплошное месиво. Двое солдат перенесли его во двор. Пол под досками был залит свежей кровью.

В этот момент в зал вошли еще несколько парашютистов. Они приказали всем сдать часы, деньги, кольца, джемперы. И чтобы все было в порядке; горе тому, кто осмелится что-либо скрыть или испортить! Один из солдат, приземистый, со сжатыми губами, алчными глазами и плоским лицом, стал ощупывать людей, не прячут ли они что-нибудь под одеждой. У женщины по имени Захра он вырвал брошку — вырвал вместе с куском ткани, и женщина в ужасе прикрыла руками грудь.

Минуту спустя вернулся унтер, который снова куда-то уходил, его глаза блудливо поблескивали; казалось, он улыбается. Он указал палачам на Мухаммеда Саида, крестьянина лет сорока, отца пятерых детей, двое из которых находились в зале. Вмиг крестьянин был раздет догола и, несмотря на сопротивление, брошен ничком на доски, на которых только что лежал Рамдан. И снова раздались страшные вопли. Не в силах больше сдерживаться, женщины и мужчины тоже застонали и заплакали. Из ушей, с рук и ног Мухаммеда текла кровь. Солдаты пригрозили всех перестрелять, если они не замолчат. Широко раскрыв полные ужаса глаза, феллахи старались сдержать рвавшиеся из груди крики, некоторые тихо стонали.

Четверо солдат пытали Мухаммеда то электрическим током, то раскаленными прутьями; тот издавал нечленораздельные звуки. Это тянулось минут сорок, которые показались вечностью. Теперь Мухаммед Саид лишь хрипел. Он так ничего и не сказал палачам. Крестьяне хором вполголоса молились за него. Наконец, получив удар топором по голове, он перестал хрипеть.

Унтер-офицер обвел людей безжизненным взглядом и сказал лишенным всякого тембра голосом:

— Даю вам еще пятнадцать минут. Если вы не заговорите, с вами будет сделано то же самое, что и с ним.

Он повернулся к ним спиной и стал отдавать приказания солдатам. Женщины оплакивали покойников. Две девушки потеряли сознание.

Один из парашютистов погрузил на тачку все, что осталось от Мухаммеда Саида — груду окровавленного мяса,— и увез прочь. Теперь кровь разлилась большими лужами.

Феллахи сидели, понурив головы. Унтер ходил взад и вперед, стуча сапогами по цементному полу. Время от времени он подносил к глазам руку с часами, чтобы посмотреть, сколько минут уже прошло. Стоны затихли, на щеках крестьянок высохли слезы. Замолкли даже дети. Бледные и сумрачные, они следили глазенками за унтером и часовыми, которые стояли, как каменные изваяния, широко расставив ноги. Некоторые женщины сидели с застывшими лицами, раскрыв рот, словно во сне. В углу посапывали малыши. Одна из старух стала их за что-то журить приглушенным голосом. Жара становилась невыносимой. Но сильнее, чем жара, чем жажда, горло сдавливал страх. С улицы доносилось оглушительное стрекотанье цикад.

Внезапно унтер остановился, и в зале нависла грозная тишина. Его пустой взгляд был направлен на феллахов.

На этот раз палачи поволокли на место пытки Яхью Амера. Этот тридцатипятилетний батрак входил в подпольную группу, которая поддерживала действия партизан. В ту секунду, когда парашютисты тащили его к доскам, за них с воплем уцепился рыжеволосый малыш; отброшенный страшным ударом, мальчик покатился по полу и затих. К нему кинулась Садика, взяла его на руки, прижала к груди и стала укачивать, словно спящего.

Яхью Амера подвергли пыткам, но они ни к чему не привели. Текла кровь. В зале стоял удушливый запах горелого мяса. Четверть часа спустя, с выбитыми зубами, с разбитой головой, он уже мог только стонать в такт своему прерывистому дыханию. И в этот миг внезапно, словно во сне, когда человек хочет избавиться от кошмара, он произнес одно слово, и тут же голова его свесилась набок. Наклонившийся нам ним унтер жестом отстранил парашютистов. Они выпрямились, вытирая тыльной стороной ладони крупные капли пота со лба. Распластанное тело Яхьи было сплошной раной.

Унтер-офицер быстро вышел и спустя некоторое время вернулся, впереди двое солдат волочили упиравшуюся женщину. Ее платье было разорвано от ворота до самого низа, видны были голые бедра и большой, выступающий вперед живот. Альджа! Ее швырнули на пол рядом с Яхьей Амером. Он выдал ее, предстояла очная ставка. Вопли женщины, которую пытали электротоком, были поистине страшны.

Внезапно дверь распахнулась, словно ее толкнули ногой. Вошел лейтенант. Взглянув на тела Альджи и Яхьи, он побледнел. Сдавленным голосом он приказал парашютистам отойти. Они отступили с недовольным видом. Унтер словно воды в рот набрал. Лейтенант о чем-то спрашивал его, показывая на беременную женщину; ее живот конвульсивно вздрагивал. Через две минуты ее вывели из зала.

Как только за ней, лейтенантом и унтером закрылась дверь, парашютист с бритвой наклонился над Яхьей Амером и одним ударом перерезал ему горло от челюстей до груди. Хлынула кровь, солдат стремительно отскочил в сторону, чтобы не забрызгаться.

Вернулся унтер и с прежней невозмутимостью приказал схватить Таеба Каси, сидевшего рядом со своим дедом. Напрасно старик показывал обрубок ноги, которую он потерял на войне четырнадцатого года, напрасно умолял палачей. Юный феллах был подвергнут тем же пыткам, ему выкололи глаз. Амран, священнослужитель, громко, словно машинально, начал читать молитву, в этот миг над самой его головой просвистела пуля, и губы его задрожали.

Таеб больше не стонал. Парашютисты вылили ему на голову воды, но он не двигался.

Тогда они вынесли тело наружу, заперли дверь на замок и исчезли.

Было около одиннадцати часов утра. Наконец вошел один из солдат, лицо его покраснело, как у человека, только что плотно позавтракавшего. Скоро к нему присоединились остальные. Они велели феллахам встать. Узники решили, что сейчас их всех казнят. Женщины разразились рыданиями, заплакали дети. Вошедший тем временем лейтенант объявил, что они могут возвращаться домой.

Пошатываясь, как оглушенные, они вышли на ослепительно белый двор, залитый беспощадным солнцем. Мужчин заставили погрузить тела замученных на тачки, потом они тронулись в путь. Прошли через пустынную деревню. Насколько хватал глаз тянулись выжженные солнцем поля. Пахло раскаленными камнями и полынью. Мужчины, женщины, дети шли, окруженные солдатами, по изрытому склону холма, как стадо. Вдали над горами вставала туманная пелена и синева неба переходила в зеленый цвет. Процессия понуро брела среди полей, и вокруг не было видно даже намека на какую-то тень. Впереди мужчины везли тачки. Феллахи все еще не были убеждены в том, что их сейчас не расстреляют, они не верили словам лейтенанта. Разве приказ офицера имеет сейчас какую-нибудь цену? А впереди расстилалась дорога, раскаленная, слепящая глаза своей белизной.

Возле одного из покрытых ракушечником склонов парашютисты приказали сбросить тела в овраг. Снова тронулись в путь, оставив тачки на обочине дороги. Дети сбивали о камни босые ноги. В глазах мужчин нельзя было ничего прочесть.

* * *

Казалось, было слышно, как потоки света шелестят в дикой тишине застывшего в изумлении дня. Часы шли, и жара увеличивалась. Пылающие волны набегали откуда-то из глубин горизонта, оттуда, где синели горы, они метались между деревьями, распространяя вокруг запахи тимьяна, мастикового куста, перегретой земли,— и растворялись. Воздух снова застывал в неподвижности. Ничто не шевелилось в этом мрачном и сухом море золотистого цвета, разлившемся до горизонта. Только над самой землей порой вздрагивал раскаленный воздух.

Потом снова начинали блуждать горячие волны, между воздушными перегородками прокатывалось огромное эхо, и все вокруг звенело. Пейзаж казался нереальным. Словно голоса одиночества спорили с ветром. Окутанные какой-то туманной пеной, оливы просыпались на миг, чтобы прислушаться. Земля была погружена в сиреневую немоту, но звуковые миражи не исчезали. Блеск дневного света еще продолжал нарастать, спускаясь с высокого слоистого неба.

...Несколько минут Таеб вдыхал испарения, которыми был насыщен терпкий воздух. Лежа в глухом оцепенении, он как во сне видел фиговые деревья своей деревни, разбрасывающие семена далеко по ветру. Но свет звенел в его голове, свет колыхался над ним огромными полотнищами, и красная пелена опять застлала ему глаза. Его охватила непреодолимая сонливость. Никогда еще не ощущал он такого безразличия ко всему на свете. Он просто ничего не чувствовал. Боль успокоилась, превратилась в отдаленное прикосновение, похожее на щекотание, в неуловимую песню, которая уходила далеко за пределы обморока и тишины.

«Я умер». Эти слова поднимались в его душе как отголосок дальнего смеха, как журчание ручья. Он подумал о том, кто же теперь будет поливать его клочок земли, ведь никого больше не осталось...

Поля раскинулись огромной пустыней. Порой доносившийся издалека крик, сухое пощелкивание говорили о том, что где-то еще существуют люди. Кровь и пот образовали на лице Таеба искрящуюся на солнце сет-

ку. Он приоткрыл один глаз, с трудом моргнул. Потом попытался открыть другой. Ему показалось, что в глаз дохнуло пламя. Спекшаяся кровь слепила веки. Глаз был выколот. Протяжный скорбный вздох приподнял его грудь, и он снова погрузился в волны бреда.

Пронзительное чириканье, раздавшееся у самых ушей, вывело его из забытья. Сколько времени был он без сознания? Он посмотрел в сторону скал, на склонах по-прежнему курчавилась листва олив, словно стекая на равнину. Снова неистовое чириканье. Он попытался еще шире раскрыть глаз. Стайка птиц металась в самой гуще серебристых листьев, распластанные высоко в небе неподвижные крылья, словно пришпиленные к определенной точке пространства, вдруг сорвались, выписали большой круг, потом опять застыли на прежнем месте.

Он погрузился в сон, великая усталость приковывала его к земле. Вдруг словно какая-то дрожь пробуравила его виски. Он попытался сесть, встать на колени, позвать на помощь. Но он по-прежнему был пригвожден к земле, дыхание с трудом вырывалось из груди. Веки все еще сочились кровью. Раны вздулись чудовищными буграми, на губах запеклась кровь. Жадно кружились мухи. Над равниной, в нагретом воздухе, плясало пламя, и ритм этой пляски мучительно вонзался в него, проникал в мозг, в кровь.

Уже приближался вечер, наплывая на обнаженность пейзажа, а Таеб все лежал в полусне. Странный свет мерцал в его сознании, и он был беззащитен против этого света, он плыл на его волнах. Он плыл все выше, сквозь день, превращенный в огонь, плыл, охваченный странным опьянением. Метавшиеся между землей и небом силы подхватывали его, поднимали все выше, он все больше терял ощущение своего тела, его мысль катилась, как туча в небе, он стал частицей этих сил, которые несли, влекли его за собой, и биение его крови слилось с ударами огромного сердца, стучавшего по всей пустыне. Небо со всеми его красками влилось в него, и он был теперь только неподвижным трупом среди измученных солнцем камней, среди угасавшего света дня.

* * *

— Нельзя действовать сгоряча. Надо понять... Ты молод. Это означает смерть.

— Ну и пусть.

— Ну и пусть? Ну и пусть? Так можешь говорить только ты. А для всех это значит слишком многое. Ты еще очень юн.

— Чтобы сегодня кого-нибудь напугать, нужно придумать что-либо пострашнее, чем смерть.

Наими стоял в упрямой позе, и детские черты его лица выражали все то же упрямство. Он думал: «Страшно не умереть, страшно жить без всякой цели». Ему было пятнадцать лет. Разве этого мало? Он ждал, напряженно ждал.

С наступлением темноты жители села отправились к тому месту, где они оставили тела замученных. С помощью матери и братьев Наими завернул тело отца в одеяло. Но дотащить отца до деревни у них не хватало сил. Они поминутно останавливались, сменяли друг друга, брались то так, то этак за тяжкую ношу, им помогали односельчане. Так шли они больше двух часов. Хоронили ночью, торопливо, украдкой. И вот Наими стоит перед партизанами.

— Мой отец...

— Твой отец? Он был мужчиной.

— Он не хотел, чтобы я участвовал в революции. Он говорил, что

это его дело, а я должен беречь мать, малышей, охранять дом. Но если с ними что-нибудь случится, тогда...

Он замолчал, опустив голову.

— Хорошо. Ясно... Мы подумаем. Нужно немного подождать.

— Чего же ждать?

— А твоя мать? Кто будет о ней заботиться, а?

— Она и сама справится!

Эти слова он выкрикнул с неожиданной жестокостью и добавил:

— Она сказала: «Иди!»

— Сказала? Хорошо. Все ясно. Завтра разберемся.

— Зачем ждать до завтра?

— Нет-нет, подожди. До завтра. Все.

После короткой паузы он сказал:

— Мир вам.

Он вышел из накуренной комнаты, где под низким потолком мигал коптящий фитиль керосиновой лампы. Земля, спокойная и мирная, вдруг словно шагнула ему навстречу. Поля, такие привычные и знакомые, внезапно приняли в глазах Наими, вынырнувшего из тесной землянки, совершенно новый вид. Эти одинокие возвышенности, затерянные, населенные пугающими тенями,— они стали воплощением дружелюбия. В безграничности ночи он угадывал бдительность борцов, темнота протягивала нити дружбы между ним и ими, становилась сообщницей.

Он отправился в обратный путь.

Теперь он словно сердцем читал книгу холмов. Огромное мутное пятно. Потом — небо. Разрезаемая ритмом шагов тишина звенела в его ушах, как песня ветра. Чем дольше шагал молодой крестьянин по погруженной в мрак земле, тем больше охватывало его какое-то особое, полное великого значения чувство. В эти мгновения собственная жизнь предстала перед ним как последний шанс — шанс получить право участия в борьбе.

* * *

Селение насчитывает — насчитывало! — не больше десятка огней. Настанет день, и жители непременно вернутся сюда — конечно те, кто уцелеют. Они снова пойдут по тропе, которая петляет по дну оврага, они увидят свои жилища, эти хибары, которые, если не считать нескольких глинобитных хижин, выдолблены прямо в склоне горы. И они опять возведут стены, прорубят в них двери и разведут огонь в очагах. Они снова пойдут на свои поля, снова начнут пядь за пядью отнимать землю у камней и у карликовых пальм... А по ночам, растянувшись на своем ложе, они опять испытают то чувство одиночества в открытом море, которое охватывает человека среди этих холмов. Быть может, один из них где-нибудь в городе или в концлагере как раз сейчас, вот в этот миг, пытается представить себе эти ночи, странную тишину этих пустынных равнин, населенных лишь унылым голосом ветра. Быть может... Но те, кто вернутся, захотят ли они, чтобы все началось сначала, чтобы их прежняя жизнь продолжалась так, словно ничего не произошло? Захотят ли они удовлетвориться этим одиночеством, захотят ли замкнуться в этих диких горах и, отгородившись от всего мира, вертеть все тот же жернов своих тяжких трудовых дней, своей старой нищеты?

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Пять поэтов Рисорджименто

(К столетию объединения Италии)

Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича

Итальянская поэзия XIX века — поэзия Рисорджименто. Это слово буквально означает «возрождение». Под таким названием вошел в историю период борьбы народа Италии против феодально-абсолютистского строя и иноземного владычества, завершившийся освобождением страны и образованием единого итальянского государства.

Революционная литература и в первую очередь революционная поэзия Италии сыграли далеко не последнюю роль в этих исторических событиях. И заслуга в том принадлежит не только столь выдающимся поэтам, как Парини, Альфьери, Фосколо, Леопарди, но и множеству забытых и полузабытых их собратьев, чьи стихи вдохновляли итальянских патриотов на бой и подвиг.

Солдату нужна песня. Он хочет, чтобы слова ее звучали вдохновенно, призывно, ободряюще и вместе с тем просто, как прощание солдата с любимой, может быть, навсегда.

Пора, мой друг, прощаться,
Отряд уходит в путь.
Я не могу остаться,
Как трус какой-нибудь!

Так начинается песня Карло Альберто Бози, написанная в один присест в маленьком флорентийском кафе и снискавшая удивительную популярность среди гарибальдийцев.

Солдату нужна песня. И в 1858 году Гарибальди заказал малоизвестному поэту Луиджи Меркантини (1821—1872) гимн для своих волонтеров. «Я попробую»,— обещал поэт. Гимн удался. И Гарибальди тут же сообщил его автору: «Надеюсь вскоре испытать его, изгоняя врагов из нашей страны». «Испытание» прошло успешно, о чем свидетельствует следующее признание легендарного генерала: «Меркантини воспламенил своими стихами нашу молодежь. Он по праву стал поэтом наших волонтеров».

Боевая песня Меркантини и после завершения объединения страны оставалась в течение некоторого времени одним из национальных гимнов Италии. Любопытно, что полиция запрещала исполнять этот гимн, как антимонархический и резко направленный против любой тирании (последнее четверостишие Меркантини написал уже после воссоединения Италии, этой «почтенной Синьоры», как он ее называет).

В 1848 году один из участников триестинского восстания против австрийцев поэт Антонио Гаццолетти (1813—1866) был арестован и брошен в тюрьму. Его наверняка приговорили бы к смертной казни, если бы неизвестный офицер австрийской армии, венгр по национальности, не взял у арестованного ключи от двух чемоданов, с которыми Гаццолетти бежал из Триеста, и не успел спрятать находившееся в них оружие

и компрометирующие бумаги. Поэт был спасен. Но еще не зная об этом, он написал сонет «В тюрьме» — свидетельство мужественной стойкости патриота.

Доменико Карбоне (1823—1883) был врачом, затем учителем. Однако прежде всего он — участник национально-освободительного движения в Италии. Написанные им стихи увидели свет лишь спустя два года после его смерти, что не помешало им занять свое, пусть скромное, место в литературе Рисорджименто.

Иначе сложилась литературная судьба Франческо Даль Онгаро (1808—1873). Стихотворения этого признанного поэта входят во все антологии итальянской поэзии. Даль Онгаро был одно время адъютантом Гарибальди, исколесил в качестве журналиста всю Италию, жил в эмиграции. И все время писал стихи. В Милане он оказался свидетелем публичного наказания, которому австрийцы подвергли двух девушек — Эрнесту Галли и Марию Конти. Единственная вина молодых итальянок состояла в том, что они высмеяли некую владелицу магазина, вывесившую австрийский флаг с надписью «Да здравствует император Франц-Иосиф». Этот эпизод и лег в основу стихотворения-памфлета «Кнут».

Джузеппе Гарибальди (1807—1882) не был поэтом-профессионалом в точном смысле этого слова. Но он любил стихи и писал их сам в перерывах между сражениями и когда после ранения жил на острове Капрера. Победы армии Гарибальди в конце концов принесли Италии долгожданную свободу. Вместе с тем плоды этих побед до известной степени разочаровали великого полководца, мечтавшего о революционных преобразованиях в воссоединенной Италии. Об этом он сам с горечью говорит в стихотворении «Лодочник с острова Капрера».

В сегодняшней Италии славные традиции Рисорджименто поддерживаются и приумножаются демократическими силами страны. Об этом свидетельствуют масштабы празднования столетия Рисорджименто в Италии и во всем мире. Об этом, в частности, говорит и факт созыва конгресса Европейского сообщества писателей, который также посвящен знаменательной дате. Конгресс созывается в Турине, где сто лет назад — в 1861 году — впервые собрался парламент Италии.

Луиджи Меркантини

ГИМН ГАРИБАЛЬДИ

Разверзлись могилы, и вызваны к жизни
Все те, кто погибли за верность Отчизне,
Оружье и лавры заслужены ими,
Италии имя — в бесстрашных сердцах!

Вперед, чтобы ветер расправил знамена!
Вперед, молодые! Вперед неуклонно,
С металлом разящим, с огнем негасимым,
С огнем негасимым Отчизны в сердцах!

Уйди, чужеземец, терпеть не желаем
Тебя, чужеземец, на нашей земле!

Покрытой цветами, для слуха отрадной,
Италии зваться, как некогда, ратной!
Нам руки связали, но мы неустанно
Для новых Леньяно * оружье куем.

---

* В 1176 г. объединенное народное ополчение северных городов Италии разбило под Леньяно армию Барбароссы.

Австриец с дубинкой над нами бессилен,
Не сможет он сладить с потомками римлян.
Довольно служить нам пришельцам, тиранам,
Свобода нужна нам, и к ней мы придем!

Уйди, чужеземец, терпеть не желаем
Тебя, чужеземец, на нашей земле!

Дома, где живем мы, построены нами,
Здесь родина наша, твоя — на Дунае.
Италии пашни ты топчешь упрямо,
Но не для тебя мы растим сыновей.

Два моря и Альпы — Отчизны границы.
Пробьем Апеннины * стальной колесницей,
И с рознью в Отчизне покончим мы сами,
И общее знамя поднимем над ней.

Уйди, чужеземец, терпеть не желаем
Тебя, чужеземец, на нашей земле!

Слов даром не тратя, возьмемся за дело,
Лицом обратимся к противнику смело
И мы иноземцев прогоним за горы,
Очистив просторы свои навсегда.

Не ведает варвар о близкой потере.
Закройтесь для вора, Италии двери!
Народы Отчизны слились воедино,
Слились воедино ее города.

Уйди, чужеземец, терпеть не желаем
Тебя, чужеземец, на нашей земле!

А сунуться снова рискнешь через Альпы —
Тебя остановят прицельные залпы,
На зов Гарибальди к борьбе беззаветной,
Кто дрался под Этной, прийти поспешат.

Вот с Тысячей ** храбрых Италия в сборе,
Готовая к битвам на суше, на море.
Бежал неприятель, и шли мы по следу,
Борясь за победу,— ни шагу назад.

Уйди, чужеземец, терпеть не желаем
Тебя, чужеземец, на нашей земле!

В сраженьях добилась Италия воли,
Король итальянский вступил в Капитолий,
И шлют поздравленья и Темза, и Сена
Синьоре почтенной, что власть обрела.

---

* Первые железные дороги, построенные в Италии, должны были, по мнению автора, не только связать итальянские государства, но и объединить их народы.

** В мае 1860 г. Гарибальди высадился во главе знаменитой Тысячи красноруба-шечников в Сицилии и у подножия Этны разгромил армию Бурбонов.

Она торжествует от края до края,
Друзей уважая, врагов устрашая,
И против тиранов вести нас готова
В сражения снова, как прежде вела.

Уйди, чужеземец, терпеть не желаем
Тебя, чужеземец, на нашей земле!

Антонио Гаццолетти

В ТЮРЬМЕ

Вас двести тысяч, почему ж тогда
Вы так боитесь бедного поэта,
Что вам не жаль напрасного труда,
Держа меня в темнице, ждать ответа?

Однако вам отвага не чужда!
Прикончите скорей меня, за это
Вам выпадет награда хоть куда —
Позор вдвойне и звонкая монета.

Ведите, смерти не боюсь ничуть,
И знайте... — я, ваш враг непримиримый,
Не дрогну перед дулами убийц.

Два имени успею я шепнуть —
Италии и женщины любимой —
И в первый раз паду пред вами ниц.

Доменико Карбоне

НОВАРСКИЙ БАРАБАН

В опаленных деревьях надрывно
Голосит одинокая птица,
И гремит барабан бесперерывно,
И печальному полю не спится.
Барабанщик, бойцов вдохновляя,
Первым шел, но других пережил.
Пой торжественно, дробь боевая,
Созывая солдат из могил!

Ритм призывный все чаще и чаще,
Точно рокот реки разъяренной.
Начинается ад настоящий:
Крики, конское ржание, стоны.

Будут мертвые миру не рады,
Коль пришельцев не выдворить нам.
Поднимай на австрийцев отряды,
Нет пощады проклятым врагам!

Враг мечтает о новой Новаре,
«Быть Пастренго!» * — в ответ не смолкает
И штандарт, почерневший от гари,
До рассвета луна озаряет.
Он приводит в смятенье тевтона,
Новой славой светясь наконец.
Грохочи, барабан обожженный,
Возрожденной отваги певец!

Отступают враги неустанно,
Помышляя спастись от погони.
Хлебороб под звездою Дианы
Молча смотрит на поле нагое.
Только резкого ветра порывы
Нарушают теперь тишину.
Грохочи, барабан терпеливый,
Тех, кто живы, зови на войну!

Франческо Даль Онгаро

КНУТ

Смелей, палач, за дело!
При помощи кнута
Истерзанное тело
Раскрась в твои цвета.
Она лежит без стона
Под палкою твоей
Италией сраженной.
Так бей, сильнее бей!

Ее народ собрался
Собою править сам,
Но в лапы он попался
Продажным королям.
Своих сменил он, жалкий,
На пришлых королей.
Твоей он стоит палки.
Так бей, сильнее бей!

Ты разве ждал пощады?
Он дал тебе бежать,
Оставшись баррикады

---

* В 1849 г австрийцы нанесли тяжелое поражение пьемонтской армии в битве при Новаре. За год до этого битва при Пастренго завершилась победой пьемонтцев.

Пустые охранять *.
Гордиться может, кроткий,
Он жалостью своей.
Твоей он стоит плетки,
Так бей, сильнее бей!

В упорнейшем сраженье
Разбитый в пух и прах,
Ты верное спасенье
Нашел в его домах.
И итальянки рьяно
По доброте своей
Твои лечили раны...
Так бей, сильнее бей!

Он был тогда спокоен:
Разбиты палачи...
Он батогов достоин,
Учи его, учи!
Рисуй на рваной коже,
Силенок не жалей,
Тебе француз поможет,
Так бей, сильнее бей!

Джузеппе Гарибальди

ЛОДОЧНИК С ОСТРОВА КАПРЕРА

Л о д о ч н и к:

— Я на корме сижу и напеваю,
Когда луна бредет по небу скорбно...
Пою и слезы тихо проливаю
И хороню их под волною черной.
Я светлые надежды вспоминаю,
Которые живут во мне упорно,
И тороплюсь я сам себя утешить:
Вы не ушли, надежды, вы все те же!

Х о р:

— О чем поешь ты, какое горе
Поверил песне, летящей в море?
Поешь ты песню, что у причала —
Мы все слыхали — уже звучала...

---

* Имеется в виду миланская революция 1848 года, которую Энгельс называл самой славной из всех революций 1848 года. С 18 по 22 марта жители Милана отчаянно сражались на баррикадах, вынудив австрийский гарнизон под командованием фельдмаршала Радецкого убраться из города. Но они не преследовали неприятеля, и доброта ломбардцев, ухаживавших за ранеными австрийцами, дорого обошлась городу, который снова был занят австрийской армией.

Лодочник:

— Я думаю о них, о бедных братьях,
С которыми в сраженьях был я рядом.
Взгляни на них, усталых, в драных платьях,
Надежды так недостает их взглядам!
Италия послала умирать их,
Они пошли, и недруг был не рад им.
И вот гляжу на них — мне все не мило:
Победа их судьбу не изменила.

Хор:

— Их оскорбили несправедливо,
Они достойны судьбы счастливой,
Ты сам же видел, как на Бурбона
Они бросались ожесточенно!

Лодочник:

— Я светлые надежды вспоминаю,
Которые живут во мне упорно,
И тороплюсь я сам себя утешить:
Вы не ушли, надежды, вы все те же!

Чарльз Чаплин-младший

Мой отец Чарли Чаплин

Перевод с английского В. Лимановской

Я брал уроки музыки у известной русской пианистки, ныне покойной Раисы Кауфман.

Отец очень гордился моими музыкальными успехами.

— Ну-ка, поиграй мне!— просил он, и когда я усаживался за рояль, он становился рядом, заложив руки за спину, и внимательно слушал.— Ах, Чарльз, если бы ты только захотел работать, из тебя вышел бы великий пианист,— говорил он мечтательно.

Всю жизнь я искал того, что заставило бы отца гордиться мною, и вдруг нашел! Это была музыка — волшебный сезам открылся! Но, проучившись полгода, я увидел, что не в состоянии совместить музыку со школой. Школьная программа была трудна, а я не отличался способностями. У меня не хватало времени играть дома нужное количество часов, чтобы успевать по-настоящему. И хотя пальцы уже приобрели беглость и я кое-что играл по слуху, с чтением нот у меня не ладилось. Пришлось отказаться от уроков музыки, что безмерно огорчило отца, хотя с тех пор он никогда не принуждал меня возобновить занятия.

Не имея возможности учиться играть, я вознаграждал себя тем, что в свободное от школьных занятий время слушал лекции по музыке. Я изучал биографии композиторов, их стиль и манеру, читал об этом все, что только мог найти. И добивался, что отец был все-таки мною доволен.

— О, мой сын Чарльз превосходно знает классиков,— гордо говорил он друзьям,— знает всех композиторов. Сыграй-ка что-нибудь, Чарльз!

Я всегда боялся, что отец, заявляя это таким тоном, будто рекомендует исполнителя с обширным репертуаром, попросит меня сыграть что-нибудь (а я знал всего лишь три вещи) перед кем-нибудь совсем не подходящим. У нас бывали Артур Рубинштейн и Игорь Стравинский. Однажды приезжал Рахманинов, но я его не повидал, так как в то воскресенье не был дома. Отец рассказал мне об этом потом, когда я приехал, и я был почти безутешен. Подумать только! Рахманинов у моего отца в доме! Рахманинов, этот многогранный талант — композитор, пианист и дирижер, ученик Чайковского, первый открывший передо мной дивный мир классической музыки!

Я забросал отца вопросами о Рахманинове. Какой он? Как он выглядит? О чем они разговаривали?

Отца забавляло мое любопытство. Он описал мне Рахманинова: это усталый старик с острым взглядом, говорящий настолько плохо по-английски, что им пришлось беседовать через переводчика. И вдруг, чтобы стало понятнее, отец начал изображать Рахманинова: как тот вошел в комнату медленной старческой походкой и сел, но сразу преобразился, едва лишь заговорили о том, что ему дорого.

Через некоторое время я попал в филармонию на концерт Рахманинова. Мне сразу вспомнился отец, когда на эстраду старческой усталой походкой вышел Рахманинов. И вдруг на моих глазах произошло преображение: к нему вернулись молодость и блеск, едва только он сел за рояль. Отец изобразил великого музыканта настолько верно, что весь вечер я видел перед собой не только Рахманинова, но и отца в его роли.

У нас бывал также Владимир Горовиц. Мне было лет шестнадцать, когда я познакомился с Горовицем, его женой Вандой (дочерью Тосканини) и их маленькой дочкой, восьмилетней Соней. Горовиц попросил ее сыграть нам что-нибудь на рояле. Руки девочки порхали, как ветер, по клавишам, но Горовиц покачал головой.

— Должен извиниться перед вами за дочь,— сказал он с сильным русским акцентом.— Мало работает последнее время! Надо работать, барышня!

Окончание. Начало см в № 6.

Мало работает! Господи, она играла гениально! Меня бросило в пот от страха, что отец предложит мне сесть за рояль и конкурировать с этой девочкой. Меня, с моими тремя пьесами!

Отец не мог наслушаться Горовица.

— Когда он играет, кажется, что в комнате целый оркестр,— говорил он восхищенно.— Крышу срывает!

Отцу всегда необходимо, чтобы музыка звучала громко. Дома он обычно так настраивал приемник, что бывало слышно во всех уголках, а он усядется чуть ли не верхом на радиолу и блаженствует. Когда я стал увлекаться музыкой, граммофонные пластинки пошли в ход еще чаще. Музыка была тем звеном, которое крепко связывало нас. Мы частенько обменивались впечатлениями о прослушанных вещах. У отца была своя любовь: фрагмент «Страстная пятница» из третьего акта вагнеровского «Парсифаля». Кажется, это он предпочитал всему остальному...

В декабре 1938 года, отец закончил сценарий «Великого диктатора». Теперь все образы приобрели четкость. Роль героини, хорошенькой молодой еврейки, была написана для Полетт. Себе отец предназначал две роли. Гитлера и маленького еврея парикмахера. Но он не расстался и с «маленьким бродягой». В мешковатых панталонах и непомерно громадных башмаках, он, то есть парикмахер, уходит уточкой из заключительного кадра. Отец сказал мне, что оставляет «маленького бродягу» в качестве талисмана, ибо всю жизнь он приносил ему счастье, деньги и славу. Через него познали много веселых минут и сам отец и миллионы людей во всем мире.

Они шли смотреть его фильмы. Они толпились, чтобы увидеть его, когда он путешествовал. Они устраивали множество конкурсов на лучшего подражателя Чарли Чаплину. Я слышал от отца об одном из таких конкурсов, состоявшемся еще до моего рождения. Он был назначен в Китайском театре Граумена в Голливуде; каждый из тридцати или сорока участников демонстрировал на сцене своего Чаплина. В их числе и мой отец. Он явился туда тайно, желая проверить, какое может произвести впечатление. Ему присудили третью премию Отец принял это за величайшую насмешку, вот только не знаю над кем, кого он имел в виду: себя или тех, кто присуждал премии, а возможно, что и себя и их заодно.

Можно понять, почему отец считал нужным сохранить «маленького бродягу» как талисман в «Великом диктаторе». Он знал не хуже других, чем рискует, ставя этот фильм в такое время. Невилл Чемберлен со своим неизменным зонтиком посетил Гитлера в Мюнхене. Судеты были аннексированы, и Гитлер перенес уже свой алчный взор на Чехословакию. Его цели ни для кого не составляли тайны, как не было тайной и то, что ни одна из западных держав — ни Англия, ни Франция и уж подавно ни Америка, наиболее отдаленная из всех,— не намерена ему помешать.

Отец собирался сделать то, чего боялись другие: выставить маленького европейского изверга на посмешище. Этим он заглянул намного вперед, так же как и своим фильмом «Новые времена», который поставил в знак протеста против стандартизации человека. События догнали его лишь потому, что он делал своего «Великого диктатора» медленно, а его двойник в Европе, ободренный уступками, продвигался с невероятной быстротой.

Поскольку «Великий диктатор» был задуман как звуковой фильм (первый звуковой фильм Чарли Чаплина), отец привлек на помощь писателей. Помню их сценарные совещания, многие из которых происходили у нас дома. Приглашенные писатели были профессионалами, знатоками сценарного дела, но и тут отец по-прежнему оставался полновластным хозяином. Он выслушивал чужое мнение, но если с ним не соглашался, то это уже было все. Стоило кому-нибудь вступить в спор по этому поводу (мне приходилось не раз слышать жаркие прения), отец мог вспылить. Чем ближе было дело к началу производства, тем чаще наблюдались нервные срывы отца, столь памятные мне по «Новым временам».

Работая над этим сценарием, отец изучал своего героя. Он раздобыл все хроникальные фильмы о Гитлере, какие мог и смотрел их часами — дома или в студии. Среди них попадались такие кадры, в которых, например, Гитлер беседует с детьми, ласкает малышей, посещает больных в лечебных учреждениях, демонстрирует свой ораторский талант при каждом случае. Отец заучивал все позы диктатора, копировал его повадки и был увлечен этим до предела.

— Этот тип—первоклассный актер,— говорил он восхищенно.— Где уж нам до него!

Вся эта подготовка пошла на пользу. Отец сыграл Гитлера с таким поразительным сходством, что немцы, смотревшие фильм, напрягали, по их словам, все внимание и лишь под конец догадывались, что это не гитлеровская речь на их родном языке, а лишенный смысла набор звуков.

Подошло время наметить остальной актерский состав. Отец был особенно озабочен подысканием актера, который сыграл бы Наполони, то есть Бенито Муссолини, в точном соответствии с замыслом отца. Вначале он думал назвать этот персонаж Бензино-Газолини, но, когда фильм готовился, тучи войны уже не на

Джек Оуки и Чарли Чаплин на съемке.

шутку сгустились, Муссолини продолжал сохранять нейтралитет, и отец решил соблюсти осторожность и не задирать «газонасыщенного» дуче. Но поиздеваться над ним он хотел и для этой цели задумал пригласить Джека Оуки. Когда Оуки явился для переговоров и узнал, что требуется отцу, он снова нахлобучил шляпу и поднялся со стула.

— Слушайте,— сказал он,— да ведь я полуирландец, полушотландец. А вам-то нужен итальянец!

— В чем же тогда будет заключаться комизм, если роль Муссолини поручить итальянцу?— возразил ему отец.

Оуки понял его мысль. Он опять снял шляпу и присел. Роль осталась за ним.

Подбирая статистов для массовых сцен, отец не всегда руководствовался лишь деловым принципом. Отец не лишен сентиментальности и даже мягкости, и эта сторона его характера берет верх, когда вопрос касается актеров. Ничто не трогало его так, как вид какого-нибудь былого идола публики, ныне впавшего в бедность, скажем, по причине старческой потери памяти. Я знаю, что отец нанимал таких актеров и платил им большое жалованье почти ни за что.

Разумеется, отец не допускал, чтобы подобного рода чувства влияли на подбор основного актерского состава. Эти исполнители обязаны были показать свои достоинства. Но, так или иначе, жалость к товарищам по профессии оставалась слабым местом отца. Он болезненно переживал необходимость отказывать людям после беседы с ними и говорил, что хорошо бы иметь комнату с тайным окошком, через которое он мог бы разглядывать претендентов без их ведома и отбирать тех, кто кажется ему подходящим.

В это лето, пока отец заканчивал множество деталей, готовясь непосредственно к производству, нацистская туча становилась все зловещее. Чемберленова политика умиротворения принесла свои горькие плоды. Несмотря на заверения Гитлера, что его территориальные притязания далее Судет не идут, в середине марта он вступил в Чехословакию, а затем уставился жадным взором на Польшу. Теперь уже не на шутку перепуганный, английский премьер-министр сделал 31 марта 1939 года заявление, что если будет совершено нападение на Польшу, Англия придет ей на помощь. С момента

этого заявления стало понятно, что мир уже не долговечен. Он был нарушен гусиным шагом гитлеровских солдат, вступивших 1 сентября 1939 года в Польшу. Это положило начало войне, втянувшей в свою орбиту почти все цивилизованные страны и погнавшей много молодежи, в том числе и меня с братом, на другой конец света.

3 сентября Франция и Англия официально объявили войну Германии. А через несколько дней мой отец приступил к производству «Великого диктатора».

С тех пор как он снимал «Новые времена», прошло почти пять лет. За эти пять лет он неоднократно делал заявления о своем намерении выпускать каждый год по фильму, которые он называл «скороспелками». Но, начав работу над «Великим диктатором», отец подчинился тем срокам, к которым принуждал его собственный гений, и был даже шокирован сообщениями о «скороспелках», снимавшихся на других студиях. Он отнесся весьма скептически к газетной заметке в «Дейли варайети», заголовок которой возвещал о том, что Дарил Занук собирается снять в текущем году сорок восемь фильмов.

— Вот в чем наша главная беда!— воскликнул отец.— Разве можно сделать сорок восемь хороших картин за один год?

То обстоятельство, что отец долгое время ничего не снимал и вообще до тех пор не выпустил ни одного звукового фильма, ставило его в положение Рипа Ван-Винкла, проснувшегося после двадцатилетнего сна. В кинопромышленности заняли прочное место профессиональные союзы, и теперь, если требовалось оставить служащих сверх положенных восьми часов (а когда отец работал, он нередко задерживал людей и на двадцать часов[1]), надо было платить им сверхурочно. В некоторых кругах отца называют скупым, но ни один из его бывших служащих это не подтвердит. На голливудских студиях вошло в обычай нанимать людей на вторую смену, что дешевле, чем платить сверхурочные, но когда кто-то из плановиков предложил сделать так же, отец отказался.

— Нет,— заявил он решительно.— Никогда не выгадывайте за счет рабочих. Пускай заработают лишние деньги!

Отец столкнулся с настоящей головоломкой, когда, начав производство «Великого диктатора», обнаружил на студии ряд незнакомых людей, занимавших новые должности, в соответствии с требованиями профсоюза. На что был ему дополнительный штат, когда он, этот человек-динамо, привык все делать сам? И он никак не мог приучить себя пользоваться услугами нового персонала.

— Чем все-таки занять все это скопище людское?— задавал он каждое утро вопрос, оглядываясь по сторонам.

— Что значит заведующая литературной частью?— спросил он девушку, отрекомендовавшуюся ему так.

Отец был всегда «сам себе литературная часть», и в дальнейшем тоже ничего не изменилось, несмотря на присутствие новой заведующей.

Когда к нему в артистическую уборную вошел гример, отец вытаращил на него глаза. Гример для отца, который постоянно гримировался сам и не собирался изменить любимой привычке! Он платил гримеру за то, что тот стоял и смотрел на него, зато сам получал большое удовольствие, разыгрывая перед ним своего рода комические сценки. Придя однажды с братом в студию, мы наблюдали такой номер.

Отец взял толстый пучок искусственных волос чуть ли не в ярд длиной. Он аккуратно помазал жидким клеем над верхней губой и прилепил пучок волос посередине, таким образом длинные концы повисли вниз вдоль подбородка. Отец взял огромные ножницы и начал осторожными точными движениями подстригать их — то с одной стороны, то с другой. Щелкая ножницами, он обращался к нам:

— Что это еще за выдумка — гример, а, ребята?— Гримаса и чик ножницами.

— Может быть, вы знаете, для чего их нанимают?— Новая гримаса и чик с другого боку.

— Кому он нужен, гример-то?— Чик-чик-чик, и с каждым щелчком ножниц новая гримаса и новый вопрос. Громадные ножницы весело плясали уже возле лица, и, наконец, последним ловким движением отец сделал себе крохотные усики щеточкой.

Не признавал отец и монтажеров. Он делал всю основную работу сам, а монтажеру платил, вероятно, за то, что тот большую часть времени наблюдал, как работает «бывший главный». Один монтажер рассказывал мне, что в спешке отец не пользовался даже ножницами. Намотав себе на шею гирлянду пленки, он вытягивал ее постепенно и рассматривал на свет. Если что-нибудь ему не нравилось, он вырывал эти куски руками, предоставляя монтажеру подравнивать концы и склеивать.

— Где это видано, чтобы так рвали фильмы!— жаловался монтажер.— Но ваш отец это делал.

Зато в звукооператоре — работнике новой специальности — отец действительно нуждался, хотя не желал этого признать, ибо не мог согласиться с тем, что кто-нибудь другой на свете способен что-то сделать лучше, чем он. Однажды отец потратил битых два дня, пытаясь воспроизвести гул авиационного мотора. Он сидел над электрическим вентилятором, прикладывая, то слабее, то сильнее, целлулоид к его вращающимся лопастям,

и слушал звук, склонив голову набок. Он пробовал много кусков целлулоида разной толщины, испытывал и вентиляторы разной мощности, а звукооператор стоял и посмеивался. В конце концов, отец устал от этого эксперимента, а звукооператор решил проблему очень просто: поехал в аэропорт и записал там шум настоящего авиационного мотора.

Впрочем, экономия времени никогда по-настоящему не интересовала отца. Для него производство фильмов не было коммерческим делом, а всегда оставалось любимой творческой игрой. Помню, однажды приехал дядя Сидней и очень взволнованно передал отцу чье-то предложение купить его студию за два миллиона долларов. Дядя считал это счастьем, так как отцу, по существу, и не требовалась собственная студия: пользуясь ею раз в пять лет, он мог брать чужую студию напрокат. Отец сам говорил, что каждый день простоя обходится ему в тысячу долларов.

Когда дядя Сидней, задыхаясь от волнения, принялся излагать суть предложения, отец был занят выверкой какого-то звукового эффекта. Дядя ждал с нетерпением, какова будет реакция отца, но тот даже не поднял головы.

— Скажи им, пускай убираются, — сказал он.— Где бы я играл, если бы у меня не было студии?

Хотя производство фильмов отец называл игрой, это была отнюдь не легкая игра. Игра на нервах — вот так было бы, пожалуй, правильнее ее назвать!..

Снова посещая студию, мы с Сидом видели, как изменилась там атмосфера со времени съемок «Новых времен». Все теперь было гораздо тише. Но тише — не значит спокойнее. Старый аппарат, которым снимали немые фильмы, был отправлен на покой, умолк его тихий ласковый рокот, перемежавшийся слабым, прерывистым стуком. Вначале отец чувствовал себя неловко, играя перед бесшумной камерой. Он даже не сразу понял, что рокот старого аппарата подсказывал ему ритм. Теперь отец должен был полагаться лишь на собственный внутренний синхронизм.

А кроме всего прочего, ему не хватало смеха рабочих сцены. В новых условиях съемка требовала такой мертвой тишины, что бывало слышно, если падала булавка, а полет жужжащей мухи уподоблялся полету бомбардировщика, особенно для отцовского слуха.

Однажды при нас в святая святых съемочного павильона в разгар особенно трудной сцены нахально влетела муха. Злополучную сцену снимали уже много раз, но все без успеха, из-за одного актера, который никак не мог угодить отцу. Под конец отец все-таки удовлетворился. Но раб девиза «Лучшее — враг хорошего», он пожелал снять этот эпизод еще раз. Все застыли в напряженном ожидании — сейчас заработает аппарат, и вдруг эта самая муха с веселым жужжанием пролетела по сцене. Отец просто рассвирепел, будто это было не крошечное насекомое, а, по меньшей мере, «П-38».

— Черт побери,— закричал он.— Выгоните эту проклятую тварь отсюда!

Пять человек схватили хлопушки для мух. Примерно с дюжину их было развешано в павильоне. Началась охота за мухой — с прыжками, пируэтами, беготней и энергичным размахиванием хлопушками.

Среди всего этого бедлама отец шагал взад и вперед, взад и вперед, заложив руки за спину и опустив голову, не обращая внимания на окружающую суматоху.

— Эту сцену надо сделать лучше. Я д о л ж е н сделать ее лучше! — бормотал он себе под нос.

Борьба с мухой длилась минут двадцать и увенчалась, наконец, победой. Съемку возобновили, и эпизод был сыгран превосходно. И тут внезапно кто-то рассмеялся. Ему вторил другой, третий. Вскоре хохотали уже все, и отец в том числе. Даже в тех случаях, когда отец бывает очень сильно раздражен или поставлен в неловкое положение, стоит только пройти острой минуте, чувство юмора берет верх и он начинает видеть комическую сторону недавнего инцидента.

В другой раз уже не муха, а мой брат Сид оказался виновником. Снимали сцену пушечной стрельбы. Ее репетировали многократно, и получалось презабавно. Отец собирается дернуть шнур «Большой Берты», и этому предшествует ужасно комичный его прыжок. Затем «буум!» — орудие грохает, и от неожиданности отец перекувыркивается несколько раз, и с ним случается беда — смешно невероятно. Всех душит смех, но все сдерживают его как могут.

И вот начинается съемка этой мизансцены. Отец исполняет свое антраша. И вдруг среди абсолютной тишины раздается смех. Это Сид. В одно мгновение отец превратился из самого потешного человека на свете в самого грозного.

— Кто смеялся? — закричал он.

Все молчали. Вероятно, Сид надеялся, что отец поостынет, собственно говоря, так потом и было. Но в тот миг он требовал ответа.

— Кто сейчас смеялся? Признавайтесь!

— Я,— набравшись храбрости, выдавил из себя Сид.

Отец с характерной для него живостью подскочил к Сиду и закричал:

— Да знаешь ли ты, что твой смех стоил мне пятнадцать тысяч долларов?

Рука его была поднята. Я думал, сей-

час он ударит Сида, и обомлел: я видел, что он настолько перевоплотился в своего героя, что забыл, кто он и где находится.

— Ты...— начал было отец, но поспешно опустил руку,— ты смеялся надо мной!

И вдруг сам же расхохотался.

— Даже собственный сын считает меня смешным,— сказал он, обращаясь к служащим, таким тоном, точно удостоился сейчас величайшей чести.

Затем он снова повернулся к Сиду.

— Да, это смех в пятнадцать тысяч долларов,— сказал он,— но уж коль так тебе понравилось, ладно! — Он помолчал, потом строго поглядел на Сида и добавил: — Но чтоб это было в последний раз, сын!

Так оно и было, смею вас заверить...

Мне очень нравилось, что в период подготовки «Великого диктатора» между отцом и Джеком Оуки установились дружеские отношения. Оуки, обладая крепкими нервами, спокойно переносил отцовскую муштру. Отец же всегда восхищался Джеком. Будучи одним из самых талантливых наших комиков, Джек великолепно изображал экспансивного Муссолини. Даже фигурой он напоминал рыхлого итальянского диктатора. Но во время съемок Джек был на диете, и это тревожило отца. Худенький Муссолини — где же тут смех? И вот, с присущей ему дотошностью, отец занялся этим вопросом. Он стал привозить с собой в студию домашнего повара Джорджа, приказав ему готовить самые аппетитные блюда, от которых больше всего толстеют. И стал угощать Джека этими кушаньями в своей артистической уборной.

Я бывал свидетелем этих пиршеств, которые всегда кончались настолько комично, что мы с Сидом едва удерживались от смеха. Обычно отец ел за обедом очень мало, но Джеку подсовывал громадные порции, такие аппетитные, что должны были вызвать у гурмана восторг.

— Не могу я это есть, Чарли! — молил с отчаянием Джек.— Я же вам объясняю: я на диете! Ну что-нибудь из фруктов и творожку немножко — это я могу.

Будто не слыша, отец клал себе в рот с тарелки кусочек и делал восторженное лицо. Джек тоскливо следил за ним влюбленными глазами.

— Я понимаю ваш маневр, Чарли,— стонал он.— Но я не поддамся. Я на диете, и от нее не отступлю.

— Полноте, Джек! От одного-то раза ничего не сделается! — заверял его отец, отправляя в рот следующий кусок и смакуя его с блаженным видом.

В конце концов Джек всегда совершал грехопадение и съедал все, что было на столе. Таким образом он не только сохранил свой вес, но еще и набрал лишку. Отец дал ему кличку «Силач», и она к нему прочно пристала на весь период съемок.

Все это время отец оставался учителем, а Джек — учеником. Но я знаю такой случай, когда Джек сумел показать и отцу кое-что. Джек до сих пор гордится этим и любит про это рассказывать.

Режиссерские приемы отца в основном интуитивны, как, пожалуй, и все, что он делает. Когда эпизод снят безукоризненно, он это чувствует. Но Джек заметил, что отец не всегда умеет объяснять другим, чего он от них хочет. Однажды он извел не знаю сколько ярдов пленки на сцену в ресторане, в ходе которой белокурая кельнерша подносит блюдо макарон к столику, за которым сидит Джек. Актриса упорно делала все наоборот и, расстроенная безжалостной муштровкой отца, уже готова была пуститься в слезы. Один только Джек, со своего наблюдательного пункта за столиком, сумел сообразить в чем дело. Оказалось, что виноват отец, а вовсе не актриса.

— Чарли,— сказал Джек,— вы ей все показываете слева направо, а она же не левша!

Отец просиял. Он перешел на другую сторону, и, когда официантка в очередной раз подошла к столику, все стало ясно. Эпизод был благополучно снят.

Это, мне кажется, единственный случай, когда Джек выступил в качестве учителя отца (по крайней мере, о других случаях я никогда от него не слышал), но ученик он был способный и очень старательный. Теперь, проникнув в тайны отца, он пожелал переиграть «короля комедии» хотя бы в одной сцене. Он пускал в ход все усвоенные им приемы, но чего-то все же не хватало. Отец по-прежнему затмевал его.

Однажды, когда Джек особенно старался, но у него это не получалось, отец с ухмылкой посмотрел на своего взмокшего от пота ученика и открыл ему свою последнюю тайну.

— Если вам так уж приспичило переиграть меня,— добродушно сказал он,— тогда смотрите прямо в объектив. И непременно получится все как надо.

Отец мог позволить себе не делать тайн из своих приемов. Он, как и все, превосходно знал, что из всех комиков во плоти он первый. Я подчеркиваю «во плоти», так как отец и сам признавал опасную конкуренцию со стороны другого рода актеров. Он не раз говорил об этом после того, как повидал однажды фильм «Белоснежка» Диснея. Сидя в зрительном зале, он анализировал приемы Диснея, ища в них такого, что мог бы использовать и в своей работе. Отец умел учиться новому даже на мультипликационных фильмах и был ярым поклон-

ником Диснея — и как художника, и как мастера мультипликационного кино...

Окончание съемок «Великого диктатора» весной 1940 года принесло отдых всему коллективу, но не отцу. Как всегда неутомимый, этот человек-динамо теперь посвятил всего себя сочинению музыки к «Великому диктатору». Поскольку многие совещания с музыкантами происходили дома, я имел возможность непосредственно наблюдать, как он, не умеющий прочесть ни одной ноты и не знакомый с техникой композиции, тем не менее сочинял музыку — и притом изводил своей требовательностью специалистов, как раньше Альфреда Ньюмена.

Эти музыканты, пожалуй, скорее играли роль музыкальных секретарей: они лишь записывали под диктовку отца. Единственным автором всего был он. Он напевал им какой-нибудь мотив с закрытым ртом или наигрывал на рояле, а музыканты фиксировали это и потом повторяли. Отец слушал внимательно. Слух у него превосходный.

— Та часть хороша,— говорил он.— А здесь что-то не так. Минуточку!

Он сосредоточенно повторял музыкальную фразу, и ее снова записывали. Иногда приходилось повторять это много раз, пока отец не добивался желаемого.

И он, и музыканты работали допоздна дома, а еще дольше на студии; там они пользовались «мувиолой» — аппаратом, при помощи которого можно было демонстрировать отдельные куски фильма и играть одно и то же место до тех пор, пока отец не придумает соответствующий аккомпанемент. Продумав все до конца, он излагал музыкантам свои требования в отношении темпа, ритма и стиля каждой из сцен. Он знал названия некоторых музыкальных форм и умел хорошо пользоваться терминологией: пиццикато, рубато, аллегро и так далее, но предпочитал объяснять свои желания ссылкой на композитора или на инструменты.

— Это место надо сделать по-вагнеровски,— говорил он, или так: — Эта часть должна быть похожа на Шопена. Легкая, воздушная, с большим числом скрипок. А вот тут хорошо бы, чтобы зазвучал гобой.

Слушая отца, музыканты нередко пожимали плечами: его подгонка музыкальной фразы под эпизод была для них столь необычной, что они терялись. В таких случаях они ссылались на техническую невозможность выполнить его требования.

— Этого я не понимаю,— отвечал отец.— Запишите в точности, как я прошу.

И, только выполнив все его требования, хоть, правда, и не по канонам, они начинали понимать, что отец обладает блестящим музыкально-драматическим чутьем. И так, продвигаясь фраза за фразой, такт за тактом, отец со своими блестящими помощниками закончил музыку к «Великому диктатору». У музыкантов головы поседели за это время, к концу они были на грани нервного истощения, но, как ни тяжко все это им далось, одного они не могли сказать: что работать с Чаплином скучно. Каждый сеанс совместной работы он давал им бесплатное представление, потому что просто спеть или сыграть на фортепьяно — не в его характере. Долго оставаться без движения он не умел. Он начинал жестикулировать в такт музыке, изображать персонажей из этого эпизода, но всегда карикатурно, стараясь вызвать в себе соответствующие звуковые ассоциации. В такие минуты его игра была ближе всего к балету.

Вообще комическая пантомима отца смыкается с балетом более, чем с другими видами искусства. У него движения танцовщика и вся манера тоже, она почти женственна, впрочем, женственна не в смысле изнеженности. Отец очень легок и обладает чисто акробатической синхронностью. Его маленькие, изящные руки настолько выразительны, что, если следить за ними, вы всегда поймете, какие чувства он хочет передать. Артисты балета сразу замечают этот талант отца, и многие, видевшие его, честно скажут вам, что он владеет искусством танца не хуже их. А Роберт Хелпмэн, солист балетной труппы Сэдлер Уэллс, как-то раз признался сценаристу Дадли Николсу, что он даже не мечтает танцевать так, как Чарли Чаплин.

Отец — страстный поклонник балета. Он знаком со всеми артистами, даже с третьестепенными. Его любимые балерины — Алисия Маркова и Александра Данилова, особенно последняя. Из солистов-мужчин он хвалил, я помню, Федора Ленского, Игоря Юшкевича и Фредерика Франклина.

Он встречался с Нижинским и даже спустя много лет восторженно вспоминал его постановку «Призрак розы». Он рассказывал мне сюжет «Призрака», и, дойдя до того места, где Нижинский прыгает из окна с розой в зубах, в подражание ему, прыгал с чего-то, делая вид, что держит во рту цветок.

— А потом за кулисами он кашлял кровью! — говорил отец, и по тону его голоса я понимал, что он преклоняется перед человеком, который отдавал всего себя искусству, хотя оно и губило его здоровье...

Какие бы балетные труппы ни приезжали в город, отец всегда посещал их спектакли, и не один, а несколько раз. Он знал на память музыку всех балетов, все либретто и отдельные партии. Обычно после спектакля он шел за кулисы и радушно приглашал актеров к себе домой. Такие встречи проходили очень весело. Отец никогда не учился балету, но подражал балеринам бесподобно.

— О, вы замечательно исполнили арабески во втором акте «Лебединого озера»,— говорил он балерине, становясь в позу.— У вас это получилось вот так. Бесподобно! — и он делал грациозный пируэт.— А какой прыжок! — Тут следовал прыжок, правда, несколько утрированный. Далее шел уже сплошной бурлеск, темп все убыстрялся, становился все бешенее, пока у гостей не начиналась истерика от смеха.

Я не был дома во время одного посещения балетной труппы, едва не закончившегося трагично, но слышал о происшествии от отца, который, конечно, изобразил все в лицах. С правой стороны перед домом вдоль полукруглого въезда тянется невысокий парапет, который отгораживает дорогу от горного склона, круто сбегающего вниз.

Встреча отца с актерами прошла очень весело — пили, демонстрировали танцы, много шутили. Когда настало время прощаться, все в очень веселом настроении вышли на площадку перед домом. Вдруг Казимир Кокич вскочил на парапет, не взглянув, что позади.

— Вот как мы это делаем,— заявил он, грациозно подражая птице,— и... летим!

Не успел отец остановить Кокича, как тот легко подпрыгнул и исчез.

Все бросились к парапету, устремив взоры вниз. Там, под соснами, распростертый на земле, неподвижно лежал бедный Кокич. Он привык к прыжкам, но все же, видимо, не к таким, не с десятифутовой высоты на крутые склоны гор.

Несколько женщин вскрикнули.

— О господи! — простонал отец, представив себе Казимира Кокича с переломами во всем теле. Он велел вызвать врача, а сам, вместе с остальными, поспешил туда, где Кокич лежал без сознания. Все боялись тронуть его с места. Женщины плакали. У всех на уме было: перелом позвоночника, перелом костей, внутренние повреждения, трещины черепа, а кое-кто даже решил, что Кокич умирает.

— Черт побери,— бормотал отец.— Где же доктор? Где он, этот болван? Почему его нет до сих пор?

Но тут вдруг Казимир Кокич открыл глаза, встал на ноги и отряхнулся, вопросительно озираясь вокруг. Ясно было, что он невредим. Выпитый алкоголь настолько расслабил его мышцы, что он сумел справиться с тем, что в другом случае едва ли сошло бы благополучно.

Только что плакавшие женщины начали смеяться, за ними последовали и остальные, в том числе и сам Кокич — он-то, правда, несколько сконфуженно. Все направились наверх, к дому, и, разумеется, пришлось отметить это событие еще одним тостом. Врач прибыл вовремя, чтобы выпить вместе с гостями.

Отец любил приводить этот эпизод как пример разницы между трагедией и комедией.

— Если ты дал человеку пинок сзади, слабенький пинок, и он повалится на землю, но ему не больно — это комично,— пояснял он мне.— Но если пнуть его грубо, с силой, тогда будет трагично. Вся разница в этом.

В своем творчестве отец всегда достигает того эффекта, что его комедия балансирует на грани трагедии. Джек Оуки придумал для этого подходящее название — «драмедия».

— У вашего отца такой талант,— сказал он мне однажды,— что, когда его смотришь, слезы подступают к горлу. Вы и плачете и смеетесь в одно и то же время.

К концу лета отец опять вступил в знакомую мучительную полосу, в полосу тревог, когда постановщик фильма напряженно ждет, какой приговор зрителя получит его детище. Судьба «Великого диктатора» тревожила его не на шутку, поскольку эта картина существенно отличалась от всех предыдущих. До сих пор у отца бывало две заботы: сделать картину смешной и сделать ее прибыльной. А создавая «Великого диктатора», отец преследовал иную цель: во что бы то ни стало заявить свой громогласный протест против кровавой войны и жестокого угнетения. Тут уж, впервые на моей памяти, отец заговорил о боге.

— Я молюсь, чтобы этот фильм послужил добрым началом и хоть чем-нибудь помог человечеству,— сказал он мне однажды. Но это был бы не мой отец, если бы он тут же не добавил как бы вскользь: — И еще молюсь, чтобы он прошел с триумфом — ведь я на него истратил уйму денег...

Премьера «Великого диктатора» в Нью-Йорке явилась выдающимся событием, как и все премьеры отцовских фильмов. Толпы поклонников осаждали кинотеатры «Астор» и «Кэпитол», где демонстрировался этот фильм и одновременно присутствовало много видных деятелей кинематографического мира и разных других знаменитостей. И, разумеется, пресса. Как всегда, рецензенты проявили двойственное отношение к фильму Чарли Чаплина. «Маленький бродяга», заявляли они, вышел из привычных рамок, посягнув на нечто свыше своих сил. Им пришлась не по вкусу его заключительная речь, исполненная горячего призыва вступиться за всех угнетенных. Они находили ее чересчур длинной и риторической. Мнение этой части зрителей, пожалуй, точнее всего выразила Мэри Пикфорд, в свое время назвавшая «маленького бродягу» маленьким философом. «Ужасно жаль,— заявила она,— что Чаплин, так много давший миру, от-

вернулся от своего «маленького бродяги» и занялся политикой, развивая подобные темы в своих фильмах. Став на этот путь, он лишился моего поклонения».

Но те, кого отец всегда считал своим высшим судьей и арбитром,— простые люди, оспаривали мнение рецензентов и таких актрис, как Мэри Пикфорд. Массовый зритель — сначала в Соединенных Штатах, а затем и повсюду в мире — восторженно принимал «Великого диктатора».

— Я снимался в сотне картин, если не больше,— говорит Джек Оукн,— но люди запомнили меня только по одной — по «Великому диктатору»...

Отец успешно взял первый барьер, выпустив «Великого диктатора» на экран. И все же впоследствии он тяжко поплатился за то, что поставил его. Он убежден, что именно этот фильм послужил причиной большинства последовавших неприятностей, ибо выпуском его восстановил против себя мощные профашистские организации в Соединенных Штатах, которые тогда уже начали вести под него подкоп. Я знаю, что из-за своей острой тематики «Великий диктатор» не был допущен в то время на многие иностранные рынки. Немецкие и итальянские дипломаты лихорадочно принимали меры, чтобы фильм был запрещен в Латинской Америке.

Но, когда в 1958 году в Европе возобновили демонстрацию «Великого диктатора», кинотеатры Англии, Франции, Германии были переполнены. В Германии критики восхваляли этот фильм как «мрачный шедевр». Только у молодых зрителей он может вызвать смех, писали они в своих статьях. Люди старшего поколения плачут, словно охваченные раскаянием...

После нью-йоркской премьеры отец остался на Востоке, заявив, что его присутствие требуется на премьерах в главных городах; Полетт же вернулась в Голливуд, чтобы принять Герберта Уэллса, который совершал в то время лекционное турне по Америке и предполагал пожить две недели у отца в Беверли-хиллз. Но Полетт не стала там задерживаться. В начале декабря она перебралась в пустую дачу своего антрепренера Майрона Селзника...

Отца не было в городе, когда Полетт оставила его дом, хотя он знал об этом. Но я и Сид находились в полном неведении. По возвращении отца из восточных штатов мы снова начали ездить к нему на выходные дни и удивлялись, куда исчезла Полетт. Отец говорил, что она уехала по делам, но нам это казалось странным, потому что прежде она никогда не отлучалась на столь долгий срок.

Непонятно нам было и то, почему Полетт не поехала вместе с отцом на торжества в связи с вступлением Рузвельта на пост президента в январе 1941 года. Отец, как видный гражданин Голливуда, возглавлял делегацию актеров, которым предстояло выступать в Вашингтоне в дни торжества.

Эта поездка венчала многолетнюю дружбу отца с президентом Рузвельтом, начавшуюся еще во время первой мировой войны...

19 января, накануне церемонии, состоялся концерт, на котором присутствовала и госпожа Рузвельт вместе с другими членами семьи президента. Гвоздем вечера было исполнение отцом заключительного монолога из «Великого диктатора». Хотя критики и называли его риторическим, но каждое слово этого горячего призыва к свободе во всем мире было пронизано искренностью. В середине речи у отца вдруг сорвался голос, и он попросил воды. Пользуясь паузой, пока Дуглас Фербенкс-младший наливал воду в стакан и подавал ему, публика разразилась аплодисментами; овация длилась больше минуты. Появление отца перед такой аудиторией и столь сердечный отклик на его речь можно назвать вершиной его успеха в Соединенных Штатах. Отсюда дорога пошла под уклон и завершилась его добровольным изгнанием.

Когда отец вернулся из Вашингтона, он был весь поглощен замыслами нового фильма. Сюжетом должна была служить жизнь иммигрантов в Нью-Йорке, главную роль отец собирался писать для Полетт. Из этой идеи впоследствии родился снятый в Европе «Король в Нью-Йорке». Подобно «Мартину Чеззлвиту» Чарльза Диккенса, это была острая сатира на прием, оказанный англичанину его двоюродной сестрой — Америкой. Впрочем, немало воды утекло, покуда этот фильм был создан.

Примериваясь к сюжету об иммигрантах, отец в то же время замышлял еще один. У отца постоянно борются в мозгу несколько сюжетов, и, видимо, без большой борьбы они друг другу не уступают. Отец рассказывал Луэлле Парсонс весной 1941 года, что он задумал сделать героем фильма одинокого старого пьяницу, тайно влюбленного в молоденькую хористку, которая даже не подозревает о его существовании. Из этого сюжетного зерна выросли «Огни рампы» — последний фильм, снятый отцом в Америке...

Осенью 1941 года мы с Сидом отправились в Лоренсвилль с твердым намерением закончить в новой школе среднее образование так, чтобы отец мог гордиться нами. Впервые в жизни мы очутились далеко от дома и очень тосковали по родным. Может быть, мы бы еще кое-как привыкли, но 7 декабря произошло нападение на Пирл-Харбор, и наша страна

вступила в войну. Тысячи добровольцев устремились на мобилизационные пункты. Я и Сид, как и миллионы юношей нашего возраста, сознавали, что скоро и наш черед идти в армию. В силу этого всякие планы относительно будущего и заботы об окончании курса наук показались теперь пустой тратой времени...

Я очень обрадовался, когда в октябре отец приехал на Восток для одного публичного выступления. По его просьбе школьное начальство разрешило мне отпуск, и я немедленно отправился на свидание с ним в Нью-Йорк.

В начале войны отец несколько раз выступал с речами в пользу открытия второго фронта. Первый раз это было, кажется, во дворце Кау в Сан-Франциско; речь отца явилась призывом к помощи России. Предполагалось, что выступит по поручению президента Рузвельта американский посол в Советском Союзе Джозеф Э. Дэвис, но он заболел, и вместо него попросили отца. Как всегда в таких случаях, отец готовился к речи волнуясь и с огромным старанием. Но уже на сцене, перед самым началом выступления, им овладело знакомое нервное состояние, он убежал за кулисы, и у него сделалась рвота. В суматохе отец потерял подготовленный им текст и вынужден был произнести перед восьмитысячной аудиторией импровизированную речь. Он говорил полтора часа, и его слушали затаив дыхание. В зале было так тихо, что если бы упала булавка, и то было бы слышно.

Следующее выступление отца, призывающее к открытию второго фронта, состоялось в Нью-Йорке от имени «Актерского фронта победы над врагом» — организации, считавшейся, насколько я понимаю, радикальной. Впрочем, отец никогда не был коммунистом. Правда, он очень искренне восхищался Россией, ее позицией в отношении Германии и считал, что России надо помочь, поэтому скорейшее открытие второго фронта будет всем нам на пользу. Как всегда, отец дал волю своим чувствам и этим обидел некоторых англичан: как, мол, он не ценит военных усилий своей родины? Со своей стороны, американцы сочли его советы неуместными и нарушающими этикет, поскольку он не являлся гражданином Соединенных Штатов. А кое-кто называл даже излишней смелостью его поучения в адрес военных насчет того, как им действовать. Между тем народ в основном разделял точку зрения моего отца. Зато через несколько лет эти речи в пользу второго фронта были вытащены на свет и, без всякого учета обстановки военного времени и того, что Россия была нашей союзницей, использованы для утверждения, что мой отец коммунист или сочувствующий...

Уна О'Нил! Это имя напоминает весенний ветерок — оно такое же воздушное, как она сама. Уна — дочь знаменитого драматурга Юджина О'Нила, моя однолетка, мы с ней родились даже в одном месяце, в мае. Она держала экзамены в Вассар, но решила не идти в колледж, так как ее привлекала профессия киноактрисы. Вместо Вассара она попала в Голливуд, где жили ее мать и отчим, и там в ноябре 1942 года познакомилась с моим отцом...

Я впервые увидел Уну в один из дней, когда у отца собиралось много разного народу на чай. Она приехала на теннис вместе с Тимом Дьюрантом и его младшей дочкой Марджори. Ни я, ни Сид не догадались по ее фамилии, что она имеет отношение к великому драматургу. Мы просто увидели симпатичную девушку, совершенно не похожую на знакомую породу голливудских красавиц. Она вела себя очень естественно, была сдержанна, но охотно, без всякой наигранности, принимала шутки. Чем-то она напоминала фею, и этим притягивала нас к себе. Уна была очень своеобразна и привлекательна: тоненькая, с длинной талией, с гладко зачесанными черными волосами и серьезным выражением темных глаз, в которых то и дело загорались искорки смеха. Она была застенчива, но в ней чувствовалось спокойствие и подкупающая душевная чистота. Мы решили, что хорошо бы познакомиться с ней поближе.

Уна не играла в теннис, во всяком случае, если играла, то неважно. Я вообще не теннисист, а Сид, хоть он играет отлично, в тот день был больше увлечен Уной, чем теннисом. Девушка держалась дружески, но осторожно. На наши шутки она откликалась, как скромный ребенок с тонким чувством юмора. Но именно тогда, когда она казалась предельно наивной, она вдруг поражала нас быстрым и метким замечанием, и мы убеждались, что она очень умна и глубока и, надо признаться, во многих отношениях куда взрослее нас.

Первое время мы молча и беззлобно соперничали между собой за право добиться свидания с Уной. Но вот прошло несколько недель, мы обменялись впечатлениями, и Сид сказал мне шутливо:

— Я вижу, ты метишь на Уну.

— А ты что, нет? — парировал я.

— Только нам ничто не поможет, Чак,— сказал Сид,— потому что Уна метит на нашего папу. Так что мы с успехом можем ретироваться.

Сид говорил правду, настолько явную, что скрывать это уже было бессмысленно. Когда Уна находилась в обществе отца, глаза ее приобретали восторженное выражение. Вообще женщины увлекаются отцом, но здесь это было не про-

сто увлечение. Уна боготворила его, упивалась каждым его словом, о чем бы он ни говорил: о последнем ли сценарии, или о погоде, или рассуждал на философскую тему. Сама она больше молчала и только вдруг, бывало, вставит какое-нибудь словцо, поражавшее глубиной проникновения в суть даже такого человека, как наш отец.

— Милейшая девушка! — говорил он. На словах отец ничем себя больше не выдавал, впрочем этого и не требовалось. По его лицу хорошо было видно, что он пленен Уной, не меньше чем она им.

Зимой и весной Уна с матерью часто бывали у отца. Желая помочь девушке осуществить ее мечту об артистической карьере, отец давал ей уроки драматического искусства. Надо сказать, что отец Уны, живший в то время близ Сан-Франциско, отнюдь не поддерживал ее стремления стать актрисой. Все факты говорили о том, что из-за ее увлечения сценой он почти порвал с ней. Да вряд ли могла быть и раньше между ними большая близость, поскольку он разошелся с ее матерью, когда Уне было всего лишь два года.

Впрочем, отношения Уны с моим отцом выходили за рамки отношений ученицы и учителя. Под конец он стал открыто появляться с ней в разных местах, и на страницах газет, посвященных светским сплетням, уже начали гадать, не окончится ли это его четвертым браком...

В начале июня мой отец, желая избежать репортеров, тайно переселился в Лос-Анжелес к своему другу, известному продюсеру Юджину Фрэнку, женатому на Анне Стэн. По той же причине и Уна приезжала туда тайно, иногда оставаясь на ночь по приглашению Анны Стэн. Все это время отец, а иногда также и Уна питались у Фрэнков, которые делились с ними драгоценными в то время продуктами, получаемыми по карточкам.

Находясь у Фрэнка, они обсудили окончательно свои брачные планы. Раньше предполагалось оформить брак первого июня, когда Уне исполнится восемнадцать лет и для нее уже не будет обязательным согласие родителей. Кстати, ее мать, которой она давно уже рассказала о своей любви к моему отцу, одобряла этот союз с самого начала. Но имелись все основания опасаться, что Юджин О'Нил, столь яростно препятствовавший ее поступлению на сцену, будет так же резко возражать и против брака с Чарли Чаплином...

Да, отец в самом деле любил Уну. Это заметно было всем, кто видел их вместе. Уна отличалась от его прежних жен. Выйдя за него замуж, Уна отказалась от всяких мыслей об артистической карьере, хотя была довольно близка к достижению этого. Юджин Фрэнк заключил с ней контракт, собираясь поручить ей и своей жене главные роли в кинофильме «Девушка из Ленинграда». Мой отец рекомендовал ей попробовать свои силы, ввиду ее редкой фотогеничности, и тем не менее был рад, когда Уна попросила Фрэнка освободить ее от контракта. Она приехала в Голливуд ради артистической карьеры, но, став женой Чаплина, вполне довольствовалась своей новой ролью. Это порвало последнюю нить, связывавшую ее с О'Нилом, но, мне кажется, она об этом не жалела. Как-то раз я спросил отца, объяснялся ли с ним Юджин О'Нил.

— Да нет, мы не разговариваем,— ответил он лаконично. Не помню, чтобы он или Уна обсуждали когда-нибудь О'Нила в житейском плане, но творчество его отец не раз горячо хвалил. Будучи сам художником, отец никогда не позволяет из-за личных счетов предвзято относиться к творчеству других художников. По-моему, он и в отношении себя требует таких же критериев...

В начале сороковых годов отец несколько раз принимался за сценарий «Господин Верду». Жуткую историю про французского «Синюю бороду» рассказал ему Орсон Уэллс, который сам подумывал поставить о нем фильм. Я слышал их разговор однажды после обеда у нас дома. С тех пор эта тема преследовала отца, и в конце концов он попросил Тима Дьюранта откупить у Уэллса право на ее использование. Однако он взял не идею Уэллса, а только образ главного персонажа Ландру, которого переименовал в господина Верду.

С самого начала друзья отца высказывали сомнения по поводу того, возможно ли превратить этот жуткий сюжет в комедию, но моего отца переубедить было трудно. Ему казалось, что, показав «Господина Верду», он совершит миссию, как было с «Великим диктатором». Его фильмы были протестом против страдания, против войн с их массовым уничтожением и особенно против применения разрушительных атомных бомб, взрыв которых в Нагасаки и Хиросиме произвел на него неизгладимо ужасное впечатление.

Все же мне кажется, что «Господин Верду» был для отца не только миссией. Я уверен, что в этом фильме он хотел воплотить все то, что много лет магически притягивало его и вместе с тем ужасало: газетные отчеты о страшных происшествиях, особенно если жертвой бывал ребенок... всевозможные садистские наказания, применяемые у разных народов, а также самоубийства и безумие, драматические события, предшествую-

щие казни, последняя трапеза приговоренного, его последние слова и действия.

С фронта я послал отцу несколько военных трофеев: большой фашистский флаг, парадную саблю германского офицера и кинжал, украшенный великолепным орнаментом и насечкой, но он вернул мне их при первой встрече.

— Я очень горжусь тобой, сын, но я не хочу, чтобы они были здесь,— сказал он мне.— Я не могу их видеть у себя в доме! — В тот момент, когда он отдавал мне эти вещи, на его лице был написан нескрываемый ужас.

«Господин Верду» послужил отдушиной для подобных противоречивых чувств, особенно для той мучительной скорби, которую испытывает отец, сталкиваясь с таинственными проявлениями душевной болезни. Казалось, что он надеется средствами бурлеска смягчить существующую в жизни жестокость и облегчить этим свою душу.

Когда я вернулся домой с фронта, сценарий «Господин Верду» уже был почти готов. Отец был увлечен своим героем, как недавно был увлечен ролью Гитлера. Он изучал каждую подробность жизни этого маленького злодея Верду и, думая о нем, подчас бывал долго в дурном настроении.

На протяжении весны 1946 года отец завел обычай показывать мне и бывшим в доме гостям разные сцены из «Господина Верду», и они всегда вызывали гомерический смех. Но, приступив к съемкам, он изъял почти все эти эпизоды, которые в свое время испытал на нас. Мне жаль этого до сих пор, ибо то, что отец импровизировал, было, по-моему, куда смешнее, чем то, что попало на экран. Пожалуй, из-за того что я был так избалован, «Господин Верду» понравился мне меньше всех остальных отцовских фильмов.

Отец решил, кому поручит главную женскую роль, и начал писать текст для этой актрисы, даже не предуведомив ее. Актрисой была Марта Рей, в отличие от прежних партнерш отца уже снимавшаяся в Голливуде. Но, как говорит сама Марта, ее артистическая карьера изобиловала подъемами и спусками, и в тот момент был явный спуск. Однажды, когда она работала в Нью-Йорке, раздался телефонный звонок. Незнакомый голос заявил Марте:

— С вами говорит Чарли Чаплин.

— Ну да! — рассмеялась Марта, приняв это за шутку, и повесила трубку.

Она онемела от изумления, когда ее антрепренер Эйб Ластфогел нашел ее и сообщил, что то был действительно Чаплин.

— Знаете, для комической актрисы это почти равносильно тому, как если бы ей позвонил сам господь бог,— поясняет Марта.

Марта бросилась к телефону и сама вызвала по междугородному проводу отца; хотя ее всю трясло во время этого разговора, она поняла, что ее приглашают приехать в Голливуд через двенадцать дней. Чарли Чаплин, «король комедии», предлагает ей быть его партнершей в фильме! Марта едва сумела выдохнуть «Согласна».

В первый день знакомства с Чаплином она была невменяемой от страха. Они побеседовали, потом вместе пообедали, и, видя ее испуг, отец обещал дать ей два дня на репетиции. Но эти два дня не помогли ей подавить трепет перед великим Чаплином. Ей уже успели рассказать, какой он тиран-режиссер и как терзает всех своей страстью к совершенству.

Несколько дней Марта робко бродила среди де-

Марта Рей и Чарли Чаплин в фильме «Господин Верду».

кораций, обращаясь к отцу с великой почтительностью: «Мистер Чаплин, пожалуйста...», «Мистер Чаплин, будьте любезны...», и дошла до такого нервного напряжения, что у нее чуть сердце не выскакивало. Тогда она решила освободиться от этого чувства, освободиться любой ценой, а дальше будь что будет. В тот день я и Сид (успевший тоже вернуться из армии) были на студии. У отца не получалась какая-то мизансцена, и все бились над ней вместе с ним.

— Чак! Чак! — раздался вдруг голос Марты.— Покажите, как мне сыграть это место!

Отец изумленно повел головой. Кажется, впервые за всю его жизнь кто-то осмелился назвать его Чаком. Взгляды их встретились, и он увидел в глазах Марты задорный огонек. Лицо его повеселело. Напряжение исчезло. После этого Марта звала его только Чаком, а он ее — Мэгги (настоящее имя Марты — Маргарет Рид).

Итак, первый барьер был взят. Но Марта понимала, что это еще не все: нужно было добиться того, чтобы Чаплин не подавлял ее своей волей. Однажды в середине какой-то сцены она вдруг замолчала, и сразу вся игра остановилась.

— Перерыв! — зычным голосом скомандовала Марта.

— Что? Что вы сказали? — поднял брови отец, не успев от удивления рассердиться.

— Пора обедать! — кратко пояснила Марта.— Уже два часа, а никто еще не ел.

Это был первый случай, когда кто-нибудь в разгар работы посмел напомнить отцу о времени.

— Верно! — согласился отец и объявил перерыв на час.

После этого, стоило только Марте воскликнуть: «Перерыв!», отец прекращал работу, не говоря ни слова. Те из нас, кто хорошо знали его привычки, в душе смеялись. Ибо впервые за всю его режиссерскую деятельность одна из его «звезд» храбро воспротивилась его власти.

Марта работала рядом с отцом отнюдь не спустя рукава. Она старалась учиться так же жадно, как Полетт и Джек Оуки. В любое время ее можно было застать на студии, даже когда ей и не требовалось там быть — она приходила смотреть. До мельчайших подробностей запоминала она все указания отца. Для нее все это было очень важно, потому что ее манера исполнения тоже зиждется на пантомиме. Отец научил ее соизмерять свою игру с размерами зрительного зала, как оратор — свой голос: пантомима крупного плана нужна для больших помещений, более интимная — для малых...

Отец просил Марту не готовиться к съемкам слишком старательно. Он считал, что ей, не в пример другим актрисам, репетиции вредят. Но Марта отличалась от обычных актрис. Она была изобретательной пантомимисткой, а отец всегда придавал огромное значение экспромту в этом специфическом жанре комедии, совмещающем патетику и фарс.

— Если вам скучно и вас больше не забавляет ваша роль, тогда и зрителям будет скучно смотреть на вас! — говорил он Марте.

Так как Марта в основном пантомимистка, отец, видимо, чувствовал между собой и ею родственную связь. Он очень ценил ее талант, редко делал ей замечания и никогда не пытался приглушить ее игру, хотя Марта не раз тревожно спрашивала, не хватила ли она через край.

— Не бойтесь,— отвечал отец.— Я вас так и писал. Если что будет не так, я остановлю.— И говорил в назидание: — Если у вас нет грязных мыслей, можете делать что угодно, Мэгги. Дайте волю фантазии! Пусть им будет смешно, в этом нет ничего зазорного. Одни люди умеют ругаться, другие нет. Это тоже своего рода способность, талант. У кого есть, у кого нет.

Однажды Марта призналась отцу, что она страшно нервничает, и в ответ он стал изливать ей свою душу.

— Я и сам нервный, как черт,— признался он и далее начал говорить, что с «Господином Верду» он попал в совершенно новую сферу. Ему не хватает его талисмана — «маленького бродяги», который ушел из «Великого диктатора» и больше уже не вернется. Ему не хватает знакомых мешковатых панталон, котелка и маленьких усиков. Теперь он должен играть странного, даже отталкивающего персонажа — французского «Синюю бороду». Страшная жизнь этого человека должна быть изображена средствами комедии, причем здесь необходимо так тонко лавировать, чтобы картина нигде не напоминала трагедию, но и не скатилась к заурядному детективу.

— Зачем ему надо было рассказывать мне о своей нервозности? — удивлялась Марта.— Он же великий Чарли Чаплин! Он не должен признаваться в своей слабости!

Вряд ли Марта догадывалась, как одинок и несчастлив бывает Чарли Чаплин в период работы над фильмом.

На этот раз, вопреки обычаю, отец избегал повторных съемок. Видно было, что он очень спешит закончить фильм, и «Господин Верду» был действительно сделан в рекордный для Чаплина срок — двенадцать недель, хотя пущен в прокат лишь в апреле следующего года.

В Соединенных Штатах «Господин Верду» успеха не имел. Он не привлек к себе сердца американских зрителей:

вдобавок его бойкотировали различные группы. Одни выступали против легкомысленной трактовки темы убийства, другие же не скрывали, что бойкот направлен не столько против фильма, сколько против его автора. Так, например, в мае 1947 года, через месяц после премьеры, триста двадцать пять владельцев кинотеатров в штате Огайо сделали попытку организовать общеамериканский бойкот фильма, заявив, что «такой киноактер, как Чаплин, не имеет права отнимать время кинозрителей». Моего отца изображали безнравственным донжуаном, и это помогло опять привлечь внимание публики к его личной жизни; все ошибки, в которых его когда-либо обвиняли, были теперь раздуты до масштабов страшных преступлений. Но к этому я еще вернусь...

Отец всегда мечтал дать мне и Сиду высшее образование, и я старался следовать его желаниям. Но после службы в армии мне претила мысль о новой четырехлетней муштре. Так же обстояло дело с Сидом и со многими другими юношами, которые вынуждены были прервать учение и пойти в солдаты. Отцу это причиняло огромное огорчение.

— Брось ты бегать с девушками, тратить попусту время,— говорил он мне назидательно.— Заверши свое образование, и я возьму тебя в студию и обучу всем тонкостям кинематографии. Если хочешь, даже куплю тебе дом, о котором ты мечтаешь...

Я подчинился, но в ограниченной мере. Записался, чтобы утешить отца, в Калифорнийский университет в Лос-Анжелесе на несколько курсов лекций. Однако меня не покидало чувство, что все это бесцельно, и к концу учебного года я твердо решил отказаться от высшего образования. Я перешел из университета в театральную студию «Серкл», куда еще до меня поступил Сид. Из нее отпочковалась голливудская лаборатория актерского мастерства...

Отец пришел на первый спектакль «Лаборатории» посмотреть меня на сцене. Как-то он отнесется к моей игре? Я не знал и терзался невероятно. Мне казалось, что в зрительном зале, кроме него, никого больше нет. В середине спектакля публика засмеялась, и я вдруг явственно услышал звонкую россыпь отцовского смеха... Я сразу почувствовал огромный подъем. После спектакля отец пришел за кулисы и поздравил меня.

— Я и не знал, что ты такой молодец,— сказал он удивленным тоном, словно мое умение что-то делать на сцене было для него и вправду неожиданным.

Я спросил его, нет ли у него каких-либо замечаний или советов. Он сделал мне одно замечание, и оно кажется очень характерным для его постоянного поиска жизненной правды в искусстве.

— Ты играешь короля,— сказал он,— но окружаешь слишком большой помпой посвящение в рыцари. Король просто вытаскивает меч из ножен и — хлоп по одному плечу, хлоп по другому. «Теперь ты рыцарь»... Все абсолютно прозаично, ведь для монарха это скучное, обыденное занятие.

Вся работа отца в кино являлась таким же экспромтом, как этот показ королевской манеры посвящения в рыцари...

В конце 1951 года отец начал снимать «Огни рампы», над которыми работал уже пять лет. Сид получил в фильме роль юного романтического героя. Даже в семье бывают разные типы. Отцу был нужен очень высокий актер, который подчеркивал бы его собственную низкорослость, а Сид ростом более шести футов, он самый крупный из нас. Надо также сказать, что отец занимался с ним несколько лет и писал эту роль, имея в виду Сида. Когда я вернулся в Голливуд, отец настоял, чтобы я тоже участвовал в этом фильме, хотя бы в небольшом эпизоде.

Теперь у него с Уной было уже четверо детей: Джеральдина, Майкл, Джозефина и маленькая Виктория, родившаяся весной. Троих старших отец собирался снимать вместе со мной и Сидом. По весьма сентиментальной причине он хотел, чтобы «Огни рампы» были семейной (это его слова) картиной. Он заявил, что это будет его последнее и самое лучшее творение, завершив которое он удалится от дел. Мне кажется, что и в тот раз это говорилось больше по привычке: большой уверенности в словах отца не чувствовалось.

— Что ж,— говорил он,— пора на покой. Сделаю вот это — и баста. Старость!

Ему в то время исполнилось 63 года, и он уже начинал подшучивать над своим возрастом. По-видимому, седьмой десяток напоминал о себе, хотя и в тот момент отец не придавал большого значения количеству прожитых лет. Он вообще молод душой и любит быть окруженным молодежью, а если не молодежью, то, во всяком случае, людьми, юными духом.

Сценарий «Огней рампы», в котором отец широко использовал воспоминания о лондонских мюзик-холлах времен своего детства, является в известной степени символической автобиографией. В фильме, снятом по его сценарию, отец опять исполнил роль пьяницы, которой он в 1913 году, совершая турне по Соединенным Штатам с труппой Карно, привлек внимание Голливуда. В «Огнях рампы» это не столь комично, сколь призвано вызывать грусть.

Главный герой фильма — старик пантомимист, изгнанный со сцены из-за пристрастия к алкоголю. Он становится другим благодаря девушке, спасенной им от самоубийства. Она любит его, но старик не может поверить своей счастливой судьбе и содействует сближению девушки с робким молодым музыкантом...

Съемки фильма начались в первых числах декабря 1951 года. По плану их следовало закончить в 36 дней, но они продлились все 50. Теперь пришел и наш черед стать жертвами отцовской страсти к совершенству, которую мы с детства наблюдали на других. После этой работы с отцом я еще больше убедился, что его неистовство и кипучая энергия делают почти невозможным для актеров проявить свою индивидуальность. Ни один режиссер на свете не мог бы дать отцу больше, чем отец дает себе сам, но для актеров меньшего калибра была бы, по-моему, куда полезнее иного рода режиссура.

Ко мне и Сиду он оказался еще требовательнее, чем к посторонним. Он не только не проявлял отеческой снисходительности, но, наоборот, ударившись в другую крайность, выставлял наши недостатки напоказ. Особенно доставалось от него Сиду в роли влюбленного юноши, и на студии все сочувствовали брату. Впрочем, Сид никогда не жаловался. Он сохранял душевное спокойствие и мотал себе на ус отцовские уроки; в результате роль была им исполнена превосходно — это отметили все рецензенты.

Теперь, когда мы стали взрослыми и, к тому же, товарищами отца по профессии, он начал посвящать нас в свои замыслы, обсуждать с нами идеи, воплощение которых искал в своих фильмах. Эти идеи, составлявшие его жизненную философию, на раннем этапе его творчества выражал «маленький бродяга». Отец часто возобновлял о нем разговор, ибо по существу старик актер в «Огнях рампы» — это тот же персонаж, только мудрее и потому еще печальнее. Отец считает, что его кинематографический «маленький бродяга» служит портретом маленького человека в жизни, который вечно к чему-то стремится, но, так и не достигнув главной цели, уходит со сцены таким же печальным, каким пришел. Подобная трактовка выражает мироощущение отца, что в жизни все ненадежно. Объективно отец понимает, что он великий комедийный актер. Объективно он добился славы, богатства и огромного уважения своих коллег, что служит подтверждением признания. Но в душе он остается маленьким человеком, терзающимся мыслью, что он неудачник и не сумел осуществить своих стремлений. Этот скорбный мотив звучит во всех его фильмах, и даже если вы повидали счастливый конец, все равно у вас остается грустное чувство и ощущение какой-то утраты. Вы испытали на себе влияние человека, который всегда стремится к совершенству, но, при всем огромном, напряженнейшем труде (иного он не признает!), никогда не достигает окончательной цели, которая хоть и дразнит своей близостью, но остается недостижимой.

В своих технических приемах отец склонен подражать театру. Он убежденный сторонник того, чтобы показывать как можно шире всю сцену, а не смену эпизодов; к последнему он прибегает лишь в тех случаях, когда это совершенно необходимо. Крупный план, бывало говорил он, бьет только на эмоции. А в фильме главное — показ картины жизни, такой картины действительности, в которой отдельная личность, сколь ни важна ее роль, является лишь частью общего целого...

Отец всегда искренне сочувствовал маленькому человеку и доказывал это своим отношением к работникам собственной студии. Он всегда считал, что нет ничего горше, чем деградация бедняков. Помню, как во время путешествия по Индии он был потрясен зрелищем чудовищной нищеты и с восхищением говорил о Ганди, который соединил свою судьбу с отверженными, хотя мог жить в полном довольстве. Отец считал Ганди не только талантливейшим человеком, но и одним из самых богоподобных.

Некоторое время отец увлекался Рамсеем Макдональдом за то, что тот отстаивал права простых людей. Но вот, находясь в 1931 году в Англии, отец посетил Макдональда в его имении и оказался свидетелем того, как премьер-министр бесцеремонно прогнал каких-то людей, расположившихся на отдых на дальнем конце его территории. Мой отец, который на свою беду остается в наш черствый век идеалистом в области политики, был скандализован. Он больше не желал иметь дела с Макдональдом, даже отказался фотографироваться рядом с ним.

У отца есть еще одно глубокое убеждение: необходимо найти способ обеспечения мира во всем мире. В этом вопросе он почти фанатик...

По мнению отца, национализм порождает войну, поэтому он выступает против вдалбливания детям ура-патриотизма. Он утверждает, что подобные идеи учат их смотреть свысока на другие расы и народы, и так возникают шовинистические государства, вроде фашистской Германии. Вот почему он любит называть себя интернационалистом...

Любит отец и встречи с интересными людьми. Ему очень нравился Генри Уол-

лес, который как-то приезжал к нему на теннис. В доме у него бывали Гарри Бриджес и Поль Робсон. Он принимал гостившего в Америке настоятеля Кентерберийского собора Хьюлета Джонсона, известного под кличкой «красный настоятель» по причине его крайне левых взглядов. Отец считал его исключительно ярким человеком.

Наиболее спорной личностью среди гостей отца являлся композитор Ганс Эйслер. Для отца не имело значения, что Эйслер брат Герхарда Эйслера, возглавлявшего политическую пропаганду в Восточной Германии. Отец никогда не задавал Эйслеру вопроса, коммунист ли он. Он видел в Эйслере прежде всего талантливого музыканта, переживающего полосу трудностей, и помогал ему, пренебрегая общественным мнением, ибо не в его характере оставить в нужде талантливого человека...

На протяжении ряда лет отец предлагал довольно фантастические, а кое-когда и весьма радикальные способы разрешения мировых проблем, но никто этого никогда не принимал всерьез.

Насколько мне удалось установить, первое прямое обвинение против него было возбуждено на основании закона Манна. Именно тогда комиссия Дайса по расследованию антиамериканской деятельности привлекла отца к ответственности за нью-йоркскую речь в пользу второго фронта, произнесенную им еще в 1942 году. Между тем второй фронт давно существовал, и Россия все еще оставалась нашей союзницей, так что обвинение было несерьезным... В 1945 году отцу был нанесен новый удар — сенатор Уильям Лангер заявил, что собирается потребовать специального указа о высылке его из Соединенных Штатов как нравственно неблагонадежного иностранца. Министерство юстиции поспешило ответить, что, если бы Чаплина нашли в чем-то виновным, достаточно было бы существующего закона, но в данном случае оснований для высылки нет.

Весной 1946 года произошел случай, снова возродивший подозрения к политическим связям отца. В Голливуде гостил под эгидой нашего госдепартамента советский поэт и драматург Константин Симонов, и он был любезно принят отцом совместно с режиссером Луисом Майлстоном и покойным Джоном Гарфилдом. Перед отъездом Симонов, в знак признательности за гостеприимство, пригласил их на банкет, устроенный на борту советского танкера «Батуми» в гавани Лонг-Бич. Все трое приняли это приглашение. Безусловно, их отказ явился бы нарушением правил вежливости и мог быть воспринят как недоброжелательный акт по отношению к советскому народу.

В более спокойной обстановке, какая преобладает сегодня, значение, которое придали этому случаю тогда, кажется довольно смешным. И ныне американо-советский дипломатический статус остается тем же, что и в 1946 году, в момент истории с Симоновым, однако никого в нашей стране не осуждают за посещение России и уж подавно за посещение советского танкера, находящегося в наших водах. И каждый американский гражданин, понимающий толк в политике, независимо от своей партийной принадлежности, право же, улыбнется, услыхав некоторые фамилии наших крупных государственных деятелей, встречающихся в сердечной обстановке с советскими руководителями как в Америке, так и на советской земле. Кое-кто из этих высокопоставленных лиц принадлежит к тому самому лагерю, который безжалостно травил отца в 1946 году за его идеи «единого мира».

Мой отец никогда не был в России, однако его случайный визит русскому поэту многие сочли верным доказательством его коммунистических симпатий. Газеты поспешили тогда раздуть этот инцидент. А сенатор от штата Калифорния Джек Б. Тенни назначил двух специальных агентов для расследования, не было ли здесь чего-нибудь антиамериканского.

Когда репортеры обратились к Майлстону, Гарфилду и моему отцу с просьбой прокомментировать этот случай, Майлстон и Гарфилд сделали разумные заявления. А мой отец отказался. Тут уместно упомянуть об одной его черте, которая постоянно доставляет ему массу неприятностей. Это — его полное неумение установить контакт с прессой. Отец, не стыдясь, признавал, что боится газет, ввиду той силы, которой они обладают, и всегда неописуемо нервничал, готовясь к интервью...

Отец не поменял свое подданство, потому что считал себя интернационалистом, а также потому, что не хотел отрекаться от своей родины. Но близким друзьям, которые настойчиво убеждали его принять американское гражданство и тем самым ослабить нападки, он приводил и третий, самый веский аргумент:

— Они тычут мне дуло в спину. Так я не могу это сделать!

В декабре 1946 года главный юрист комиссии по расследованию антиамериканской деятельности Эрни Адамсон заявил, что Чарли Чаплин будет вызван в Вашингтон на допрос в открытом заседании, а с ним вместе Уилл Роджерс-младший и Джеймс Рузвельт. Но прошло полгода, а отца все не вызывали и не предъявляли ему никаких конкретных обвинений.

Тем не менее сыр-бор не затухал. Даже в конгрессе в июне 1947 года отца

сделали объектом ожесточенных дебатов. Член палаты представителей Джон Э. Ренкин от штата Миссисипи договорился до того, что назвал его фильмы омерзительными. Когда представитель Калифорнии Чет Холифилд попытался встать на защиту Голливуда вообще, его резко оборвал член палаты Джозеф Мартин, возмутившись, что тот назвал комиссию «антиамериканской комиссией».

Настал июль, и отец был доведен до крайности радиопередачей Гарднера по «Нэшнл бродкэстинг корпорейшн». Заявив, что эта передача была полна намеков, что он коммунист и к тому же лжец, отец немедленно подал в федеральный суд иск за клевету, с требованием возмещения убытков в три миллиона долларов. Но темпераментные действия отца мало способствовали восстановлению истины, особенно если учесть, что в это самое время Парнелл Томас заявил, что Чаплин будет вызван в Вашингтон для дачи показаний комиссии конгресса по расследованию антиамериканской деятельности. В течение нескольких месяцев то тут, то там возникали туманные слухи, что его вот-вот собираются вызвать. И это каждый раз как бы служило новым доказательством, что отец — коммунист, а если не коммунист, то во всяком случае сочувствующий.

В ноябре 1947 года отец сделал еще один шаг, бросивший новую тень на его связи. Когда дело о высылке из Соединенных Штатов Ганса Эйслера было проиграно во всех инстанциях, отец обратился по телеграфу к Пабло Пикассо с просьбой стать во главе комитета французских деятелей искусства для заявления протеста американскому посольству в Париже по поводу «возмутительного решения о высылке Ганса Эйслера». «Одновременно шлите мне,— писал далее отец в своей телеграмме,— копию протеста для принятия мер здесь». Я думаю, что отцу даже в голову не пришла мысль, уместно ли обращение к заведомому коммунисту вступиться за того, кого обвиняют в коммунизме в некоммунистической стране. Как художник, отец обращался к другому художнику с просьбой помочь собрату по искусству. Но многие лица узрели в этом дерзость, и газеты набросились со всех сторон на отца с дубинками, правда, на сей раз обвиняя его в нарушении такта, но все же не в тайной подрывной деятельности. Да и какая же это тайная деятельность, если все было сделано открыто?

В апреле 1949 года отец снова представил нечто похожее на доказательство своих радикальных тенденций, дав согласие включить свое имя в список лиц, поддерживающих конгресс в защиту мира, организованный коммунистами. И здесь отца, с его характерным равнодушием к политике и всяческим «измам», привлекли только слова: «Мир во всем мире». Он считает обязательным, заявил отец в своем объяснении, поддерживать любое движение за мир, кто бы ни стоял за ним.

В том же месяце председатель юридической комиссии сената Патрик Маккаррен потребовал закон о высылке из Соединенных Штатов иностранцев, занимающихся подрывной деятельностью. А сенатор Гарри Кейн дал понять, кого они имеют в виду, открыто заявив, что этот закон позволит выслать моего отца, который якобы совершил государственное преступление, послав телеграмму Пикассо...

Не один только отец подвергался в те дни преследованиям. Не менее двух десятков известных кинодеятелей были вызваны для дачи показаний и подверглись допросу под дулами телевизионных камер, а многие другие, как мой отец, например, получив ярлык «подозрительные», так и не смогли выступить перед комиссией и восстановить свое доброе имя. По существу, было найдено очень немного левых, но сенсационная кампания навсегда вывела ряд людей из строя, а ряд других заставила на время стушеваться.

Разумеется, не только театральный мир пострадал от этой волны преследований и истерической ловли коммунистов; это происходило по всей стране на фоне событий в Корее. То был период, когда многие талантливые ученые, дипломаты и педагоги, так же как и рядовые государственные служащие, подвергались травле и были лишены работы. Эта кампания затихла лишь осенью 1954 года, когда сенат вынес резолюцию, порицающую действия сенатора Джозефа Маккарти.

Все это время, пока орудовала комиссия, темная туча висела над Голливудом. Все благосостояние людей искусства, вплоть до куска хлеба, зависит от общественного мнения; поэтому большинство тех, кто попали под подозрение, сочли за благо тихонько и незаметно пересидеть этот срок. Так будет лучше, думали они. Но только не мой отец! Будучи противоречивым индивидуалистом, он громко настаивал на уважении к правам личности. И в этом нет ничего противоестественного: ведь он высказывался в стране, которая всегда похвалялась тем, что поощряет индивидуализм в противовес принудительным общественным связям. Никакими силами нельзя было заставить отца молчать, и он упорно твердил, что при демократии каждому человеку должно быть дозволено думать то, что он хочет, и встречаться с кем он хочет, если он этим не приносит никому вреда. Можно сказать, что на эту борьбу его толкал главным

Чарли Чаплин, Уна О'Нил и Тим Дьюрант.

образом страх: отцу кажется, что если его заставят запереть на замок свои мысли, он этого не переживет. Для него самое страшное — это насилие.

Не подумайте, что борьба за свои убеждения не стоила отцу серьезных жертв. Когда я вернулся в Калифорнию, чтобы сыграть свою роль в «Огнях рампы», я с горечью обнаружил, как повлияла политическая позиция отца на его личную жизнь. Теперь уже не считалось честью быть гостем Чарли Чаплина. Многие просто-напросто боялись навлечь на себя подозрение, если станет известно об их посещениях его дома.

Тим Дьюрант, этот непоколебимый янки, твердый, как скала Новой Англии, не покинул отца в этот период, а, наоборот, старался всячески сохранить его окружение. В былые времена телефон Дьюранта трещал без умолку и люди заискивали перед Тимом, поили вином и угощали, в надежде заручиться приглашением к Чаплину. Теперь, по иронии судьбы, Тим должен был обзванивать их и приглашать. Но они испуганно отказывались. В маленьком спортивном павильоне и на зеленой лужайке, где когда-то отец устраивал воскресные приемы, теперь было пусто. Кажется, во всем Голливуде не нашлось бы в те дни человека более одинокого, чем Чарли Чаплин.

И вот в таком настроении, преследуемый мыслью, что это его прощание с кино, отец приступил к работе над «Огнями рампы» — печальной повестью мимического актера, который в свое время был знаменит, но впал в немилость и сошел со сцены.

---

4 августа 1952 года отец устроил предварительный просмотр «Огней рампы». Собралось двести приглашенных. Такие известные кинодеятели, как Дэвид Селзник, Хамфри Богарт и Рональд Колмен, явились для чествования Чарли Чаплина. И теперь, и тогда, в узком кругу голливудских деятелей, отца чтили как одного из великих гениев кино. Среди публики присутствовало много рабочих, служивших отцу верой и правдой еще со времен «Золотой лихорадки».

Как всегда перед просмотром, отец очень волновался. Когда фильм окончился, он вышел сказать короткую речь. Не успел он произнести: «Я хочу от всей души сказать вам спасибо...», как его прервал женский голос из публики: «Нет, нет! Это вам спасибо!»

«Спасибо! Спасибо!» — неслось со всех сторон. Так была устроена отцу последняя овация в Голливуде, столь искренняя и пылкая, что фельетонист

Сидней Сколский писал потом об этом: «Я никогда еще не наблюдал в просмотровом зале такого волнения».

Сдав «Огни рампы», отец приступил к обсуждению с Уной плана поездки в Европу вместе с их четырьмя детьми. Отец побаивался уехать, не успев себя реабилитировать полностью. Но Уна, никогда не бывавшая в Европе, радовалась этой перспективе, как ребенок, и отцу не хотелось ее огорчать.

Едва пароход «Куин Элизабет» вышел в океан, министр юстиции Джеймс Макгренери аннулировал разрешение, данное отцу на обратный въезд в Соединенные Штаты, заявив, что предстоит специальное заседание, на котором будет обсуждено, подпадает ли Чаплин под общий иммиграционный закон. Это был беспрецедентный случай, ибо разрешение было утверждено в высших инстанциях до того, как отец уехал. Все было в порядке: налоги уплачены полностью, а что касается проверок, то он прошел подробнейшую еще в 1948 году, и как иммиграционное бюро, так и министерство юстиции сняли с него все обвинения в подрывной деятельности и аморальности.

Непонятно, зачем понадобилось Макгренери совершить этот неразумный шаг, выставивший Соединенные Штаты в столь невыгодном свете за границей. Люди, близкие отцу, считали, что действия генерального прокурора были продиктованы исключительно политикой.

Для отца это было как гром среди ясного неба. На борту парохода он незамедлительно сделал следующее заявление: «Я хлопотал в соответствующих инстанциях о разрешении мне обратного въезда, оно было мне дано с доверием, и я с доверием принял его. Посему надеюсь, что Соединенные Штаты признают его действительным».

На следующий день министерство юстиции, желая, по-видимому, оправдаться, заявило, что ему стали известны новые факты в отношении моего отца, потребовавшие принятия этих мер. «Мы располагаем обширной информацией»,— резко заявил репортерам представитель министерства.

Спустя два дня по прибытии во Францию, в порт Шербур, отец сделал новое заявление, начинавшееся так: «Я не придерживаюсь никаких специфических политических убеждений. Я люблю свободу, за это меня не должно критиковать ни одно демократическое правительство».

Прошла еще неделя, и 2 октября министр юстиции Макгренери произнес речь, в которой обозвал отца «отвратительной личностью», не подкрепив, однако, свое уничижительное заявление никакими фактами.

Тем временем Американский легион принял резолюцию, восхваляющую действия министра. Но многие граждане — и доброжелатели отца, и недоброжелатели — находили, что министр превысил власть, аннулировав разрешение в такой момент, когда отец не мог защитить себя. Мэри Пикфорд, особа весьма реакционных политических взглядов, правильно выразила собственные чувства, а также чувства своих единомышленников, заявив, что «великие Соединенные Штаты умалили этим свое достоинство».

Между тем Европа принимала отца с триумфом. Толпы людей приветствовали его на родине в Англии и всюду на континенте. Он был принят английской королевой. Французский президент Ориоль удостоил его звания кавалера Почетного легиона — самого высшего звания, каким удостаивает французская нация. Итальянский президент Луиджи Эйнауди устроил прием в его честь и наградил его золотой медалью от имени премьер-министра Де Гаспери.

Казалось, что Европа не только чествует великого человека, но пользуется случаем, чтобы подчеркнуть свое отрицательное отношение к несправедливости, проявленной к нему в Америке. И конечно официальный орган Советского Союза «Правда» использовала это как повод для сарказма. Хотя в фильмах Чаплина многое не прогрессивно, дело его, писала «Правда», исчерпывающе говорит о том, что американское правительство требует от каждого актера и каждой актрисы кино поставить свой талант на службу военной пропаганде — иначе их ждет бесконечная травля.

Повсеместно за границей мы, американцы, заработали себе дурную славу.

В феврале 1953 года «Огни рампы» были выпущены в прокат и в общем удостоились похвальных рецензий. В своей статье в «Сэтердей ревью» Артур Найт даже признал отца одним из трех неоспоримых гениев кино (другие два, по его мнению, были Д. Гриффит и Сергей Эйзенштейн), а его последний фильм — вершиной его творчества.

«Этот фильм,— писал Найт,— итоговый во всех смыслах. Он отображает, как в капле воды, мироощущение комика, его отношение к жизни, к любви, к зрителям, к комедии. По своему замыслу «Огни рампы» вовсе не комедия, это прощальная исповедь художника, облеченная в чарующе поэтичную форму и пронизанная тонким юмором».

Другой рецензент — Эл Хайн — тоже напечатал восторженную статью в «Холидей» и закончил ее следующим многозначительным абзацем: «Чаплин — гений и, безусловно, гордый и нелегкий человек... Но всем нам, американцам,

необходимо помнить, что как бы мы ни оскорбляли наших гениев, то зло, которое мы в итоге причиняем самим себе, гораздо больше. чем то неприятное чувство, которое испытывают они по нашей вине».

Перед самым выпуском фильма на экран возник еще один фактор, осложнивший и без того сложные отношения отца с американским правительством. Прошло уже четыре месяца с того момента, как министр юстиции сделал заявление о предстоящем заседании по поводу статуса моего отца. Хотя никакого заседания так и не состоялось, Американский легион тем временем объявил бойкот фильма: а там, мол, пускай Чаплин сам доказывает свою невиновность! К легиону присоединились дамские клубы. И как ни странно, его активно поддержал Рой Брюэр, председатель голливудского профсоюза работников кинематографии, входящего в АФТ *. Кинематографистам этот шаг показался крайне непоследовательным, ибо тот же мистер Брюэр перед этим разрешил членам своего профсоюза принять участие в съемках фильма «Огни рампы» — и вдруг сам же совершил резкий поворот и стал требовать его запрета.

Тут и там в Соединенных Штатах послышались голоса протеста... Но общая неблагоприятная обстановка лишала эти голоса всякой силы. Впрочем, как ни смешно, песенку из этого кинофильма, автором которой, разумеется, был отец, скоро стала распевать вся Америка.

Следя за печатью, отец уже был порядком обескуражен назойливыми газетными намеками, что если он надумает вернуться в Соединенные Штаты, то может застрять на Эллис-Айленде года на два, пока будет идти проверка. В апреле 1953 года отец вернул свой спорный документ вице-консулу Соединенных Штатов в Женеве Кеннету Оукли и сделал городок Веве своим постоянным местожительством. Меня не удивило, когда я узнал, что он избрал Швейцарию. Еще в детстве я слышал от него восторженные рассказы об этой маленькой демократической стране. Она, как и Америка, всегда прельщала его своим образом жизни и обещанием свободы личности.

С тех пор отец живет в Веве, и его последний фильм «Король в Нью-Йорке», поставленный за границей, свидетельствует о неизжитой обиде, которую, по его мнению, вероломно нанесли ему Соединенные Штаты. Пожалуй, не всем известно, что первый вариант сценария этого фильма был куда острее, чем тот, который он в конце концов использовал. Поразмыслив, отец значительно смягчил тон своей сатиры.

В Европе отец по-прежнему придерживается своих противоречивых тенденций, высказываясь обо всем как ему вздумается и встречаясь с кем ему нравится. И никого это, по-видимому, не ужасает. Он возобновил знакомство с Пикассо, привлеченный не политическими верованиями художника, а его выдающимся талантом.

В феврале 1954 года Чаплины наделали много шума тем, что Уна отказалась от американского гражданства и перешла в английское подданство. В этом же году отец принимал у себя Чжоу Энь-лая, премьера коммунистического Китая; был избран почетным членом Норвежской театральной ассоциации, а затем получил премию в 14 тысяч долларов от возглавляемого коммунистами Всемирного Совета Мира. И, чтобы далее подчеркнуть свою независимость, он передал часть этой премии католическому священнику аббату Пьеру, занимающемуся благотворительной деятельностью, чем навлек на себя гнев одного из своих ядовитых критиков в Соединенных Штатах, поспешившего обвинить его в непочтительности...

Я виделся с отцом в Веве в 1954 году, во время поездки в Германию, где мы с Сидом ставили фильм.

Отец расспрашивал о кинематографических делах в Америке, правда не очень подробно, но даже из того немногого я заключил, что он скучает по Голливуду, как ни старается это скрыть. Он не изжил своей горечи, горечи человека, который идеализировал объект своей любви и получил в награду неблагодарность. «Раз я им не нужен, я не хочу возвращаться!» — сказал он мне.

Но в целом, годы научили его более добродушно и философски смотреть на вещи. Я приписываю это во многом влиянию Уны, прелестной, скромной, симпатичной Уны, и ее очаровательных, словно вышедших из сказки, детей. Однажды Уна сказала, что ей хотелось бы иметь десять детей,— похоже, что это было сказано не в шутку.

О чем мы беседовали в этот мой приезд? Здесь, в Веве, так близко от Шильонского замка, естественно было вспомнить Байрона, и отец много говорил о сложной натуре поэта Вспоминал его хромоту, любовь к нему женщин, пессимизм поэта и силу воли. Упрямцу отцу особенно нравилась эта сила воли.

Мы говорили также об Эдгаре Аллане По и его слабостях, пьянстве и неряшестве в быту, что дало современникам повод осуждать его,— величие Эдгара По признали лишь после его смерти. Вспоминал отец и судьбу Шелли, которому, за участие в политических делах Ирландии и за его неортодоксальные взгляды

---

* Американская федерация труда.

на любовь пришлось покинуть Англию. По-видимому, отец смирился с тем фактом, что при жизни художника труд его всегда в какой-то мере расценивается в свете его личной жизни.

Отец с самого начала был убежден, что он художник и его работы достойны сохранения. В то время как другие гении кино, например Д. Гриффит, не берегли своих фильмов и легкомысленно допустили их гибель, отец бережно сохраняет свои в специальных металлических коробках, защищающих их от действия воздуха и времени. Его фильмы находятся в таком прекрасном состоянии, как будто они только что отсняты. Поклонникам Чаплина небезынтересно будет узнать, что он сохранил также большую часть своих неиспользованных кадров. Причем, многие из них, показавшиеся ему лишними, смешнее тех, которые он оставил...

Мой отец неисправим в отношении личной корреспонденции. В лучшем случае он ограничивается рождественским поздравлением. Но, узнав о моей женитьбе 5 августа 1958 года на актрисе Сьюзен Мэгнес, он прислал мне поздравительную телеграмму от себя, от Уны и от своего потомства — шестерых ребят. А когда после рождества он узнал, что мы не выдержали первого года супружеской жизни и разошлись, хотя ожидали уже ребенка, он счел это настолько ошеломляющим событием, что прислал мне письмо, письмо не письмо, но несколько теплых, отеческих строк, приложив чек на тысячу долларов.

Через девять месяцев, огорченный моим разводом, он снова сел за письмо. На сей раз я получил уже более пространное послание, полное родительской заботы, советов и философских мыслей человека, которого многому научила жизнь. В письме говорилось:

«Дорогой Чарли.

Сожалею, что до сих пор не собрался написать тебе, но ты, очевидно, слышал, что я пишу свои мемуары, на завершение которых потребуется еще не меньше года, а пока я только и знаю, что зачеркиваю да переписываю.

Я получил милое письмо от твоей жены, позволившее создать о ней приятное впечатление. Жаль, что вы не смогли ужиться. Ведь у вас есть все основания — в том числе прелестная дочурка, которая должна вас крепко связывать.

С годами ты поймешь, Чарли, как важно иметь тихую пристань, под этим я подразумеваю союз с человеком, которого знаешь много лет и который близок тебе духовно. У тебя такой прелестный ребенок, и ты обязан приложить все усилия, чтобы сделать его счастливым. В юности ничто не дает такого счастья и ощущения надежности, как присутствие отца и матери.

Мне уже семьдесят лет, и я очень много думаю о своих детях, в том числе и о тебе, о том, как ты строишь свою жизнь. Не растрачивай ее попусту! У тебя есть талант, характер и умение нравиться, я видел тебя на сцене и знаю твои разносторонние способности,— только отнесись к ним серьезно.

Не хочу, чтобы это письмо носило характер поучений, но меня ужасно огорчил твой развод...

Уна просит передать тебе привет, дети тоже. Они часто вспоминают тебя и безмерно гордятся своей прелестной маленькой племянницей. Их интересуют твои дела и удивляет, почему ты не приезжаешь. Растет молодежь: Джеральдине уже пятнадцать лет, Майклу скоро будет четырнадцать, Джози почти одиннадцать, Вики восемь, Юджину шесть, Джейн два годика, а бэби — три дня от роду.

Любящий тебя отец».

Я знаю, что, говоря так взволнованно о необходимости иметь тихую пристань, отец имеет в виду Уну, которая явилась к нему в самые мрачные годы его жизни и доказала свою преданность и любовь. Помню, еще когда мы были детьми, отец пожаловался Нана, что никто никогда не любил его по-настоящему. И я рад за него, что он, наконец, нашел Уну.

Н. Козлова

ПОСТАВЛЕН ВОПРОС О СЧАСТЬЕ

1

В апреле 1960 года издательство «Эдитер франсе реюни» подготовило к выпуску новый роман Андре Стиля «Обвал» *. Но в продажу книга не поступила. В числе других произведений о «грязной войне» в Алжире «Обвал» был конфискован полицией.

Полтора месяца шла упорная борьба за снятие запрета, наложенного цензурой. Наконец книга поступила в продажу.

Кое у кого из многочисленных читателей «Обвала» возникло недоумение: почему эту книгу пытались запретить? Ведь роман Стиля, казалось бы, не прибавлял почти никаких новых фактов, ничего нового к тем сообщениям о пытках, расстрелах, карательных экспедициях в Северной Африке, которые уже проникли во французскую печать.

И действительно, «Обвал» не содержит сенсационных разоблачений. Тем не менее французская цензура, стоящая на страже интересов правящих кругов, не ошиблась, оценив книгу как чувствительный удар по реакционной политике колониализма. Источник обличительной силы романа — не в открытии новых, неизвестных фактов, не в поименном перечислении преступников. Роман вызывает не мгновенную вспышку возмущения, а серьезное раздумье, стремление взвесить и всесторонне выверить свой протест против «грязной войны».

Стиль раскрывает варварство современного колониализма, его губительность для самой Франции, дав читателю заглянуть в душу простого француза, юноши, брошенного в пекло войны, показав трагедию его соучастия в преступлениях колониалистов. Что еще кроме позора и крестов на солдатских могилах принесла Франции бесславная война в Алжире? Что она может принести французскому народу завтра? Таковы вопросы, неизбежно встающие перед читателем романа.

При всей своей жгучей злободневности книга Стиля — не начало, а продолжение того разговора, который начат им уже более пяти лет назад. «Обвал» — новая часть большого, рассчитанного автором на много лет работы цикла под общим названием «Поставлен вопрос о счастье».

Сама правомерность постановки вопроса о счастье человека или, во всяком случае, своевременность его постановки могут показаться в условиях сегодняшней Франции, по меньшей мере, спорными. Можно ли сейчас, когда страна, весь французский народ переживают такие трудности, ставить вопрос о праве и возможности человека быть счастливым? Не делает ли в конечном итоге решение автора неизбежной одну из двух крайностей — признание права на эгоистическое самоутверждение или же новые

---

* На русском языке роман Андре Стиля «Обвал» опубликован в журнале «Иностранная литература», №№ 4 и 5 за 1961 год.

прекраснодушные, но не менее несбыточные, чем старые, утопии? Буржуазная литература и литература социалистического реализма дают на это два различных ответа. И прежде всего потому, что исходят из двух резко противоположных концепций человеческого счастья.

Весь опыт литературы новейшего времени убеждает, что любые попытки решить вопрос о большом, подлинном человеческом счастье в рамках индивидуально обособленной судьбы — тщетны. Они неизбежно приводят в одних случаях к открытому прославлению хищнического эгоцентризма, в других — к поискам утешительных компромиссов в области «открытия» так называемых «абсолютных ценностей». Чаще же всего они ведут в темное царство изломанных душ, утраченных иллюзий, обманутых надежд. И не случайно буржуазная литература последнего времени так часто вообще отказывается от обращения к вопросу о поисках путей к человеческому счастью, на который у нее есть только негативные ответы.

Но писателю борющегося пролетариата есть что сказать по этому вопросу. Литература социалистического реализма, по глубокому замечанию Горького, утверждающая «бытие как деяние» и строящая свою эстетику как отражение «эпического героизма» трудовых масс, не отступает перед трудностями эпохи от своего утверждения права человека на счастье, не отказывается от борьбы за него. Она не преуменьшает суровости и сложности этой борьбы, но убеждает, что такая борьба плодотворна.

Место Андре Стиля в ряду лучших мастеров литературы социалистического реализма во Франции определяется тем, что главной темой всего его творчества стал французский рабочий, жизнь и борьба пролетариата Франции. Отсюда особенности и общая проблематики всего цикла «Поставлен вопрос о счастье», и включения в цикл частей, посвященных войне в Алжире.

«Я верю в будущее, в завтрашнюю политическую ситуацию»,— эти слова были сказаны Стилем в интервью по поводу его цикла в 1956 году, когда уже шли кровопролитные бои в Северной Африке. Но обращение к вышедшей в том же году книге цикла, сборнику новелл «Египетский хлеб», подтверждает: уверенность писателя — это не упование на благоприятное стечение обстоятельств в международной обстановке, она основана на его глубоком знании людей, о которых он пишет, на его неколебимой вере в них.

2

Герои цикла живут в рабочем поселке на севере Франции. В тех краях большая часть жизни рабочего проходит в вечном мраке шахты либо в ослепительных отсветах плавок у сталеплавильных печей. Тяжелый труд. Постоянная борьба за человеческие условия жизни, за хлеб насущный, за безопасность на производстве. Здесь вопрос о праве на личное счастье сейчас же заставляет вспомнить об участи стариков, обреченных на полуголодное существование, о детях, которым скупо отмерян каждый глоток молока, каждый кусок хлеба. Но суровость жизни отнюдь не означает, что голос совести и чувство классовой солидарности требуют от человека отречения от личного счастья. Надо только, говорит писатель, найти верный путь к нему — чтобы не поступиться ради него общими интересами. Сама жизнь подтверждает вывод одного из молодых героев Стиля — коммуниста Эме,— что не перемена профессии, не поиски лучшего заработка, а борьба за коренное переустройство жизни — верный путь к счастью.

Борьба за будущее.. Ни в одной из книг цикла «Поставлен вопрос о счастье» нет прямого показа деятельности коммунистических ячеек. Но Стиль умеет дать понять, как глубоко вошли в жизнь французского рабочего связь с партией, доверие к ней, привычка прислушиваться к коммунистам. Особенно важна в плане раскрытия этого явления одна из центральных новелл первой книги цикла, «Часы».

Старинные, луковкой, часы, семейная реликвия делегата рабочих во Всеобщей Конфедерации Труда Шарлеманя, стали как бы принадлежностью цеха. Идет ли ответственная плавка, близок ли час обеда, начинается ли спор с хозяином завода, неизменно звучит вопрос: «Сколько на твоих?» Весь цех живет буквально по часам Шарлеманя. А после провала забастовки во взгляде Шарлеманя на свои старые, никогда не ошибающиеся часы товарищи читают его веру в будущее.

Человек не имеет права уподобляться зерну, которое, прежде чем взойти, пролежало три тысячи лет в саркофаге. Эта мысль одноименной со сборником новеллы «Египетский хлеб» получает развитие в другой его новелле «Если тебе хочется». Герой первой, Эме, и второй, Леонс,— оба молодые рабочие со сталелитейного завода. Но если коммунисту Эме ясно, что его личное счастье не отделимо от борьбы всего рабочего класса, то Леонс далек от понимания этого непреложного закона.

Леонс недавно женился. Нежно любит жену. Не щадя себя, работает сверхурочно, чтобы освободить ее от необходимости служить. Молодой рабочий отгоняет мысли о последствиях своего усердия, а они не замедлят сказаться, когда фирма начнет пересматривать нормы. Но, хотя Леонсу тяжело от косых иронических взглядов товарищей и благожелательности начальников, он упорствует. Вдумчиво исследуя сердца, поступки, сомнения молодых героев новеллы, автор ищет ответа на вопрос, прочно ли и истинно ли их счастье. И показывает: заботами Леонса Аньес выключена из повседневного существования рабочего поселка да, по существу, и из жизни мужа. С отчуждением от рабочей среды к Аньес приходят соблазны «красивого существования», рекламируемого витринами модных магазинов, кинофильмами из светской жизни. Не подозревая о том, Леонс сам подрубает свое счастье.

Исподволь, пока еще только намеченная, зарождается в новелле тема человека, теряющего чувство ответственности. Леонса еще не понесло под откос. Но он уже близок к этому. И Стиль показывает: чувство единства с товарищами в Леонсе заглушает не сама по себе его действительно большая и самоотверженная любовь к жене, а мещанское, чисто буржуазное представление о счастье как о праздном, не знающем забот существовании, которое он стремится обеспечить ей.

Таким образом, уже в сборнике «Египетский хлеб» Стиль подводит читателя к мысли, очень важной для понимания трагедий героев последующих книг цикла. Если в сознании простого рабочего человека появляется брешь и он слепо и бездумно отдается подхватывающему его потоку событий, то, утверждает Стиль, причины этого надо искать не в так называемых «вечных» и будто бы надысторических, надклассовых свойствах человеческой души, а в другом: в философии и морали буржуазного общества, которое не только эксплуатирует рабочего, но и ежедневно и ежечасно старается отравить его своей идеологией, заразить своими пороками. И Стиль дает понять, что особенно остро этот вопрос встает для молодежи, характер и взгляды которой находятся еще в стадии становления.

3

Следующая часть цикла «Поставлен вопрос о счастье», роман «Мы будем любить друг друга завтра», вышел в 1957 году.

Само название этого романа, как и ряда других произведений Стиля, многозначно. В нем надежда на близкое разрешение тяжелого кризиса, возникшего в любовных отношениях юных героев. И в нем горечь многих молодых французов, для которых право на счастье, на любовь отодвинулось в неопределенное «завтра». Ведь тысячи таких, как герои романа Раймон и Анни, разлучены, и, может быть, навсегда, войной, которую Франция по воле горстки монополистов ведет против народа Алжира.

Вторая часть романа озаглавлена: «Упоминание о войне запрещено цензурой». Но в душе Раймона пережитое на войне поднимается само, не спрашивая разрешения цензуры, подстерегая на каждом шагу.

Раймон отказывался малевать на стенах домов арабов «Алжир — французский!», пытался уклоняться от участия в бою. И все же остаться в стороне оказалось невозможно при всей ненависти Раймона к «грязной войне», сочувствии противнику, уважении к его мужеству, делу, за которое тот сражается. Во время одного из боев Раймон, чтобы спасти товарища, решил слегка ранить алжирского стрелка. И тот попал в плен. Его сейчас же прикончили. «Если бы я не выстрелил,— говорит Раймон,— я бы мучился не меньше. Дюрье тоже должен был жить, он неглупый малый и во всем разбирается .. Он тоже был металлистом .. Война была ему ненавистна... Не зная друг друга и, вероятно, сами того не ведая Дюрье и тот, другой, были одних и тех же взглядов... Но один из них должен был погибнуть, и в этом все дело... Преступление было предопределено...»

Преступление было предопределено, оно будет продолжаться, не только унося жизни, но и разрушая души людей, вынужденных стать его соучастниками. Такова трагедия Раймона и многих его сверстников. Конец ее наступит лишь тогда, когда, как говорит себе Раймон, «наши народы полюбят друг друга». И конечно в названии романа «Мы будем любить друг друга завтра» звучит также и ответ на важнейший для трудовой Франции вопрос об Алжире. Без уверенности в этом «завтра», которое наступит во взаимоотношениях французского и алжирского народов, для тысяч людей по обе стороны фронта немыслима даже надежда на счастье, даже разговор о будущем! Особенно для молодежи.

Раймон на первых страницах романа еще очень молод, полон сил. Все в нем бродит, все не устоялось — и труд и любовь для него пока еще только большое обещание, и вся жизнь кажется широкой, прямой дорогой, по которой можно шагать, не опуская головы, смело глядя в будущее. Но Раймону и многим его сверстникам пришлось стать участниками алжирской войны, оставившей неизгладимый след в его душе: «Часто можно услышать, что эта война вырыла пропасть между народами Франции и Алжира. Она также вырыла пропасть между солдатами и их семьями. Но она роет пропасть и в самих солдатах»,— эти авторские размышления как бы подводят итог мыслям героя, тяжелым, отчаянным. Раймону кажется: ему уже никогда не выпрямиться, не взглянуть в глаза людям. Но в этих муках совести, в суровом анализе, которому, не щадя себя, подвергает герой Стиля свои поступки, постепенно складывается и крепнет его характер. Именно так надо понимать слова Стиля о Раймоне — «он победит».

4

Об Алжире во Франции думают постоянно, неотступно. Написано немало книг, в которых прогрессивные писатели, журналисты или просто честные очевидцы разоблачают низкие преступления французской военщины, полиции, мракобесов «ультра». В этих книгах звучит голос демократической Франции, огромного большинства французов. Они требуют прекращения огня и предоставления алжирцам возможности осуществить свое законное право на национальное самоопределение.

За последнее время во Франции начали появляться и художественные произведения, повествующие о том, какой отклик в сознании рядового француза находит алжирская трагедия.

В произведениях о войне в Алжире французским писателям не всегда удается правильно показать взаимоотношения французского и алжирского народов. Андре Вюрмсер, например, справедливо возражал против изображения французов (всех французов!) и алжирцев как двух ощетинившихся, монолитных в своей враждебности друг к другу лагерей. И Стиль, писатель социалистического реализма, хорошо понимает это.

Для обитателя рабочего поселка, где живут герои цикла Стиля «Поставлен вопрос о счастье», алжирец, работающий рядом, в шахте или на заводе,— не враг, а товарищ, перед которым стыдно за свою страну и даже за тех, кто против воли вынужден вести огонь в Северной Африке. Именно поэтому Раймон говорит себе: «Все время, пока я был в Алжире, мне казалось, что оккупирован мой родной поселок и что иноземные солдаты вваливаются в дом Анни... именно так и нужно представлять себе все, чтобы правильно понимать жизнь... и многие вопросы...» Этот вывод рабочего паренька — недавнего участника грязной колониальной войны — приобретает особое значение в свете событий весны 1961 года. Немало Раймонов поднялось в памятные апрельские дни, чтобы дать отпор фашистскому мятежу и потребовать справедливого мира с Алжиром. Для них алжирская трагедия, борьба за ее преодоление давно уже стали их собственной судьбой, их сражением на пути к счастью.

Примечательно, что в романе «Мы будем любить друг друга завтра» Стиль умеет сохранить ощущение масштаба истории, раскрывая внутренний мир своих героев. А именно такой угол зрения выбран в романе «Мы будем любить друг друга завтра» и в «Обвале».

Повествование в романе «Обвал» ведется поочередно от лица трех главных героев — матери и ее сыновей. Характер, судьба у них неодинаковы, и даже мысли сменяются с разной быстротой и интенсивностью: медлительные, нечеткие — у Анжелы, размерен-

ные, ясные — у Альбера, стремительные, сбивчивые — у Бернара... Но есть одна трагически постоянная точка скрещения их дум — Алжир, где воюет младший из Давэнов, Бернар.

С самого же начала Бернар, хотя он и стыдился участия в войне, сторонился активных карателей, по существу был равнодушен к происходящим у него на глазах преступлениям и внутренне не был подготовлен к отпору хитроумной, изобретательной пропаганде. Первого испытания — слуха о гибели товарища — оказалось достаточно, чтобы Бернар поддался на подстрекательство начальства и вызвался расстрелять пленного старика алжирца. То был поступок, неожиданный для самого юноши. Но теперь уже его «отметили», ему льстят, его искушают. Ему поручают охрану пленных. Он присутствует при пытках. Еще немного, и самого Бернара тоже захлестнет лавина всех этих преступлений.

Как случилось, что в семье шахтера-коммуниста, героя Сопротивления, чья память и через десять лет после его смерти жива в рабочем поселке, вырос юноша подобного склада? Этот вопрос — безусловно один из важнейших поставленных автором романа. И Стиль не спешит с ответом, как бы сам обдумывая его вместе со своими героями, не ставя точек над «и».

Из монологов матери постепенно вырисовывается детство Бернара — младшего сына в семье, рано потерявшей отца. Да, пожалуй, Анжела, замкнувшись во вдовьем горе, неприметно для себя противопоставила «Малыша» остальному миру и воспитала его эгоистом. Пожалуй, в семье слишком баловали сироту, не преодолевая дурного в характере ребенка, были излишне снисходительны к проступкам юноши. Но ведь и сам Бернар тоже не пытался выработать в себе стойкость и мужество — качества, которых ему как раз и не хватило в решающий момент. Во внутреннем монологе Бернара обнажается душа человека, которого влекут в пропасть пренебрежение к другим, бахвальство, ложная гордость и страх смерти. И слово «обвал» («когда все ползет, словно грунт, лишенный опоры») очень ярко характеризует его душевное состояние.

Бернар бывает циничен, склонен уступать любому своему влечению и не пытается задаваться вопросами о цели и смысле своего существования. Именно в силу особого склада своего характера и взглядов на жизнь Бернар решает раньше срока призыва пойти в армию: он боится шахты, где десять лет назад погиб его отец, а другой работы не подвернулось. Правда, он не думал, что ему придется стать участником войны в Алжире — там более опасно, чем в шахте, а Бернар боится смерти. Но кровопролитные бои в Северной Африке начались, и молодой солдат стал их участником. Именно в это время ему приходится пережить величайшее «испытание на крепость». Бернар усвоил правило жить, не задумываясь, не контролируя себя. А он попадает в такие условия, где «плыть по течению» означает стать сообщником гнуснейших преступлений. Здесь ведь учитывают все — и нерасчетливую порывистость, и склонность противопоставить себя товарищам, и юношескую нетерпимость к их критике. Где же, казалось бы, взять ему силы для сопротивления?

Но жизнь человеческая сложнее, чем думают те, кто хотел бы превратить людей в послушных роботов их злой воли.

Стиль борется за человека в своем герое, проникая в самые сокровенные уголки его души. Но и здесь, в области тайных движений сердца, писатель социалистического реализма открывает отзвуки большого мира социальной борьбы. Раймон, герой романа «Мы будем любить друг друга завтра», чувствуя, как ему страшно, ощущая, что человечности его в самой ее основе нанесен этой войной удар, все же всеми силами защищается. И источник душевной силы Раймона, ясности его представлений о добре и зле надо искать в далеком рабочем поселке на севере Франции.

В романе «Обвал» перед нами человек с меньшим запасом сопротивления окружающему миру, не способный быть требовательным к себе, растерявшийся, смятенный. И все-таки даже в такой слабой душе нравственные представления рабочей среды оказываются опорой для сопротивления «обвалу». Именно потому, что он временами соизмеряет свои поступки с жизнью отца, возможными оценками близких, Бернар содрогается от ужаса, признается, что совершает подлость за подлостью. Но когда он забывает об этом, то равнодушно спокоен, совесть его дремлет.

Решающим моментом является приезд Бернара в отпуск, когда он, оказавшись сно-

ва среди родных и знакомых, каждую минуту ждет суда над собой, ждет их приговора. Шахтеры не привыкли много говорить. Кроме брата, никто не заводит и речи об Алжире. Но явное нежелание навестить отпускника, укоризненные взгляды, молчаливое ожидание его признаний красноречивее слов говорят, как нестерпима для обитателей поселка мысль, что один из «своих» уступил палачам. И, хотя Бернар упрямится, упорно избегает прямого честного разговора, он ощущает эту их непреклонность как твердую почву под ногами. Именно тогда возникла у него потребность попытаться пойти «против течения». Вернувшись на фронт, он сменил ружье на баранку шофера и поступками своими опроверг владевшую им ранее мысль, якобы «каждому своя шкура дорога». Бернар погиб, спасая раненых. «Он взял себя в руки. Он хотел искупить свою вину,— пишет семье Бернара его товарищ,— может быть, поэтому он и погиб».

Смерть Бернара — последний этап трагедии, причины которой не могут быть сведены только ко внешним обстоятельствам его судьбы, ибо и к моменту своей гибели юноша еще далек от осознания своей роли в этой войне, да и в жизни вообще.

Для Стиля, как мы знаем, не является новой тема человека, бездумно отдающегося потоку событий. Уже в первой части цикла «Поставлен вопрос о счастье» возник большой разговор о людях, замкнутых в узком мирке частных интересов, не пытающихся задуматься о своем общественном предназначении. Стиль показывал, что такая жизненная позиция отдает человека во власть буржуазному мировоззрению. Эта мысль по-новому остро возникает в романе «Обвал», предостерегая против шовинистической, колониалистской идеологии. Причем Стиль обращается не только к людям типа Бернара, но и к тем, кто не остановил его, не воздействовал на него словом и примером.

В этой связи особенно важен образ Альбера. Старший брат Бернара — шахтер, как и погибший десять лет назад отец его, Фернан Давэн. Покладистый, спокойный малый. На отца Альбер не похож: от общественной жизни он далек, все свое внимание он отдает семье. Чтобы приработать, молодой шахтер взялся за разборку крепи: хозяева всегда лучше платят, когда ради экономии не соблюдают условий безопасности труда, а при этой работе каждую минуту можно погибнуть под обвалом. Почему же именно после гибели брата Альбер отказался заниматься разборкой крепи? Потому что в его душу запали признания Бернара: «Постепенно мы ко всему привыкли... словно сами потеряли способность думать». Может быть, старший брат понял, что его собственная жизнь не всегда была хорошим примером младшему? Во всяком случае, в душе Альбера нарастает ощущение, что потерять себя можно не только на войне.

У читателя романа «Обвал» может возникнуть вопрос, почему Андре Стиль не показал в нем ощутимо силы активного протеста против войны в Алжире, те силы французского общества, которые сознательно и последовательно выступают против колониализма и его идеологии. Чем вызвано то обстоятельство, что писатель сосредоточил внимание на трагической судьбе такого человека, как Бернар? Чтобы понять это, надо помнить, что роман «Обвал» освещает сравнительно ранний период войны в Алжире, то время, когда движение протеста против нее не достигало еще размаха, который оно получило в наши дни. Андре Стиль берет самый трудный, самый сложный аспект проблемы. Он ставит во главу угла вопрос о влиянии, которое имеет на молодежь участие в «грязной войне», он борется против растления душ, против «гангрены», как это явление называют во Франции. И пока не прекратится огонь в Северной Африке, эта задача не перестает быть жгуче злободневной.

Географически алжирский фронт далек от рабочего городка, населенного шахтерами и сталеварами. Но приглядимся повнимательней — он придвинулся сюда вместе с судьбами их детей, насильственно вовлеченных в кровавую колониальную авантюру. И конечно, показывая на последних страницах романа комедию радиопередачи с фронта для родных, Стиль отнюдь не ограничивается разоблачением лицемерия командования, инсценирующего «благополучие» во французской армии. Этот эпизод, свидетельствующий о растерянности, ужасе, отчаянии, владеющих юношами солдатами на «грязной войне»,— новый аргумент в пользу важнейшего для автора романа «Обвал» вывода о необходимости общенациональной борьбы за мир, не только во имя справедливости по отношению к другому народу, но

и ради своих сыновей, зажатых в тиски милитаристского механизма.

Уже написаны три части цикла «Поставлен вопрос о счастье», само название которого подтверждает уверенность Андре Стиля в светлом будущем французского народа. Можно ожидать от Андре Стиля новых произведений, изображающих битву за счастье всей трудовой Франции. Очевидно, появятся и новые герои, те борцы-коммунисты, на которых реакция изо дня в день возводит клевету, стараясь оторвать от них широкие массы французского народа. И в этих книгах будут показаны противоречия и сложность реальной жизни. Но каковы бы ни были темы и проблемы, подсказанные историей, можно с уверенностью сказать, что залогом успехов Стиля будет всегда присущее ему стремление к той высшей художественной правде, которая, как некогда сказал Поль Элюар, помогает «понять и переделать мир».

В. Неделин

«ВОЗЛЮБИВШИЕ ВОЙНУ» И ИХ ЖЕРТВЫ

Прошедшее десятилетие отмечено в истории так называемого «западного мира» агрессивными «грязными войнами» В Индо-Китае В Корее. В Египте В Алжире. Интервенция на Кубу. Но ни «грязные войны», ни атомный психоз, ни пропаганда экспансионистской «атлантической обороны» не могут стереть память о второй мировой войне. Люди не в силах забыть страдания и жертвы, которые понесло свободолюбивое прогрессивное человечество Они сражались, чтобы орды оккупантов никогда более не врывались в мирные страны, чтобы бредящие мировым господством маньяки не смели впредь покушаться решать судьбы народов за сами народы.

И потому такое значение приобретает каждое правдивое слово о второй мировой войне, каждое честное свидетельство о ней. Особенно важны они для Соединенных Штатов Америки, страны, без активного участия которой не обошлась ни одна из «грязных войн», ни одна из авантюр современного колониализма.

О второй мировой войне в Соединенных Штатах вышло и выходит множество книг. О ней пишут воспоминания генералы, ее стараются осмыслить философы, историки, социологи.

Военная тема часто используется и в литературных аферах на книжном рынке США. Нельзя, например, расценивать иначе, как самую циническую спекуляцию на интересе читателя к книгам о войне, роман ренегата Говарда Фаста «Дело Уинстона», вышедший в 1959 году. «Дело» об убийстве английского сержанта американским лейтенантом Уинстоном, который приговорен к смертной казни, превращается в пошлый фарс в стиле бульварных «боевиков». Весьма увесистый том посвящен похождениям капитана Адамса, поставившего целью спасти убийцу и добивающегося в результате многих головокружительных перипетий признания злосчастного лейтенанта.. душевнобольным. Не удивительно, что и самая реакционная американская критика, у которой не было недостатка в желании поддержать автора, встретила книгу Фаста ироническим недоумением. Но творения, подобные этому роману, не имеют ничего общего с той подлинно художественной литературой о второй мировой войне, которая создана сегодня в США и завоевала широкое признание за пределами страны.

О второй мировой войне рассказывают писатели старшего поколения — Э. Хемингуэй, Дж. Стейнбек, Э. Колдуэлл, А. Мальц, У. Сароян, А Бесси и другие. Особое место заняли в современной литературе США книги Дж. Джонса, Н. Мейлера, Дж. Хэрси, которых ныне на Западе называют творцами нового американского военного романа.

Что же говорят простым американским парням, которых отправляют на «грязную войну», антивоенные романы Н. Мейлера, Дж. Джонса, Дж. Хэрси?

В напечатанной на страницах французского журнала «Эроп» статье, посвященной новейшему американскому роману, Сирилл Арнавон выделил «Нагие и мертвые» Мейлера и «Днесь и во веки веков» Джонса как особенно значительное явление в современной литературе США. Но вместе с тем критик отмечал: пацифизм Мейлера и Джонса лишает их книги боевого антиво-

енного звучания, и поэтому вряд ли у военных властей США могла возникнуть необходимость запрещать «американским парням, которых отправляли драться в Корею... читать такие книги, как «Нагие и мертвые» Нормана Мейлера».

Такой подход к оценке антивоенного значения литературы в наши дни чрезвычайно своевременен. И хотя Арнавон ставит вопрос слишком узко и прямолинейно, тем не менее его замечание попадает в самое больное место полных ненависти к войне и военщине, написанных с великолепным знанием американской армии романов Мейлера и Джонса.

И дело не только в большой сложности и изощренности формы романов Мейлера и Джонса. Не меньшую роль здесь играет и другое — крайняя противоречивость идейных позиций авторов, предельно обостренный субъективизм их философских концепций.

Мейлер и Джонс выступили в литературе от имени тех, кто был обманут и предан. От имени американских солдат, которых, прикрываясь начертанными на союзных знаменах антигитлеровской коалиции освободительными лозунгами, заставили сражаться за цели американского империализма. Поэтому судьба каждого из солдат-фронтовиков в романах Мейлера и Джонса как бы выключена из великой антифашистской войны. Подобное «выключение» безысходно трагично и особенно кощунственно потому, что, оторванные от битвы народов с фашизмом, их страдания, муки, гибель не имеют никакого оправдания, представляются жестокой бессмыслицей.

Мейлер и Джонс с большой силой рассказали о заблуждениях американского солдата, которого американский империализм обрек в ходе великой войны народов и под сенью ее священных знамен на «перековку» в ландскнехта будущих «грязных войн». Однако Мейлер и Джонс не только рассказали, но и во многом разделили незнание своих героев. Более того, оно у них заметно усугубилось. Оно осложнилось у них фрейдистскими истолкованиями обусловленности психологии и поведения человека, фаталистским восприятием всей современной истории, индивидуалистическим анархизмом, который у Мейлера, чье творчество после «Нагих и мертвых» (1948) деградировало, принял сегодня совершенно больные, уродливые формы.

Но ценность их романов как обличающего свидетельства велика: в них правдиво и с подлинным знанием дела рассказано, каким путем, ценой какой ломки человеческих душ и каких человеческих трагедий шла и идет в американской армии подготовка солдата «грязной войны».

Лицо армии, судьба солдата

«..Если бы я писал роман о войне, то его героем был бы Квиг».

Так говорит в романе Германа Вука «Мятеж на «Кейне» Барни Гринвальд, человек, весь иссеченный шрамами, постигший горькую правду войны. Военный летчик, а после того как был сбит и искалечен, военный юрист, Гринвальд — не только настоящий солдат, но и воплощение гражданской совести и глубочайшей человечности. Правда, таковым он является только для автора романа. А Вук стяжал себе в литературе громкую славу защитника «американского образа жизни» и охранителя устоев буржуазной государственности, права, порядка.

Кто же он такой, командир военного корабля, капитан Квиг? Ревностный служака, но тупица, невежественный, бездарный моряк и офицер, мелкая душонка, педант, жестокий тиран, личную характеристику которого сам автор сопровождает медицинской справкой о тяжелом, клиническом случае психопатии.

Барни Гринвальд или, что одно и то же, Вук и не думают отрицать: да, квиги по большей части в той или иной степени именно таковы, но... Но, утверждает автор, несмотря ни на что они все-таки должны быть воспеты как подлинные герои второй мировой войны, как спасители Америки и «цвет нации». Почему же? Да очень просто: Квиг — типичный представитель самой махровой и грубой американской военщины, носитель прусской военной традиции. И в устах Барни Гринвальда причисление Квига к «цвету нации» звучит не только как политическая декларация самого Вука, но и как своего рода литературный манифест — властное напутствие молодым писателям, заповедь американцу, который будет в наше время писать об американской армии.

Американские писатели послевоенного поколения в большинстве своем остались глухи к подобного рода призывам.

Правда, ряд даровитых современных американских писателей * — а среди них есть и такие, кто в других своих произведениях зарекомендовали себя вдумчивыми художниками, умеющими смотреть в глаза жестокой жизненной правде,— заплатил дань героизации американской военщины. И не-которые из них попытались если не прямо возвеличивать военщину, то познакомить с ней читателя с более выгодной стороны, согреть это знакомство хоть какими-нибудь искорками симпатии, сочувствия. Так, например, герой романа Джона Марканда «Мелвилл Гудвин из Соединенных Штатов», предстающий в начале книги как бездарность, солдафон, чисто рекламная фигура, описывается в конце как настоящий герой, умный, справедливый человек, грешащий разве что грубоватостью, тоже, впрочем, очень осторожно дозированной писателем — ровно в той мере, в какой она еще может, сходя за шумную солдатскую сердечность, импонировать читателю. Гораздо более изощренным и демагогичным апологетом милитаризма зарекомендовал себя Уоррен Истер. В его романе «Под чужим небосводом» воплощением духа военщины выступает, так сказать, «человек из народа», помощник боцмана Мейлоун, простой, грубый парень, по-животному смелый и жестокий, противопоставленный пришедшим во флот по призыву военного времени «интеллигентам». Впрочем, все признаки, должные, по мнению автора, характеризовать его героя как человека из народа, ограничиваются крайней малограмотностью, готовностью подчиняться не рассуждая да презрением к неженкам интеллигентам Но зато в конце романа, когда корабль гибнет в бою, Мейлоун отказывается покинуть палубу, до последней минуты оставаясь у ведущего огонь орудия, в то время как корректировщик Хэм не думает ни о чем, кроме спасения своей шкуры...

Однако подобного рода произведения отнюдь не определяют лица послевоенной американской литературы, хотя сами по себе они, конечно, по-своему глубоко характерны для сегодняшней Америки.

Самое сильное в романах Джона Хэрси, Нормана Мейлера, Джеймса Джонса — изображение американской военщины, которая действительно предстала в них такою, какова она есть. Особенно интересен в этом отношении образ фашиствующего милитариста генерала Эдуарда Каммингса в романе Н. Мейлера «Нагие и мертвые».

Воспитанник и гордость Вест-Пойнта, Каммингс — милитарист до мозга костей, убежденный, последовательный, изощренный в этом своем вероисповедании так, как бывают изощрены в разврате самые закоснелые развратники. Он болен милитаризмом, этот страшный, неумолимо и продуманно жестокий человек. Но Каммингс — не бездушный автомат, не штабной схоласт или просто немудрящий служака. Он не только высокоодаренный и блестяще образованный военный, но и настоящий политик, дальновидный, тонкий, вдумчивый, умеющий заглянуть в самые глубины сложнейших политических проблем и ситуаций. Он генерал сверхсовременного образца — солдат-политик. Каммингс вдвойне опасен еще и потому, что подлинно интеллектуален. Это — яркая, незаурядная личность. Цинически презирая солдат, он умеет, если хочет, импонировать им. Но главное его оружие — страх, искусством внушения которого он артистически владеет. «Дайте мне человека в руки, и, каким бы он ни был, все равно — пройдет нужный срок, и я заставлю его бояться»,— так звучит его кредо. И он умеет сломить человека, внушить ему свою волю.

Каммингс — индивидуалист. Но вместе с тем он чрезвычайно интересен как личность, с необычайной ясностью осознающая интересы, положение и возможности своего класса. Он умеет исследовать их. Пытливо, проницательно и с беспощадной последовательностью. Борьба, которую он вначале ведет за то, чтобы овладеть душой восстающего против него лейтенанта Хирна, полна для Каммингса глубокого смысла как схватка за человека своего круга, которого нужно прибрать к рукам и отравить своей философией, чтобы сохранить для «касты господ» и воспитать в нем соратника Потерпев неудачу, Каммингс, не задумываясь, посылает бывшего любимца на

---

* Воспеванию американской военщины посвящает свои романы и целый ряд весьма посредственных, хотя и довольно известных беллетристов, широко разрабатывающих эту тему в послевоенный период, таких, например, как Мартин Расс, Гарри Браун, Джордж Хант, Эдуард Бич и др. Но к художественной литературе их книги имеют отношение более чем отдаленное.

смерть. И им руководит не только раздражение. Это также и его приговор Хирну как социальному явлению: слабые и ненадежные не нужны «классу господ» в дни, когда вопрос о сохранении его господства встает все более остро и сложно,— такие станут только обузой или перебежчиками.

Но что же внушает постоянную, хотя и глубоко скрытую, тревогу и смятение самому Каммингсу, этому, казалось бы, несгибаемому и не знающему сомнений человеку с пристальным взглядом холодных стальных глаз? Страх. Постоянный. Неотступный. Именно поэтому он и мечется по ночам в походной палатке и с такой исступленной одержимостью шлет в бой свои полки, батальоны, роты. Он боится проиграть войну. Но его страшит не победа гитлеровского блока, а то, что за поражение «классу господ» в Америке придется отвечать перед народом. Каммингс боится, что война будет выиграна «слишком скоро» — раньше, чем соотношение сил в мире сложится в пользу американского империализма. Он опасается, как бы она не затянулась настолько, что рядовой американец в военном мундире начнет понимать подлинный смысл тех методов, которыми ее старались вести хозяева страны, увидит те нити, которые были протянуты с Уолл-стрита к марионеткам в больших и малых штабах. Так Каммингс ведет сравнительно малую войну с внешним врагом и большую скрытую — со своим народом.

Смело задуманное и мастерски разработанное им решение трудной тактической задачи не может быть проведено в жизнь— для этого от солдат потребовалась бы та сознательная самоотверженность, на которую каммингсы не могут рассчитывать. И Каммингс находит единственно возможный выход. Все так же хладнокровно он заново рассчитывает весь ход операции таким образом, что его солдаты попадут в западню. Их со всех сторон обступит смерть, и, чтобы вырваться, им придется отчаянно драться, ибо ничего иного им не останется. Новый вариант — операция-бойня — рассчитан Каммингсом столь же мастерски и, с тактической точки зрения, так же талантливо и оригинально, как и первый... Да, так глубоко в сознание, в психологию, в душу милитариста, так сказать, самого совершенного современного образца до Мейлера в американской литературе, пожалуй, никто еще не заглядывал. Образ генерала Каммингса помогает нам понять психологию, политику, растленную мораль сегодняшних политиков и стратегов НАТО, их авантюристическую логику не в меньшей степени, чем документально достоверные истории карьер Шпейделя, Хойзингера, Вернера фон Брауна.

Садист, убийца, лютый истязатель подчиненных, бездарный командир на поле боя — «палач Бронсон» в романе Эла Моргана «Бригадный генерал». Мечтающий о мировой бойне генерал Слейтер, полковник Делберг со своей разжиревшей, избалованной, злобной собачонкой, которая невольно кажется всякому двойником хозяина; стравливающий в кровавых драках солдат «спортсмен» капитан Холмс — в романе Джеймса Джонса «Днесь и во веки веков». Всех этих военных связывают только две вещи. Круговая порука касты. Да ненависть к солдату, полное пренебрежения равнодушие к его судьбе, глубоко затаенный страх перед ним. Им-то и противостоит простой честный американец, глубоко человечный, но совершенно бессильный перед их властью, их произволом. И этот в романах Джонса, Мейлера, Хэрси «единственный на всю Америку» антагонист каммингсов, бронсонов, холмсов вступает во вторую мировую войну, совершенно не представляя себе ее общей перспективы, ее великих освободительных целей или же, в самом лучшем случае, представляя их себе весьма смутно.

Уже в начале сороковых годов в отношении американских писателей к войне наметился раскол, особенно резко обозначившийся между писателями — воинствующими антифашистами и писателями, оставшимися и в военные годы на позициях крайнего пацифизма. И те и другие равно ненавидели человеческую бойню. Но первые и те, кто к ним присоединились, ясно понимали необходимость антифашистской войны. Вторые же соглашались признавать только ее неизбежность, часто казавшуюся им фатальной.

Так, в одном и том же 1944 году вышли «Крест и стрела» А. Мальца и «Приключения Весли Джексона» У. Сарояна. В романе Мальца предстала фашистская Германия года 1942, рассказывалось о рождении активного сопротивления простых честных немцев фашизму. С большой силой было

показано в этом романе страшное лицо фашизма. Читатель увидел в книге Мальца молодого немецкого солдата, совсем еще мальчишку, Руди Линга — нежного, любящего сына, привозящего матери из оккупированной Франции вещи француженки, зверски изнасилованной им и его товарищами. Читатель увидел изуверски фанатичную нацистку, образцовую медицинскую сестру Волльвебер, хлещущую по лицу лежащего без чувств раненого антифашиста, уже почти труп. В романе Мальца были даны образы, делавшие для читателя бесспорно очевидным, что фашистский зверь угрожает всему человечеству, что война с фашизмом необходима.

А со страниц романа Сарояна перед читателем встал солдат воюющей против фашизма американской армии Весли Джексон, чудаковатый недотепа в мешковато сидящей на нем военной форме, и с трогательной наивностью принялся рассуждать о том, как противна ему вся эта — будь она трижды проклята — война и солдатчина; о том, что плевать ему на спасение мира и цивилизации, до которых ему, простому, мирному, доброму американскому парню, нет никакого дела.

Разглагольствования Весли могли бы показаться чудовищно циничными, если бы за печальной улыбкой сарояновского героя мы не увидели: он действительно ничего не понимает и просто не знает, за что воюет. Отметим и еще один факт. После повести о норвежском Сопротивлении «Луна зашла» Дж. Стейнбек написал книгу «Бомбы вниз», так называемый «военно-учебный» роман об американских летчиках-бомбардировщиках. Все они как будто бы хорошие, честные, смелые и веселые американские парни, которые, однако, тоже воюют, не интересуясь смыслом войны, но, в отличие от сарояновского героя Весли, и не оплакивая своей судьбы, потому что жить можно и на войне, лишь бы хорошо платили да была надежной материальная часть.

Конечно, сарояновский Весли и стейнбековские летчики-полуландскнехты ни в американской действительности, ни в литературе не случайность и не исключение. Таких американцев и в военных мундирах и в гражданском было во время войны немало. Но они отнюдь и никоим образом не представляли всей Америки.

В своей документально-художественной летописи американской жизни в дни мира и войны «Нет чужих среди людей» Джозеф Норт приводит список американских коммунистов, ставших во время войны национальными героями. Героем войны был и Роберт Томпсон, осужденный в числе одиннадцати лидеров американской компартии на инсценированном реакцией позорном процессе в 1949 году.

В вышедшем в 1957 году романе «Антиамериканцы» Альва Бесси создает образ американского коммуниста, журналиста Бена Бло, который прошел весь страдный путь войны солдатом, стал на войне героем и которого в дни разгула в стране маккартизма бросают в тюрьму. Именно эти люди и были на второй мировой войне подлинными и лучшими представителями американской демократии.

Весли джексоны, эти, так сказать, вынужденные «пассажиры» второй мировой войны, не могут заслонить отношения к ней всего американского народа, и в первую очередь американского пролетариата. Очень важное в этом смысле значение приобретает вышедший три года назад роман Александра Сэкстона «Паутинка, светящаяся во мгле», повествующий о жизни и борьбе американских рабочих-судостроителей в дни войны. Звучание глубоко правдивой книги Сэкстона сегодня тем более актуально, что многие нынешние буржуазные социологи, клевеща на американского рабочего, утверждают, что он требовал от правительства войны с фашизмом потому, что она была ему якобы «выгодна», — военные поставки, мол, загружали всю промышленность, поднимались расценки... Книга Сэкстона ясно показывает, что все это — клевета.

Герои романа Сэкстона ведут борьбу за свои права в условиях, необычайно осложненных войной. Читатель узнает, как во имя войны с фашизмом, во имя победы над ним, американский рабочий вынужден был в ряде случаев поступаться своими интересами в борьбе с предпринимателями. Рабочий подчас отказывался от забастовки, чтобы не задерживать спуска нужных для войны кораблей. Герои романа Сэкстона идут на жертвы, которые были немыслимы для предпринимателя, спекулировавшего на остроте положения на фронте и на патриотизме рабочего.

В книгах же Н. Мейлера, Дж. Джонса, Дж. Хэрси военщине противопоставлен про-

стой американец, не понимающий антифашистского характера войны, смотрящий на нее как на жестокий и бессмысленный хаос, овладевший миром. Словно слепой, бредет он во мраке этой непонятной ему войны, все глубже проникаясь отчаянием, отчуждением от мира, чувствуя свое все более возрастающее одиночество в нем. Иногда он стоически мужествен, иногда — весь во власти отчаяния или тупого равнодушия, но почти всегда одинок: и в своей покорности, и в своем бунте. И в этом беда не только героев — людей, изломанных жестокой действительностью капиталистического мира или с резко ограниченным ею кругозором, но во многом — и самих авторов.

В «Нагих и мертвых» лейтенант Хирн, обреченный генералом Каммингсом вместе со взводом солдат на гибель, незадолго до смерти с лихорадочной настойчивостью думает, стараясь понять смысл событий в мире, где бушует смерч войны. И мир, история, война представляются ему все более хаотическими. Человек, пытающийся вмешаться в ход событий,— все более одиноким и обреченным.

Если рассуждать совершенно последовательно, думает Хирн, то, с точки зрения логики закономерностей развития капитализма, весь мир давно бы уже должен был прийти к фашизму. Но не пришел. И более того, страна самого высокого развития капитализма, Америка, оказалась в состоянии войны с фашизмом. Очередной парадокс истории? Да. Значит, приходит к выводу Хирн, в мире противоборствуют две силы: логика развития событий, вытекающая из самого характера капиталистического общества, и фатальная сила истории, стихийно ломающая всякую логику вообще, слепо обращающая зло в добро и добро в зло, не позволяя понимать, предвидеть ничего в мире. Поэтому каммингсов может остановить только рок истории или индивидуальный террор.

Философия Хирна абсурдна от начала до конца. И прежде всего потому, что ее схема исключает такой решающий фактор исторического процесса, как народ, народные массы.

Философские рассуждения Мейлера и Джонса гораздо сложней и не так обнаженно схематичны, как у лейтенанта Хирна. Концепции войны и положения человека в мире у Мейлера и у Джонса во многом различны. Но в них, и у Мейлера и у Джонса, отсутствует, как и у лейтенанта Хирна, та же категория — народ, народные массы. Поэтому и человек из народа предстает в их романах как совершенно изолированная от общества, одинокая личность. Роллан называл барбюсовских солдат «пролетариями фронта». Солдат же в романах Мейлера и Джонса вернее назвать люмпенпролетариями фронта. Они по-люмпенски отвержены, но по-люмпенски же и индивидуалистичны. В своем протесте они анархичны и чужды чувству солидарности. И назначение военной машины состояло и состоит в том, чтобы сделать их именно такими. Это очень убедительно показывает Джонс в своем иронически посвященном «армии Соединенных Штатов» романе «Днесь и во веки веков» (1951).

«Здесь идет непрерывная война»,— такими словами одного из персонажей романа открывается огромная панорама жизни американской казармы мирного времени. Война идет между солдатами и офицерами. Но она идет и между самими солдатами. В ней каждый сам за себя, и нет спасения никому. Одни спиваются. Другие гибнут в драках. Третьи попадают в военную каторжную тюрьму. Четвертые сами накладывают на себя руки. Так перед нами проходят судьбы товарищей главного героя по казарме в гарнизоне на Гавайских островах — Анджело, Блума и других.

Главный герой — расположенный к людям, чуткий, отзывчивый человек Прюитт в в конце романа предстает перед судом за учиненную им дикую, кровавую поножовщину. Прюитт был простым человеком, немного ждал от жизни, многого не понимал и многое был готов молча терпеть. Но он не в силах был примириться с мыслью, что человеческое достоинство можно топтать ногами, и восстал. Он взбунтовался против циничного бездушия жизни «дна», которой жила казарма, и стал посмешищем для товарищей. Он восстал против жестокого самодурства капитана Холмса, и казарменная аристократия объявила его «неамериканцем». Он стал отщепенцем среди самых отверженных и, чувствуя себя затравленным, не находя себе места от сознания косвенной причастности к гибели товарища, озлобился. И, когда его допрашивают на суде, Прюитт не упоминает, что нож, оказавшийся у него в руках,

был вырван им у раболепствующего перед начальством маньяка, который в припадке верноподданнического исступления хотел всадить этот нож ему в спину. Прюитт понимает: оправдываться бесполезно, ибо смутно чувствует — его судят не столько за принявшую роковой оборот стычку с Айком, сколько за непокорность. И принимает свою гибель уже почти равнодушно. Прюитт не понял ни устройства, ни назначения перемалывающей человеческие души и жизни военной машины американской армии. Но не сдался, не отступил, не запросил пощады — он остался человеком.

Подлинными «героями», признанными казармой и взлелеянными начальством, боевым «активом» этой армии становились не такие, как Сэм Прюитт. Не одинокие бунтари-правдоискатели, а люди совершенно иного склада. Жестокие, ни о чем не задумывающиеся, весело топчущие слабого и готовые вцепиться в горло любому, кто станет им поперек дороги.

Старший сержант Сэм Крофт из того самого взвода разведки, с которым Каммингс посылает на смерть мятежного лейтенанта Хирна, стал кадровым военным еще до войны. Его привели в армию отвращение и равнодушие к жизни, холодное презрение к людям. С детства ему внушали мысль о необходимости быть в жизни смелым, решительным, сильным — иначе не пробьешься. И он это усвоил. Но, будучи сама по себе глубоко верной и здоровой, в условиях диких джунглей капиталистического мира мысль о необходимости быть смелым и сильным чаще всего развивается в культ грубой силы, эгоистического самоутверждения. У Крофта было именно так. Раскольниковы приходят к решению испытать себя, проверить свою силу, свое право сравняться с «пророками», бестрепетно сметающими толпы «твари дрожащей»,— в пароксизме отчаяния и умоисступления. Такие, как Крофт, хладнокровно, рассчитанно, с интересом подходят к самому процессу убийства, терпеливо выждав случай, когда оно станет дозволенным. Первого человека Крофт убивает, участвуя в подавлении забастовки. И это закончило его формирование как «одинокого волка» среди людей — убийство стало его специальностью, призванием. Таким он приходит в армию, где ему, быстро оценив его способности, вверяют власть над людьми и если и сдерживают, то давая понять: недалек час, когда ему позволят разгуляться вовсю, выпустят на волю. На войне Крофту, с точки зрения каммингсов, нет цены, ибо он с одинаковой готовностью и наслаждением расстреливает — безо всякой необходимости, просто для развлечения, чтобы пощекотать себе нервы,— пленного японца и наводит пистолет на своего же товарища по взводу.

Когда Америка, наконец, вступила в войну, каммингсы и те, кто стояли за ними, сделали все, чтобы превратить ее в свою войну, и немало преуспели в этом. Антифашистов армия встречала неприветливо и даже враждебно, они брались под особое наблюдение, им не доверяли. Так, попав в армию, один из героев «Юных львов» И. Шоу, Майкл Уайтекр, узнает, что значится в особом «черном списке» Пентагона как участник кампании помощи республиканской Испании. Люди, идущие в бой с ясным сознанием цели войны народов, с чувством братской солидарности с солдатами союзных армий, с советским солдатом, бойцы-антифашисты были каммингсам не нужны. Ведь Каммингс ведет войну, предвидя хотя и не совсем определенную, но вполне вероятную возможность возникновения на каком-то ее этапе ситуации, которая приведет к вооруженному столкновению с Советским Союзом. Поэтому каммингсам нужны были солдаты — «человекоподобные обезьяны», солдаты-крофты.

Как выражение протеста против превращения человека в слепо повинующийся, нерассуждающий автомат в американской литературе появились весли джексоны, заранее подписавшие каждый про себя свой «сепаратный мир» с врагом и заботящиеся только о том, чтобы уцелеть, и, с другой стороны, мятежники против войны каммингсов.

Простой американец протестовал против произвола военщины, культивируемых в американской армии нравов нередко именно потому, что сознавал себя солдатом-антифашистом, идущим на священную освободительную войну, и не хотел, не мог забыть об этом. Буржуазные же писатели очень часто не могли рассмотреть этого. Или же, если придерживались конформистских взглядов, не хотели признать, искусно отводя истолкование такого протеста в иное, более безопасное русло. Они объясняли его «традиционным» американским пацифизмом

и будто бы столь же традиционным для американца повышенным чувством собственного достоинства и личной независимости. Подобная тенденция очень ярко определилась, например, в романе Джона Х. Бернса «Галерея», герой которого так вспоминает свое первое впечатление от армии: «Я подумал, что как американец я в эту минуту — умер». Но такое, исходящее из теории американской исключительности, объяснение часто оказывалось недостаточным. И тогда находились иные, подчас весьма казуистические, формулировки. Чрезвычайно показателен в этом отношении образ Ноа Эккермана в романе Ирвина Шоу «Юные львы».

Сын эмигранта, «американец во втором колене», пасынок Америки, Ноа приходит в армию добровольцем, чтобы воевать против фашизма. В казарме, точно такой же, в какой погиб Прюитт, он не только сталкивается с муштрой — его травят. За то, что он интеллигент. За «нестопроцентный американизм». За то, что смеет оставаться человеком. Страшен, кровав, казалось бы, совершенно безнадежен бой, в который он вступает один против всех, за свое человеческое достоинство и — подчеркнем это особо — за право быть солдатом-антифашистом. Ноа доказывает — его не сломить, не запугать. Но как только это ему удается, случается странная, на первый взгляд, совершенно непонятная вещь. Оказывается, непреклонное мужество Ноа доказало не что иное, как его «американизм». И казарма, только что со зверской жестокостью травившая Ноа, принимает его с распростертыми объятиями. А гонители оборачиваются добрыми ребятами, славными товарищами, радостно приветствующими вступление Ноа в дружную солдатскую семью. Так писатель отнял у героя его победу, обратив ее в фарс. Отнял потому, что извратил ее смысл. И у самого Шоу во время его рассказа о Ноа Эккермане все-таки то и дело проскальзывает неуверенность — с героем случилось что-то не то. Но что же еще нужно, как бы убеждает Шоу читателя, ведь он привел героя к победе, чего же еще можно желать?

Ноа вывешивает на казарменной доске объявлений вызов неизвестному, обокравшему его. Под ответом, извещающим, что вызов принят, стоят подписи десяти самых дюжих верзил и завзятых драчунов в роте. Решив драться поочередно с каждым, Ноа после каждой очередной стычки, изувеченный, подолгу лежит в больнице, выйдя из которой, он тут же дерется со следующим. Этот бой маленького Ноа с десятью голиафами заслоняет в романе великую войну, которая начинает казаться читателю не такой уж значительной по сравнению со страданиями вступающего на ее тропу маленького человека... Так Шоу не только сам отказался, но и отнял у своего героя способность и право думать о войне, осмыслять ее, обрек его воевать не рассуждая, помирил с войной каммингсов.

Как же они умирали на войне, эти солдаты?

В романе Мейлера «Нагие и мертвые» они гибнут на далеком затерявшемся в Тихом океане острове Анапопеи. Голые каменистые скалы, дикие джунгли — таков оттеняющий жестокость происходящего кощунственно равнодушный к гибели героев ближайший фон. Мейлер с надеждой всматривается в их души и с тоской и отчаянием убеждается в невозможности найти в них силы для сопротивления происходящему, волю жить. Ни в ком. Ни в лейтенанте Хирне, ни в хмуром мятежнике Реде Волзене, ни в весельчаке и кутиле Уилсоне, ни в других. Сквозь биографию каждого из них открывается панорама американской жизни, образующая дальний, общий фон происходящего, еще более равнодушный к гибели солдат, еще более страшный и дикий, чем скалы и джунгли острова Анапопеи.

И автор находит для своих героев только одно, философски-мистическое, утешение — упоение «вечной» патетикой самой смерти, что, разумеется, во многом снижает антимилитаристское звучание этого романа.

Не менее трагичным бывало и возвращение уцелевших на такой войне.

О вернувшихся рассказывает в своем романе «В спешке» (1957) Дж. Джонс. Герои — провинциальная богема. Живут в штате Иллинойс, в местах, которые в США обычно называют частицей «старой Америки». Хмельные, тусклые будни, полные тоски, одиночества, мук раненого самолюбия, щемящей тревоги, темных, больных страстей. Герои вернулись в «чужую Америку», которая не принимает их и не нужна им,— на войне они потеряли родину.

На войне они научились делить последний кусок хлеба с товарищем. Но научились, не задумываясь и не стесняясь, отнимать у беззащитного мирного человека то, что им нужно. Научились жить только сегодняшним днем, с бездумностью смертников расхищая все на своем пути и расточая себя. Ощущать как реальный лишь короткий, точно перебежка под огнем противника, отрезок времени. Так было легче умирать на войне каммингсов. Вернувшись, они не могут отрешиться от чувства заброшенности в мире, обреченности. Не могут отогреться ни в семье, ни в любви, ни в мирных буднях. Их не понимают, они не нужны. Главный герой романа, молодой писатель Дейв Хирш, вернувшись, чувствует отвращение к мещанскому убожеству своего зажиточного, но холодного дома, к скупости матери, к самодовольству преуспевающего брата-дельца. Его бросает любимая девушка, и он назло ей и семье женится на проститутке. Дейв гибнет в драке.

Неудачно, бесприютно, одиноко складывается и жизнь товарищей Дейва — Уолли Френча, Реймонда, Бамы. Мир постепенно начинает им казаться еще страшнее войны. И, когда начинается агрессия в Корее, они возвращаются в армию, уходят навстречу бесславной гибели.

Один из солдат в «Нагих и мертвых» Мейлера, Галлагер, получает по телеграфу сообщение о смерти жены во время родов. Но почта идет гораздо медленнее, и он еще целые две недели получает каждый день письма от уже умершей жены. Две недели после своей смерти она, как живая, каждый день беседует с ним.

Нечто подобное случилось и с героями романа «В спешке». Они были убиты на войне. Правда, их нельзя было похоронить — у них были убиты души. Все они вернулись домой уже мертвыми. Но родные и близкие узнали об этом, только когда получили похоронные уже с новой, «грязной» войны.

Два реваншизма

Побежденный враг — фашисты разных чинов и мастей, которым после падения «третьего рейха» удалось уцелеть,— оказался в лучшем положении, чем его победители, герои романа Джонса «В спешке» Он оказался живучей их. И к нему Америка отнеслась в конечном итоге гораздо снисходительней, чем к этим своим «пропащим» сыновьям. Кончилась война, кончился Нюрнбергский и другие, меньшие, процессы над военными преступниками, и многие в Америке стали все более явно находить общий язык с бывшим врагом, открывать в бывшем враге немалые достоинства...

Когда генерал Каммингс — впрочем, тогда он еще не был генералом — ступил на путь большой карьеры, он раз и навсегда определил для себя то, над чем раньше он, подающий надежды, но еще скромный офицер, не задумывался,— свое отношение к «доктрине коммунизма»: беспощадная война на всю жизнь со всем, что прямо или косвенно с этой «доктриной» связано.

Оценка фашизма окончательно сложилась у него уже позже, в ходе войны. У каждой нации, рассуждает он, есть свой запас «потенциальной энергии» и есть своя «концепция-мечта», которая требует реализации и реализует этот национальный потенциал. «Трагедия» немецкого фашизма, по теории Каммингса, в том, что тот «просто начался не в той стране... Но мечта, концепция была великолепна». Она стала и мечтой Каммингса — его «американской мечтой». Осуществление ее ему мерещится в жутких картинах апокалиптических видений Шпенглера в «Закате Европы»: одичалое раболепство масс, богоравная власть диктаторов. И на армию Каммингс смотрит как на «лабораторию» этого будущего Америки.

Безнадежно пессимистический взгляд Мейлера на вторую мировую войну и определился во многом именно тем, что писатель увидел в ней не столько гибель «старого», гитлеровского фашизма, сколько рождение нового.

Ирвин Шоу не любил фашизма. Но он и не ненавидел его. По своим взглядам он типичный американский либерал. Шоу — большой мастер изображения интимных интерьеров американской жизни, будней «среднего американца», которые он воссоздает вполне реалистично и вместе с тем очень тонко, лирически, проникновенно. Реализм Шоу — камерный. Он резко ограничен дружески скептическим недоверием к патетическим взлетам человеческой души и, с другой стороны, бесконечной терпимостью к человеческим слабостям и несовершенствам. Для не претендующего на особую глубину и постановку острых социаль-

ных вопросов показа скромных уголков частной жизни этого реализма оказывалось вполне достаточно. Но в сочетании с политически крайне шаткой либерально-антифашистской позицией писателя сверхобъективный реализм романа Шоу оказал современной американской литературе о войне весьма недобрую услугу.

В «Юных львах» Шоу война рисуется в двух планах. В последовательно сменяющихся, наплывая друг на друга, картинах жизни Америки и войны в Европе раскрываются судьбы молодых американцев, Ноа Эккермана и Майкла Уайтекра, и молодого немца. сержанта Христиана Дистля, солдат сражающихся армий. Роман — он вышел в 1949 году — писался, когда война с гитлеровской Германией осталась уже в прошлом. И писатель, вероятно, решил быть максимально беспристрастным к поверженному врагу: раз он берет хороших американцев, значит, и немец, выведенный в романе, тоже должен быть хорошим. Но Дистль вышел не только не хуже Ноа и Майкла, а в конечном итоге — лучше их. Ноа и Майкл — люди мужественные, но с болезненным надрывом, с рефлексией, с жалкими человеческими слабостями, сами с горечью сознающие свое несовершенство. Дистль же в своем суровом, грозном солдатском мужестве — весь словно отлит из бронзы.

Поднять на такую же высоту американского солдата-антифашиста Шоу не хотел или, во всяком случае, не мог решиться. Разве от этого не пострадала бы его репутация реалиста и писателя-сердцеведа, «уравновешивающего» хорошее в герое слабостями и несовершенствами, проницательного психолога, не дающего высокому в человеке обмануть себя, увлечь, заставить забыть о возможности в нем чего-то неполноценного? Врага же, фашиста так изображать оказалось можно. Что же это было? Просто беспринципное либеральное прекраснодушие? До извращения ложно понятая объективность отношения к изображаемому? Очевидно, не только это, но и сознательный или бессознательный расчет на литературную сенсацию. В те времена такое изображение немецкого солдата на второй мировой войне еще не могло не поразить «среднего американца». И если серьезная критика на Западе отнеслась к роману более чем холодно, то его коммерческий успех оказался действительно огромным — и именно благодаря образу Христиана Дистля. Так Дистль начал свой марш по страницам романа о войне против фашистской Германии.

Стремительно, упругим шагом спортсмена проходит этот загорелый атлет по дорогам войны. И перед его отвагой, военной доблестью, перед его испытаниями фигуры Майкла и Ноа начинают все больше уменьшаться, казаться жалкими, их страдания — ничтожными, их патриотизм — каким-то вымученным Дистль одинок. Несчастлив. Жизнь его складывалась трудно. Он хотел учиться. Но был беден, и ему приходилось работать инструктором лыжного спорта, прислуживать богатым — занятие, тяготившее его, унижавшее. Он с исступленной горечью любит жену своего фронтового товарища и командира, подлую, развратную, низменную, не достойную его... Дистль фашист, так сказать, «идейный» — убежденный, последовательный, ни на минуту не сомневающийся. Но в нем фашизм предстает как нечто совершенно безобидное. И более того — как нечто не только неизбежное, но и будто бы необходимое в каждом немецком патриоте, в простом, честном, хорошем немце. Так в романе возникает концепция «хороших» и «плохих» фашистов.

Но, рисуя таким Дистля, автор оказывается вынужденным подгонять изображение и фашизма и развязанной им гнусной войны под образ Дистля — «юного льва», героя. мученика. Автор начинает и сам смотреть на события глазами своего героя, разделять его грусть, горечь. Действительно, разве не прискорбно, что французы, например, ненавидят и презирают фашистских оккупантов? И автор уже с полной готовностью оправдывает любую подлость Дистля и дистлей. Ведь они, видите ли, убивали, бросали людей в концлагери, расстреливали, действуя согласно велению солдатского долга. Или потому, что были доведены до отчаяния. Или же причиной тому была их роковая мальчишеская любовь к обреченной фашистской Германии. Столь же полная горечи и отчаяния, как любовь Дистля к его развратной, подлой, инфернальной любовнице, которую все это делает для него еще дороже.

Война фашистской Германии имеет для Дистля — а вместе с ним к концу романа и для самого автора — три лица. Это как бы три войны, которые в хронологической по-

следовательности сменяют друг друга. «Первая», победоносное начало — молодое лицо убитого во Франции товарища Дистля Незадолго до того как Дистль и Краус наткнулись на засаду, они ели вишни, и Краус так и умер, его так и похоронили с измазанными свежим вишневым соком губами. У «второй» войны — не лицо, а страшная маска, запечатленная на фотографии покончившего с собой фронтового товарища Дистля, его бывшего командира лейтенанта Гарденбурга. Дистль проносит по дорогам войны фотографию своего лейтенанта, как святыню. У Гарденбурга было до неузнаваемости изуродовано, буквально снесено лицо. И вот этот лик войны своей трагической патетикой Дистлю дороже всего. А «третья»... Дистль ее просто презирает На этой войне он не находит себе места, чувствует себя несчастным, одиноким, усталым, стареющим. Но не потому, что наконец прозрел, понял ее преступность, ужаснулся. По совершенно иной причине. Он смотрит на нее уже не как на свою войну поколения «юных львов», «железных солдат», которые погибли в песках Африки и снегах России, а как на войну сопливых мальчишек из гитлерюгенда да престарелых, немощных призывников из последней очереди запаса... Таким несгибаемым, бесстрашным Шоу доводит Дистля до самого конца. И тот встречает свой конец, бестрепетно глядя в глаза стреляющему в него в упор Майклу, пренебрежительно бросая в лицо победителю, в лицо самой смерти ироническое «Добро пожаловать в Германию».

Таким образом, весь роман Шоу оборачивается в конечном итоге апологией фашиста. Схема реабилитации фашиста у Шоу очень нехитра: как некое абстрактное зло Шоу безоговорочно осуждает фашизм, судить же конкретных его носителей — отказывается. И вместе с тем такая схема чрезвычайно опасна, потому что дает возможность не только очень свободно обращаться с понятиями гуманизма, нравственной ответственности, но и просто спекулировать ими.

По существу, Дистль изображен точно так же, как изображается гитлеровская военщина в современной милитаристской, откровенно реваншистской литературе ФРГ И эта перекличка отнюдь не случайна.

Вскоре после конца второй мировой войны идеологами американского империализма была детальнейшим образом разработана теория особого, «американского» реваншизма. В основу ее было положено утверждение, что в результате победы союзных армий Соединенные Штаты не выиграли, а проиграли вторую мировую войну. Проиграли ее Советскому Союзу. И что после войны для Америки наступает эпоха борьбы за «реванш».

Эта доктрина находит свое выражение в самых разных областях и сферах жизни. В «атомной дипломатии» и стратегии «холодной войны». В создании агрессивных военных блоков и развязывании «грязных войн». В поддержке авантюр европейских генералов, рвущихся во главе навербованных в колониальных войсках головорезов в диктаторы, к установлению режима фашистского террора в метрополии. Находит эта доктрина свои рупоры и в американской литературе. Таким политическим рупором «американского реваншизма» стал, в частности, роман Дос Пассоса «Великие дни» (1958).

Герой романа, старый, прожженный журналист Роланд Ланкастер — это плохо замаскированный литературный двойник самого автора.

Ланкастер много повидал и в дни войны и после нее Но воспоминания героя о пережитых «великих днях» лишь повод для самых подлых, злобных, клеветнических измышлений автора. Они-то, собственно, в основном и составляют ткань этого, если его можно так назвать, романа. Ланкастер побывал на Кубе. И вот начинается глумление над освободительным движением кубинского народа. Он был в только что освобожденной Европе. И следует серия басен о «зверствах» советских войск. Нюрнбергский процесс рисуется им как некое неправое судилище. А фашистские военные преступники — как невинные жертвы. На Нюрнбергском процессе Ланкастер буквально влюбляется в Геринга. В Америке — отдает свое сердце одержимому манией «русской угрозы» военному министру Роджеру Турлоу, сквозь изображение которого отчетливо проступает его прототип — Форрестол. И Турлоу и Геринг оплакиваются Ланкастером — Дос Пассосом одними и теми же слезами как «жертвы» русских. И с горячечным упорством маньяка этот автор-персонаж бесконечно твердит одно и

то же — воевала Америка, а победой коварно воспользовалась, видите ли, Россия.

В романе И. Шоу американский шовинизм смыкается с реабилитацией и апологетикой немецкого фашизма не так грубо и крикливо, как у Дос Пассоса, а внешне гораздо опрятней и даже не без литературной изысканности. Но в общем оба романа действуют в одном направлении. Шоу показал, лишь издали наметив ее, возможность примирения американского патриотизма с фашизмом. Дос Пассос уже кричит о необходимости их примирения. Но книга И. Шоу много опасней, ибо яд ее действует более скрыто и не так заметно.

...Управление принимает лейтенант Боумен

Поборники новой войны заняты не только поисками новых видов оружия и вопросами стратегии и тактики. Не менее упорно трудятся они над разработкой идеологии новой войны, над подготовкой психологии ее солдата.

Как символ прошлых войн в воображении людей вставало напряженное, с запавшими глазами лицо пехотинца в каске. Возможная новая война для многих олицетворяется другим — «человеком, нажимающим кнопку». И эта новая формула человека на войне имеет для поборников войн немало привлекательного.

Маркс писал о деньгах как о *безличной форме богатства*, в которой богатство предстает, так сказать, беспредметно, лишенным индивидуальности. Маркс подчеркивал, что именно в этом кроется источник страшной власти в буржуазном обществе денег, источник их извращающей силы: «Извращение и смешение всех человеческих природных качеств, братание невозможностей, эта божественная сила денег кроется в их *сущности*, как отчужденной, отчуждающей и отчуждающейся *родовой сущности* человека» *. Ту же извращающую силу приобретает и формула убийства — «человек, нажимающий кнопку»,— как она понимается, истолковывается, пропагандируется нынешними поборниками войны.

Некогда, в своей знаменитой притче о мандарине, Руссо задавал своему читателю вопрос. Допустим, где-то в Китае влачит свои дни старый, больной, никому не нужный мандарин Стоит читателю просто пожелать, и мандарин умрет, а читатель сейчас же разбогатеет. Пожелает ли читатель смерти мандарину? Притча Руссо предполагала отрицательный ответ. Всем своим этическим учением великий идеалист подводил человека к пониманию: убийство даже в такой форме остается убийством и как таковое противно природе человеческой, противоестественно для человека. И пусть он никогда в глаза не видел мандарина, не поднимал на него руки, не присутствовал ни при его агонии, ни на похоронах — он все равно раньше или позже ответит за это перед собой, перед своей совестью, ибо это — все равно убийство.

Пропагандисты «абстрагированного» убийства по формуле «человек, нажимающий кнопку» пытаются использовать схему притчи Руссо в перевернутом виде — вы нажимаете кнопку, и больше вам не о чем думать, заботиться,— обещая таким образом солдату новой войны не только полную безопасность, но и полное незнание греха убийства. В служебном отсеке комбината смерти в Дахау у выхода висела дощечка с надписью, напоминающей «персоналу», обслуживающему газовые камеры, не забыть, покидая помещение, вымыть руки. Апологеты новой формулы убийства обещают солдату такую «работу», после которой не надо будет даже мыть рук.

Но действительно ли так всемогуща формула «человек, нажимающий кнопку»? Действительно ли в ней обретена, наконец, возможность примирить человека с убийством, отрешить убийство от совести, от души человеческой, от власти чувства общности человека с людьми? Никоим образом Человека, если он не одержимый маньяк, не выродок, не калека в умственном и душевном отношениях, с этим примирить нельзя.

Капитан Изерли, пилот супербомбардировщика, сбросивший атомную бомбу на Нагасаки, вел свой воздушный корабль на такой огромной высоте, что практически был «человеком, нажимающим кнопку». Но душой стать им не смог. С высоты, на какой он летел, физически невозможно было услышать крики детей Нагасаки. А, оказалось, он их слышал, они преследовали его потом Он попадает сначала в психиатрическую лечебницу, а после — на «дно» жизни. На-

---

* К. Маркс — Ф. Энгельс об искусстве. М.-Л., «Искусство», 1957, т. I, стр. 169.

циональный герой отказался от крупной государственной пенсии — плата за убийство! — опустился, стал вором, очутился в тюрьме. Солдат не выдержал роли «человека, нажимающего кнопку», человек взбунтовался против этого, совесть — восстала Формула «человек, нажимающий кнопку» должна, по расчетам ее пропагандистов, приохотить человека к войне. Но во что превращается человек, пристрастившийся к войне? Остается ли он подлинно человеком? О человеке, принявшем войну ради нее самой, и рассказывает Джон Хэрси в романе «Возлюбивший войну» (1959).

Повествование в романе ведется от имени лейтенанта Боумена, второго пилота тяжелого американского бомбардировщика типа «летающая крепость». Самолет бомбит Германию с базы, расположенной в Англии. Командует им капитан Базз Мерроу. Он-то и является «возлюбившим войну», продавшим ей душу.

Мерроу любит повторять рассказ о том, как он ушел в армию, бросив автомашину с оставленным в ней ключом прямо на улице около призывного пункта. И в этом рассказе не только эффектно небрежный жест прощания навсегда с мирной жизнью В нем звучит страшная своей безоглядной готовностью на все что угодно, бесшабашно-циническая беспечность прощания Мерроу с человеком в себе. Он лучший пилот в части, пилот редкого мастерства и одаренности Мерроу водит машину, точно играя, лишь кончиками пальцев придерживая ее штурвал. И он одержим маниакальным стремлением — разрушать, разрушать, разрушать... Он упивается, сознавая себя великим разрушителем, истребителем жизни, новым Чингис-ханом, обрушивающимся с неба на землю, как ураган, как «бич народов». Ему все равно, куда падают его бомбы. Лишь бы они убивали, лишь бы от их ударов вздымалась земля, рушились здания. О своей смерти он говорит с равнодушием фаталиста — она придет в свой час, не раньше. И все это вместе взятое делает его героем в части. В мирной жизни Мерроу не знал, что такое человеческое братство. На войне он открыл его, но представилось оно ему более чем своеобразно. Как некий орден рыцарей смерти в воздухе, одержимых войной, которых «братает» смертельный бой друг с другом и бесконечное презрение ко всем, кто остается на земле. На земле Мерроу то мучают неизбывная скука, тяжелое томление, то на него нападают припадки буйного, безудержного разгула. И тогда этот здоровенный верзила с некрасивым лицом превращается в сущего дьявола, увлекая за собой всех. И тогда в офицерском собрании начинается буквально шабаш, какая-то вальпургиева ночь, с бешеной гонкой по кругу, по залу бара, на мотоциклах, со стрельбой, с пожаром...

Отношение Боумена к Мерроу противоречиво с самого начала Они не любят друг друга. И вместе с тем Мерроу — кумир Боумена. Ненавистный кумир, которого он боится, но перед которым не может не преклоняться. Но почему же он с какого-то момента вдруг ясно осознает, что они — враги, что он ненавидит Мерроу не меньше, чем нацистов? Боумен начинает задумываться.

Сущность Мерроу и «мерроуизма» открывается ему постепенно. Одно он постигает сам. Другое ему помогает понять его возлюбленная, англичанка Дафна, чей погибший на войне жених был таким же, как Мерроу. Боумен довольно скоро разглядел в своем бывшем герое, в этом «гении» пилотирования, изолгавшегося позера, опасного маньяка, отщепенца. Но это лишь половина истины. Вторая же ее половина далась ему гораздо медленнее, труднее и открылась лишь отчасти.

Боумен возненавидел войну. Сначала только как пацифист, пассивно не приемлющий ее Но он не только глубоко выстрадал свой пацифизм, но и постепенно, сам еще ясно не понимая, что с ним происходит, встает на путь преодоления пассивного отрицания войны.

Главная линия развития образа Боумена и связывается с решением вопроса о путях, которые приводили человека от пассивной ненависти к войне к пониманию необходимости победить фашизм, с тем чтобы сделать войну с ним последней из войн.

«Возлюбивший войну» — история не только разоблачения и низведения с пьедестала одного героя, но и прозрения и начала перестройки души другого. Одно неразрывно связывается с другим.

Даже и после того как Боумен понял Мерроу, тот продолжал оставаться для Боумена воплощением мужества. Для полноты постижения «одержимого войной» Боу-

мену нужно было увидеть своими глазами, что тот трус, слабая душа. И он увидел это. Неожиданно для себя, хотя наступление этого момента было неотвратимо с точки зрения логики войны и непреложности законов мужества. Боумен увидел, как его вчерашний «бог» воздушной войны сдал в бою, струсил, выпустил оружие из рук...

Мерроу не был солдатом. Он упивался войной, пока полеты были сравнительно безопасны. Достаточно было просто виртуозно владеть техникой вождения машины. Когда же резко активизировались действия немецких истребителей, чтобы вести бомбардировщик к цели, понадобились мужество, самоотверженность. А их в душе Мерроу, опустошенной манией убийств и разрушений, не было. Они были в душе Боумена, простого, славного американского парня, хорошего товарища, честного солдата.

В начале войны Боумен не знал, что такое фашизм, да и не очень интересовался этим. Он был из тех немудрящих американских ребят, которые, не задумываясь, умрут за любимую кинозвезду, за спортивную честь своего города или штата, за друга. А что такое немецкий фашизм, что он натворил в Европе и чем угрожает всему миру, они представляли себе весьма смутно. В Англии Боумен увидел, какие разрушения причинили варварские бомбардировки немецкой авиации. Но и это тронуло его в общем не очень сильно.

Понимание того, что такое фашизм, приходит к нему в романе несколько необычным путем — через постижение сущности Мерроу, подлой, зверской, ничтожной. Он еще не знает, что это и называется фашизмом. Но суть его он понял и возненавидел всей душой так, что у него захватывает дух и чешутся кулаки.

Мерроу был одержим войной, пока мог ее вести если и не совсем как «человек, нажимающий кнопку», то очень близко к этому. Но бои становятся все опасней. У него начинают сдавать нервы. И, когда его машина, которую он считал чуть ли не заколдованной, прострелена, как решето, люди в ней убиты и изранены, он выпускает штурвал и сползает с сиденья. Он раздавлен, весь внутренне смят. С ним все кончено. Управление принимает Боумен. И первое, что он почувствовал: между ним и ранеными установилась та связь, которой никогда не было в экипаже Мерроу,— настоящее солдатское братство. Это вместе с тем и конец «сепаратного мира» с врагом, подписанного было ненавидящим войну лейтенантом Боуменом. Мы прощаемся с Боуменом, когда он ведет весь содрогающийся от повреждений корабль. Он еще не раз поведет его, тот самый корабль, в кабину которого уже заглядывала смерть, а теперь вошло мужество. Настоящее. Крепко связанное жизнью, которая прекрасна и которая именно поэтому еще не раз потребует, чтобы лейтенант Боумен пошел за нее в бой, на смерть.

Медленно, трудно приходит к нему победа над собой, прозрение. Боумен еще не прозревший, но уже — прозревающий.

* * *

Развитие антивоенного романа в США идет сложными путями. Романы Мейлера и Джонса убедительно показывают неприглядные стороны жизни американской армии, резко обличают одержимую идеей мирового господства фашиствующую военщину. И вместе с тем гуманистический протест против войн во многом ослаблен в этих книгах пацифизмом и анархическим индивидуализмом их авторов. Ограниченность такой позиции очевидна. Особенно в наши дни, когда фронт борьбы за мир ширится во всех странах, в том числе и в Соединенных Штатах Америки.

Хэрси идет дальше Мейлера и Джонса. В его романе «Возлюбивший войну» поставлен вопрос о преодолении пацифистски ограниченного, пассивного отрицания войны. Дальнейшие поиски в этом направлении, без сомнения, откроют перед антивоенным романом США новые, более широкие перспективы.

В. Днепров

О ФРЕЙДИСТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И РЕАЛИСТИЧЕСКОМ РОМАНЕ

I

Если это безумие то в своем роде последовательное.
Шекспир.

В тайник души забралась плесень.
Блок.

Как бы ни относиться к Зигмунду Фрейду, но в смелости и готовности немедленно решать трудные вопросы науки ему отказать никак нельзя. Фрейд задумал описать человеческую психику, так сказать, на ходу, в ее живой динамике, в движении и взаимоотношении всех ее частей. Заполняя остроумными догадками и гипотезами провалы между фактами, он вывел здание психологии «под крышу». В нарисованной им картине нашли себе место и душевная биография личности и разрывающие ее внутренние противоречия, ее отношения к самой себе и отношения к близким людям, рождение, любовь, смерть и явления повседневности. Эта кажущаяся полнота знания о затаенных процессах душевной жизни, эта интимность общения науки с невыговоренным и тщательно скрываемым содержанием индивидуальности составляют один из источников влияния и популярности фрейдизма. Впервые изображение человеческой психологии в понятиях осмелилось соревноваться с изображением человеческой психологии в образах, с тем всесторонним и целостным воспроизведением душевной жизни, которое давало нам искусство, и в особенности реалистический роман.

В течение столетий преданные истине художники, глубокие наблюдатели жизни, копили знание о проявлениях человеческой натуры в различных обстоятельствах, совершенствовали приемы психологического анализа, давая нам заглянуть в сокровеннейшие мотивы человеческих поступков. Общение с великими произведениями искусства — это не только эстетическая, не только нравственная, но еще и психологическая школа для каждого из нас. Как наше понимание человека, так и самый процесс психологического формирования нашей личности в немалой степени зависят от результатов этого общения. Любя и жалея людей, Свифт, Бальзак, Толстой, Чехов вместе с тем рассказывали о них беспощадную правду, и мы, впитывая эту проникнутую любовью правду, учимся доверять знанию художников о том, что такое человек, каковы его внутренние силы и возможности.

И вот Фрейд говорит нам: не верьте этим писателям, они опоэтизировали человека, окружили его прекрасной иллюзией, закутали покровами красоты и незаметно для самих себя вложили в реальную личность свои идеальные представления о ней. В действительности человек — более страшное, прозаическое и низменное существо, чем это представлено в самых горьких художественных изображениях.

Но отличается ли столь решительно взгляд Фрейда на сущность человека от взгляда, выработанного и обоснованного гигантской работой реалистического романа?

Именно этот вопрос мы и собираемся рассмотреть.

Фрейдистская эпидемия стала опасной для духовного здоровья целых народов. Ее гнетворное и вредоносное влияние чувствуется во всей идеологической жизни Запада. Теории Фрейда стали популярными не только в среде интеллигенции; вопреки предсказаниям самого Фрейда, то самое мещанство, которое всегда было носителем отвратительнейшего ханжества, с жадностью и увлечением впитало в себя и (после короткого периода замешательства) сделало

своим достоянием учение психоанализа. Все основные идеи декадентства, выраженные в других идеологиях непонятно, слишком изысканно или аристократически высокомерно, во фрейдистском обличии дошли до любой домашней хозяйки и, так сказать, демократизировались. Декадентство выступило здесь в успокоительно-наукообразной оболочке, породнившись с вполне респектабельной медициной. Фрейдизм сделал декадентство — бытом.

Вряд ли кто-нибудь станет оспаривать ту истину, что фрейдизм из скромной терапии неврозов давно превратился в некую популярную философию — «современную философию личности». Еще несомненнее, что фрейдизм явно вышел за границы психологии: принявшись объяснять содержание общественного сознания (задача, которая всегда будет лежать за рамками любой психологии), он оказался своего рода универсальной идеологией «для всех».* В XX веке влияние всех прочих буржуазно-идеалистических школок не идет ни в какое сравнение с влиянием фрейдизма и составляет рядом с ним исчезающе малую величину. С неудержимостью моды фрейдизм распространился в особенности в Америке, сделавшись чуть ли не идеологической составной частью «американского образа жизни». Как из рога изобилия, сыплются на голову ошеломленного читателя фрейдистские книги и исследования, касающиеся самых разнообразных областей культуры. Фрейдизм проник в роман и драму, а сейчас энергично внедряется в кино.

Эта проникающая способность фрейдизма сама по себе весьма примечательна и требует объяснения. Дело тут не только в потворстве эротизму, всегда составлявшему атмосферу гибнущих обществ. Дело не только в том, что фрейдизм создал, так сказать, генитальную религию современного мещанина-неврастеника, освятив высоким званием «человеческая природа» его изуродованную и прежде столь тщательно скрываемую сексуальную жизнь. Ханжество всегда было одним из отвратительнейших и злобных проявлений мещанства. Фрейдизм реабилитировал тайную и грязную чувственность мещанина, объявил ее выражением всеобщей сущности человека и благодаря этому сумел поставить рядом с ханжеством новомодный «секс». Фрейд в этом отношении находится целиком в русле перехода от идеологии просто лицемерной к идеологии лицемерно-цинической, перехода, охватившего со времени Шопенгауэра и Ницше многие области буржуазной культуры и составляющего один из важнейших моментов современного декадентства.

Но главное, что обеспечило фрейдизму неслыханную популярность,— усовершенствование приемов оправдания и защиты капиталистического общества. Главное в том, что фрейдистская психология последовательно проводит принцип, который следовало бы назвать *пессимистической апологией существующего*. Сикофанты буржуазной реакции, бесстыдно подкрашивая реальность, говорили: это хорошо, и поэтому так должно быть. Фрейдизм везде опирается на другую формулу: *увы, это плохо, но иначе быть не может*. Фрейдизм создает удобную позицию психологического пессимизма как формы соглашения с дурной действительностью: я больше не заставляю называть черное белым, но я показываю психологическую необходимость устраиваться и жить, страдать и навеки пребывать в *черной* действительности. При этом фрейдизм твердит о чувстве нового, об интеллектуальном бесстрашии, одним словом, обнаруживает характернейшие черты явления, которое Томас Манн удивительно метко назвал: «реакция как революция».

Нет ни одной самой вопиющей несправедливости классового строя, для которой Фрейд не подыскал бы основания в психологической сущности человека, в тайниках бессознательного, господствующего над личностью и сливающегося с темными зовами, порывами и томлениями нашей плоти. Он выделил залегающую в глубине душевную зону, независимую от общества, неизменную и недоступную историческим влияниям. Ее содержание — факт первоначальный, ни из чего не выводимый, основной фонд инстинктов и потребностей человека как живого существа, момент превращения биологических процессов, смутных импульсов тела в психологические переживания. Заглядывая в эту глубину через расщелины распадающегося и разорванного сознания, расшифровывая символы снов и образов повседнев-

---

* «Не насилуя его сущности, — пишет Фрейд.— психоанализ можно применять *с таким же* успехом к истории культуры, к науке о религии и к мифологии, как и к учению о неврозах» (З Фрейд Лекции по введению в психоанализ. Москва—Петроград, 1922, т II, стр 177).

ности, комбинируя гипотезы и предположения, Фрейд, в конце концов, утверждает то самое, что мы знаем из первой попавшейся мещанской действительности: в непроницаемой капсуле бессознательного сидит мелкий эгоист, жаждущий удовольствия и жестокости. Эгоизм — психологическая эманация всего чувственного, телесного, биологического, эротического в человеке. Отсюда Фрейд хочет вывести не только личную, но даже и социальную психологию. «.. сами социальные влечения,— пишет он,— развились в особые комплексы благодаря слиянию эгоистических и эротических компонентов».*

Вначале был эгоизм. Из него, как из корня, вырастает психологическая личность, резко отличающаяся от личности рассудительно-деятельной. Сон приоткрывает тайную и главную натуру человека, и именно поэтому сон «находится во власти исключительно эгоистических мотивов».** Фрейд конструирует стадию душевного развития, которую называет состоянием нарцизма и которую следует характеризовать как предельное состояние герметического эгоизма. Человек поглощен собой, влюблен в себя, сосредоточен только на себе и наслаждается только собой. Через нарцизм проходят все — «нарцизм является *общим и первоначальным* состоянием, из которого только позднее развивается любовь к объекту» (курсив наш).*** Не сразу и не просто чувственность расширяется до того, чтобы допустить в тесную эгоистическую сферу еще и другого человека — пусть даже только как средство регулярного наслаждения. Отметив, что нарцизм является сущностью всего первобытного, Фрейд добавляет: «Я думаю, что нарцизм является либидинозным дополнением эгоизма» ****

В этом *раздвоении* эгоизма заключена важнейшая идея фрейдовского психологического учения: эгоизм интересов и эгоизм «либидозный», инстинкт самосохранения и инстинкт наслаждения. Первый требует приспособления к *внешнему* миру, вынуждает к целесообразному труду, заставляет — под угрозой гибели — слушаться приказов разума; он открыт влиянию обстоятельств и способен до неузнаваемости менять формы своего проявления в зависимости от того, как согласуются или противоречат друг другу интересы многих людей. Это тот эгоизм, из которого исходили и который хотели возвысить до разумности просветители.

Учение просветителей о естественном эгоизме, о личной пользе как вечном двигателе человеческого поведения (учение теоретически и исторически глубоко неверное), о так называемой взаимной эксплуатации и возможности построить гармонию частных интересов Маркс справедливо называл идеальным предвосхищением буржуазного человека и буржуазного общества. Утопические системы предшественников французской революции были затем использованы для практического оправдания капитализма, но за полтораста лет хозяйничания буржуазии эти шаблонные приемы основательно поизносились и потребовали «либидозного дополнения». Правда, и сейчас подлыми баснями о «народном капитализме» стараются подновить представление о гармонии интересов, основанных на частной собственности и разнузданном индивидуализме, но тем, кто не удовлетворится «оптимистическим» обманом, может быть предложено пессимистическое учение Фрейда об эгоизме, *всегда остающемся иррациональным* и не претендующем ни на какую разумность, с начала до конца воплощающем антисоциальные начала личности, пребывающем в недрах бессознательного в качестве греховно-дьявольского центра психики.

Теперь задача сводится к тому, чтобы *разместить* два принципиально различных эгоизма в человеческой душе и установить «механику» их постоянного отношения Эгоизм самосохранения, соприкасаясь с необходимостью внешнего мира, вынужден руководствоваться логикой и «принципом реальности». Эгоизм либидозный движется из недр плоти, выражает импульсы и потоки влечений, сокрытые в истоках жизни; он *равнодушен поэтому ко всякой целесообразности,* руководствуясь единственно «принципом наслаждения» и совершенно не считаясь с последствиями наслаждения как для самой индивидуальности, так и для ее взаимоотношений с другими людьми.

Выпустить этот первозданный эгоизм на свободу значит отдать мир произволу, а культуру обречь на полнейшее истребление.

---

* З. Фрейд Тотем и табу. Москва—Петроград, стр. 84.
** З. Фрейд. Лекции по введению в психоанализ, т. II, стр. 204.
*** Там же, стр. 203—204.
**** Там же, стр. 205.

Фрейд усматривает величайшую удачу человечества в том, что к моменту полового созревания человеческий интеллект достигает довольно высокой степени развития. «В противном случае,— пишет он,— влечение прорвало бы все преграды и смыло бы возведенное с таким трудом здание культуры».* Только благодаря принуждению удается отклонить энергию сексуальных переживаний в сторону труда и тем самым заставить людей производить условия своей жизни. Либидозный эгоизм абсолютно аморален.

Сознательное «Я» вступает в тяжкую и нескончаемую борьбу с огромным и опасным зверем, притаившимся в глубине человеческой природы. Окончательной победы оно одержать не в силах: социально опасные влечения не могут быть ни убиты, ни даже ослаблены. «Я» способно лишь сбросить страшные желания в «трюм» души, отодвинуть их ниже порога сознания, приставить к ним сторожей совести, обнести решеткой нравственных обязанностей. Процесс культурного развития вовсе *не устраняет* дикого, безумного и первобытного в человеке, он только вытесняет это дикое в область бессознательного. Разумно-человечье строится *не вместо* кроваво-хищного, *а над* ним, неустойчивая площадка гуманной культуры висит над ямой, где сплелись скорпионы непростительных вожделений.

Фрейдовское бессознательное — вместилище либидозного эгоизма. Там скопились желания, которые — под страхом полного разрушения человеческого общежития — не могут быть позволены, но которые вместе с тем не могут быть устранены и продолжают тайно направлять всю душевную жизнь человека.

Уже поэтому обычный взгляд, по которому именно фрейдизм впервые оценил должным образом значение эроса в душевной жизни и разорвал пелену ханжества, окутывающую вопросы пола, нужно считать хорошо организованным недоразумением. На самом деле здоровые, светлые и гармонически разрешающиеся чувственные влечения не играют в психологии Фрейда почти никакой роли. Да и что делать Фрейду с телесной любовью, если она свободно выходит из состояния бессознательности, если она допускается в чистую горницу души как нечто естественно прекрасное и человеческое. У Фрейда речь идет о правах больной, извращенно хилой чувственности, всем своим строем напоминающей произведения измученного аскезой средневекового воображения.

Фрейдовское изображение сексуальных влечений к матери у ребенка, только что пробудившегося к жизни, заставляет вспомнить о словах блаженного Августина, писавшего, «что даже невинные младенцы, сосущие материнскую грудь, суть уже порочны и лукавы».

Лишь при том условии, если сексуальное дает начало неразрешимым душевным антагонизмам и дисгармониям, «заводится» фрейдовская психологическая «динамика». Стремления должны обязательно быть постыдными, вредными для общества, чтобы наполнилась мрачная глубина бессознательного и установилось взаимодействие разных психических систем, определяющее весь процесс душевной жизни. Инстинктивные потребности получают значение в теории Фрейда лишь постольку, поскольку они не могут быть согласованы с социальными интересами и противостоят им. Тайные отношения между «Я» и сексуальностью завязываются *только* потому, что они находятся в явной и открытой вражде друг с другом. «Все сводится опять-таки к конфликту между «Я» и сексуальностью» *,— пишет Фрейд, и вряд ли есть теоретическое положение, которое он повторял бы чаще и настойчивей.

Человек есть животное политическое, говорил Аристотель. Человек есть животное, делающее орудия, заявлял Франклин. Человек есть животное, способное к многообразным уклонениям от сексуальной нормы, утверждает — вполне серьезно — Фрейд. «Слишком сильное развитие либидо и ставшее, по-видимому, *благодаря этому* возможным развитие богато развернувшейся душевной жизни» — вот что создает первоначальное отличие человека от животного ** (курсив наш). Не боясь абсурда, Фрейд пытается все главные явления психологии вывести из сексуальной биографии личности. Нормальное влечение ему в этом никакой поддержки оказать не может. Поэтому он вынужден обратиться к извращениям —

---

* З. Фрейд. Лекции по введению в психоанализ, т. II, стр. 101.

* З. Фрейд. Лекции по введению в психоанализ, т. II, стр. 140.

** Там же, стр. 202.

ненормальным остановкам на инфантильных стадиях полового чувства. Разные части тела по тем или иным случайным причинам становятся преобладающими в нашем либидо, определяя различия человеческих характеров. Человеческий характер — психологический ореол сексуального извращения. Так и возникает фрейдистская классификация характеров, используемая не только при исследовании психозов, но и при изучении великих произведений искусства: оральный, анальный, фаллический, генитальный и уретральный. Любопытно, что из анального характера вытекает интерес к деньгам и некоторые распространеннейшие формы скупости. Похоже на то, что анальному характеру при капитализме особенно повезло.

Уже в эпоху Возрождения искусство прославило плотскую радость, уравняло ее в правах со всем человеческим, допустило в царство красоты. Гете, Пушкин, Вагнер возвысили чувственные картины до высокой поэзии. Толстой довел изображение половой страсти до огромной художественности. Художники с изумительной глубиной показали, как в ходе истории *меняется* положение чувственного влечения и наслаждения во всем целом душевной жизни человека. Такие поэты-революционеры, как Гейне или Веерт, связали поэзию плоти со своей ненавистью к затхло-ханжескому миру мещан. Совсем иначе выглядит и совсем другую роль играет чувственность в романах, тронутых молью фрейдизма. Здесь сексуальное сброшено в область низменного и насквозь прозаического, внимание перенесено на отвратительно «техническую» сторону сладострастия. художественное изображение деградирует до «истории болезни», и кажется, что от книги пахнет лекарствами. Какой-то западный литератор метко сказал, что психиатры в современных американских романах встречаются почти так же часто, как ростовщики в романах Бальзака. Влияние фрейдизма было губительным даже для любовной поэзии.

Но дело не только в этом. Дело еще в том, что непримиримо противоположны самые подходы фрейдизма и социально-критического романа к освещению и объяснению чувственной жизни человека. Для Фрейда бессознательно-сексуальное — область, выключенная из исторических влияний, очерченная магическим кругом, внутрь которого не проникают социальные формы. Благодаря этому она остается вполне самостоятельным источником психологических закономерностей. Когда ставятся вопросы душевной жизни, полагает Фрейд, объяснение должно идти *изнутри*, из глубины органической потребности. Фрейд сознательно отделяет *потребности от интересов*, доказывая этим, что он в теоретическом отношении на десять голов выше своих пигмеев-учеников. «Различие между либидо и интересом» составляет, по его убеждению, краеугольный камень всего психоанализа *.

Только отгородив сексуальные желания от всего круга человеческих интересов, Фрейд смог выделить поток импульсов, движущихся из недр нашего организма навстречу и *наперерез* социальным воздействиям. Объяснять сознательное из бессознательного, объяснять социальное из индивидуального — таков маршрут психоанализа. «В душевной жизни народов,— пишет Фрейд,— должны быть открыты не только подобные же процессы и связи, какие были выявлены при помощи психоанализа у индивида, но должна быть также сделана смелая попытка осветить при помощи слоившихся в психоанализе взглядов то, что осталось темным или сомнительным в психологии народов». **

Великие творцы реалистического романа шли обратным путем: от социальной психологии, неразрывно связанной с господствующими отношениями, к психологии индивидуальной. Общественная жизнь была как бы огромным фонарем, освещавшим внутренний мир человека на всю его глубину. Литература давала бесчисленные доказательства огромной *пластичности* всех психологических сил, *замечательной способности самой сущности человека к историческому развитию*, изменчивости *форм* у самых элементарных чувствований, у самых телесных страстей. Она воочию показывала, до какой степени *различными* — в самом серьезном и глубоком смысле этого слова — могут быть люди в разных жизненных условиях, и тем самым учила отличать временные и специфические виды человеческого поведения от возможностей человека становиться иным и лучшим.

Захватывает ли ход истории характер любовно-чувственных влечений человека,

---

* З. Фрейд Лекции по введению в психоанализ, т. II, стр. 208.

** З. Фрейд. Тотем и табу, стр. 13.

взятых в их полном объеме, или идет *мимо* этих интимнейших сторон человеческой натуры? Добирается ли поток мотивов и стимулов социальной жизни до самого дна души или останавливается возле заколдованной границы какого-нибудь «Оно»? На эти вопросы художники-реалисты не только дали исчерпывающие ответы, но и доказали эти ответы с тонкостью и проницательностью воистину поразительными.

Сексуальные желания вовсе не имеют той полнейшей автономии, какую им приписал Фрейд: они испытывают на себе преобразующее влияние со стороны всей эмоциональной и идейной деятельности человека, они оплетены мотивами, которые, будучи сами по себе далеки от сексуального, оказываются вместе с тем очень важными для всего уклада и тона нашей чувственности. *Осуществляющаяся потребность как бы преломляется через специфическую природу человеческих отношений и соответственно видоизменяется.* Это великолепно понимали творцы романа XIX и XX веков. Могла ли быть уместной в этом романе веселая, космически упоенная чувственность Возрождения или всеохватывающая страсть XVII столетия? Мог ли Штольц желать женщину, как Пантагрюэль или Растиньяк, как Отелло?

Мы говорим, разумеется, не о различии личных характеров или темпераментов. Меньше всего имели в виду это различие Стендаль, Бальзак или Мериме, когда настойчиво спрашивали: почему в эпоху, последовавшую за падением Наполеона, *исчезла* подлинная страсть, почему ее можно встретить только еще в среде трудящихся или в мире добуржуазных отношений? Почему в «трезво практическом» обществе стали неправдоподобными, неуместно громадными не только чувства, соединившие на жизнь и смерть Ромео и Джульетту, Дездемону и Отелло, но и страсти героев Расина? Почему здесь даже самозабвенная привязанность кавалера Дегрие кажется чрезмерно серьезной и патетичной, а «пучина страстей», о которой говорил Прево, мельчает до болота ничтожных страстишек?

Художники видели, что самые интимные формы любовных влечений являются функцией времени и общественных нравов. «Поиски разнообразия в любви,— заметил однажды Бальзак,— признак бессилия. Постоянство — это гениальность в любви, признак могучей внутренней силы, составляющей сущность поэта!» Рассматривание мира через тусклое стекло полезности и расчета, распространение, так сказать, скучного жизнеощущения, влечет за собой далеко идущие последствия в сфере телесных желаний. Притупленная чувственность нуждается в соблазнительных женщинах, которые «разжигают любопытство, как приправы возбуждают аппетит». Терминология кулинарии вполне уместна, когда любовь низведена до постоянных исканий все новых соблазнов. Эти искания, по словам Бальзака, *говорят об извращенности, порождаемой обществом.* А Фрейд почти через столетие уверяет нас в том, что извращенность вовсе не порождается обществом, что она, как таковая, принадлежит к вечным основам человеческой натуры; опыт нескольких вырождающихся поколений закрыл от Фрейда момент исторического перехода, и ему кажется, что так было всегда.

Бальзак со свойственным ему глубоким остроумием показывает, как резко изменилась в сложившемся буржуазном обществе любовно-эротическая психология по сравнению даже с периодом империи. «Это новое *искусство любви* щедро рассыпает евангельские слова в предисловиях к бесовским деяниям... Лицемерие, ставшее отличительной чертой нашего века, пропитало своим ядом даже любовные связи. Изображают собой двух ангелов, а ведут себя, как два демона, если конечно достанет силы». Буржуазное лицемерие, внедрившееся в самую чувственность и ставшее эротической приманкой,— вот чего не снилось Фрейду, не способному проникнуть дальше поверхностной видимости явлений.

Гениальный роман Бальзака «Кузина Бетта», «этот,— по словам автора,— важный и страшный очерк парижских нравов»,— подлинная одиссея буржуазного порока. Но разве не всякий порок одинаков, разве существует какой-то особый *буржуазный порок?* Да, существует, и именно *это* хочет сказать Бальзак всем ходом своего художественного анализа.

Через роман бредут два распутника: бывший герой наполеоновских войн барон Юло и ушедший от дел коммерсант Кревель. Они считают себя продолжателями дворянского разврата XVIII века. «Ведь решено: мы с вами, волокиты времен Регентства, голубых кафтанов, госпожи Помпадур». На самом

деле эти слова пузатенького, багроволицего Кревеля — самообольщение «мещанского тщеславия». Если барон Юло в свой ничтожный порок все же вносит размах безудержной натуры, одержимость сладострастием, желание импонировать, готовность отдавать и дарить, решимость погубить себя, то Кревель вносит в него дух расчетливости, прозаической мелочности, стремление рассрочить платежи, тщеславие лавочника и лицемерные ужимки буржуа.

«Я человек современный. Я чту деньги!» — любит повторять Кревель, и это определяет место, которое занимают чувственные удовольствия в его жизни. Дворянский распутник — расточитель, пускающий по ветру все, что есть у него и у его семьи. Совсем не таков распутник буржуазный: «бывший коммерсант не может позволить себе повадки вельможи, он должен действовать методично, у него на первом плане экономия и порядок. Можно, конечно, *открыть счет на свои причуды* и ассигновать на *эту статью* известную часть своих доходов, но тронуть капитал!.. Да это же безумие!» (курсив наш). Тут в двух фразах изумительно верно дана своего рода «политическая экономия» буржуазного порока, много раз подтвержденная за сто лет работы социально-критического романа после Бальзака.

Оплачивать сладострастие из дохода, оставляя в неприкосновенности капитал,— эта формула определила весь облик буржуазного гетеризма, его уклад и обычаи, его атмосферу и повадки. И когда Кревель с энтузиазмом заявляет своей пассии: «Да я люблю тебя как целый миллион чистоганом», то здесь содержится не только презрительная шутка Бальзака, но и точный жизненный смысл. По сути, по характеру по строю и колориту любовь Кревеля к миллиону не так уж сильно отличается от его «любви» к госпоже Марнеф: в одном случае любовь сообразуется с суммой выгоды, в другом — с суммой удовольствий. Недаром циничнейшая из бальзаковских куртизанок говорит: *«Мы продаем самое ценное, самое бесспорное, что есть на свете,— наслаждение...»* (курсив наш).

По утверждению Бальзака, «победившая буржуазия видела в лице Кревеля своего собственного представителя» и он «сам по себе является целым миром». Вот почему именно на его вкусы чем дальше, тем больше ориентируется вся парижская ярмарка продажной любви.

Характеристику этих вкусов Бальзак связал с «психологией выскочек», неискоренимой у всех преуспевших буржуа. В лавке Кревеля на мгновение появлялись женщины «из общества» — недоступные и изящные, далекие и благоухающие, и ничто не могло воспламенить его больше, чем мечта о близости с одной из таких женщин. Социальное тщеславие пробило насквозь его чувственность. «Признаюсь, мне еще никогда не приходилось иметь дело с порядочной женщиной, а я давно мечтал обладать порядочной дамой»,— наивно высказывает Кревель свой эротический символ веры.

И ему в этом отношении сумела вполне потрафить госпожа Марнеф — классический тип буржуазной куртизанки «с мечтательным взглядом, с невинным личиком и несгораемым шкафом вместо сердца». Сознавая, что он причастился к соблазнительным тайнам «порядочной женщины», Кревель «испытывал огромное *чисто рассудочное наслаждение*» (курсив наш), удесятерявшее его блаженство.

Чисто рассудочное наслаждение! — вот что более всего отличает буржуазную чувственность, соединившую в себе вожделение и равнодушие, желание и расчет, соблазн и тщеславие. Поэтому жрица мещанского порока лишена того беспечного авантюризма, той игры души, тех порывов благородства и моментов отвращения к себе, той любви к искусству, одним словом, лишена всех тех привлекательных человеческих черт, которые встречались у куртизанок прошлого. «Женщина эта — само распутство и голый расчет», и Бальзак называет ее *«буржуазной Данаей»* или *«буржуазной госпожой де Мертей»*, желая сказать этим последним сравнением, что к отвратительным чертам распутницы госпожа Марнеф добавила еще мелочное корыстолюбие, мещанскую экономию и скопидомство, неуемную жадность и омерзительную деловитость разврата. Она эксплуатирует мужчину «наподобие того, как эксплуатируют карьер», она стремится увеличить выгоду, совмещая многих любовников и всем своим поведением оправдывая слова Кревеля: «Любая из этих женщин — компания на паях!»

К такому же представлению ведет нас и Флобер, рассказавший в своем великом романе, с какой неизбежностью жажда любви

у бедной мадам Бовари была похоронена в могиле механической чувственности. Золя и Мопассан изобразили тот в высшей степени важный момент, когда поток смрадного разврата накатился на молодое поколение буржуазии и поглотил его. В непереносимо жутком рассказе Мопассана «Подруга Поля» совсем еще незрелый юноша — сенаторский сынок — «полюбил безумной любовью, сам не зная почему, вопреки своему тонкому вкусу, вопреки своему разуму, вопреки даже собственной воле. Он упал в пропасть этой любви, как падают в яму, полную жидкой грязи». Власти, «порожденной бесом плоти», подчинила его безобразная, крикливая, тупая тварь — воплощение судорожного, не знающего удержу распутства. Создалась как раз та ситуация, которую Фрейд считал типичной для человеческой психологии вообще, но которую художник Мопассан связывал со всей отравленной нравственной атмосферой буржуазного общества, с испарениями всей плесени Парижа, с той неудержимой тягой к наслаждению, которая охватила в это время высшие классы. «Это место все пропиталось скотством, от него разит гнусностью и рыночным ухажорством. Самцы и самки здесь стоят друг друга». И над всей этой мерзостью как концентрация его сути поднялась гадина извращения — того самого извращения, которое Фрейд причислил к основным фондам человеческой натуры.

Чем ближе к XX веку, тем чаще воспроизводится романом вся совокупность психологических уродств, которые позже стали фундаментом теории Фрейда. Но художники-реалисты рассматривают эти уродства как *специфический результат* капиталистического развития, изучают их в ходе извращающего действия буржуазных отношений на человеческую личность. Фрейд же делает эти явления *исходным* пунктом своих размышлений, усматривая в них откровение вечной сущности человека, он берет их в данном, готовом виде, в котором совершенно изгладился процесс их возникновения.

В своей глубокомысленной истории буржуазного порока реалистический роман показывает *весь процесс превращения страсти в «секс», отчуждение сексуальности от высоких мотивов душевной жизни,* образование своего рода эротического формализма и автоматизированной буржуазной чувственности. А Фрейд именно эту — искалеченную буржуазным эгоизмом, любопытствующую и безрадостную, изолировавшую себя от прочего внутреннего мира, охлажденную постоянной заботой и неизбежным расчетом, пораженную неврастенией, казуистикой и страхом сексуальность кладет в основу своего представления об индивидуальности.

Реалистический роман методом социального анализа обнаруживает отпечаток буржуазной черствости и рассудочности на самых интимных формах полового чувства и показывает, с какой неизбежностью вытекает отсюда порочная чувственность. А Фрейд объявляет порок тайной сущностью всякого человека.

В классическом искусстве XIX и XX веков изображение телесной любви было поставлено в неразрывную связь с отрицательно *критическим* отношением к обществу, и именно этим в первую очередь объясняется непримиримая ненависть ханжей к таким книгам, как «Западня» Золя или «Госпожа Бовари» Флобера. А у Фрейда патологическая психология половой жизни объективно служит *оправданию* и увековечению капиталистических порядков, и главным образом поэтому ханжи с такой легкостью признали его теорию «секса».

Реалистический роман не только опровергает учение Фрейда, но и объясняет нам его историческое происхождение.

II

Политика — это судьба.
Наполеон.

Анатомия — это судьба.
Фрейд.

В биологической основе личности ищет Фрейд первоначальный источник эгоизма. Напротив, классический роман — в этом состоит одно из величайших его познавательно-творческих достижений — *именно в социальном порядке открывает основную и главную причину человеческого эгоизма.* Строй жизни, объективно основанный на столкновении частных интересов и конкуренции личных целей, отражается в субъек-

тивной психологии как господство эгоистических мотивов поведения.

Начало эгоизма — вожделение живой плоти. Начало эгоизма — частная собственность. Таковы две исключающие друг друга точки зрения.

Реалистический роман убедительно показывает, что «чувство собственности» (Голсуорси) вовсе не ограничивается сферой непосредственно экономических отношений между людьми. Чувство собственности кладет начало агрессивному психологическому процессу, распространяясь на все виды душевных движений, переделывая их по своему образу и подобию и становясь как бы их формальным принципом. У человека-собственника даже элементарные эмоции протекают иначе, заключают в себе другое содержание, чем у человека, не пораженного этим коварным ядом. Чувство собственности прорывается во все более глубокие сферы душевной жизни, подчиняя их мотиву, чуждому всему человеческому, и доходит в конце концов до тех сокровеннейших переживаний, которые, по мнению Фрейда, стоят вне всяких преобразующих воздействий социальной среды. Одна из важных особенностей реалистического романа XX века состоит, на наш взгляд, в том, что он с замечательной проникновенностью исследовал заключительный фазис этих социально-психологических изменений.

В «Саге о Форсайтах» Голсуорси разложил на составные элементы любовную эмоцию человека-собственника. Следует отметить, что дело идет о сильном и упорном чувстве, способном причинять тяжкие страдания, а не о холодном сбалансировании расходов и удовольствий, положенном в основу второго брака Сомса. Но суть в том, что Сомс любит Ирен как принадлежащую ему вещь. Эта вещь лучше, прекраснее, соблазнительнее, драгоценнее, живее, чем все другие вещи, которыми он обладает, без нее ему гораздо труднее обойтись, чем без прочих вещей, и все же она находится в восходящем ряду предметов, образующих его собственность. Он всегда рассматривает Ирен только по отношению к самому себе, но его мало или даже вовсе не интересует ее отношение к себе и окружающему миру, ее самоцельная личность. И когда Сомс — самодовольный и гордый муж — запечатлевает поцелуй на голом плече Ирен, то он, по словам писателя, как бы кладет на влажно прохладную кожу красавицы печать своей собственности. Голсуорси, разумеется, догадывается о том, что Сомс испытывает при этом чувственное наслаждение, и не нуждается в заверениях Фрейда на этот счет, но он знает и то, чего не хочет знать и понимать Фрейд: любовное наслаждение как бы приросло к чувству собственности и стало от него неотделимым.

«Он смотрел на ее обаяние,— пишет Голсуорси,— как на часть той ценности, которую Ирен представляла, будучи его вещью...» Влечение, чувство обладания и тщеславие образовали триединство, на котором покоилась любовь Сомса, и ничто не приносило ему большего удовольствия, чем «сознание, что весь Лондон смотрит на него, обладателя этой очаровательной женщины».

Голсуорси везде исходит из того, что «самозабвение, страсть, любовь» могут существовать, только ускользая *«от своего безжалостного врага — «чувства собственности»* (курсив наш). Именно это последнее ведет к привязанности, являющейся вместе с тем порабощением. «Стремление подчинить, навязать свое господство тем, кто вас не хочет».

Но вот Ирен полюбила архитектора Босини. «Это было настоящее!» И тут с необыкновенной ясностью проявилась вся суть отношения Сомса к любимой женщине. Принадлежащее ему по праву существо осмелилось взбунтоваться против своего хозяина, осмелилось запереть дверь своей спальни, отлучив супруга от законного наслаждения. Бунт должен быть подавлен. Наружу вырывается первобытная, насильническая жестокость и властность самца-собственника.

И вот мы узнаем, что «Сомс — отвергнутый, нелюбимый муж — *восстановил свои права на жену* путем величайшего, наивысшего акта собственности» (курсив наш). Изнасилование в качестве «наивысшего» подтверждения собственности!— какой верный и подлинно художественный штрих, достойный большого писателя. В математике переходят к пределу, чтобы решить задачу, а Голсуорси выбирает, так сказать, предельную ситуацию, чтобы сущность с наибольшей полнотой стала видимой читателю.

Что сказал бы Фрейд по поводу изображенного способа «восстанавливать права

на жену»? Он объяснил бы его каким-нибудь из эротических «комплексов» и еще раз подтвердил этим бессилие своей психологической теории даже в излюбленной сексуальной области.

С полным правом Голсуорси резюмирует любовную историю Сомса такими словами: «Что в мире может быть, действительно, трагичнее человека, ставшего рабом своего неудержимого инстинкта собственности, человека, который ничего за ним не видит и даже не способен просто понять чувства другого человека!» Но глубина «Саги» обнаруживается также в том, что и дочь Сомса, далекая от всяких соображений наживы, привыкшая легко тратить деньги, происхождение которых ее нисколько не занимает, что и эта прелестная девушка несет в своем чувстве тлетворное начало «собственничества». Она впитала его в себя как нечто готовое из традиций и впечатлений семьи, из характеров самых близких людей и их каждодневных откликов на все явления в мире. Это как бы вторая производная от господствующих законов корысти, их чисто психологическое следствие, проявившееся в интимно-персональных сферах человеческой жизни. Если мы не будем знать истории, которая ведет к Флер, то мы легко примем ее манеру чувствовать за черту только личного своеобразия и, чего доброго, обратимся для объяснения этого своеобразия к фрейдистским комплексам бессознательного. Отчасти для того, чтобы исключить эту аберрацию, роман XX века присоединяет к изображению современного поколения еще и историю поколений.

Когда Голсуорси находит у Флер «безошибочное чутье на все, что могло принести ей выгоду», говорит, что «она из породы стяжателей», что она, «как ее отец, хочет, может быть, *владеть*», то он, разумеется, слова «выгода» или «стяжание» берет не в прямом, а в некоем переносном, условном смысле, он имеет в виду тень, отброшенную собственничеством в самый характер и процесс любви, в форму самого чувства, нехватку у этой любви благородного великодушия и самозабвения, сосредоточенность на себе, цепкое стремление «забрать в руки». «Глагол «иметь» она всегда инстинктивно спрягала с местоимением «я»,— заметил о Флер Голсуорси.

Флер готова думать самое плохое об Ирен только потому, что та мешает осуществлению ее счастья. Между тем именно Ирен воплощает в романе стихию красоты и страсти, враждебную собственничеству. Конечно, оказаться носителем человечности в среде Форсайтов она могла, только будучи идеальным образом, прекрасной незнакомкой. «Она,— по словам писателя,— входила в среду откуда-то извне». Но без нее рухнуло бы все здание романа.

Ирен объясняет своему сыну: «Восхищение красотой и жажда обладания не есть еще любовь. Что, если с тобой повторится то же, что было со мной, Джон, когда задушено все самое сокровенное: телом вместе, а душой врозь!»

И, желая показать, в чем же все-таки сходство между Флер и ее отцом, она далее превосходно формулирует главную мысль:

«Ты даешь, Джон, она берет».

Социально-критический роман изучает главную, существенную последовательность душевных процессов: превращение реальных отношений, интересов и целей в психологические мотивы, охватывающие сначала сферу жизненной деятельности и борьбы, а затем иррадиирующие на все явления субъективной жизни вплоть до самых инстинктивных влечений. Социальный анализ личности нигде не наталкивается на границу, где факты приказывают: дальше нельзя. Напротив, чем глубже проникает этот анализ в сокровеннейшие помышления и переживания индивида, тем очевиднее становятся его изумительные познавательные возможности: он вскрывает исторические метаморфозы человеческих эмоций с неменьшей точностью и верностью, чем биология вскрывает метаморфозы растений в разных условиях обитания. Природнейшее половое влечение вступает *в устойчивые сочетания и сцепления* с различным кругом душевных процессов, и только человеческая история, только общая человеческая жизнь может открыть «механику» этих сочетаний и сцеплений. Почему в одних случаях влечение неразрывно связано с жаждой взаимности и без такой взаимности само наслаждение делается невозможным, а в других — влечение более или менее сводится к жажде обладания и не слишком беспокоится о взаимности? Почему в одних случаях влечение срастается с доброжелательностью и нежностью, а в других — с жестокостью и господством? Почему голос любви в одном случае говорит «о *ней,* об *ее* чувстве,

об *ее* жизни», а в другом: «Смотри, пропустишь *свое* наслаждение, *свое* счастье» (Толстой)? Почему в одних случаях чувство безоглядно, непосредственно, щедро, а в других — рассудочно и проникнуто грубым или утонченно психологическим расчетом? Почему в одних случаях наслаждение покорно человеку, а в других — становится его деспотическим и беспощадным владыкой? Давая ответы на эти и многие подобные вопросы, реалистический роман всюду опирается на цепь зависимостей, сложившуюся в действительной истории: частная собственность и корысть культивируют эгоизм, опустошающий душу и враждебный истинной, то есть социальной, натуре человека,— всюду, куда он проникает, подавляются естественно человеческие стремления, формы общения и благородно-человеческие возможности. Эгоизм извне прорывается в человеческую индивидуальность, и когда он потом поднимается из ее глубины, то это уже движение *возвращения,* а не исходный психологический процесс.

Для Толстого первоначальное нежно-поэтическое отношение Нехлюдова к Катюше есть проявление естественной человечности, а позднейшее беспощадно животное отношение, *«выпроставшееся* из-за прежнего чувства хорошей любви к ней» (курсив наш),— это «сумасшествие эгоизма», одержавшее победу *над* человеческим и поддержанное всей системой общественной несправедливости. Окружающее общество подавляет в Нехлюдове все наивное и доброе и всей силой своего одобрения и внушения культивирует в нем все животно-эгоистическое. «А если все так делают, то, стало быть, так и надо» Любая форма эгоизма, в каком бы пласте души она ни залегала, является результатом социального воспитания личности, проекцией социальных отношений в субъективный мир индивидуальности — к этому выводу неуклонно ведет нас вся масса жизненных образов, сосредоточенных в реалистическом романе.

Лишь на социально-исторической основе стал возможным психологизм новейшего романа, выделивший и специфически определивший тончайшие оттенки переживаний, установивший их превращение, связи и группирования. Когда героиня романа Мопассана «Монт-Ориоль» с восторгом сообщает своему любовнику, что в ней шевелится ребенок, она и не догадывается, какое охлаждающее и обескураживающее действие оказывают ее слова и жесты на Поля Бретиньи. «В живой, реальной женщине он обожал Венеру, священное лоно которой всегда должно сохранять чистые линии бесплодной красоты. Мысль о том маленьком существе, которое зачала от него эта женщина, о том человеческом зародыше, что шевелится в ее теле, оскверняет его и уже обезобразил его, вызывала у Поля непреодолимое отвращение. Для него материнство превратило эту женщину в животное». Если смысл, содержание и цель жизни деградируют и падают до наслаждения, если привлекательность женщины низводится до чувственной привлекательности, то отсюда легко возникает чудовищная в своей противоестественности враждебность к материнству.

А «вызывающая к любви и жизни» беременность Кити пробуждает в Левине и заставляет с небывалой силой звучать в его душе самые теплые, ласково-человеческие, сострадательные и светлые чувства. Левин «наедине с нею испытывал теперь, когда мысль о ее беременности ни на минуту не покидала его, то еще новое для него и радостное, совершенно чистое от чувственности наслаждение близости к любимой женщине». На каждом шагу он открывал в ней новые черты и все дальше входил в чудесную глубину ее натуры. «Как ни мало было неестественности и условности в общем характере Кити, Левин был все-таки поражен тем, что обнажилось теперь перед ним, когда вдруг все покровы были сняты и самое ядро ее души светилось в ее глазах. И в этой простоте и обнаженности она, та самая, которую он любил, была еще виднее».

Более чем очевидно, что переживания Поля Бретиньи и Левина включены в совершенно различные системы психологических связей, что дело здесь идет о различных исторических формациях личности. Мопассан изображает человека на пути к тому полному *опустошению,* которое Маркс считал одной из характернейших тенденций капиталистического общества. Еще более страшную, трупную стадию этого опустошения показал в своем фильме-романе «Сладкая жизнь» Феллини: «ходячие гнойники» (Бальзак), автоматы порнографии, слизняки низменнейшей эротики, способные получать удовольствие уже только от зрелища беспредельного унижения человека, демонстрируют в картине «сладкую жизнь» буржуа-

зии и ее интеллигентских прихлебателей. Толстой же рассказывает о человеке, идущем по дороге идейного подъема, чья внутренняя жизнь расширяется, чьи страсти и думы образуют гармоническое созвучие.

Все содержание реалистического романа неопровержимо доказало, что нет ни одного психологического процесса, имеющего сколько-нибудь общее значение, который не видоизменял бы своей *формы* под воздействием общественных отношений и общественной идеологии. Теперь пришло время посмотреть, как Фрейд, движущийся из органически бессознательных глубин индивидуальной психики, справляется с объяснением элементарнейших отношений между людьми.

Нетрудно угадать, что главное значение в психологической теории Фрейда должна получить биологическая противоположность мужчины и женщины. «Различие мужского и женского характеров,— пишет Фрейд,— решающим образом—как никакое другое — определяет жизненное поведение (Lebensgestaltung) человека»*. Суть этого различия сводится к тому, что женщина по природе своей пассивна, а мужчина — активен. Само анатомическое строение женщины предопределяет ее подчиненное и зависимое положение. Мужественность же состоит в том, чтобы преодолевать сопротивление женщины, побеждать ее и приводить к покорности. По словам одного из авторитетнейших истолкователей фрейдизма Отто Ранка, женщина воплощает в себе начало косное, сопротивляющееся переменам, в то время как мужчина, благодаря своей активности, становится культуртрегером. «Культурное развитие, начиная от самого примитивного и кончая наивысшими духовными проявлениями, оказывается полностью зависимым от противоположности полов»**. Социальное угнетение женщины покоится на анатомической неравноценности полов.

«Положение женщины внутри нашей мужской культуры,— пишет Отто Ранк,— отчетливо учит, что половое угнетение (подавление сопротивления) стоит в тесной связи с угнетением социальным, даже имеет это социальное угнетение своим следствием,— так же как вообще в человеческом обществе отношения формируются аналогично тем, какие существуют среди индивидов, представляющих отдельные и стремящиеся к самостоятельности силы народного целого» *.

Презренная философия, объясняющая угнетение женщины в классовом обществе *по аналогии* с ее подчиненным положением в половом акте!

Но этого мало. Фрейд считает, что женщина второсортна и неполноценна также и в нравственном отношении. В кровавом фрейдовском мифе о происхождении нравственности мужчины убивают могучего самца-отца, монополизировавшего право на всех женщин орды. Вопреки Ницше, Фрейд полагает, что сверхчеловек помещается не в будущем, а в прошлом, и тоска массы по вождю, обладающему безоговорочным авторитетом,— это бессознательное воспоминание о властном самце первобытных времен. Убив, растерзав и пожрав отца, мужчины все же испытывают жгучий стыд, впервые чувствуя себя греховными и преступными,— тут-то и рождается совесть и нравственность.

Итак, нравственность — чисто мужская затея. Ну а как же женщины? Женщины получают нравственность по наследству; «скрещивающая наследственность» передает женщинам кусочки мужской совести подобно тому, как передает цвет волос или длину носа **. Это и дает Фрейду право заявить, что мужчины естественным образом возглавляют нравственное развитие человечества.

«Ниспровержение материнского права,— писал Энгельс,— было всемирно-историческим поражением женского пола» ***. Для Фрейда же низведение женщины до роли домашней рабыни, добычи, вещи, жертвы оправдано вечными законами ее природного характера. Энгельс говорил, что «первая появляющаяся в истории противоположность классов совпадает с развитием антагонизма между мужем и женой при единобрачии, первое классовое угнетение совпадает с порабощением женского пола мужским» ****. Фрейд же добивается от нас пессимистического согласия с этим порабощением, рассматривая его в качестве неизбежного следствия половых функций муж-

* S. Freud. Gesammelte Schriften. Leipzig, 1924, B. 13, S. 94.

** O. Rank. Der Künstler. Leipzig, 1925, S. 40.

* O. Rank. Der Künstler. B. 13, s. 45.

** З. Фрейд. Я и Оно. Ленинград, 1924 стр. 36.

*** Ф. Энгельс. Происхождение семьи частной собственности и государства. Москва. 1953, стр. 57.

**** Там же, стр. 45.

чины и женщины. Точку зрения мещанина и хама Фрейд подтверждает своей излюбленной формулой: это мерзко, но, к сожалению,— это истина.

Великим достоинством реалистического романа является его постоянное стремление изображать угнетение, унижение и мучение женщины как отвратительнейшую часть всей системы социальной несправедливости. Светское общество беспощадно убивает Анну Каренину именно потому, что она нарушила непоколебимые законы неравенства между мужчиной и женщиной. А когда Нехлюдов выдает сторублевкой желтый билет единственной в жизни любимой женщине, то его общество говорит ему: ты поступаешь лихо и мужественно, так и надо. После того как жадная и грубая скотина-муж в романе Мопассана «Жизнь» растаптывает прекрасную душу Жанны, добрый священник старается объяснить ей, что этого нельзя не простить, потому что так поступают все мужчины и иначе быть не может. К сему Фрейд добавляет: к сожалению — не может.

Роман воочию показал, что нравственность, разработанная специально для женщины, закрепляет всю механику ее социального подавления и бесправия. Эта мораль поразительно соответствует всему духу и смыслу буржуазного общества. В незабываемом рассказе Мопассана «Госпожа Батист» лакей зверски изнасиловал одиннадцатилетнюю девочку. «Девочка росла, заклейменная бесчестьем, одинокая», и даже взрослые «как будто боялись замарать губы, целуя ее в лоб». Бедная крошка лишь украдкой подходила к играющим детям, «словно сознавая, что она недостойна их». Она подросла, и стало еще хуже. Пелена «таинственного позора» отделила ее от всех людей. Сами родители «смотрели на свою дочь, как смотрели бы на сына, вернувшегося с каторги». Уличные мальчишки прозвали ее «госпожою Батист» — по имени погубившего ее лакея.

Но вот в городке появился чиновник, не побоявшийся взять опозоренную девушку в жены. Она забеременела. Казалось, что все забыто. Но так только казалось. Понадобилась ничтожная обида и зависть, чтобы вся зловонная грязь всплыла на поверхность. Опять зазвучало страшное прозвище «госпожа Батист», и взбесившаяся толпа мещан, улюлюкая и хохоча, травила несчастную.

«О сударь, видели ли вы когда-нибудь, как сходит с ума женщина? Нет? А вот мы присутствовали при этом зрелище». Через час после тяжкого оскорбления она убила себя.

И потрясающая концовка: «Быть может, это и лучшее, что ей оставалось делать в ее положении. Есть вещи, которых не загладишь ничем».

Кто же виноват в этом ужасе: проклятые законы мещанского общества или вечные законы сексуальных характеров? Возникла ли эта зверская несправедливость оттого, что в сферу общественной психологии поднялись непреоборимые мотивы бессознательного, или оттого, что в сферу сексуальной психологии спустились отношения социального неравенства и угнетения?

Рассуждая по Фрейду, легко договориться до того, что и расовая ненависть коренится в неизменной природе бессознательного. Именно до этого Фрейд и договаривается. Правда, он делает это на свой манер, связывая расовую вражду не с цветом кожи, а с первоначальным злом человеческой натуры, но, поистине, различия здесь не больше, чем между желтым и синим чертом. По Фрейду, всякая привязанность носит внутри себя ненависть, всякая любовь является одновременно враждой, всякое желание ласкать граничит с желанием убить. Сию изначальную противоречивость эмоций Фрейд называет *амбивалентностью,* и для него *«непреодолимая* расовая ненависть» (курсив наш) является одним из важнейших подтверждений всеобщей распространенности амбивалентных чувств*.

Сама психологическая точка зрения вынуждает Фрейда везде идти одним и тем же путем: объяснять *лежащее на поверхности* зло человеческих отношений из душевных процессов, присущих каждой человеческой личности. Доброта и солидарность связаны с логической, а зло — с психологической частью человеческого существа, и в той мере, в какой психологическое глубже, исконнее, сильнее логического, в этой же мере зло сильнее добра.

Войны, рассуждает Фрейд, не могли произойти без какой-то начальной психологической причины. Значит, нужно разыскать источник мировых побоищ в глубинах бессознательного. В связи с этой мыслью Фрейд пересматривает посылки психоанализа. Если раньше вся душевная жизнь строилась из

---

* З. Фрейд. Психология масс и анализ человеческого «Я». Москва, 1925, стр. 43.

одного основания — влечения к наслаждению, то теперь к нему добавляется второе основное влечение — влечение к смерти. Своей и чужой. По мнению Фрейда, «влечение к смерти проявляется .. как инстинкт *разрушения,* направленный против внешнего мира и других живых существ» *.

Чтобы дать ответ о причинах войн, Фрейду, как видим, не понадобилось изучение вопроса, кому они выгодны и нужны, не потребовалось входить в сущность интересов, породивших ту или иную войну, или рассматривать историю империализма. Все это для него — лишь кажущиеся мотивы, которыми прикрывается бессознательная страсть человека к насилию и жестокости. Войны — кровавые извержения инстинкта смерти.

В 1932 году — в ответ на приглашение великого ученого Эйнштейна участвовать в борьбе против войны — Фрейд пишет Эйнштейну открытое письмо. В этом письме, объявляя себя лично противником войны, он вместе с тем утверждает, что война, «...по-видимому, *вполне естественная* вещь, у нее, без сомнения, имеется прочная *биологическая* основа, и *практически ее едва ли можно избежать»* ** (курсив наш). Прочная биологическая основа войны — все тот же «агрессивный или разрушительный инстинкт», который «совершенно серьезно заслуживает названия инстинкта смерти».

«Вам может показаться,— добавляет Фрейд,— будто наши теории — это своего рода мифология, и в настоящем случае даже неприятная мифология. Но разве каждая наука в конце концов не приходит к подобной мифологии? Разве то же самое нельзя сказать сегодня о Вашей собственной науке?» ***.

Нет ни одной благородной исторической задачи, которой Фрейд не прокаркал бы свое «не выйдет». Нет ни одной реакционнейшей черты капитализма, от которой Фрейд не протянул бы корень в последнюю глубину человеческой натуры. И везде — сикофанство, прикрывшее себя черным плащом пессимизма.

Добросовестнейшие художники не нашли в окопах, в солдатской массе и следа той тайной привязанности к насилию, жестокости и смерти, которую Фрейд считал сокровенной сущностью всякой войны. Они, напротив, обнаружили во всех воюющих армиях ужас от войны и ее бесчеловечия, отвращение и ненависть к войне и ее зачинщикам. Влечение к насилию и агрессии они установили у империалистов, собирающих прибыли, но не у народа, отдающего свою кровь. «Влечение» к агрессии — признак господской, а не человеческой психологии.

Ленин неоднократно говорил, что во всякой большой войне неизбежны явления одичания в народной массе. Писатели не скрывали этих явлений. И несмотря на это они пришли к единодушному выводу: неслыханное испытание всемирной войны *подтвердило величие человека,* даже в мраке и буре войны не погас свет человечности. В окопном болоте художники разглядели настоящих людей, жаждущих истины и солидарности, в трагической обстановке войны они почувствовали всю громадность нравственных сил народа и всю красоту его сурового героизма. В предисловии к роману «Прощай, оружие» Хемингуэй писал: «...автор этой книги пришел к сознательному убеждению, что те, кто сражается на войне,— самые замечательные люди, и чем ближе к передовой, тем более замечательных людей там встречаешь; зато те, кто разжигает и затевает войну,— свиньи, думающие только о неприкрытой экономической конкуренции и о том, что на этом можно нажиться».

Война обрекает солдат на жизнь худшую, чем у животных и зверей. «Это простые люди,— пишет о них Барбюс,— которых еще больше упростили; здесь поневоле усиливаются их главные инстинкты... Но иногда из мрака и тишины их великих человеческих душ вырываются глубокие вздохи, крики страдания...» Солдаты идут брататься с теми, кого им велят убивать. В потемках битвы закаляется окопная дружба. Бойцы все яснее видят, что существует различие более глубокое и резкое, чем различие между нациями: «...поистине непроходимая пропасть между людьми одного и того же народа, между теми, кто трудится и страдает, и теми, кто на них наживается; между теми, кого заставили пожертвовать всем, до конца отдать свою силу, свою мученическую жизнь, и теми, кто их топчет, шагает по их трупам, улыбается и преуспевает».

Здесь мы слышим вопрос, который особенно часто задают люди, переболевшие фрейдизмом: разве не стремится психоанализ

---

* З. Фрейд Я и Оно, стр. 40.
** Г. Уэллс. Павлов и Фрейд. Москва, 1959. стр 315.
*** Там же.

расширить сферу сознательной жизни за счет бессознательной, разве не старается он ослабить невыносимое давление тайных помыслов и тем самым укрепить силу разума?

На это мы можем ответить:

Во-первых, по Фрейду, этот процесс теряется в тумане тысячелетий и может привести к сколько-нибудь серьезным последствиям только в бесконечности культурного прогресса.

Во-вторых, уяснение способов, при помощи которых бессознательные и позорные мотивы незаметно приобретают власть над нашим «Я», помогает нам увидеть тихо крадущегося врага и облегчает наше сопротивление ему. Но это уяснение никогда не откроет возможности *уничтожить* живущего в нас зверя, никогда не позволит устранить могущество «либидозного» эгоизма, никогда не изменит коренных свойств психической «механики». В лучшем случае повысившаяся наша сознательность даст возможность поддерживать не слишком устойчивое равновесие между «Я» и «Оно», то есть обеспечивать условие душевного здоровья. Но всегда, во все времена человеческую душу будет разрывать противоречие между нравственно-социальными и утробно-эгоистическими стремлениями.

В-третьих, психоаналитическое самоусовершенствование Фрейд *враждебно* противопоставляет революционному движению угнетенных масс. Социальную борьбу он предлагает заменить процессом высвобождения «Я» из-под мрачной власти «Оно». Решающая битва происходит внутри субъекта. Главный противник сидит в бессознательном. Идя по стопам своих учителей Шопенгауэра и Ницше, Фрейд утверждает, что массы никогда не знали жажды истины, что они ищут лишь иллюзий и аффектов; и говорит о правильности «отождествления массовой души с душой первобытных людей».* Дух общественности — вторичное образование: он происходит из первоначальной зависти, свойственной человеку по природе. Стремление к отмене частной собственности выражает бессознательное желание возвратиться к состоянию орды и потерять в ней свою личность («масса кажется нам вновь ожившей первобытной ордой»**). Все, что хотел бы сказать по адресу борющихся трудовых людей набитый злобой и страхом лавочник, то самое говорит с видом объективного исследователя Фрейд. В наукообразной оболочке «глубинной психологии» мерзкое содержание становится еще мерзостней.

---

* З. Фрейд. Психология масс и анализ человеческого «Я». Москва, 1925, стр. 16 и 18.

** Там же, стр. 71.

III

Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают.

Пушкин

Как бывает пустая широта, так бывает и пустая глубина.

Гегель.

Обращаясь к Эйнштейну, Фрейд писал: «Вам может показаться, что наши теории — своего рода мифология». Слова эти имеют смысл серьезный и обширный. Фрейд и на самом деле восстановил в современной науке те способы объяснения явлений, которые были присущи древней, а еще более — средневековой мифологии. Правда, мифология использовала на этот раз сложный логический аппарат современного исследования, но это не изменило ее сути. Правда, нимфы, сатиры, духи, чертенята и прочие таинственные сущности до Фрейда никогда не играли мудреными словечками вроде «проекции», «интроекции», «регрессии» или «идентификации», но это ничуть не мешало им проделывать именно то, что обозначается всеми этими пугающими непосвященного терминами.

Возьмем наудачу «идентификацию».

Томас Манн в процессе подготовки цикла романов об Иосифе много и основательно изучал восточную и греческую мифологию Чутье художника позволило ему высказать тонкие соображения о некоторых сторонах «мифологического сознания». По его словам, античное «Я» было менее исключающим и твердо очерченным, чем теперешнее Человек в осознании себя как бы *сливался с прошлым,* ощущая себя его непосред-

ственным продолжением. Клеопатра не только называла себя богиней любви, но в самочувствии своем была ею. Она — Клеопатра, и вместе с тем она — Иштар, и вместе с тем — Афродита; она с ними неразличимо совпала. Эту способность быть одним во многих лицах, отождествить себя с другим существом Томас Манн называл «мифической идентификацией».

У Фрейда же «идентификация» оказывается в числе вечных законов психологии и особенно широко применяется для объяснения характерных взаимоотношений мещанского быта. «Не подлежит никакому сомнению,— пишет Фрейд,— что в психологической ситуации тещи и зятя существует что-то, что способствует вражде между ними и затрудняет совместную жизнь».* Это «что-то» разлагается на целую серию «идентификаций». Теща отождествляет себя с дочерью и поэтому вынуждена подавлять свою влюбленность в зятя, заменив ее враждой. А для зятя мать жены сливается с образом собственной матери. Вытолкнутое стремление к кровосмесительной близости с матерью превращается в раздражительное и несправедливо-недоброжелательное отношение к теще.

Важную роль играет «идентификация» и в эдиповом комплексе, который рассматривается Фрейдом в качестве ядра всей душевной жизни.

Эдипов комплекс — вытесненное в сферу бессознательного, но мощно влияющее на все психологические процессы желание овладеть матерью как женой и убить отца как соперника. Фрейд постоянно ссылается на стремление мальчиков спать с матерью — выражение бессознательного влечения ребенка к эротическому акту, в котором он заменяет собою отца и отождествляет себя с ним. С другой стороны, включение в одно чувство «идентификации» и соперничества легко объясняет двойственность отношения мальчишек к отцам: вражду-зависть и привязанность-преклонение. Семья — гнездо сексуально-кровосмесительных взаимозависимостей. Эдипов комплекс — главный и тайный сюжет всех душевных процессов Фрейд пишет: «...мы не ошибемся, если допустим существование полного эдипова комплекса у всех вообще людей».** Более того. Ссылаясь на работы Отто Ранка, изучавшего отражение кровосмесительных влечений в искусстве, Фрейд высказывает свое убеждение, что «тема инцеста занимает центральное место в мотивах художественного творчества и в бесконечных вариациях и искажениях дает материал поэзии».* Но и этого мало. «В эдиповом комплексе совпадает начало религии, нравственности, общественности и искусства в полном согласии с данными психоанализа, по которым этот комплекс составляет ядро всех неврозов».**

Так выглядит фрейдовская «идентификация». Отличается ли она от той, которую Томас Манн назвал мифической?

Мы убеждены, что отличается только в одном отношении: древний миф объяснял не только душевную жизнь, но и весь окружающий мир, он имел не только психологическое, но и онтологическое значение. Фрейдистская демонология, слава богу, на истолкование внешней природы не претендует: силы природы все больше подчиняет себе разумная деятельность человека, а вместе с таким подчинением, как указывал Маркс, отмирает всякая мифология. Но именно потому, что силы, управляющие человеческим поведением в буржуазном обществе, кажутся особенно непонятными и страшными, могло осуществиться фрейдовское перерождение науки в мифологию Иррациональное, порочное и таинственное в социальной жизни Фрейд перенес внутрь субъекта, основав в нем иррациональное, порочное и таинственное царство бессознательного.

Во всех случаях, когда нужно дать наиболее краткое и вместе с тем достаточное определение психоанализа, Фрейд называет его исследованием бессознательного в душевной жизни. Он послушно следует за общим потоком буржуазной идеологии, которая вот уже несколько десятилетий настойчиво выдвигает подсознательное на роль вечного господина человеческой психики и человеческой истории. Но Фрейд старается уверить нас в том, что его научное направление — необходимая реакция на сухое, упрощенное и отвлеченно-рассудочное представление о душевном мире.

Это неправда. Движение против *рассудочности* просветителей осуществилось и выполнило свою историческую работу в

---

* З. Фрейд. Тотем и табу. стр. 29.
** З. Фрейд. Я и Оно, стр. 27.

* З. Фрейд. Тотем и табу, стр. 31.
** Там же, стр. 165.

первой половине XIX века. А к началу нашего столетия возникла реакция не на рассудочную, а на *разумную* философию.

Романтики и немецкие философы представили человеческое *«Я»* как сложно построенный мир, пробегающий через множество фазисов своего развития, заключающий в себе многообразные противоречия и формы сознания, диалектически восходящий на высшую ступень — ступень разумного понимания и действия.

Все это создало новый взгляд на индивидуальность — весьма далекий от прямолинейности и упрощающей тенденции просветителей.

И как раз тогда, когда новое, историческое и диалектическое постижение человека достигло полноты и истины, против него выступил Фрейд со своей иррационалистической компанией. От истины стало слишком уж светло, слишком ясны стали опустошения, произведенные капитализмом в человеческой душе,— и декаденты принялись на все лады расхваливать успокоительную тьму подсознания. Революционное движение рабочих с замечательной быстротой создало отряды идейных борцов в среде наиболее угнетенной массы. Делалось все очевиднее, что выношенный философией и искусством образ идейного человека — это не выдумка, не мечта, а доподлинная и жизненная реальность. Поэтому декаденты буржуазной психологии заговорили об устарелости оптимизма и интеллектуализма. Они утверждали, что душа рядового мещанина более верно передает вечную природу человека, чем душа революционера, что мыслящее «Я» не хозяин в своем собственном доме, что первоначальная греховность человеческой натуры сливается с непобедимой стихией бессознательного.

Они возвратились к *старому антиисторическому* взгляду на человека, но создали не метафизику абстрактного рассудка, как просветители, а *метафизику бессознательного*. Историческое и временное — только явление, не затрагивающее своим движением вечной человеческой сути.

Фрейдовское бессознательное находится в вопиющем противоречии со всем, что мы знаем о законах мира: оно абсолютно консервативно и не содержит никаких начал перемены. Вполне последовательно Фрейд объявляет его *вневременным*. Что может дать координата времени, когда дело идет о неизменном? И вместе с тем «Оно» активно как некая чистая сущность и находится в состоянии постоянного напряжения.

Фрейдовское бессознательное исконно враждебно разуму и нравственному прогрессу. Все самое злое и плохое, что было вытеснено в сферу «Оно», навеки там остается. В современном человеке заключена как бы капсула бессознательного, в которой хранятся страсти и инстинкты первобытного человека-зверя.

Будучи иррациональным и страстным, «Оно» обладает утонченным коварством, заставляя служить себе самый разум. Наиболее удаленное от сознательного, «Оно» вместе с тем пользуется высшими орудиями ума: орудиями знаков-символов. Сам Фрейд сравнивает смену кадров нашего сна со стенографической записью внушений бессознательного. Сны — и в этом состоит одно из краеугольных утверждений фрейдизма,— несмотря на свою спутанность, произвольность, случайность, полны глубокого смысла и абсолютно закономерны. Отрывки дневных впечатлений выступают в роли *стереотипных* знаков-иероглифов, становятся своего рода образным *языком* бессознательного, общим для всех людей. Психоанализ после столетий исканий дает, наконец, исчерпывающий и вполне научный сонник.

Фрейдовское «Оно» чертовски хорошо знает, чего хочет. Отчетливость, которой отличается фрейдовская расшифровка влечений и мифов бессознательного, смутила даже многих сторонников иррационализма, полагающих, что бессознательному по самой его сути приличествует мгла неопределенности и неразличимости.

Если разобраться, фрейдовское «Оно» и на самом деле не содержит в себе ничего бессознательного, это второе «Я» у «двойника», первобытно-животное сознание, подпольное сознание. *Бессознательным оказывается у Фрейда скорее мыслящее* «Я», обманывающееся относительно истинных мотивов своих поступков, выполняющее — не зная того — чужую волю, всегда идущее в одну дверь и попадающее в другую, не способное угадать тайно-символический смысл своих образов и наивно принимающее их за чистую монету.

Мнимое фрейдовское бессознательное — мистическое и противоестественное существо, возобновленное средневековое представление о дьявольском начале в человеке —

не имеет ничего общего с бессознательным действительным. Без учета этого последнего серьезное научное изучение психической деятельности так же невозможно, как невозможно изучение механических процессов без учета потенциальной энергии. Истинное бессознательное представляет собой гигантский обслуживающий, усиливающий и посредствующий механизм психической деятельности, оно находится в естественной связи с работой разума и помогает ей, как помогает ученому кибернетическая машина — изготовленная человеческими руками электронная модель бессознательной мыслительной деятельности. При известных условиях бессознательное становится сознательным и связано с ним целой системой переходов, оно вбирает в себя образующиеся навыки и привычки, хранит запасы памяти, освобождает сознание от излишней работы. Сама диалектика *осуществления* психического процесса делает его необходимым: чтобы мыслить, сознание должно оперировать в каждый данный момент лишь ничтожно малой частью имеющихся в резерве логических связей и впечатлений. В грандиозной системе нашего мозга жизненный опыт во многих пунктах предварительно суммируется, проходит начальные стадии обобщения, связывается с содержанием, накопленным и хранимым памятью, эмоциями и характером, прежде чем поступает на рассмотрение нашего сознания. Бессознательное в конечном счете усваивает исторический опыт, функционирует по законам природы и отражает развитие человеческой деятельности. Человек отсталый лишь при величайшем сознательном напряжении способен справиться со многими умственными операциями, которые с громадной быстротой выполняет бессознательная работа мозга у Эйнштейна или Павлова. С другой стороны, большие области психологических явлений, протекающие у отсталого человека бессознательно, включаются в сознательную жизнь человека подлинной душевной культуры.

Фрейдовское же бессознательное, так называемое «Оно», вовсе не служит сознанию. По самому своему *содержанию* «Оно» несовместимо с разумом. Возмутительные влечения изгоняются в психологическое подполье *моральными* силами нашего существа. «Оно» бессознательно *только потому*, что безнравственно и непримиримо с культурой; устраните нравственные преграды — и человек тотчас же избавится от фрейдовского бессознательного. Бессознательное — сосуд Пандоры, запрятанный в темный подвал души, но дающий о себе знать своими ядовитыми испарениями.

Учение Фрейда исходит из шаблонов разорванного буржуазного сознания, присущего ему противоречия действительного и кажущегося мотива, из хронического самообмана как формы всей душевной деятельности. В своем романе «Бэлпингтон Блэпский» Уэллс рассказывает о человеке, в котором было два «Я»: одно принадлежало ничтожному эгоисту с «увертливой совестью», а другое — возвышенному существу, призванному мечтательно украшать подлости первого «Ему,— пишет Уэллс,— удалось благополучно избежать слишком близкого отождествления себя со своим подлинным «Я», и если ноги его ступали по твердой почве материального удовлетворения и безопасности,— его голова была приятным образом затуманена более возвышенными замыслами этой идеальной личности — Бэлпингтона Блэпского». Мелкого себялюбца нес «радужный пузырь воображения». Он ушел из окопов, чтобы спасти свою шкуру, но, разумеется, уверил себя, что руководствовался при этом высокими стимулами патриотического долга,— и все прочее в таком же духе. Таков один из элементарных фактов, с которых снял слепок Фрейд, создавая свое основное понятие о душевной «динамике».

Двухсотлетняя история романа дала поистине необъятный материал о внутренних раздвоениях буржуазной личности, о раздроблении ранее цельных характеров. Тема двойника — одна из великих тем нового искусства. Литература показала, как человек прячется сам от себя, как научается лицемерить не только с другими, но и с собой, как развивается параллелизм подлинного и прикрывающего мотива. Макбет и его жена знали, что они злодеи, и должны были перенести всю тяжесть этого знания. Папаша Гранде был слит со своим хищническим интересом и сожалел о своих жертвах не больше, чем тигр, разрывающий козленка. У Макбета или папаши Гранде не мог еще образоваться *мир психологической кажимости*, из которого постоянно исходит Фрейд в своих теоретических построениях.

Но чем сильнее становилось моральное

давление обездоленных классов, чем громче раздавалось идущее снизу требование социальной справедливости, тем меньшую склонность обнаруживали люди, принадлежащие к буржуазному миру, говорить не только другим, но и себе открытую правду о своекорыстных и личных интересах, которые ими в действительности управляют. *Все регулярнее делался разрыв между представлением человека о самом себе и тем, что он есть на самом деле.* Особенно сложный и запутанный вид приобретало это противоречие в среде буржуазных интеллигентов. Тут-то и возникла почва для нравственного подполья, тут протекла мутная вода, из которой Фрейд выловил психоаналитическую рыбку.

Реалистический роман с очевидностью показал, что в капиталистическом мире воздействие социальных отношений и социальной психологии на внутренний мир личности проходит *раньше всего* через сферу бессознательной душевной жизни. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, как складывается фетишистское отношение к вещам и человеческим отношениям в обществе товаропроизводителей. Бессознательная область выполняет свою роль в ходе социального формирования индивидуальности. Фрейд же рассматривает ее как сумму влечений, независимых от истории и абсолютно автономных. Уже поэтому его учение неизбежно превращается в мифологию

Самым несчастным оказывается у Фрейда мыслящее «Я». С одной стороны, на него давит враждебное и совершенно аморальное «Оно», а с другой — не менее враждебный и непонятно ужасный внешний мир, ставший почти непереносимым для человеческой психики. «Я» поистине есть настоящий очаг страха» *,— говорит Фрейд.

Как при вспышке молнии, перед нами, резко очерченный, выступил тот самый истерзанный одиночеством, надломленно неуверенный человек, которого выразила модернистская литература. Фрейдизм — это наукообразный миф о больном, социально ущербном сознании. Как древние мифы доставляли художникам картины природы и общества, предварительно уже обработанные фантазией, так фрейдизм с немалой экспрессией представил психическую жизнь в образах-понятиях и впервые после многих столетий предложил искусству *мифический полуфабрикат.* Недаром некоторые свои книги Фрейд заканчивает вопросом: а не написали ли мы роман?

Этим отчасти объясняется значительность влияния фрейдизма на искусство и его вредное, разрушительное действие на развитие современного романа. Фрейдизм — один из источников кризиса романа XX века.

Фрейд расшифровывает тайны бессознательного в психоаналитической саге, и поэт пользуется *стереотипной символикой* бессознательного на манер того, как пользуются подстрочником при переводе с незнакомого иностранного языка. Темное царство вневременных инстинктов становится источником для объяснения человеческого поведения изнутри. Мы не слышим больше могучего дыхания народа, нас заперли в душном мирке семьи, где празднуют шабаш кровосмесительные влечения. Так называемый «секс» признан обязательным и самостоятельным элементом романа, и чувственные сцены монтируются с психологическим гробокопательством. В самом лучшем случае, возникает непреодолимый дуализм историчского и психоаналитического начал, разбивающий внутреннюю цельность произведения и губительный для его художественности.

Мифология Фрейда притворилась наукой. Этой «метаморфозы» не предвидел Овидий, и именно она составляет суть мифа XX столетия. Фрейд — человек необычайно умный и тонко понимающий своего читателя. В качестве бывшего ученого он с большим литературным мастерством воспроизводит не только присущую науке атмосферу непредубежденного следования разуму, но и все конструктивные элементы современной теории. Не может быть, говорит себе наивный читатель, чтобы эта щедрая и целесообразная затрата ума и таланта была напрасной.

Приемы психологического внушения Фрейд искусно покрывает оболочкой логического анализа. Он испытанный мастер своеобразной подстановки: логический силлогизм превращается в гипнотический, убеждение — во внушение, факты и доказательства — в заразительные ассоциации. Он постоянно уверяет своего читателя, что тот с такой же неизбежностью будет сопротивляться теориям психоанализа, с какой невротик сопротивляется воздействиям лечащего врача. Стремясь расслабить, усыпить,

---

* З. Фрейд. Я и Оно, стр 60.

отодвинуть естественную реакцию протеста у читателя, Фрейд строит целую систему психологических взаимоотношений с ним — явление совершенно невозможное в подлинной науке. Этой же цели служит и тон джентльменского скептицизма по отношению к самому себе — прием, которым Фрейд пользуется особенно охотно.

Приведем один характерный пример фрейдовского «заговаривания». Мы имеем в виду гипогезу об инстинкте смерти — одну из главных идей психоанализа. Гипотеза попросту покоится на ассоциации, которая была бы совершенно невозможна до появления модернистской литературы.

Нашей постоянной целью является наслаждение. Но наслаждение связано с прекращением внутреннего напряжения, с блаженством покоя. Доминирующая тенденция всей нервной деятельности—изживание, так сказать, разности жизненных потенциалов, «принцип нирваны». А может ли быть нирвана более совершенная, покой более невозмутимый, чем смерть? Наслаждение движется к смерти, как река к морю. «Целью всякой жизни является смерть».*

Проделав эти психологические «пассы», Фрейд продолжает: «Меня могли бы спросить, убежден ли я сам и в какой мере в развитых здесь предположениях. Ответ гласил бы, что я не только не убежден в них, но и никого не стараюсь склонить к вере в них. Правильнее: я не знаю, насколько в них верю» **.

В сочинении «Я и Оно» Фрейд вернулся к занимавшей его мысли об инстинкте смерти, пояснив, что относится к этой мысли «с известным благожелательным любопытством».

Здесь влечение к смерти отождествлено со страстью к разрушению и насилию, и больше не говорится о нем как о завершающей разрядке напряжения. Так, недавно инстинктом смерти называлось бессознательное стремление к *моей* смерти, а теперь — ни с того, ни с сего — утверждается, что гипотетический инстинкт направлен к смерти *чужой* и выражается в порывах дикой жестокости. Как связать между собой два разных взгляда? Об этом ни слова. Фрейд попросту воспользовался *привычными ассоциациями*, окружившими слово «смерть». Смерть — убийство — жестокость — насилие — разрушение: эти понятия сближены *каждодневным* опытом, и именно эта их психологическая смежность поставлена Фрейдом на место логической последовательности. Фрейд делает абсолютно то же самое, что делает модернистская литература, подменившая действительную связь явлений субъективной игрой ассоциаций. Фрейдовская манера обращаться с логикой напоминает об уловках опытных режиссеров, меняющих декорации на глазах у зрителей, но так, что никто этого не замечает. Сначала Фрейд говорил об инстинкте смерти как предположении, которое еще должно быть обосновано в будущем, а затем стал оперировать этой идеей как чем-то раньше и надежно доказанным. Тон благородного сомнения становится тоном пророчески-внушающего убеждения.

Впрочем, мы не вполне точны, говоря об отсутствии переходов. В одном из поздних своих сочинений, признавая, что он так и не нашел способа обнаружить скрытую работу гипотетического инстинкта в человеческой душе, Фрейд добавляет: «Построения, которые я подытожил здесь, я предлагал сначала только в виде предположения, но с течением времени они приобрели *такую власть надо мной*, что я больше *не могу* думать иначе» * (курсив наш).

И вот, влекомый этой непреодолимой склонностью к недоказуемому положению, Фрейд безоговорочно, с видом человека, высказывающего горькую, но *несомненную* истину, утверждает, что война имеет «прочную» биологическую основу, что борьба против войны «практически» бесполезна, и с непостижимым произволом решает вопрос, от которого зависит судьба всего человечества.

Так выглядит знаменитая «психологическая техника» в действии.

---

* З. Фрейд. По ту сторону принципа удовольствия. Москва. 1925, стр. 76.

** Там же, стр. 104

* Г. Уэллс. Павлов и Фрейд, стр. 368.

(Окончание следует)

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

Достойный ответ на недостойные выпады

Европейское сообщество писателей — молодая организация; она существует всего один год, и тем не менее за этот сравнительно короткий период сумела завоевать немалый авторитет среди писателей европейского континента. Об этом свидетельствуют хотя бы цифры, характеризующие ее состав. Число ее членов к февралю 1961 года достигло 746 (из 25 стран Европы). За «круглым столом» сообщества представлены на равных правах писатели социалистических и капиталистических стран, причем двери этой организации гостеприимно раскрыты перед каждым литератором, готовым честно и открыто служить своим пером защите гуманных интересов народов всего мира. Таким образом, далеко не случайно в уставе сообщества (статья вторая) указано, что писатели, в него входящие, «обязуются пробуждать и укреплять дух дружбы и мира между народами».

Нетрудно догадаться, что такого рода программа вызвала и продолжает вызывать недовольство и даже яростное озлобление у множества литературных оруженосцев реакции и апологетов войны. Особенно усердствует, в частности, итальянская правая печать, усиленно старающаяся изобразить сообщество как «опасную радикальную организацию» и даже как весьма угрожающее воплощение «социалистической инициативы».

Вздорные и клеветнические утверждения реакционной прессы настолько нелепы и далеки от истины, что даже не нуждаются в каких-либо опровержениях. Тем не менее, стремясь информировать общественное мнение европейских стран о подлинных целях и действительном назначении сообщества, видный итальянский литератор **Анджолетти,** являющийся его председателем, выступил не так давно с открытым письмом на страницах итальянского буржуазного еженедельника **«Мондо».**

Реакционные органы печати, всячески стараясь скомпрометировать организацию, возглавляемую Анджолетти, ссылались в качестве одного из «козырных» аргументов на то, что социалистические страны якобы представлены в ней одними лишь «чиновниками от литературы». С помощью простого перечисления имен, которое дается в письме, Анджолетти не оставляет камня на камне от такого рода «аргументов». Он упоминает Федина и Шолохова, Эренбурга и Всеволода Иванова, Виктора Некрасова и Анну Ахматову и справедливо спрашивает, кто может осмелиться называть этих писателей «чиновниками» или «бюрократами от литературы», если только он не ослеплен фанатической ненавистью или не погряз с головой в безысходной глупости.

«Из других социалистических стран,— пишет далее Анджолетти,— в сообщество вступили писатели, которые также пользуются уважением людей в любой части света, знающих литературу. В числе многих других я назову хотя бы следующие имена: Тудор Аргези, Михаил Садовяну, Мария Майерова, Иво Андрич, Дьюла Иллеш, Анна Зегерс, Арнольд Цвейг, Людвиг Ренн,— не говоря уже о многих молодых писателях, которые достойно представлены в различных антологиях, распространенных во всей Европе. Ни у кого из них не спрашивали, имеют они партийный билет или не имеют».

Вместе с тем о характере Европейского сообщества писателей, о целях, которые оно перед собой ставит, о содержании его деятельности и о принципах, на которых оно зиждется, явно свидетельствует и то, какими именами представлена в нем литература капиталистических стран. Это серьезное обстоятельство, и Анджолетти, разумеется, не проходит мимо него. Он особо подчеркивает, что среди членов сообщества немало также ничего общего с коммунизмом не имеющих писателей: англичане Т. С. Элиот, Олдос Хаксли, Джон Леман, Ангус Уилсон, французы Андре Шамсон, Жан Ростан, Франсуа Мориак, Жан-Поль Сартр, Марсель Арлан, Мишель Бютор, Андре Моруа, Пьер-Жан Жув, испанцы Камило Хосе Села, Луис Гойтисоло, Хорхе Гильен, исландец Халлдор Лакснесс и многие другие.

> «Я останавливаюсь, чтобы не заполнить именами целую колонку,— пишет далее Анджолетти.— Что касается итальянцев, благоразумие советует мне не упоминать ни о ком, однако я имею право утверждать, что самые известные писатели (за немногими исключениями) — с нами».

Отмечая, что в сообществе представлены литераторы, придерживающиеся различных политических взглядов, Анджолетти подчеркивает: это не может служить препятствием для их мирного творческого сосуществования. «Но среди нас нет ни одного расиста — это единственное основание для непринятия в члены, установленное нашей Ассамблеей в июле 1960 года (то есть в момент создания сообщества.— *Ред.*)».

Говоря о том, какие конкретные задачи ставили перед собой организаторы сообщества и что отличает эту организацию от других писательских объединений, Анджолетти пишет:

> «Не желая умалять ничьих заслуг, скажу, что другие организации, как будто сходные с нашей, преследуют несколько иные цели. Так, они созывают конгрессы или проводят дискуссии по литературным вопросам, например о кризисе романа или о судьбах поэзии в современном обществе; благородное дело, даже если не удается ни в малейшей степени изменить существующее положение. Мы же стремимся как раз к противоположному, мы не хотим никого и ничему учить, не стремимся разрешать волнующие всех кризисы. Мы ставим перед собой весьма конкретные проблемы, как, например, распространение книги, переводы, взаимоотношения с издателями, положение писателя, связанного с кино, радио и телевидением...
>
> Я вновь подтверждаю, что наши усилия будут прежде всего направлены к моральной защите писателя, такой защите, о которой не могут и мечтать изолированные одиночки. ...Мы объединяемся для того, чтобы не мог прийти в упадок такой «предмет первой необходимости», как книга .. Книга, даже в самых отсталых или деспотических государствах является тем элементом, в котором может содержаться зерно поэзии и разума. Из книги может возникнуть нечто «новое», но нам нужно, чтобы «новое» означало «лучшее», и в этом смысле действовало сообщество, устанавливая дружбу между писателями всей Европы, преодолевая враждебность и холодное нежелание взаимного ознакомления. Я смею утверждать, что эта дружба уже принесла кое-какие хорошие плоды. И она даст новые плоды, поднявшись над любыми проявлениями враждебности и фанатизма, а наслаждаться этими плодами будут, я полагаю, не одни только литераторы».

Твердой уверенностью в том, что именно таковы вполне достижимые и благородные цели сообщества, и продиктован ответ Анджолетти — поистине достойный ответ на недостойные выпады!

Дискуссия о литературной критике в ОАР

Каковы назначение и общественно-воспитательная роль критика как пропагандиста литературы? Какими принципами обязан он в первую очередь руководствоваться при оценке произведения? В чем должна выразиться ответственность критика перед писателем и перед читателем? Существуют ли обязательные этические нормы для деятельности критика и вправе ли он их игнорировать? Все эти важные и разнообразные проблемы были затронуты в ходе дискуссии, которая не так давно развернулась на страницах печати Объединенной Арабской Республики. Острота и принципиальность любой из этих проблем свидетельствуют о том, насколько важным и плодо-

творным явилось само возникновение этого обмена мнений.

К числу характерных выступлений относится статья критика **Рага ан-Наккаша** в каирской газете **«аль-Маса».** Возражая против нигилистических позиций тех «ценителей литературы», которые, не понимая серьезности возложенных на них задач, «держат за пазухой груду словесных камней и время от времени забрасывают ими того или иного писателя», Рага ан-Наккаш пишет:

> «.. Наши молодые прозаики пренебрегают истиной, о которой один европейский писатель сказал так: «Художник это тот, кто не только копирует действительность, но и создает ее». Иными словами, художник не должен ограничиваться слепым отражением действительности. Его долг стремиться к тому, чтобы предложить образ новой, лучшей действительности, при условии, конечно, что это будет сделано правдиво и человечно».

К числу недостатков, типичных для молодой прозы ОАР, автор статьи относит отсутствие явно выраженного собственного стиля и злоупотребление диалектизмами. Казалось бы, здесь, как говорится, критикам и книги в руки: кто же, если не они, обязаны открыть глаза молодым писателям на все эти явления и тем самым помочь им разобраться в своих недостатках, чтобы их преодолеть? В этом вопросе, который вытекает из существа статьи ан-Наккаша, уже заключен, разумеется, и ответ.

> «Новые книги,— читаем мы далее в статье,— расходятся очень слабо, что в немалой степени расхолаживает писателей и отталкивает их от литературного творчества. Я считаю, что и здесь во многом виновата критика. Ведь критик не только совесть писателя, он также и друг читателя. Он знакомит читателя с новыми произведениями, он зажигает в нем искру любопытства и будит желание прочесть эти произведения. Между тем Абдалла ат-Тухи, которого мы знаем как одного из наиболее зрелых и плодовитых наших прозаиков, работающих в жанре короткого рассказа, признался мне, что из всего тиража его первого сборника «Маленький Давуд» за два года распродано всего лишь около сорока экземпляров, из всего тиража второго сборника «В лунном свете»—примерно столько же. Доктор Сухейль Идрис, директор издательства «аль-Адаб» в Бейруте, выпустивший сборник рассказов Юсуфа Идриса «Дело чести», сообщил, что эта книга совершенно не нашла спроса, хотя все мы знаем, что это — одно из лучших произведений, созданных за всю историю арабской новеллы. Почему же имеют место подобные случаи? Я считаю, что и здесь вина целиком ложится на критиков, задача которых разъяснять и убеждать читателя, быть связующим звеном между художественным произведением и читательской массой...»

Как бы ни были важны сами по себе вопросы, затронутые в статье ан-Наккаша, не они все же, видимо, составили, так сказать, «эпицентр» всей дискуссии. Таким «эпицентром» явились проблема общественного назначения литературы и тесно связанный с ней вопрос о критериях оценки художественного произведения.

Один из участников дискуссии, представляющий так называемую «новую критическую школу», доктор **Рашар Рушди,** напоминая о неразрывном единстве формы и содержания, следующим образом охарактеризовал представителей современной критической мысли в ОАР:

> «Что же касается наших критиков, то их можно разделить на две группы. Одни ограничиваются изложением своих непосредственных впечатлений по поводу того или иного произведения Другие — назовем их материалистами — фиксируют свое внимание исключительно на содержании произведения».

Эта точка зрения вызвала резкие возражения. По мнению критика **Абдель Кадер аль-Катта,** у читателя создается представление, что

> «новая критическая школа» настолько занята проблемой формы, что не дает критику возможности увидеть связь между художественным произведением и эпохой, в которую оно было создано, а также уловить его связь с общественными проблемами.
>
> Рассматривая то или иное художественное произведение, мы не вправе забывать о том, насколько оно гуманистично и общественно по своему содержанию. Что касается формы и содержания, то справедливо, что их нельзя разделять, читая литературный текст. Однако такое разделение становится необходимым, когда заходит речь об анализе отдельных элементов произведения.
>
> Что же касается определения «материалисты», которым пользуется доктор Рушди,— продолжает Абдель Кадер аль-Катта,— то, на мой взгляд, этот термин неприменим к школе критиков, считающих, что литературное произве-

дение непременно должно нести в себе идеи, полезные обществу и всему человечеству в целом. И вообще, подобные идеи диктуются литературе не каким-то определенным направлением в критике, а самой жизнью».

С резкой отповедью всем тем, кто старается сейчас подновить и пустить в ход теорию «искусства для искусства», выступил критик **Анвар аль-Маадави.**

«Я полагаю,— предупреждает он,— что те, кто защищают теорию искусства для искусства или призывают превратить искусство в простое средство развлечения, представляют узкую школу, не желающую принимать во внимание ни эволюцию художественного понятия современной литературы, ни развитие культурного, общественного и политического сознания читателей».

«Проблема, которая вызвала нашу нынешнюю дискуссию,— пишет критик **Мухаммед Гунейми Хиляль,**— давным-давно решена литературной критикой за рубежом. Суть нашего спора сводится к вопросу, должна ли литература быть независимой и далекой от общественной жизни или она должна быть близка ей и решать ее проблемы в подлинно художественной форме, без чего немыслима вообще никакая литература. Между тем большинство критиков в зарубежной литературе уже давно сошлись на том, что настоящий писатель должен жить интересами своего народа и помогать ему в формировании национального самосознания».

Откровенность и прямота приводимых здесь высказываний участников дискуссии лишь подтверждает ее актуальность для литературы арабских стран.

Кто виноват: Издатель? Читатель? Писатель?

Читатель, писатель, издатель — все эти три «слагаемых» образуют как бы своеобразную «триединую формулу», все звенья которой находятся в прямой и явной зависимости друг от друга. И все-таки практика показывает, что самым решающим и наиболее чувствительным звеном в данном случае является, конечно, читатель. Ибо он, в конечном счете, определяет творческое и деловое самочувствие писателя и издателя. Об этом лишний раз напомнила анкета, которую не так давно провел во Франции Институт экономических и социальных исследований по поручению национального Синдиката издателей.

Данные этой анкеты оказались в высшей степени показательными. Как сообщила газета **«Монд»,** в результате опроса, проведенного среди самых различных слоев населения Франции, выяснилось, что более половины всех французов (58%) вообще никогда не читают книг.

«Эта анкета,— пишет «Монд»,— проведенная одновременно путем обследования и путем «углубленных бесед», позволила не только собрать статистические данные, но — и в этом ее своеобразие — подвергнуть также анализу психологию среднего француза с точки зрения его интересов как читателя».

«Молодежь читает больше, чем люди пожилые,— продолжает «Монд».— В сорок лет обычно расстаются с книгой. Вместе с тем ни радио, ни телевидение, ни кино, ни театр, ни даже спорт не являются конкурентами книги. Наоборот, они стимулируют интерес, который она вызывает по крайней мере в зажиточной среде. Там же, где из-за финансовых затруднений приходится делать выбор, книга обычно приносится в жертву в первую очередь: ей предпочитают телевизор или автомашину».

Каковы же побуждения, заставляющие столь внушительное число французов не уделять книге достаточного внимания? Газета «Монд» ставит этот вопрос прямо и отвечает на него так:

«Весь мир прославляет книгу и преклоняется перед ней как перед каким-то полубогом, но ей приписывают такие суровые и внушительные функции, что пропадает желание к ней приблизиться. Все провозглашают необходимость чтения, но этой необходимости противостоит мысль о том, что чтение требует усилий, да еще к тому же усилий ничем не вознаграждаемых... Очень немногие считают чтение книги занятием, которое имеет права гражданства наравне со многими другими. Всего лишь четверо из двухсот опрошенных используют свой отпуск на то, чтобы «иметь возможность читать», в то время как усталость и отсутствие свободного времени упоминаются участниками анкеты в качестве веской причины отказа от чтения, вполне способной служить им защитой от укоров совести».

Из множества цифровых данных, полученных в результате массового опроса, мы

выделили следующие: из каждых ста читателей лишь четырнадцать интересуются романами, примерно пять — мемуарной литературой и только один (!) отдает свой досуг поэзии и драматургии.

Виднейшие представители издательского мира весьма обеспокоены создавшимся положением.

> «Мы еще не терпим прямых убытков,— подчеркивает издатель **Пьер Орай,**— но на протяжении последних десяти лет оборот книжной торговли совсем не растет, в то время как общая сумма доходов от зрелищных предприятий, телевидения и радио увеличилась в два с половиной раза. Если мы не раскачаемся — нам придется отступать.
>
> ...Если мы ничего не предпримем, будущее книги окажется под серьезной угрозой: те, кто не читают книг, прибегают к гораздо более поверхностным источникам получения знаний. А это означает конец книги, конец культуры».

Эти и им подобные высказывания, очевидно, должны привести к выводу, что во всех бедах, постигших французскую книгу и издательское дело во Франции, повинны одни лишь читатели, которые становятся все более ленивыми и нелюбопытными. Они, мол, не проявляют к книге никакого интереса и предпочитают на сэкономленные деньги заниматься чем угодно, но отнюдь не приобщением к благам литературы.

Но так ли уж повинны во всем многострадальные читатели? Не следует ли возложить соответствующую долю ответственности и на писателей, и на издателей? Не обязаны ли и они взять на себя немалую часть вины за «неуспех книги»? В справедливости именно такой постановки вопроса нас убедило красноречивое и политически темпераментное высказывание известного французского издателя **Рене Жюллиара.** Отметив, что Франция по размерам книжной продукции стоит на восемнадцатом месте в мире (одна книга на 10 тысяч человек) и уступает не только крупнейшим странам, но и «устрашающему росту молодых государств», Жюллиар счел нужным напомнить:

> «Мы издаем книги только для имущих классов, совершенно забывая о рабочих и о крестьянах .. Но французский народ в своей массе, население французских колоний, добившихся независимости, требуют приобщения к культуре, значение которой они все больше и больше осознают. Культура же не насаждается в течение нескольких лет — и это надо твердо усвоить. Мы уже сейчас обязаны удовлетворять все такого рода требования. Мы находимся перед выбором: нам нужно либо перестроиться, либо согласиться на то, чтобы исчезнуть, отказавшись от всего, что на нас возложено».

В чем смысл высказывания Рене Жюллиара? Если называть вещи своими именами, то он состоит в следующем: кризис французской книги в огромной степени объясняется тем, что издатели пренебрегают интересами народа, не учитывают вкусов, потребностей, кругозора рабочих, крестьян, передовой интеллигенции. Не учитывают они и такого «читательского резервуара», каким являются бывшие французские колонии, уже добившиеся независимости в упорной борьбе (в том числе и на культурном фронте).

Если бы понадобились дополнительные доказательства того, как мало считаются буржуазные «законодатели вкусов» с истинными взглядами и требованиями масс, то лучшего доказательства, чем анкета, проведенная буржуазным еженедельником **«Ар»**, пожалуй, и не сыскать. Мы позволим себе здесь остановиться лишь на одном, но весьма характерном вопросе этой анкеты, который гласит: «О ком из современных деятелей культуры вы можете сказать, что слава его является чрезмерно раздутой?» «Сокрушительным большинством голосов» (выражение «Ар») был поставлен на одно из первых мест известный художник-формалист, модернистская «звезда первой величины» Сальвадор Дали. Хотя он на все лады превозносится современной западноевропейской буржуазной критикой, рядовые французы сумели все же отнестись к его творчеству более чем трезво.

Читатели «Ар» именуют Дали «узурпатором славы», создателем системы «критической паранойи», изо всех сил старающимся прикрыть отсутствие галанта трюкачеством.

> «Если существует раздутая слава,— гласит один из типичных ответов,— то это слава художника Дали. Что можно сказать о темных домыслах живописца, который тщится прослыть новатором и ничего не достигает?»

В заключение мы приведем еще один ответ на неосторожно поставленный редакцией «Ар» вопрос о том, какой из романов,

когда-либо удостоенных Гонкуровской премии, следует считать наихудшим.

> «Глупый вопрос,— ответил один из участников анкеты,— кто же не знает, что самым худшим всегда является последний из романов, получивших Гонкуровскую премию?»

Как бы ни были обличительны все эти отзывы, попадающие поистине не в бровь, а в глаз кумирам модернистского искусства и поставщикам литературного чтива, мы цитируем их без всякого злорадства. Разумеется, содержащаяся в них критика в достаточной мере остра и убедительна. Но еще более важным нам представляется то обстоятельство, что все они пусть в косвенной форме, единодушно подтверждают правоту тех мыслей, которые содержатся в приведенном нами высказывании Рене Жюллиара. Так ли уж действительно виноваты все те миллионы французов, которые отказываются читать книги, услужливо распространяемые буржуазными издателями? И не к месту ли здесь будет вспомнить грубоватую, но правдивую русскую пословицу: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива».

Против модернистской зауми и «скидок на тему»

Известный польский поэт-символист Болеслав Лесьмян в свое время утверждал: «Что бы ни говорили о поэзии — все будет ошибкой; поэзия не поддается никаким определениям, определение является для нее грустной разновидностью гроба: поясняя — оно убивает». Хотя сам Лесьмян умер четверть века назад, такого рода точка зрения на поэзию до сих пор еще существует. Ее, как известно, разделяют и некоторые поэты, и кое-кто из критиков. Тем не менее не надо обладать особым литературным бесстрашием, чтобы отважиться все же подвергнуть поэзию анализу, или, выражаясь поэтически, проверить «гармонию» с помощью «алгебры». Это лишний раз доказано в ходе дискуссии о поэзии, которая не так давно состоялась в Польше.

Газета **«Трибуна люду»** в статье критика **Януша Вильгельми** подвела некоторые итоги этой дискуссии. Автор статьи не считает, что дискуссия оказалась слишком плодотворной, более того, результаты ее он оценивает как «весьма скромные». Тем не менее некоторые положения статьи, явно навеянные содержанием дискуссии, носят общий характер. В первую очередь это относится к проблеме **доходчивости** или понятности поэзии.

> «Поэзия может быть максимально сложной, но она должна быть понятной,— говорится в статье газеты «Трибуна люду».— В противном случае она теряет присущее ей свойство воздействия с помощью осмысленного слова, а это — обязательная особенность всякой литературы. Поэтому, вопреки мнению одного из критиков далеко не достаточно, чтобы стихи были понятны самому поэту. Где же доказательство, что он их действительно понимает? Если поэт создал собственный искусственный язык, он обязан сначала разъяснить его. Лишь тогда мы сможем убедиться, как обстоит дело с пониманием этого языка. В области литературы на честное слово положиться нельзя».

Ряд интересных мыслей на ту же тему содержит напечатанная в газете **«Нова культура»** статья **Алиции Лисецкой**, в которой до известной степени подводятся итоги дискуссии. В этой статье говорится:

> «Мы интересуемся не столько формальной преемственностью, сколько содержанием поэзии, «скелетом» мыслей и реалий, **современной действительностью**, как в прозрачном зеркале отражающейся в стихах любого крупного поэта.
>
> Таким зеркалом явилась поэзия Элюара, Лорки и Арагона, не стеснявшихся писать о «повешенных и расстрелянных»; таким зеркалом была неповторимая по своему новаторству поэзия Маяковского, беспартийного поэта, чьим партбилетом были, по его собственному признанию, «сто томов его партийных книжек»; яростная, страстная поэзия Броневского в довоенные годы; потрясающая по политическому звучанию, прекрасная, хотя и трудная, интеллектуальная поэзия Брехта; тонкие стихи Рене Шара и ирония Галчинского... и многие другие «документы» подлинной взволнованности, поглощенности делами своей страны и эпохи, связи поэта с повседневностью и попросту с жизнью».

Справедливо возражая тем, кто не прочь видеть значительность любого стихотворения лишь в значительности самой темы, со-

вершенно независимо от того, какими художественными средствами она выражена, Алиция Лисецкая пишет:

> «Кто станет отрицать, что четвертая часть поэмы «Дзяды» Мицкевича была большой драмой чувств, а «Крымские сонеты» — замечательной картиной романтической природы? Но вместе с тем «Дзяды» — десять заповедей дворянской революционности, поэзия высокого мировоззрения, социальной драмы, социального бунта, лирика протеста против общественных и бытовых норм феодального строя. Ко всем этим проблемам Мицкевич пришел, говоря почти исключительно о любви. Но он видел эту любовь во всей ее связи с современными ему проблемами, под углом зрения всей сложности своей эпохи».

В искусстве нет мелких тем, но есть мелкие дарования, лишенные способности видеть и слышать свое время и, следовательно, правдиво отражать его в своем творчестве. По мысли автора статьи, «прилизанные, гладкие стихи, посвященные пейзажным зарисовкам или впечатлениям от маленьких, дешевеньких флиртов», решительно никому не нужны. Но вместе с тем, подчеркивается в статье, под пером большого поэта и пейзаж, и любовная лирика могут быть подлинным оружием борьбы за высокие идеалы.

> «Можно посвящать стихи любви и природе, борясь одновременно с наивными представлениями «Молодой Польши» (модернистское направление в польской литературе начала XX века.— *Ред.)* и с бесплодным, эстетским описательством и стилизацией».

Хотя и не новые, но вместе с тем своевременные мысли высказал в «Новой культуре» и поэт **Антони Слонимский.** Он тоже касается весьма наболевшей проблемы «доступности поэзии» и пишет по этому поводу:

> «...Отнять у слов их значение — значит обеднить поэзию. Потерять поэтическую фразу и мелодичность — значит выхолостить поэзию окончательно... Я признаю иррациональное начало в поэзии и даже готов признать его движущей силой Если вы хотите ехать на автомобиле, надо признать факт существования мотора. Но надо также обратить внимание и на руль. Если бы кто-нибудь захотел ехать при помощи одного руля, он не сдвинулся бы с места. Но если он поедет без руля, он недалеко отъедет и либо попадет не в то место, куда намеревался попасть, либо скорее всего разобьется...
>
> Я признаю сложную поэзию, но не признаю усложненной. Мы знаем, что есть такие вещи, которые очень трудно выразить в поэзии, и что труд, затраченный на то, чтобы идти за поэтом, окупится для читателя. Однако известно также, что очень часто этот труд не окупается, писателю почти нечего сказать, и он прикрывается заумью, либо вообще не в состоянии найти форму выражения. Одной лишь сложности недостаточно, как недостаточно одной доступности... В настоящее время считаю опасным невиданный поток модернистского бормотания».

В заключение приведем высказывание известного современного польского поэта **Артура Мендзыжецкого** из статьи, написанной для журнала **«Валька млодых»** в связи с подведением итогов поэтического конкурса:

> «...Только истинные поэты определяют сегодняшний день своей поэзии, ее облик, стремления и способность к быстрой реакции на все проявления действительности. Этих поэтов объединяет прежде всего отвращение к поэтической Аркадии, идиллиям, классицизму, наивным энтузиастам старых школ, к поверхностно понимаемому преувеличению значимости второстепенных проблем мастерства...
>
> Поэтическое творчество также имеет свою диалектику. И, быть может, о судьбах поэзии в эпоху ракет и искусственных спутников решающее слово скажут именно те поэты, которые не захотят покинуть Землю, ее человеческие конфликты, ее неоткрытые тайны, ее пульсирующее беспокойство и неисчерпанные надежды».

Они пали непобежденными

С тем же глубоким волнением, с которым я читала эти письма вскоре после того, как они были получены, я вновь перечитываю сегодня слова наших незабвенных товарищей, павших непобежденными под пулями врагов. Но это далеко не все. Только частично приведены здесь величественные в своей простоте слова из обращения Сегундо Вилабоя, юного рабочего из Ферроля, героя-партизана, который был схвачен раненым и подвергся зверским пыткам. Последние минуты своей жизни он думал о партии и свято верил в коммунистическое завтра нашей родины. Здесь нет политического завещания трижды героя Кристино Гарсиа — героя нашей войны, героя французского Сопротивления и героя партизанской войны против Франко. Здесь нет последних слов Сороа, Нуньо, здесь не сказано о Матильде Ланда, добровольно принявшей смерть, чтобы спасти жизнь группы товарищей. Отсутствуют многие страницы, которые в свое время увидят свет и расскажут новым поколениям о том, как умели бороться и умирать коммунисты, воспитанные и закаленные в школе коммунизма, в школе борьбы и труда, самопожертвования и бескорыстия, героизма и славы.

Сегодня, в 25-ю годовщину со дня начала национально-революционной войны испанского народа, публикуется лишь часть этих документов. Но и они свидетельствуют о героическом самопожертвовании наших незабвенных товарищей, которые без колебаний, до конца выполнили свой долг и оставили в качестве бесценного наследия всему нашему народу и особенно нашей молодежи пример своей жизни и своей смерти.

Долорес Ибаррури

Я выполнил свой долг

Хосе Гомес Гайосо

Коммунист, руководитель партийной организации Галисии. После нескольких лет подпольной борьбы был арестован фашистами и казнен в ноябре 1948 г.

Дорогая Конча,

я пишу тебе впервые, спустя пять с лишним лет. По правде говоря, мое положение не очень завидное. Я делаю это с нечеловеческими усилиями, так как руки мои изранены...

В течение четырех с половиной лет я делал все, что было в моих силах, чтобы выполнить свой долг коммуниста. Последние два года я руководил партийной организацией Галисии. На этом посту я был схвачен 11 июля в Корунье. Это произошло в результате предательства одного мерзавца, который был адъютантом товарища Антонио Сеоане, руководителя партизанских отрядов Галисии. Он был арестован 10-го. Я должен был встретиться с ним у него дома 11-го, но, когда я пришел, дверь мне открыли полицейские. Они направили на меня пистолеты. Я бросился вниз по лестнице, и в этот момент через лестничную клетку они открыли по мне огонь. Пуля попала в висок и вышла через глаз.

Несмотря на это, мне удалось бежать, но спустя почти час, в полдень, они схватили меня. Моя одежда пропиталась кровью. К несчастью, когда меня ранили, я скатился по лестнице, а придя в себя, не нашел револьвера. Иначе бы они не взяли меня живым...

Я хотел бы не говорить о том, что они творили с нами, но не могу. Трудно себе представить то, что они сделали со мной и с Сеоане. Скажу тебе только, что лучше умереть тысячу раз, чем вынести все это. Когда 1 сентября я вышел из одиночки, я был скелетом. В день моего ареста я весил 73 кило, теперь — всего 48. Все внутри у меня было отбито. Я непрерывно харкал кровью. Руки — только сейчас с огромным трудом я могу взять перо. Действительно, они неистовствовали потому, что в течение четырех с половиной лет не могли схватить меня, и в еще большей степени потому, что за полтора месяца после ареста первого секретаря они схватили всего лишь 11 коммунистов. В еще большую ярость их привело то, что через 6 дней после нашего ареста началось наступление партизан: один за другим падали фашисты, и запылали фалангистские центры и аюнтамиентос * в Абегондо и Моече (Корунья) и в Оренсе.

И вот, Кончита, даже во время пыток и истязаний мы не могли не испытывать радости, когда узнали, что наши отважные партизаны ответили так, как и должны были ответить. Своими делами они как бы говорили нам, что могут сражаться сами и ничто и никто не сможет победить ни их, ни партию.

Затем, после того как 1 сентября я вышел из одиночки, режим чуть смягчили, нам разрешалось на два часа выходить на прогулку (тем, кто принадлежит к нашей группе,— только поодиночке). Я начал немного поправляться. Товарищи, которые находятся со мной, стараются заботиться обо мне, но так как у меня нет здесь никого из родных и близких, я не получил с воли ни одной папироски.

Они стремятся как можно скорее расправиться с нами. Я думаю, что если нас не освободят, то мы, по крайней мере Антонио Сеоане и я, получим по два или три смертных приговора. К началу ноября они хотят прикончить нас.

Поэтому сообщаю тебе имена:

Хосе Гомес Гайосо, народный учитель; Антонио Сеоане, рабочий; Хуан Ромеро Рамос, рабочий; Хосе Бартрина, врач; Хосе Рамон Диас, портной; Хосе Родригес Кампос, рабочий; Хуан Мартинес, крестьянин.

Среди нас есть также четыре женщины, они держатся превосходно, из них не могли вытянуть ни одного слова. Это — Мария Бласкес, работница. Она получила пулю в живот, которую у нее так и не извлекли; Клементина Гальего — у нее почти парализована одна нога; Кармен Ороско — народная учительница, у нее больное сердце, и она в тяжелом состоянии; и, наконец, Хосефина Гонсалес Кудейро.

Наше положение изменилось только в том, что мы, по крайней мере, находимся теперь вместе, по трое в каждой камере, и те, у кого есть родные, могут получать с воли еду. Однако все восемь человек, проходящие по нашему процессу, полностью изолированы от остальных 250 политических заключенных (боятся влияния, которое мы можем оказать на них!). С другой стороны, начались преступные провокационные акты: в нашу группу заслали полицейского, который пытался воздействовать на наименее опытных товарищей и прежде всего стремился разжечь между нами разногласия, чтобы разобщить нас перед военным судом...

---

* Местные органы самоуправления.

Гражданская гвардия настаивает, чтобы наша внутренняя охрана состояла из жандармов, так как они не доверяют тюремному персоналу.

Ладно, Кончи, мне хотелось бы теперь объяснить политическую суть происшедшего и направление этого удара...

Часть руководства осталась на свободе, и партийная организация не была дезорганизована. То же и с партизанскими соединениями. Удар был жестокий, но верю, что из этого будет извлечен должный урок и усилиями товарищей из руководства (оставшихся на свободе) Галисия вновь займет подобающее место в борьбе с франкизмом. Кроме того, можешь передать руководству партии, что, исключая мерзавца, который предал Сеоане, не было ни одного случая измены. Все выдержали избиения и пытки, никого не выдав, несмотря на то, что враги использовали все, что могли, вплоть до подкупа. О себе самом могу сказать одно: когда я оттуда вышел, я понял, что достоин своего звания коммуниста и дела, которое было мне поручено. Я хотел сделать все возможное, я стремился правильно проводить политическую линию нашего бюро и вложить в сердце каждого бойца любовь к нашим руководителям и прежде всего к нашему дорогому товарищу Долорес. Можешь быть уверена в моей преданности бюро и Долорес, в том, что я никогда не колебался. Можешь быть уверена в моей твердости, хотя я и попал в руки врагов. Так я буду держаться до самой смерти. Я не успокаиваюсь и клянусь тебе, что не раз говорил себе, говорил днем и ночью: имей я хоть сто жизней, я отдал бы их все, чтобы мои товарищи, мои руководители, ты и мой сын могли бы сказать, что я не принадлежал к тем, кто струсил, колебался или сделал ложный шаг...

У меня мало сил, но я должен отдать их до конца, и особенно сейчас, когда пытаются сломить людей, которые мужественно выдержали пытки; их соблазняют обещанием спасти жизнь именно в тот момент, когда они предстанут перед военным трибуналом.

Слабая политическая подготовка многих, с одной стороны, и давление наших врагов, с другой, заставляют их колебаться.

Ты понимаешь, что знамя партии будет гордо реять. Я тружусь и буду трудиться без отдыха, чтобы так и было. За себя я отвечаю. Но надо добиться, чтобы так же держались и остальные.

А теперь, моя Кончи, немного о нас. Может быть, это последнее письмо. Ты — коммунистка и, как член партии, должна принять мою смерть как гибель воина, который пал на поле боя. Многие, гораздо более отважные, погибли раньше меня... Как велик и прекрасен наш народ! Когда он трудится с упорством и достоинством — творятся чудеса. Одно огорчает меня — что со своими маленькими силами и из-за своих недостатков я не смог сделать больше... Ты хорошо представляешь себе, почему я ни когда не писал тебе. Несмотря на это, ты всегда в моем сердце. Прошло несколько лет, как мы расстались, но, что бы ни случилось в твоей жизни, я твердо верю, что ты всегда будешь коммунисткой, такой, какой я знал тебя. Хочу, чтобы ты выполнила обещание, которое дала: пусть никогда никаким недостойным словом или поступком не будет опозорена моя честь воина-коммуниста. Это мое единственное завещание нашему сыну. Прошу тебя, когда он настолько вырастет, чтобы понимать это, расскажи ему все. Прошу тебя, умоляю — воспитай его, как я хотел, пусть он будет верным и честным коммунистом, каким был его отец. Воспитай в нем любовь к народу, к трудящимся, к Испании, любимой родине, за которую его отец отдал жизнь. Воспитай в нем уважение и любовь к руководителям славной коммунистической партии Испании, к нашему товарищу Пасионарии. Это моя последняя просьба к тебе, моя подруга и товарищ. Я уверен в том, что ты выполнишь ее, потому что знаю тебя, потому что верю в твою политическую честность. И скажу тебе еще только два слова: если ты пока не сделала этого, ты это сделаешь.

Ты была еще молода. Но ничто, никакие самые сильные личные переживания не могли никогда заставить тебя свернуть с прямого пути, который ты избрала, вступив в партию. Это превыше всего. От всей души желаю тебе найти счастье, которого я не знал и которого не мог тебе дать.

Пусть скорее изгладится из твоей памяти воспоминание обо мне как спутнике жизни, и, если ты будешь думать обо мне, думай, как о товарище. Я не хочу, чтобы ты страдала из-за меня. Чтобы достичь величайшего блага, каким является освобождение нашей родины, требуются большие жертвы. Как же я могу сейчас беспокоиться о себе? Терпение и стойкость. Брешь заполнят тысячи коммунистов, заполнит народ. Во имя нашего народа ты должна без устали работать и бороться.

Я хочу попросить тебя только об одном. Если успеешь, пришли мне фотографию, где ты снята с Пепито. У меня была одна, но года два тому назад ее забрала полиция. Я хочу в последний раз увидеть, пусть хоть на фотографии, моего сына и тебя. Я прошу также, если это возможно, пришли немного денег на самые насущные мелочи в эти месяц или полтора, которые остались мне. Я не хотел обращаться ни к твоим родным, ни к кому-нибудь из своих, так как боялся, как бы их не посадили. Кончаю. Я ношу письмо четыре дня, не больше нельзя. Многое я мог бы рассказать тебе, и если смогу, напишу еще.

Я должен хорошо использовать каждое мгновение.

К чему прощаться? Будь же счастлива, ты знаешь, как я любил тебя и как любил бы всегда. В последний раз поцелуй нашего сына за отца. Целую тебя, Кончи.

Вечно любящий тебя Пепе.

Если будешь писать мне, пиши авиа, заказное и спешное.

Крепко обнимаю Бласа Маринельо, Фабио, Монгито и других испанских и кубинских товарищей.

Хосе Гомес Гайосо.
Провинциальная тюрьма. Первая галерея.
Камера 4. Ла-Корунья.

Умираю гордым

Эухенио Месон

Один из руководителей мадридской молодежи.
Арестован фашистами в 1939 году и расстрелян.

Я умираю гордым, потому что отдаю свою жизнь за мой народ, за мою молодежь. Сознание, что я выполнил свой долг перед Союзом объединенной социалистической молодежи, перед партией и революцией, наполняет мое сердце радостью и придает мне силы и мужество, чтобы встретить свой последний час.

Эухенио Месон.

За священное дело

Хуан Рос

Один из героев испанской молодежи, активный участник гражданской войны. Вернулся из эмиграции для подпольной работы. Расстрелян фашистами.

Я пишу эти строчки и знаю, что очень скоро, может быть через несколько часов, пуля палача оборвет мою жизнь. И если что-нибудь огорчало меня в жизни, так

только то, что я не мог служить лучше и более плодотворно священному делу, которое было мне поручено как комсомольцу и патриоту.

Хуан Рос.

Наше знамя

Нумен Местрес

Один из руководителей каталонской молодежи, герой партизанской борьбы с фашистами. Расстрелян в Барселоне в 1949 году.

Ничто и никто не сможет воспрепятствовать тому, чтобы, пока течет в наших жилах хоть капля крови, мы, вместе с коммунистами, высоко держали знамя Союза объединенной социалистической молодежи. Вокруг этого знамени сплотились лучшие представители молодежи Испании, которые в гигантской борьбе с франкизмом завоюют нашей молодежи право на счастливую жизнь в семье свободного и независимого народа.

Нумен Местрес.

Эти жертвы не будут бесплодными

Хаиме Хирабау

Рабочий-текстильщик, руководитель Союза объединенной социалистической молодежи Каталонии. Во время национально-революционной войны был комиссаром различных подразделений республиканской армии. Расстрелян 21 января 1942 года.

Наши жертвы и жертвы всех тех испанцев, которые раньше нас отдали свою жизнь, не должны быть, не могут быть бесплодными. Они должны быть в то же время стимулом для тех, кто идет за нами, стимулом в героической борьбе, без отступлений, стимулом для активного участия в великой битве народа против фашистских зверей.

Хаиме Хирабау.

Нас могут лишить жизни, но не чести

Хаиме Сегундо Вилабой

Рабочий арсенала в Ферроле (Галисия), организатор забастовки в арсенале и один из руководителей подпольной борьбы в Ферроле, герой партизанской войны. Раненый, он был захвачен в плен фашистами и после зверских истязаний расстрелян 20 декабря 1947 г.

...Когда истекающему кровью, почти умирающему они кричали мне: «Пой, или мы убьем тебя!», я отвечал им и всегда отвечу так же: «Вы можете лишить меня жизни, но не чести». Скажите товарищу Пасионарии, что партизан Вилабой умирает с гордостью, зная, что высоко держал знамя партии.

Хаиме Вилабой.

Во имя родины

Хесус Ларраньяга

Баск, член компартии с 1926 года, один из руководителей профсоюзов и партийной организации Бискайи, организатор борьбы с франкистами в Северном районе Испании в годы национально-революционной войны. Казнен фашистами 21 января 1942 года.

Из выступления на суде

Для коммунистов родина — это Испания. Во имя нее мы отдавали и отдаем свою жизнь. За ее процветание боролись мы до 18 июля, за освобождение ее от иноземного вторжения тысячи коммунистов умирали бок о бок с другими испанцами с момента франкистского мятежа до сегодняшнего дня. И за Испанию, за родину, за испанский народ мы умрем, если нам суждено умереть, как умели умирать те сыны Испании, которые боролись до нас, как сумеют умереть те, кто последуют за нами.

Письмо к жене

Дорогая Кармен, пишу тебе за несколько минут до того, как вражеские пули оборвут мою жизнь. Не знаю, когда ты сможешь вернуться в Испанию и прочитать мое последнее послание, но хочу сказать тебе несколько слов — это очень важно для нас обоих.

Мы всегда по-настоящему любили друг друга и всегда работали вместе. Дело, от которого смерть отрывает меня, не оканчивается для тебя, и обязанности, которые мы исполняли сообща, ты должна будешь теперь. к сожалению, выполнять одна. Я думаю о наших детях. Как мать, ты любишь их и, я знаю, будешь воспитывать ласково и заботливо; но прежде всего расскажи им о моей жизни и борьбе, о моих идеалах и о моей смерти. Тогда они лучше поймут свой человеческий долг. В этом тебе с радостью помогут товарищи и друзья, которым я стольким обязан.

Это мое последнее желание: пусть мои дети, не щадя своих сил, продолжают труд, начатый отцом. пусть они борются за лучший мир, за Испанию, счастливую, процветающую, идущую по пути прогресса. Скажи Мирену, которому уже 15 лет, Эустакио, которому 14, и Росите, которой скоро исполнится 8, что я их крепко люблю и умираю, вспоминая о них.

Дорогая Кармен, прощай навсегда. Целую и обнимаю, любящий тебя муж.

Хесус Ларраньяга.
Мадрид. На рассвете 21-1-42 г.

Я обвиняю

Рамон Виа Фернандес

Рабочий-металлист, активный участник национально-революционной войны в Испании, а затем французского Сопротивления. Трижды был приговорен вишистами к смертной казни. Арестован испанскими фашистами 15 ноября 1945 года, казнен в мае 1946 года.

Я, Рамон Виа, испанский патриот, сражавшийся за свободу в войсках объединенных наций, приговоренный к смерти правительством Виши, боец одной из групп испанских патриотов, которые ведут борьбу за свободу и демократию, перенесший пытки и истязания, израненный, истерзан-

ный, обращаюсь из тюрьмы в Малаге ко всему демократическому миру, ко всем испанским патриотам. Я обвиняю франкистский режим, разоблачаю политику террора, проводимую фашистскими варварами...

Я был арестован на улице в Малаге 15 ноября по доносу ренегата Эухенио Наварро...

В течение трех часов меня нещадно били по животу и по пальцам на ногах. Ноги мои так распухли, что казалось, вот-вот лопнет кожа. Потом, угрожая новыми истязаниями, мне дали время, чтобы я подумал...

В 10.30 опять появился инспектор со своими подручными...

Когда я отказался сказать, где живу, инспектор приказал: «А ну-ка бросьте его на пол и покажите ему».

Меня начали колотить палками по ногам; избиение продолжалось полчаса. Так как я упорствовал, инспектор, рассвирепев, крикнул: «Говори, где живешь! Ты знаешь, что тебя ожидает? Запомни, отсюда никто не выходил живым, если не развязывал язык. Не скажешь сегодня — заговоришь завтра: мы не спешим».

Я продолжал молчать. Они дали мне 10 минут на размышление, а потом все началось сначала. «Получай,— приговаривали они,— и помни, что завтра получишь еще больше». Так они истязали меня до 3 часов ночи...

На следующий день к вечеру меня отвели в комнату комиссара, где было полно жандармов, и один из них спросил меня, как я себя чувствую. Меня раздели и осмотрели мое тело, покрытое ранами.

«Я дал приказ, чтобы тебя не били,— сказал комиссар — но, видно, ты ничего не сказал, значит, сам виноват». Потом добавил: «Ты человек конченый и должен понять, что пропадешь. Арестован ты, и тебя не должны интересовать остальные. Говори все, что знаешь, а ты знаешь много. Не то тебе конец, ты не выйдешь отсюда живым».

После этого начался допрос, но им не удалось вытянуть из меня ни слова, и мне дали отдохнуть эту ночь.

На следующий день после полудня меня отвели в другую комнату, где находилось четверо субъектов, которые сразу же накинулись на меня с кулаками, оскорбляя и угрожая: «Мы разорвем тебя в клочья». Зверски избив, они вновь отправили меня в одиночку с напутствием: «Приготовься-ка к этой ночи».

И действительно, в десять меня бросили в карцер. Там я опять попал в руки палачей — и началось: «Скажешь? Нет? Тогда вали его на живот! Распять его!»

Меня схватили за руки и за ноги, уже сплошь покрытые ранами. Один наступил мне на руку, второй — на другую, третий придавил шею, еще один прижал к полу колени и начал изо всех сил колотить меня дубинкой, в то время как другие пинали меня ногами в спину. Тот, который орудовал дубинкой, принялся бить меня по пояснице, а другой кричал: «Крепче, еще крепче!»

Я молчал, не произносил ни слова, а про себя думал: «Будет же этому конец».

Видя, что, как они ни избивают меня, я не издаю ни звука, они решили, что я уже мертв, перестали истязать меня и начали обливать водой. Один сказал: «Вам влетит», другой ответил: «Да ведь не так уж сильно мы ему всыпали». Тут они начали прижигать мне сигаретами руки, ноги и ляжки. И в этот момент я подумал о христианской демократии, которую они собираются защищать...

...В 10 вечера на следующий день двое агентов и инспектор, которые раньше мною не занимались, начали меня допрашивать, поначалу очень ласково.

«Послушай-ка, Рамонсильо,— сказал мне инспектор,— давай-ка потолкуем по-хорошему, а потом ты объяснишь другим: это человек пожилой, рассудительный, он не избивал меня, вот я ему все и рассказал».

Но, видя, что я молчу, они набросились на меня с криками: «Ты должен сейчас же заговорить, иначе этой ночью тебе будет еще хуже, чем прошлой! Мы передадим тебя гражданской гвардии, и увидишь, тебя прикончат при попытке к бегству».

После этого они вновь принялись избивать меня, и только когда устали, отправили в камеру.

Мне стало ясно, что ярость моих палачей растет с каждой минутой и что жизнь моя зависит от прихоти нескольких тупых фалангистов, которым доставило бы удовольствие замучить меня до смерти за то, что я не выдаю своих товарищей. Я хладнокровно обдумал, как бороться с бессмысленным террором,— ведь даже если бы они разорвали меня на кусочки, они ничего не вытянули бы из меня. И я решил, что самое разумное — покончить с собой и тем самым не дать им убить меня ради развлечения.

Я использовал пряжку от пояса и изготовил из пластинки с зубцами нечто вроде ланцета, чтобы вскрыть вены. Без четверти шесть я сделал первый разрез. Я обернул руку лоскутом так, чтобы кровь стекала в одно место, и обмакивал в нее кусочки ваты, вытащенной из пиджака. Таким образом мне удалось написать на плитках, которыми были облицованы стены камеры: «Я сделал это не из страха перед пытками, а потому, что не желаю, чтобы надо мною глумились мои палачи. Да здравствует республика!»...

Рамон Виа Фернандес.

Написано в Провинциальной тюрьме в Малаге
15 декабря 1945 года.

Узы братства нерасторжимы

Товарищу Долорес Ибаррури — генеральному секретарю Коммунистической партии Испании, членам Политбюро Коммунистической партии Испании и Секретариату Объединенной социалистической партии Каталонии.

Дорогие товарищи!

Думаем, что это последнее письмо, которое мы сможем написать вам, потому что вот уже несколько дней фалангистская стража следит с неослабным вниманием за каждым нашим движением как в камере, так и во время прогулок.

Чтобы иметь возможность написать вам, понадобилось усыпить их дьявольскую бдительность, а это было невероятно трудно: мало того, что мы изолированы в камерах, вот уже неделя, как у нас отняли перья, бумагу и книги. Фалангисты хотят лишить нас возможности написать о том, что с нами происходит, рассказать об их зверствах; они хотят заглушить наш гневный протест и призыв к борьбе против самых яростных врагов Каталонии и всего испанского народа...

...Мы по-прежнему спокойны. И сейчас, когда знаем, что смерть близка, мы, как никогда, верим в справедливость дела, которое защищаем. Весьма возможно, что сегодня на рассвете за нами придут, чтобы отправить в Кампо де ла Бота (об этом свидетельствуют все приготовления), однако, несмотря на все их усилия помешать нам отправить письмо, им не удастся сделать это.

И в те дни, когда нас подвергали пыткам в полицейском управлении, и в течение двух лет, которые мы провели в тюрьме,— мы все время поддерживали контакт с партией; некоторые из нас побывали из-за этого в мрачных подземельях Модело.

Но мы никогда не откажемся от продолжения борьбы, даже томясь в этих одиночках...

Они хотели разбить наше единство, оторвать нас от партии, они не жалели на это сил и средств, наконец, они предложили одному из наших товарищей, осужденному на смерть, жизнь за отступничество, но он мужественно ответил им, что его честь не продается. Ему угрожали немедленной расправой, а затем подвергли всевозможным истязаниям. Но никакие насилия не смогли разрушить монолитную сплоченность коммунистов из группы «80», потому что мы твердо и упорно следуем боевой линии нашей партии в борьбе за свободу и независимость нашей родины.

В этот решающий для нашего народа момент, когда мы еще сильнее ощущаем нашу ответственность перед ним, мы можем сказать, что, если даже сегодня на рассвете придут за нами, чтобы вести на расстрел, мы пойдем без колебаний и будем повторять во весь голос: будь у нас тысячи жизней — мы их все отдали бы за нашу славную партию, в защиту интересов нашего героического рабочего класса. Каталония должна знать, что из ее лона выходят только подлинные бойцы. Наша родина будет освобождена самоотверженностью и непоколебимой стойкостью ее сынов, которые не щадят жизни, чтобы достичь этого. Большинство товарищей, составляющих группу «80», вышли из рядов рабочего класса и крестьянства Каталонии. Среди нас находится Карреро — сын Мадрида. Он понял, что каждый может вести борьбу там, где находится, и присоединился к своим каталонским братьям, чтобы сделать еще более прочным единство народов Испании, скрепленное нашей кровью.

Вы, наша дорогая Пасионария, Политбюро Коммунистической партии Испании и Секретариат Объединенной социалистической партии Каталонии,— вы учили нас отстаивать это единство, укреплять нашу партию, всегда быть в авангарде мужественного рабочего класса и крестьянства Каталонии, неустанно ковать волю к борьбе и победе...

Не щадя своих сил и не отступая перед опасностью, мы стремились выполнять все, что требовала от нас партия, и всегда были впереди в боевых схватках с врагом. Мы стремились быть простыми бойцами, всегда готовыми разъяснять смысл и цели борьбы, которую ведут коммунисты, и на предприятиях, и в самых глухих деревнях, чтобы народ понимал и считал своей политическую программу нашей партии. Мы знали, что необходимо трудиться без отдыха, отречься от всех удобств и смело идти на жертвы, если мы хотим видеть родину освобожденной от ее палачей...

Мы считаем последние минуты, которые нам остались, и хотим перед смертью использовать драгоценное время на то, чтобы написать это письмо, которое доставляет нам огромное удовлетворение: пусть фалангисты пытаются разбить наше единство — узы, которые объединяют коммунистов, нерасторжимы, и нас нельзя победить ни террором, ни самой смертью.

Здесь, где мы находимся, особенно ясно ощущаешь величие слов, столько раз повторявшихся: «Где есть хоть один боец-коммунист, там — партия». И сейчас мы ощущаем, что с нами вся партия, что с нами вы, что нас поддерживает солидарность рабочих и демократов различных народов Испании и всего мира...

Помните всегда о нашей любви, любви людей, остававшихся бойцами до самой смерти.

Пуиг, Карреро, Вальверде, Нумен.

Тюрьма Модело, Барселона. 21 час, 16 февраля 1949 года.

Мои мысли обращены к партии

Доминго Хирон

Коммунист, один из руководителей партийной организации Мадрида. В годы национально-революционной войны вместе с другими товарищами возглавлял оборону Мадрида. Арестован фашистами по доносу предателя в 1939 году. Это письмо написано за несколько дней до вынесения ему смертного приговора и адресовано ЦК компартии Испании. Получено после его казни.

...Первое письмо, которое я вам послал, как вы знаете, могло оказаться последним, и, отправив его, я почувствовал большое удовлетворение, так как смог высказать все, что у меня на душе. Я уверен, дорогие товарищи, что вы никогда не сомневались в моей твердости, и сегодня, несмотря на условия, в которых я нахожусь, я остаюсь твердым и несгибаемым и ожидаю смерти с той же стойкостью и присут-

ствием духа, которые проявлял во всех испытаниях, какие мне пришлось вынести в период следствия. Как и подобает коммунисту, я высоко держал знамя партии. Несмотря на то, что положение мое тяжелое, я не беспокоюсь о себе — мой дух выше этого,— а думаю о вас, о том, что вы сообщаете, о деятельности партии... Даже в забытьи я говорю о вас, о партии, о моем сыне и его матери. Но, в конце концов, это вполне естественно для хорошего отца и для члена партии. Любопытно, что, когда мои товарищи будят меня и спрашивают, что мне приснилось, и я им рассказываю об этом, они радуются вместе со мной.

В Испании многие думают так же, как и мы.

Я знаю, что вовсе нет необходимости говорить на подобную тему, но, вполне естественно, она интересует меня, и вы, дорогие товарищи, простите мне мое желание рассказать вам об этом.

Сегодня мой сын олицетворяет для меня радость и веру в будущее. Я горжусь, думая, что, когда он вырастет, он будет чувствовать себя счастливым от сознания, что его отец принадлежал к тому поколению, которое столько сделало, чтобы он и другие могли жить и творить, полностью используя силы природы, обладая широким кругозором во всех областях знаний, не наталкиваясь на препятствия и запреты.

Я не мог бы отдать его в лучшие руки. И хотя я собираюсь написать ему письмо, все же передайте ему, когда будете рассказывать о его отце, мое самое большое желание: пусть он с честью и достоинством пойдет по тому пути, который я не покидал до самой смерти, и сделает еще больше, чем я.

Друзья, которые часто навещают меня, были очень рады узнать о вас и обещали вам написать. Я должен сказать вам, что они ведут большую работу как члены партии и, несмотря на то что встречают множество препятствий, усиливают свою деятельность.

Это все, дорогие товарищи. Если предсказания о смертном приговоре окажутся верными, я встречу его с прежним спокойствием. Знайте, что мои последние мысли обращены к вам, к партии, к Коммунистическому интернационалу.

Доминго Хирон.

Письмо Фиделю Кастро*

Мы томимся во франкистских тюрьмах по 10, 15, 20 лет и даже больше. В это трудное время мы выдержали суровые испытания последней мировой войны, когда в нашей стране вместе с палачами-франкистами хозяйничали и немецкие фашисты.

Для многих стран мира окончание этой войны означало их освобождение. Для нас, испанцев, еще не наступило это счастливое время. Испанский народ страдает под гнетом разлагающегося режима, подобного тому, который народ Кубы сверг в героической борьбе. Так же, как и вы, мы завоюем свободу нашей родине...

С энтузиазмом приветствуя вашу победу, мы сознаем значение борьбы, которую вы ведете. Вы не одни. На вашей стороне симпатия и поддержка демократических сил всего мира. Вы — народ отважных и настойчивых борцов. Вас не согнули трудности борьбы. Народ Кубы переживает новую, радостную и блестящую эпоху. Мы гордимся вами. Мы благодарим народ и правительство Кубы за все то, что они сделали для нашего освобождения. Мы знаем о проявлениях вашего сочувствия и солидарности с нами. Мы просим вас умножить усилия, которые вы прилагаете, чтобы вырвать нас из франкистских тюрем. Вторая латиноамериканская конференция, посвященная борьбе за амнистию политическим заключенным Испании и Португалии, может оказаться еще более значительной, чем первая.

Франкистская диктатура день ото дня все больше разлагается и не сможет выдержать энергичного натиска.

Октябрь 1960 года.

---

* Это письмо группы испанских политзаключенных было передано по радио «Свободная Испания» 29 октября 1960 года.

Нас лишили свободы, чтобы отнять жизнь

Мы — испанские политические заключенные, старые люди, которым исполнилось больше 60 лет. Значительную часть своей долгой жизни мы находимся в заключении и отсюда, из тюрьмы, обращаемся к общественному мнению Европы, Америки и всего мира *. Голос наш дрожит от старости, но мы тверды и спокойны, потому что ратуем за справедливое дело — за амнистию.

Долгие годы мы провели в тюрьме; здесь из людей зрелого возраста мы превратились в стариков; без нас женились наши дети, рождались наши внуки, которых многие из нас даже не знают; мы оторваны от домашнего очага, страдаем от болезней, лишены попечения и внимания со стороны наших близких. Мы — пленники режима, который не только лишил нас свободы, но и стремится лишить жизни.

За что мы подвергаемся столь продолжительному заключению, какие преступления мы совершили, в чем наша вина? За нами нет ни преступлений, ни вины. Мы вели политическую борьбу против диктатуры генерала Франко, за установление в нашей стране режима мира и демократии. Мы боролись против разгула ненависти. И за это большинство из нас приговорены к смертной казни, которая была заменена тридцатилетним тюремным заключением. Нас бросили в тюрьму, но не для того чтобы мы искупили нашу вину, как говорится в решении по нашим делам, а для того чтобы мы там погибли.

И со многими из нас это произошло не в то время, когда нацистско-фашистские полчища опустошили Европу, а уже после того как была победоносно завершена длительная и самоотверженная борьба за мир и демократию.

Мир и демократия не утвердились в Испании.

В нашей стране агенты полиции, орудовавшие методами гестапо, по-прежнему истязали и бросали в тюрьмы демократов. Нас судили и выносили нам приговоры те самые люди, которые с триумфом встречали в Испании Гиммлера. Специальные законы, ничего общего не имеющие с нормами права; военные трибуналы с официальными обвинителями и защитниками, которые открыто говорили, что являются нашими врагами,— таковы средства юстиции, использованные для того, чтобы узаконить наше длительное, почти пожизненное заключение.

...Это не вопль тоски, а призыв к общечеловеческой солидарности. Мы хотим жить! Вы не допустите, чтобы наша жизнь угасла в тюрьме, чтобы глаза наши закрылись вдали от наших семей. Пусть наши последние годы мы проведем у семейных очагов с нашими женами, с нашими детьми и внуками.

За амнистию для политических заключенных Испании!

МАНУЭЛЬ МОТА МОНТЕРО, 60 лет, осужден на 30 лет;
МИСАЕЛЬ САПИКО, 60 лет, осужден на 30 лет;
ФРАНСИСКО РЕЙ ДРОКС, 67 лет, осужден на 38 лет;
ДОМИНГО БОРРЕГЕРО КАМИНО, 62 года, осужден на 25 лет;
ХУАН НАФРИАС, 66 лет, осужден на 12 лет;
СЕБАСТИАН МАЛЬОЛ, 66 лет, осужден на 30 лет, и другие.

---

* Это обращение написано в связи с созывом в 1961 году Второй латиноамериканской конференции по борьбе за амнистию испанским и португальским политзаключенным и политэмигрантам.

Гаррисон Солсбери

ВЫБИТЫЕ ИЗ СЕДЛА

Главы из книги

Перевод с английского Н. Галь

„ВЗБАЛАМУЧЕННЫЕ"

Я познакомился с Удальцом в первый же вечер, проведенный в кафе-кондитерской Шредера. В этот февральский вечер на улицах Бруклина было холодно, градусов восемнадцать-двадцать, да еще дул резкий ветер. Кажется, нигде в целом свете не бывает такого холода, как в Бруклине, или по крайней мере в тех местах, где околачиваются ребята. В такую погоду стоять на углу совсем не весело. Те немногие подростки, кто высунули нос на улицу, брели в кафе-кондитерскую. Они опускали монетки в механический проигрыватель, рылись на полке с комиксами и время от времени сквозь замерзшее окно старались разглядеть, что делается на улице.

В кондитерскую заходили все новые подростки, и инспектор квартального клуба познакомил нас. Меня удивило, что все они жмут руку вяло, еле-еле, и я сказал ему об этом. Он засмеялся.

— Они вас не знают,— объяснил он.— Неизвестно, друг вы им или враг. Они согласны пожать вам руку, но не очень крепко, потому что не знают, насколько вам можно доверять.

На четвертый или пятый вечер я заметил, что рукопожатия становятся крепче. Очевидно, в какой-то мере мне удалось завоевать их доверие.

«Куда идет современная американская молодежь?»—с тревогой и беспокойством спрашивают себя крупные американские писатели и высокопоставленные представители Белого дома, наиболее трезвые журналисты и даже сам Эдгар Гувер, глава ФБР.

Есть ли действительно основания для такого беспокойства? Именно этому вопросу и посвящена книга известного американского журналиста Гаррисона Солсбери, в течение многих лет сотрудничавшего в «Нью-Йорк таймс». Автор красноречиво назвал ее «Выбитые из седла».

Солсбери — буржуазный журналист, активный защитник и пропагандист «американского образа жизни», внесший немалый «вклад» в разжигание «холодной войны». Его невозможно заподозрить в «сгущении красок», когда речь идет о современной американской действительности. Вот почему есть все основания считать, что факты о положении молодежи в США, приведенные им в книге, не только не преувеличены, но, наоборот, насколько это было в возможностях автора, смягчены.

Мы полагаем поэтому, что две публикуемые главы из книги Солсбери позволят нашему читателю лучше представить себе состояние общества, в котором значительная часть молодежи оказывается «выбитой из седла», и, вопреки воле автора, прозвучат как обвинительный акт тем, кто ответствен за это.

Удалец с самого начала чем-то отличался от остальных. Быть может, как вожак, он был уверенней в себе. Так или иначе, его рукопожатие было почти нормальным. В тот первый вечер мы едва обменялись несколькими словами. Я заметил, что он одет лучше других. На нем была теплая куртка и черный берет, к которому он приколол для красоты пушистую кисточку. Батареи центрального отопления были чуть теплые, и он весь вечер просидел в куртке. Он охотно улыбался, но я видел, что улыбка сбежала с его лица, как только он отошел в угол и стал совещаться со своими помощниками. Другие юнцы смотрели на Удальца с почтением. Несколько раз он щелкал пальцами, подзывая кого-

нибудь из них. Тот поспешно подходил, Удалец что-то коротко шептал ему на ухо, и мальчишка спешил прочь, видимо с каким-то приказом или поручением.

Многие члены шайки умственно недоразвиты. Они, вероятно, никогда нигде не бывали, никогда не отдыхали дальше, чем за несколько кварталов от дома. Некоторые до такой степени неграмотны, что не могут ездить в метро, потому что не умеют прочитать название станции. Я видел косноязычных мальчиков, которые и двух слов связать не могут. Они, видимо, просто не способны выразить свои мысли вслух. Как они понимают друг друга, для меня загадка.

А вот Удальца я сразу заметил, такого нельзя не заметить в любой компании. С первой встречи он мне понравился. Бросалось в глаза, что держится он уверенно и властно. Его отличали непринужденная речь и быстрый ум. Недели три спустя у нас с ним завязалась долгая беседа.

— В школе я учусь неплохо,— сказал он.— Конечно, мог бы куда лучше, если бы старался. А я голько смотрю, чтоб не остаться на второй год. Я бы мог быть первым. Верно вам говорю. Но ведь сами знаете, как получается. Ребята всегда подговаривают — сделай то, сделай это. Ну и не решаешься поступать по-своему. Даешь себя убедить.

Удалец невесело засмеялся.

— Нынче я дал себя у-бе-дить,— сказал он.— «Капелланы» пришли в школу с бутылкой. Может, у меня малость язык заплетается, так это потому, что мы весь день пили.

«Капелланы» и «Кобры» — две враждующие шайки, но мальчики обычно оставляют свои распри за порогом школы.

— Нельзя мне было отказаться и не выпить с ними,— объясняет Удалец.— Не мог я сдрейфить. Надо было показать им, что «Капелланам» «Кобру» не перепить.

Когда Удалец разговорился, его ничто уже не смущало, он рассуждал о себе и своих затруднениях откровенно и очень толково. Я на опыте убедился, что уличные подростки на серьезный вопрос умеют серьезно ответить. Когда у них не остается сомнений в вашей искренности, они с поистине трогательной готовностью изливают вам душу. Не часто они встречают взрослого, которому не безразлична их судьба. Вероятно, у 95 процентов этих подростков нет настоящей семьи. Дома их не понимают и не обращают на них внимания. Чаще всего там они только и видят что равнодушие, ругань, побои и пьянство. Что касается Удальца и многих других вожаков, у них все по-иному. Эти мальчики выгодно отличаются от своих сотоварищей, и дома у них обстановка обычно другая. Семья Удальца хорошая, любящая. Родители воспитывали его строго, быть может даже слишком строго. Но они заботились о нем и любили его. На свой лад и Удалец о них заботился. Он любил мать, уважал отца и был к нему привязан.

Удалец рассказал, что ему семнадцать лет, родился он во Флориде, но семья перебралась на север, когда он был так мал, что не помнит этого. У него есть брат и три сестры, все моложе его и все хорошо учатся. Удалец непременно уж постарается, чтобы братишка не связался с шайкой. Сам он лет до четырнадцати не знал, что такое «трясучка». А потом его завербовали «Младшие Кобры».

— Лучше бы я с ними не связывался,— говорил он.— Но ведь выбора-то нет. Если не вступишь в шайку, изобьют. Ну, пожалуешься полисмену. А что он сделает? Ну, поймает этих парней. А дальше что? Все равно в другой раз опять изобьют, тут полисмен не поможет. Так что лучше уж войти в шайку.

Удалец всерьез тревожился о своем будущем. Снова и снова он повторял, что боится уличных драк и терпеть их не может.

— Люди не понимают,— сказал он мне.— Я бы и рад не драться. Кому охота лезть на рожон, веселого тут мало. Как подумаешь, что вот сейчас надо кинуться на кого-нибудь, сердце так и заколотится. Не знаешь, что будет. Может, тебя убьют. А может, ты сам кого-нибудь убьешь. Никому не известно. Если кто лезет в драку и не боится, значит, он просто не понимает, что делает.

В семнадцать лет Удалец много думал о шайке и обо всем, что с нею связано. Думал о том, как бы найти выход.

— В июне кончаю школу,— сказал он.— Думаю пойти в армию. Пора мне отделаться от шайки. До сих пор мне здорово везло. Меня ни разу не стукнули. И я ни разу никого не стукнул. (На языке улицы «стукнуть» значит убить или тяжело ранить.) Но не всегда же так будет. Не хочу я, чтоб меня арестовали. Не хочу никого убивать. А если так и дальше пойдет, кого-нибудь непременно убьют. Из тех или из наших. Тут не угадаешь. Может, как раз меня и убьют.

Удалец чего-то хотел, к чему-то стремился. Рядовые члены шайки, как правило, ни к чему не стремятся. Их кругозор ограничен улицей. Как-то прожить день, неделю или месяц — для них уже подвиг. Дальше этого они не заглядывают.

— Вы не станете смеяться? — спросил Удалец и признался: — Стать по-

лисменом — вот чего я хотел. Только теперь уж не знаю, получится ли. Одно знаю· не хочу попасть в тюрьму и хочу выпутаться из всего этого.

С искренним волнением говорил Удалец об отце и матери. Он не хочет принести им горе, это было бы ужасно. Они так на него надеются. Отец — машинист. У него хорошая работа Родители не знают, что сын состоит в уличной шайке. Подозревают. правда, но наверняка не знают.

— Больше всего боюсь, как бы им из-за меня не было горя и хлопот. Хуже нет, если меня посадят или вообще я влипну. Вот тут-то и загвоздка. Хочешь жить по-одному, а приходится совсем по-другому.

Когда речь зашла о шайке, стало ясно, в чем загвоздка, непримиримое противоречие, которое мучило Удальца.

— Я всех ребят люблю! — сказал он о своей шайке.— Ну, то есть они мне нравятся. Я для них на все пойду. Уж если ты главный, так за всех своих отвечаешь. Вот хоть сейчас. В округе полным-полно полиции. Я даю своим приказ: не собираться больше чем по двое, по трое. Это слишком опасно. Ничего не затевать. Фараоны только того и ждут, чтобы нас зацапать.

Я спрашивал себя, как разрешит Удалец свою нелегкую задачу, чем кончится борьба между его привязанностью к родителям и к сотоварищам по шайке. Быть может, разрешить эту задачу ему не под силу. Быть может, сама жизнь сделает это за него.

Удалец служил курьером в одной фирме на Манхэттене. Была у него «почти невеста» — девушка, которая прежде жила по соседству, а потом переехала.

Когда речь зашла о его будущем, Удалец сказал:

— Вот отслужу в армии, если возьмут, и, может, женюсь. Может, придется мне жениться. Но только сюда я возвращаться не хочу. К тому времени всей лавочкой будут заправлять «Младшие». Я хочу убраться подальше от всего. Потому что если вернусь в эти места, мне не выпутаться. Шайки и тогда будут воевать. Этому конца не будет. И во всем Нью-Йорке так.

Снова и снова я встречал в разных шайках глубокую уверенность, что уличные драки неизбежны. Этим подросткам казалось, что такова жизнь и иначе просто быть не может.

Я беседовал с Удальцом в начале марта. Потом месяца полтора ничего о нем не слыхал. А когда услышал, новости оказались невеселые. Многое произошло за эти полтора месяца — но ничего хорошего.

Через несколько дней после нашего с ним разговора Удалец был арестован по обвинению в оскорблении действием и вымогательстве. Он избил какого-то мальчика и отнял у него деньги. Дело было серьезное. Тем серьезнее, что Удалец в это время уже был взят на поруки. И тотчас вся его жизнь, построенная на песке, стала рассыпаться. Больше нельзя было скрывать от родителей правду о его участии в шайке. Чтобы защищать Удальца и взять его на поруки, отцу пришлось нанять адвоката. Для этого понадобилось 300 долларов, и отец залез в долги. И было весьма вероятно, что суд приговорит Удальца к исправительной тюрьме для малолетних.

Узнав, что Удалец арестован, управляющий муниципальными домами потребовал, чтобы семья выехала. Сроку дано было два месяца. Родители Удальца понятия не имели, куда им теперь деваться. Но уж во всяком случае, где бы ни поселиться, на въезд нужно долларов двести-триста, а стало быть, они снова попадают в лапы ростовщика.

Просидев неделю в тюрьме. Удалец потерял работу.

Так как теперь ему казалось, что все равно уже все пропало, он бросил школу.

Его подружка, которой было всего пятнадцать лет. обнаружила, что она беременна. Удалец заявил, что это его не касается. Он перестал с нею встречаться и завел новые романы.

Вот что уже случилось с Удальцом. И можно смело биться об заклад, что его ждут еще и другие неприятности. Он теперь больше пьет. Он лишился школы, работы, подружки, родители его обозлены и встревожены, ему грозит тюрьма, распадаются все его связи с миром. Он еще находит какое-то прибежище в своей шайке и в выпивке. Но его положение вожака шайки уже не так прочно, как было несколько месяцев назад. Он настроен воинственно, готов в любую минуту кинуться на кого попало. Жизнь шайки становится все труднее и опаснее.

Теперь только чудо может спасти Удальца. Но чудеса выручают уличных мальчишек еще реже, чем нас с вами. То, что случилось с Удальцом, не только горькая драма одного подростка. Это — символ, та же судьба ждет большую часть его товарищей. Удалец — исключение только потому, что он умнее, способнее других. Но есть у него роковая слабость: он жаждет лести и поклонения, они ему необходимы. Расти он в другой среде, он, подстегиваемый таким часто-

любием, стал бы первым учеником в классе или звездой спорта. Но в нынешнем окружении для мальчика есть только одна область, где можно блистать: улица.

Никакой иной жизни, кроме жизни улицы, не знает и Семерка. Это не по годам малорослый шестнадцатилетний парнишка, остриженный наголо, на лбу и на затылке у него шрамы — следы боевых ран. Он рос на ферме в Южной Каролине, а семь лет назад семья перебралась в Нью-Йорк. Вскоре родители мальчика умерли, и с тех пор он переходит из рук в руки, от одних дальних родственников к другим. Никому он не нужен, для всех обуза. Сейчас он живет у старухи тетки, существующей на пособие. Старуха еле двигается. Она даже и не пытается приглядеть на Семеркой.

Семерка состоит в шайке «Кобр». На нем грязная и рваная серая куртка. У него острая усмешка, своеобразное чувство юмора. Беден он, как церковная крыса. Часто голодает. Иной раз у него за весь день не бывает во рту ни крошки. Он умеет читать самые простые слова, напечатанные крупными буквами. Умеет подписать свое имя. К этому сводится вся его грамотность.

Никому на свете, кроме «Кобр», нет до Семерки никакого дела. В школе только рады, когда он пропускает занятия. Тетке он совершенно безразличен, что бы с ним ни стряслось, это никого не тронет. В разговоре он часто повторяет: «Коли жив буду», «Коли не помру». И эти слова в его устах вполне естественны. Как многие до отчаяния нищие, всего лишенные, всем обделенные подростки, он славится одним — смелостью. Смельчака любит и превозносит вся шайка. А шайка — весь мир для него, и если, чтоб завоевать ее любовь, надо бросить вызов всем взрослым, всему человечеству, Семерка не станет колебаться ни минуты. Подозревают, что на его месте всякий чувствовал бы так же. Ибо, право, не придумаешь, что хорошего сделало для Семерки общество и почему бы Семерке относиться к нему с уважением и благодарностью.

Судьба Шоколада так схожа с судьбой Семерки, словно они родные братья. Шоколад — член бедфорд-стайвесантской шайки. Ему шестнадцать лет, он небольшого роста, взгляд у него рассеянный. Он уже несколько раз попадал в исправительные заведения штата Нью-Йорк. Недавно он вышел на волю, но, без сомнения, скоро опять попадет за решетку, если только его прежде не убьют. Этот подросток еще более неграмотен, чем Семерка. Как выразился один его приятель, «если написать Нью-Йорк буквами, с грузовик каждая, он и то не прочтет». Шоколад всегда пьян с утра до ночи. Вероятно, он употребляет наркотики. Едва ли он вполне вменяем. Но он отчаянно, самоубийственно храбр. Он давно уже утратил всякое представление об опасности, а может быть, никогда и не понимал толком, чем рискует. Как мягко выразился инспектор муниципалитета, Шоколад — «очень больной мальчик». Никогда в жизни он не видел ничего хорошего. И почему бы ему не играть со смертью? Она не может быть к нему более жестокой, чем всегда была жизнь.

Пепито еще не такой «взбаламученный», как Шоколад. Пока не такой. Но ему еще только четырнадцать. А при его теперешнем образе жизни ему очень повезет, если он дотянет до шестнадцати. Когда я увидел Пепито в спортивном зале клуба общины, я не подозревал, что он курит марихуану. И никогда бы я не догадался, что время от времени он нюхает героин. Гладко прилизанная прядь волос спущена на лоб, как у Саль Минео, лицо совсем детское. Карие глаза смотрят сердито, и когда этот мальчик — бойкий, проворный, живой, резковатый — играет в настольный теннис, он похож на балованного меньшего брата, любимца старших. Глядя на Пепито, я никак не думал, что он один из самых отчаянных среди «Серебряных стрел». Но ребята в один голос говорят, что так оно и есть. Он уже попался на воровстве в магазине, но был выпущен на поруки, и его едва не поймали на краже кошелька. Чуть не каждый вечер он является в местный клуб, жуя пирожное, только что стянутое с машины, развозящей кондитерские изделия. Никто во всем квартале не поставит такую пустячную кражу в вину Пепито. Все знают, как часто он целыми днями ходит голодный.

Когда я познакомился с Пепито, он жил со своей бабушкой, получающей пособие на бедность. Бабушка не могла справиться с Пепито. В школу он почти не ходил. Даже с приятелями по шайке он часто ссорился и никого в грош не ставил. Но шайка им дорожила. Он был смел. Он всегда готов был на любую отчаянную выходку, на которую не отважился бы никто из этих мальчишек. Он мог заглянуть в карман полисмена, обходящего свой участок, и с хохотом удрать. Во время уличных побоищ он дрался, как бешеный.

Весь мир Пепито ограничен несколькими ближними кварталами. Его «чтение» заключается в том, что он просматривает картинки в комиксах, ковбойские фильмы со стрельбой приводят его в восторг.

Вскоре после того как я познакомился с Пепито, отец переселился с ним в Бронкс. Я думал, что это поможет мальчику начать новую жизнь. Одно время казалось, что так и будет. Пепито пришел на место прежних сборищ и пожало-

вался приятелям, что в Бронксе ему тошно до смерти, ребята никуда не годятся и делать нечего. А через месяц он появился опять и на этот раз держался вызывающе и самоуверенно, как никогда. С ним пришли два его новых приятеля, такие же мальчишки в кожаных куртках. Он сообщил друзьям по прежней шайке, что Бронкс, оказывается, не так уж плох.

— Приходите как нибудь, посмотрите, как мы живем,— сказал он.— У нас там бывают недурные стычки.

Жизнь Пепито в Бронксе покатилась по тем же рельсам, как прежде в Бруклине. И нелегко направить ее по другому пути...

Шимп ничем не отличается от любого восемнадцатилетнего школьника-переростка. Он сидит в кондитерской за коктейлем. Всего их тут пятеро в кабинке, рассчитанной на четверых. Пятеро парней пьют коктейли. Напротив четыре девушки пьют содовую. Подобную сценку можно видеть каждый день часов в девять вечера в любом американском городе. Она бы отлично подошла для обложки «Сэтердей ивнинг пост». У девушек прическа «конский хвост», и они поминутно поправляют ее, косясь в зеркало на стене. Почти все парни коротко острижены. Парни разговаривают только друг с другом, но то и дело поглядывают на девушек. На многих коричневые с белым школьные свитеры.

Эти юнцы — из шайки «Пиратов». Большинство «Пиратов» — итальянцы и ирландцы, но есть и негр и два пуэрто-риканца. Шимп — в числе главарей, хотя его в шайке не очень уважают. У него есть несчастная слабость: когда драка становится чересчур жаркой, он «дрейфит». Один из его дядьев был знаменитый бруклинский гангстер, о котором немало кричали газеты. Отец, дядья, братья Шимпа работают в доках.

Шимп много смышленее большинства своих товарищей. Он куда умнее и способнее, чем видно по школьным отметкам. Из приходской школы его исключили. Не больше преуспевал он и в обычной государственной школе. Последний год он прогулял, достав подложную справку о болезни. Вместо того чтобы учиться, он работал.

Но Шимп разбирается в самом себе лучше, чем другие члены шайки. Он знает, что храбростью козырнуть не может. Когда мы с ним познакомились, он собирался вступить в армию, надеялся, что служба в армии излечит его от недостатка смелости. И еще — что благодаря ей он выберется из доков. Он не хотел идти по стопам отца и дядьев. У него были совсем другие интересы: джаз, танцы (он вышел победителем на нескольких конкурсах) и дорогой проигрыватель, чтобы послушать хорошую музыку. Как и вся его компания, он увлекается журналом «Конфиденшиел». Читая о том, как скандально ведут себя люди известные, занимающие видное положение, Шимп чувствует, что сам он не так уж плох.

— Что я такого сделал? — говорит он.— Подумаешь, и не украл сроду ничего такого особенного. Вон этим убийство и то сходит с рук, самое настоящее убийство.

Он смотрит все «фильмы ужасов» в поздних телевизионных передачах и пытается ловить вечером Филадельфию, когда передают рок-н-ролл. Излюбленное его развлечение — дружеские переговоры в эфире, которые устраивает одна нью-йоркская радиостанция, потрафляющая шайкам из кафе-кондитерских. Шимп и другие подростки целый вечер звонят на эту станцию, передавая свои послания: «Привет от шайки из «Сладкой кухни» с Диль мер-авеню», «Эл со 159 улицы передает свое почтение парням и девчонкам из кондитерской Джо», «Кристина желает всего лучшего всем ребятам с площади Бронкс конкурс». Известен случай, когда эти передачи были использованы для переговоров между различными шайками, которые уславливались о большой драке.

Шимп не скрывает, что он надеется рано или поздно покинуть свой квартал. Психолог скажет, пожалуй, что Шимп бунтует против своей семьи и всего портового окружения с его грубостью и жестокостью. Может быть, и так. Но очень мало кому из здешней молодежи удается бежать отсюда. Обычный путь иной: от мальчишеской шайки «Пиратов» к какой-нибудь взрослой банде, от мелких мальчишеских преступлений и жестокостей к серьезным преступлениям и жестокостям.

— Некоторые парни идут работать в доки,— рассуждает Шимп.— Надеются заработать побольше, скопить денег, а потом убраться отсюда и войти в дело. Только никому это не удается. Да и понятно. Где еще заработаешь такую монету?

Эту горькую истину, вероятно, Шимп испытает и на собственном опыте. Надеясь воспользоваться службой в армии как трамплином для бегства из своего нынешнего окружения, он упустил из виду одно важное обстоятельство. В полиции на него уже было заведено дело. Не прошло и месяца после торжественных проводов с подарками, выпивкой и гулянием, как Шимп возвратился в родной квартал. Он пробыл в армии как раз столько времени, чтобы электронные счетчики успели уличить его в склонности к воровству.

Мне думается, из всей молодежи, собравшейся в тот вечер в кафе-кондитерской, одна только Морин могла надеяться на перемену судьбы. Это была рослая, уже вполне сложившаяся темноволосая девушка. Она разговаривала очень откровенно и при этом смотрела прямо в глаза. Она кончает приходскую школу. Мечтает учиться в колледже.

— Но только не у монахинь, благодарю покорно! — смеется она.— Я у них провела двенадцать лет. Они очень милы и все такое, но хорошенького понемножку. Я пойду в колледж. Выучусь на учительницу.

Рядом с Морин сидела девушка по имени Флора. Это была блондинка с большими голубыми глазами и ярко накрашенными губами. Лицо ее слегка загорело, на переносье высыпали веснушки. Флора не слушала Морин. Она только что вернулась из двухнедельной поездки во Флориду. Ездила она туда с женатым человеком, у которого месяц была на содержании, а затем он усадил ее в автобус и отправил домой. Никто не стал из-за этого думать о Флоре худо. Она сразу же вернулась в кафе-кондитерскую. Если какой-нибудь молодой человек захочет прокатить ее в своей машине — прекрасно. Если же потом другой тоже пожелает провести с нею время — и это неплохо. Так она и сидит в кафе, дожидаясь чего-то. Может быть, подвернется еще какой-нибудь мужчина, которому приятно будет съездить с нею во Флориду. Или в Калифорнию. Не все ли равно, в конце-то концов.

Морин не осуждает Флору. Если Флоре охота якшаться с мужчинами — ее дело. У Морин другой стиль, только и всего. Морин не похожа и на Аннабеллу — темноволосую краснощекую итальянку, сидящую напротив. У Аннабеллы одна цель в жизни: она мечтает о женихе, о таком парне, чтобы имел работу и притом готов был жениться. Аннабелла намерена выйти замуж. Ничто другое ее не занимает. Встречаясь с молодыми людьми, она не позволяет им никаких вольностей. Вот если кто-нибудь захочет жениться — другое дело. Некоторые девушки говорят, что она просто дурочка. Таким способом парня не завлечешь. Дай ему волю, тогда придется ему на тебе жениться. Может быть, эти девушки и правы. Пока что Аннабелла в этом не уверена. Если за год ей не удастся заполучить парня, она переменит тактику.

Морин смеется над Аннабеллой.

— Гоняйся за женихами, если тебе охота,— говорит она.— Выходи замуж, сделай милость. Заводи младенцев. А я замуж не собираюсь, это не по мне. Нет на свете такого парня, которого я бы захотела в женихи. Сперва поступлю в колледж. Там, может, кого-нибудь и встречу. Одно скажу: из этой помойки я выберусь. И уж больше сюда не вернусь.

Через год-другой видно будет, чего стоит теперешняя решимость Морин. Но у нее все-таки больше возможности добиться успеха, чем у здешних парней. Ее поддерживают родители. Отец работает в доках и зарабатывает достаточно, поэтому она могла учиться в школе. Пьет он немного. Морин — девушка крепкая и не из робких. Если парень начинает ругаться — а эти ребята любят говорить непристойности при девушках,— Морин отвечает ему тем же. И если он попробует пустить в ход силу, Морин сумеет дать сдачи.

Среди всей этой молодежи редко кто обладает таким упорством, как Морин, но среди вожаков я не встречал ни одного, кто не мечтал бы порвать со своим теперешним образом жизни, порвать с улицей. По-моему, тут все они искренни. Вся беда в том, что они совершенно не знают, как это сделать, и им не под силу справиться с упрямой действительностью.

Это, видимо, относится и к Томми, вожаку одной из ветвей шайки «Капелланов». Томми сказал мне, что ему скоро семнадцать, но я дал бы ему не больше четырнадцати. Он очень худой, есть в нем что-то птичье, одну половину лица дергает нервный тик. Томми одет не как другие члены шайки. На нем аккуратная фетровая шляпа, коричневая непромокаемая куртка, красный свитер, белая рубашка с тщательно повязанным темным галстуком и простые черные башмаки. Когда мы познакомились, он был занят: собирал деньги с членов своей шайки.

— Хотим купить свитеры,— пояснил он.— На них будет буква К, только это значит не «Капелланы», а Казанова. Как по-вашему, полиция поверит, если мы скажем, что это значит Казанова?

Я отнюдь не был уверен, что полиция или кто-либо другой поверит в эту басню.

Томми родом из Джорджии и сейчас провел там летние каникулы. В родных краях ему не понравилось — «уж очень народ старомодный». Этим он хотел сказать, что его отправляли спать в десять часов вечера.

С родителями Томми не ладит. Мать, отец и брат его работают. Денег в доме хватает. Живут они в муниципальном доме. Старшие уходят на весь день, и считается, что Томми смотрит за хозяйством. Ему выдают доллар семьдесят пять центов в неделю. Никто из его шайки не получает столько карманных денег, но он все-таки недоволен.

— Только и хватает что на жевательную резинку,— говорит он с презрением.

Он предпочел бы обойтись без этих денег, лишь бы избавиться от работы по дому. Учится он сносно и не остается на второй год, но школу не любит. На вопрос, какой его любимый предмет, отвечает с ухмылкой:

— Завтрак.

— Какие книги ты любишь? — спросил я его.

— Никакие. Я читать не люблю.

— А что любишь делать?

— Сидеть.

— Просто сидеть?

— Просто сидеть.

О своих стремлениях он говорит язвительно:

— Как я хочу жить? Да лишь бы не помереть. Некоторые говорят, что я долго не протяну.

И это не просто мальчишеская бравада. У Томми на голове девять швов — последствия его встречи с «Епископами» в канун Нового года.

— Я был пьян,— говорит он.— Ну и не уберегся. Но мы с ними сквитались.

В жизни Томми очень немного такого, что было бы ему по душе. Ему не дороги ни дом, ни школа, ни район, где он живет, ни шайка. Он не любит спорта. Футбол — игра слишком грубая. Бейсбол его не интересует. У него нет никаких любимых героев, будь то полководцы или боксеры. Как и все мальчишки из шайки, он готов рисковать жизнью в драке, где идут в ход ножи и револьверы, но он не станет драться на улице в дождь: не желает портить одежду. Никогда у него не было ни кошки, ни собаки. Он хотел бы служить где-нибудь в конторе, потому что «там чисто и можно хорошо одеваться». Он тоже, как Удалец и Шимп, надеется, что служба в армии поможет ему вырваться из порочного круга и начать новую жизнь.

Я спросил Томми, не лучше ли было бы, если б не существовало никаких шаек.

— Ну конечно! — воскликнул он.— Тогда бы мы ходили, куда захотим, а иностранцев бы всех повыгоняли.

Почему он так не любит иностранцев?

— А потому,— сказал он капризно, как маленький,— сегодня явится один, завтра — два, послезавтра — три, а там, глядишь, от них деваться некуда.

Из всех вожаков шаек, с которыми я встречался, пожалуй, самое большое впечатление произвел на меня Винсент — стройный пуэрто-риканец, вожак «Серебряных стрел». Винсенту семнадцать лет. Он напоминает ацтекского принца, грива черных волос венчает его гордо поднятую голову. Семья его приехала из Пуэрто-Рико в 1949 году и поселилась сначала на Манхэттене, на окраине Восточного Гарлема. Винсенту гораздо больше нравится Бруклин, а почему — поймет всякий уличный мальчишка.

— Ненавижу Манхэттен,— говорит Винсент, и его даже передергивает.— Все улицы прямые. Как попадешь туда, со всех сторон тебя могут пристукнуть. Ни вправо, ни влево не свернешь. Раз уж сюда попал, дуй прямиком весь квартал до конца. Удрать некуда. Страшная штука.

От Бруклина Винсент в восторге:

— Все улицы кривые, загогулистые. Всегда можно куда-нибудь удрать. Можно выбраться.

Безопасность, безопасность, безопасность. Мысль о ней сквозит за каждым словом этих подростков, за каждым их шагом. Жажда безопасности — вот что приводит их в шайку, и именно жажда безопасности удерживает их в этом гибельном заколдованном круге.

Винсента втянули в уличные драки мальчишки итальянцы — жители того района, где вначале поселилась его семья. Десятки раз его колотили. И в конце концов он вступил в их шайку. Когда он переехал в Бруклин, этот уличный опыт ему пригодился: он стал вожаком подростков пуэрто-риканцев из уитменских домов.

С детства Винсент мечтал стать авиатехником. Он поступил в авиационную школу и отлично учился. Но бросил школу за день до окончания, потому что выяснилось: он не может получить диплом, так как у него судимость. Это его очень ожесточило. Его судили за кражу револьвера из казарм национальной гвардии, и, по его словам, судили без вины.

— Так всегда начинается,— сказал он.— Сколько раз я это видел. Полиция пришьет тебе, чего ты вовсе и не делал. Вот у тебя и судимость. Потом отпускает на все четыре стороны. А тогда малый и говорит себе: «Ладно, теперь я и сам что-нибудь натворю. По крайней мере если посадят, так не зря».

По словам Винсента, когда с подростком случится такое, он уже не знает удержу. Он пускается во все тяжкие, рано или поздно попадается, и его снова сажают за решетку. Я думаю, что в этом Винсент прав. Даже среди тех немногих подростков, с которыми я познакомился, таких, которых полиция обвиняла без всяких оснований, видимо, не меньше, чем действительно виновных. Это их страшно ожесточает. Разумеется, такая несправедливость возникает еще и потому, что подросток, действительно виновный в преступлении, не сознается в нем, даже когда вместо него арестуют его друга.

А кроме того, им свойственна еще и какая-то покорность судьбе У Винсента, например, была возможность законным путем добиваться, чтобы ему все же выдали диплом об окончании авиашколы, но он даже не стал разговаривать с адвокатом. В глубине души он не верил, что из этого выйдет толк.

Родители Винсента бедны, семья большая· у него всемь братьев и сестер. Уже несколько лет вся семья существует на пособие. Из всех детей только Винсент связан с уличной шайкой.

— Я один непутевый,— говорит он почти со стыдом.— Мать знает, что я дерусь, она спрашивала, что я делаю на улице, и я ей сказал. Я ей сказал, что дерусь, только если уж иначе нельзя. Когда непременно надо. Ей это не по душе, но она понимает. Мне ведь тоже это не по душе. Но как же быть-то? Уж так заведено.

Теперь, когда у Винсента не осталось надежды получить место авиатехника, он не знает, что делать дальше. Одно время он работал на машиностроительном заводе, но ему приходилось так рано вставать и так далеко ездить, что он ушел оттуда.

— Не знаю,— говорит он.— Сам не знаю, куда мне теперь податься. Только одного мне и хотелось, да нельзя. А раз так, мне все равно.

Винсент говорит, что у него нет зуба против ребят, с которыми он воюет, разве что против нескольких. И он был бы рад, если бы шайки помирились раз и навсегда, «да только ребята не захотят». И, по его мнению, полиция не может прекратить эту войну.

— Вся беда в том, какими глазами полиция на нас смотрит,— говорит он.— Вот стоим мы на углу. Идет фараон. Проходите, говорит. И сразу видно — за людей нас не считает. Смотрит, как на мразь какую-то. Терпеть не могу, когда фараоны на меня так смотрят.

Винсент, как и его товарищи, считает, что уличным дракам не будет конца.

— Вот если бы всем можно было ходить куда вздумается, по всему городу и чтоб никто никого не трогал, тогда бы никаких драк не было. А иначе с этим не покончишь. Но ведь кто-нибудь всегда впутается. Один кто-нибудь начнет — и опять пошло-поехало. Уж так заведено.

Мы с Винсентом обедали в центре города в ресторане, здесь можно было поговорить свободно, не то что в местном клубе близ его дома или в кафе-кондитерской. Допив кофе, мы вышли на улицу, был холодный мартовский вечер. Я немного проводил Винсента и постоял с ним на остановке, пока он ждал автобуса. Небо было ясное, звездная пыль искрилась в темных просторах вселенной. Мы постояли минуту, а потом подошел автобус, и Винсент вновь отправился к муниципальным домам, к «Стрелам», к своей привычной почве — крохотному островку, где он чувствует себя в безопасности. А я направился к метро, чтобы вернуться на Манхэттен. Ни один полицейский не смотрел на меня как на мразь, я волен был идти куда вздумается, по всему городу. И я спрашивал себя, неужели и впрямь невозможно сделать улицы богатого города Нью-Йорка столь же доступными и безопасными для ребят, подобных Винсенту, как и для меня?

Предместья

Два подвыпивших юнца вышли из бара и закусочной Фредди и сели в новенький кремовый с зеленым «бьюик». Была весна, и оба вернулись домой, в Сэвс Нек, на каникулы. Рою предстояло провести еще год в Юнион-колледже, Ральф учился на втором курсе в Корнеле. Рою минуло двадцать, Ральфу — девятнадцать.

Рой сел за руль.

— А вдруг она не захватит с собой подругу?— беспокойно спросил Ральф.

— Ей же, черномазой дряни, хуже будет,— ответит Рой.— Если она придет одна, можешь получить ее после меня.

Дальше они ехали молча. Саус Нек — обширное предместье Нью-Йорка примерно в сорока пяти минутах езды от Большого центрального вокзала. Двадцать лет назад оно было доступно только избранным. В наши дни здесь живут главным образом люди состоятельные и даже очень состоятельные — городская средняя буржуазия. Женщины в Саус Неке обычно ведут хозяйство сами, с помощью прислуги, приходящей раза два в неделю. В прислуги идут главным образом негритянки. В последнее время на эту работу все чаще нанимаются молодые девушки, не достигшие и двадцати лет, только что приехавшие из Флориды и Джорджии. Этим девушкам, впервые попавшим на Север, платят меньше, пока они не освоятся на новом месте и не станут немного смелее.

И вот иные подростки и молодые люди из буржуазных семей в последнее время завели моду на «свидания» с этими чернокожими служанками. Мальчишки заезжают за ними, чаще всего заранее условясь о встрече, угощают стаканчиком-другим в придорожном кабачке, едут с ними в кино на открытом воздухе, где фильм смотрят, не выходя из машины, или надолго останавливают автомобиль в каком-нибудь глухом переулке — постоянном прибежище влюбленных парочек. А потом высаживают девушку у станции железной дороги с таким расчетом, чтобы она успела последним поездом вернуться в Нью-Йорк.

— Для девчонок это — самый шик,— объяснил один такой юнец.— Они почти все с Юга. Им сроду не приходилось гулять с белыми. Они прямо шалеют от восторга.

Но, как видно, эти восторги — палка о двух концах.

Когда Рой и Ральф приехали на условленное место, там их ждала лишь одна девушка лет восемнадцати — тоненькая, миловидная, со светло-коричневой кожей. Она объяснила, что подруга не могла прийти.

Рой уступил Ральфу место за рулем и перебрался на заднее сиденье.

— Езжай и не останавливайся,— скомандовал он.— А я займусь делом.

Девушка нервно захихикала.

— А куда это вы меня обещали повезти?— спросила она.

— Вот увидишь,— сказал Рой и притянул ее к себе.

После, в баре Фредди, Ральф рассказал приятелям, что произошло.

— Вы только не говорите Рою,— сказал он,— но я даже вроде струсил. Прямо не знал, что и делать. Они сидели сзади, все было тихо. А потом слышу, то ли девчонку тошнит, то ли еще что. Такой звук, будто кого душат. Потом слышу — хлоп!— оглянулся, а Рой ее лупит почем зря.

Дальше Ральф рассказал, что он замедлил ход на повороте, и тут стукнула дверца машины и девушка закричала. Он обернулся, но в машине ее уже не было.

— Я говорю: «Рой, что случилось?» А он отвечает: «Я ее вышвырнул к чертям».— «Почему»?— спрашиваю, а он говорит: «Понимаешь, ломаться вздумала».— «А что это,— спрашиваю,— был за шум?» А он смеется: «Просто,— говорит,— я ее немножко придушил, думал, может, она от этого добрее станет. Толку не было, вот я ее и вышвырнул к чертям».

В полицию Саус Нека за последние полгода не раз поступали жалобы от негритянских девушек, ставших жертвами белых молодых людей.

— Мы не желаем никакого беспорядка,— сказал полицейский сержант.— Мы их уговариваем не жаловаться. У нас округ тихий, и уж мы постараемся, чтоб он тихим остался. У нас тут есть очень приличные люди. Ну, конечно, иной раз молодежь озорует. Но мы стараемся, так сказать, все улаживать тихо, по-семейному.

По жалобам девушек не было произведено ни одного ареста.

Я спросил сержанта, существуют ли в Саус Неке шайки несовершеннолетних.

— Нет, сэр,— ответил он.— Всякого этого разбоя, как в Нью-Йорке, у нас не водится. Мы бы этого не допустили. И часу бы не потерпели.

Я спросил, верно ли рассказывали, что совсем недавно шайка молодых негров вечером совершила налет на одну из главных улиц Саус Нека? Говорят, они стреляли в воздух и избили двоих юношей, возвращавшихся домой с вокзала.

— Было такое дело.— нехотя подтвердил сержант.— Но пускай эти парни и не думают еще раз выкинуть такую штуку. Не то они получат все, что им причитается...

Быть может, между тем обстоятельством, что белые юноши из «хороших семей» насилуют чернокожих девушек, и налетом негритянской шайки и нет прямой связи. По крайней мере так думает полиция. Но более глубокая скрытая связь несомненна, и тут и там проявляет себя взбаламученная молодежь американских предместий.

Нет другого явления, о котором так трудно было бы судить или хотя бы собрать точные сведения, как о размерах и характере правонарушительства среди молодежи из средних слоев в небольших городках и пригородах — из семей слу-

жащих, из того «хорошего общества», что составляет 90 процентов населения многих новых жилых кварталов в предместьях.

Доктор Уолтер Б. Миллер, директор исследовательского института в Роксбери (штат Массачусетс), изучающего положение молодежи средних слоев, утверждает, что возрастающая в стране тревога в связи с юношеской преступностью порождена не усилением антиобщественного поведения молодежи, а тем обстоятельством, что проступки, еще недавно наблюдавшиеся только среди детей бедноты, рабочих и мелкой буржуазии, стали повседневным явлением для молодежи средних и даже высших слоев общества.

Именно отсюда, по мнению доктора Миллера, и возникает беспокойство средних слоев.

— Увлечение рок-н-роллом,— говорит он,— вот наглядный пример того, как вкусы, моды, ходкие словечки, свойственные низам, заражают всю американскую молодежь, независимо от того, к какому классу общества она принадлежит.

В теории доктора Миллера, пожалуй, заключена доля истины. Однако есть основания полагать, что антиобщественное поведение всегда было гораздо более свойственно отпрыскам «лучших семейств», чем принято думать, но об этом не было широко известно прежде всего потому, что в таких семействах родители имеют возможность скрыть или замять все, что ни натворят их дети.

Если двенадцатилетний Питер и его приятель, тринадцатилетний Джон, заявятся в кондитерскую Крезга, что на главной улице Саус Нека, стащат с прилавка горсть конфет или пирожное, но не успеют удрать и будут схвачены за руку, хозяин не пойдет в полицию. Мальчики ему знакомы. Он не раз видел их вместе с матерями — его постоянными покупательницами. Он накричит на мальчишек и отпустит их восвояси. Если они уж очень ему надоели (ведь ребята крадут сласти в магазинах изо дня в день, и конца этому не предвидится), он пойдет и пожалуется матерям. Но ему и в голову не придет требовать, чтобы воришек арестовывали. А вот если на такой краже попадутся мальчишки из Бедфорд-Стайвесанта, хозяин тотчас позовет полисмена, провинившихся потащат в участок, потом — в суд по делам несовершеннолетних, затем выпустят на поруки и занесут в списки малолетних преступников.

Если шестнадцатилетний Джордж и трое его дружков для увеселительной прогулки «позаимствуют» на стоянке перед загородным клубом элегантный «понтиак» с откидным верхом и будут где-нибудь на дороге задержаны полицией округа, их, конечно, препроводят в участок, но протокола не составят. Появятся на сцене родители, пойдут длинные речи, папаши изругают сынков на чем свет стоит, мальчишки пообещают исправиться, родители возместят владельцу машины любые убытки, владелец даже и не подумает обращаться в суд, и в два часа ночи все будут спать сном праведников у себя дома. К рождеству начальник полицейского участка получит весьма приличные подарки. И ни судебного дела, ни протокола, ни лишней цифры в статистическом отчете — никакой преступности!

Если семнадцатилетняя Джоан, в один прекрасный летний вечер на пляже позволившая лишнее восемнадцатилетнему Деннису, вдруг забеременеет, ее не засадят в исправительное заведение. И Деннис не окажется перед выбором — жениться или пойти под суд за изнасилование. Завяжется ожесточенная перепалка между двумя семействами. Родные Джоан будут винить во всем Денниса. Родные Денниса во всем обвинят Джоан. В конце концов отец Джоан подыщет врача, который за 750 долларов позаботится о ней. Осенью девочка на месяц опоздает к началу занятий в школе. Как пояснит директору мамаша Джоан, на ее здоровье ужасно плохо подействовали антибиотики, которыми детей пичкали в лагере в Нью-Хемпшире, где девочка провела август.

Таковы классические приемы, которыми пользуются буржуазные семьи, когда молодежь нарушает закон и порядок, а ведь точно такими же проступками, но совершенными молодежью трущоб, изо дня в день занимаются полиция, суд и общественные учреждения.

Профессор Мак-Айвори из Института изучения преступности (штат Нью-Йорк) пишет:

«Деятельность уголовных шаек распространена в высших классах общества гораздо шире, чем принято думать. Совершается гораздо больше преступлений. Но все это замалчивается и скрывается. Почти невозможно получить статистические данные о преступности. Мы знаем, что она существует. Мы знаем, что очень многие дети из обеспеченных семей занимаются воровством. Мы знаем, как широко распространены преступления на сексуальной почве. Но все это тщательно скрывается. Сын обеспеченных родителей должен совершить проступок гораздо более тяжкий, чем сын бедняка, чтобы его поведение оказалось отмеченным в протоколах полиции».

Начальник уголовного розыска в одном большом городе Среднего Запада, где по официальным данным уровень юношеской преступности похвально низок,

в частной беседе признался, что ни в одном подведомственном ему районе нет такого количества беспорядков и не совершается столько преступлений, как в том, где расположена самая привилегированная школа.

— Это чистая правда,— сказал он,— но только, бога ради, не ссылайтесь на меня! И без того все эти родители мне житья не дают.

Значит ли это, что в наши дни среди молодежи из так называемых «хороших семей» преступность стала больше, чем прежде? Растет ли во взбаламученном поколении удельный вес буржуазной его части? Я считаю, что на оба эти вопроса приходится ответить утвердительно.

Сейчас появляются первые научные, социологические труды, посвященные этой проблеме. Из них явствует, что теория, будто «лучшие семьи» не поддаются заразе преступности, наивна и обманчива. Альберт К. Коэн, автор классических исследований о преступности и о шайках несовершеннолетних, отобрал группу учащихся колледжей, все это была молодежь, принадлежащая к высшим и наиболее обеспеченным слоям общества. Ни за кем из них официально не числилось каких-либо уголовных дел. Им был предложен список из пятидесяти пяти проступков, любой из которых чаще всего кончается арестом виновника, если виновник — житель трущоб. И каждый опрошенный признал себя виновным по меньшей мере в одном из перечисленных проступков...

«Традиционное, основанное на официальных данных представление, будто наибольшее количество правонарушителей дает среда, наименее благополучная в социально-экономическом отношении, фактами не подтверждается»,— пишет социолог Джеймс Ф. Шорт.

Вот что произошло, например, в Массапеке (Лонг Айленд). Массапека — добропорядочный пригород Нью-Йорка. Буржуазные семейства переселяются сюда с Манхэттена, чтобы избавить своих детей от «дурной обстановки» школ Нью-Йорк Сити.

Несколько месяцев назад в Массапеке жили со своими семьями два пятнадцатилетних подростка. Один, Тимоти Уолл, жил с родителями и двенадцатилетней сестрой в веселом белом коттедже, отец его был управляющим нью-йоркской автогрузовой компании. Второй, Брюс Зейтор, жил на тихой, обсаженной деревьями улице, в новом уютном доме, с родителями, старшим братом и тремя младшими сестрами, у его отца было в Нью-Йорке фотоателье. Дома их находились примерно в трех милях друг от друга. Оба мальчика посещали массапекскую школу, оба учились в девятом классе.

Однажды в школьной уборной Брюс Зейтор подрался с мальчиком по имени Батч О'Молли. Вмешался Тимоти Уолл. Как рассказывает Батч, Тимоти выбил у Брюса из рук нож. И тогда Брюс сказал им обоим:

— Я вам еще покажу!

Брюс — кудрявый спокойный подросток — всегда учился неважно. Он получал посредственные отметки, а в последнее время провалился по двум предметам. Поэтому он был взят под наблюдение школьным психиатром. Но ни одного сколько-нибудь серьезного проступка за ним не числилось.

Вскоре после того, как Брюс и Батч подрались в школьной уборной, отец к Новому году подарил Брюсу охотничье ружье. Отец с сыном собирались охотиться на кроликов.

Почему-то — может быть, из страха, что драка с Батчем не пройдет ему даром,— Брюс дней пять не ходил на занятия. Наконец во вторник он в сопровождении родителей снова пришел в школу. В среду явился пораньше и в несколько минут девятого уже был в уборной, где за две недели перед тем разыгралась драка.

Согласно полицейскому протоколу, Брюс зашел в одну из кабинок. Вскоре появился Тимоти, подошел к умывальнику и начал причесываться. Почти тотчас, как рассказал в полиции еще один мальчик — очевидец случившегося, раздался возглас: «Вот тебе, Тимми, подлюга! Получай!»

Тим, стоявший перед зеркалом, обернулся на голос, и тут грянул выстрел, и он упал. Его перенесли в школьный лазарет, и через несколько минут он скончался. Полчаса спустя полиция схватила Брюса. На нем был дождевой плащ, под которым он прятал одноствольное 12-калиберное ружье с двенадцатидюймовым ложем. Дуло было подпилено до двух дюймов.

Полиция предъявила Брюсу обвинение в том, что накануне возвращения в школу он подпилил свое ружье и запасся боевыми патронами. Он был арестован и заключен в тюрьму за убийство с заранее обдуманным намерением.

Официальные лица и в школе и в полиции всячески старались представить это убийство как следствие случайной ссоры, отнюдь не связанное с деятельностью какой-либо шайки. Было установлено, что у школьников существует сообщество под названием «Клевер», но власти объявили, что это к делу не относится.

Однако уверения начальства не слишком убедительны, ибо независимо от того, имеется ли в массапекской школе организованная шайка подростков, во всем, что произошло, недвусмысленно дают себя знать гангстерские обычаи, гангстерская тактика и техника. Подпиленное ружье — обрез — со времен Аль Капоне и Джорджа Морана (Багса) остается излюбленным оружием всех бандитов. И простая мальчишеская драка кончилась так трагически только потому, что в стены школы вторглись уличные нравы.

К несчастью, Массапека — не единственное мирное буржуазное предместье, внезапно оказавшееся лицом к лицу с насилием и жестокостью, на какие способно взбаламученное поколение. За последнее время всюду в пригородах и предместьях с невиданной прежде быстротой приходилось строить новые школы, чтобы охватить растущее количество детей. И общины, вложившие сотни тысяч и даже миллионы долларов в строительство школ, снова и снова оказываются свидетелями того, как юные вандалы громят прекрасные новые здания. Ущерб достигает десятков и даже сотен тысяч долларов. Это вовсе не обычное ребячье озорство. Это свирепые гангстерские налеты. Не столь важно, «Епископами» или «Пиратами» именуют себя малолетние налетчики. Их тактике могли бы только позавидовать их собратья из трущоб. Эпидемия варварских набегов на школы возникла, видимо, на Тихоокеанском побережье и охватила восток страны. На западе она практически угасла. Но на востоке, и особенно вокруг Нью-Йорка она в самом разгаре.

Типичная вспышка имела место в Мейплвуде (Нью-Джерси), в образцовом буржуазном городке, который похваляется весьма низким уровнем юношеской преступности. Шайка подростков ворвалась в местную школу и разгромила ее. Перебили и переломали все в кабинете директора и в классах, в библиотеке пошвыряли книги с полок, облили спиртом и керосином, раздобытыми в мастерской, и подожгли. По подсчетам школьной администрации, убытки составили 300 тысяч долларов. Понадобилась целая неделя, чтобы привести школу в порядок.

Только этот наглый налет открыл глаза жителям Мейплвуда, хотя кое-какие признаки свидетельствовали, что младшее поколение заражено гангстерскими привычками. Как теперь сообщают в полиции, участились кражи автомашин и автомобильных деталей. Незадолго до налета на школу однажды вечером после закрытия было разгромлено придорожное кафе.

Мейплвудский погром выделяется лишь размерами нанесенного школе ущерба. В предместьях Нью-Йорка за три месяца совершено не меньше шести таких налетов...

Школы — не единственная мишень для малолетних бандитов. Подростки закидали дымовыми шашками шикарное открытое казино на Бронкс-ривер, когда там шел большой школьный бал. К счастью, никто не был ранен. Другая шайка перебила лебедей в пруду возле Меррика (Лонг Айленд), швыряя в них горящими палками. В Грин-пойнте (тот же Лонг Айленд) несколько юнцов из «хороших семей» целый вечер разъезжали в автомобиле по улицам, паля из духовых ружей в окна школьных зданий и разбивая вдребезги уличные фонари. В Сэйвиле (там же) мальчишек десять вломились в пивной склад и, стащив несколько ящиков пива, подожгли здание, «чтобы уничтожить отпечатки пальцев».

У подростков из зажиточных семей куда больше возможностей, чем у их собратьев из уличных шаек. Для своих проделок они обычно берут автомобиль и носятся, как безумные, наводя страх на всю округу. Трое таких юнцов — пятнадцати, шестнадцати и семнадцати лет, все из благополучных семей, проживающих в элегантном пригороде Сан-Антонио (Техас),— среди зимы сбежали из дому. У них был автомобиль и более трехсот фунтов консервов и других припасов: видимо, они намеревались довольно долго вести вольную жизнь на лоне природы. Они прикатили во Флориду, ворвались однажды ночью на стоявшую у причала яхту, насмерть запугали ее владельцев — семью из шести человек,— и отплыли не то на Кубу, не то в Мексику, они сами не знали куда. В былые времена такие ребята, быть может, стали бы пионерами калифорнийской золотой лихорадки или огибали бы мыс Горн на каком-нибудь четырехмачтовом паруснике. А в наши дни они, грозя хозяевам револьвером, крадут дорогую яхту. И родные всех троих уверяют, что все они — хорошие, воспитанные юноши...

Нет, кажется, пределов садистской изобретательности малолетних правонарушителей. В предместье Лос-Анжелеса Норуоке мальчишки, вероятно вдохновленные каким-нибудь комиксом или воспоминанием о приключенской серии Пирл Уайт, привязали семилетнего Майкла Ивенса к железнодорожным рельсам. Отец ребенка едва успел его освободить за минуту до того, как по этому пути промчался экспресс.

В провинциальном Йонкерсе несколько подростков стали пререкаться с четырьмя солдатами национальной гвардии, они были в автомобилях и остановились у светофора, дожидаясь, чтобы можно было двинуться дальше. Когда путь вновь был открыт, мальчишки круто повернули машины, прижали солдат к обо-

чине и, выскочив на дорогу, зверски избили их гаечными ключами и рукоятками домкратов. В провинциальном Бельвиле (штат Нью-Джерси) восемнадцатилетнего Николаса Юкки выволокли из машины и избили молодчики из враждебной шайки, также разъезжавшие в своей машине; Юкки лишился глаза. В Западном Хемпстеде (Лонг Айленд) компания подростков после полуночи возвращалась с танцульки. Водители затеяли опасную игру: ехали друг другу наперерез и лишь в последнюю секунду сворачивали, избегая столкновения. Кончилось тем, что машины остановились, все девять седоков (в том числе две девочки-школьницы) высыпали наружу, и началась общая потасовка. Полиция разняла дерущихся, но один из мальчишек успел получить тяжелую ножевую рану.

Это всего лишь мелкие заурядные случаи, нередкие в лучших городских предместьях, главным образом в окрестностях Нью-Йорка,— случаи, которые не удалось замять и которые попали в полицейские протоколы.

Но не только то, что происходит сегодня, тревожит многих муниципальных работников, знакомых с бытом городских предместий. Гораздо более серьезные опасения вызывает у них то, что еще предстоит в самом ближайшем будущем.

КНИГИ, ЗАМЫСЛЫ, ТЕМЫ

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

АВСТРАЛИЯ

Фрэнк Харди

Не так давно «Иностранная литература» и другие заокеанские журналы обратились ко мне с просьбой написать для них статью о моей нынешней работе и творческих планах на будущее.

Но давние воспоминания удержали меня от этого.

Почти 25 лет назад, скитаясь по штату Виктория в поисках работы, я набрел на ярмарку на окраине города. Я присоединился к кучке людей перед палаткой боксеров. Знаменитый антрепренер Шармен стоял на возвышении, окруженный своими боксерами, обращаясь к толпе через жестяной рупор с горячей речью. Он говорил о необыкновенных качествах своего лучшего боксера. Этот боксер мог бы драться с самым сильным человеком в городе. Он мог бы драться с чемпионом мира. Он мог бы драться с любым. Он мог бы драться с тремя разными людьми в трех разных раундах. Он мог бы...

Толпа стала проявлять нетерпение. Старик пьяница, стоявший впереди, выкрикнул: «Пусть он наденет перчатки, и мы посмотрим, на что он способен».

В этой истории есть мораль для писателей. Сначала напишите ваши произведения, потом говорите о них.

Однажды я сообщил свои литературные планы газете и пожалел об этом. В авторских примечаниях к первому австралийскому изданию «Власти без славы» я обещал «серию романов, в которых предполагаю дать картину основных жизненных процессов в Австралии XX века». С тех пор я понял, что невозможно написать роман на такую широкую тему, и не только потому, что подземный ключ творчества часто толкает писателя к неожиданным темам, в сторону от задуманных, но и потому, что каждый писатель ограничен своим жизненным опытом и знанием определенных слоев общества. Только целое поколение писателей может дать «картину современной жизни».

У меня есть работа — ее даже слишком много. И творческие планы — их более чем достаточно.

Я член партийных комитетов, Федеральный президент движения писателей-реалистов, вице-президент Товарищества австралийских писателей и Книжного общества, редактор журнала «Писатель-реалист». В прошлом году я месяц проработал матросом. Вся эта работа является частью моей писательской деятельности, она отвечает тем непреложным требованиям, которые предъявляет история к писателю-коммунисту, особенно в условиях капитализма.

А литературная работа! У меня ее так много, что я не знаю, за что взяться сначала. Просматривая свой литературный дневник в обратном порядке, к январю, я обнаруживаю замыслы, ждущие своего осуществления, наброски, более или менее развернутые планы. На первом месте в моем дневнике стоит роман, написанный в 1958 году, но неизданный, поскольку ни один издатель не купил его, и неокончен-

---

Окончание. Начало см. в № 5.

ный сборник коротких рассказов о жизни провинциального городка во время большой депрессии 30-х годов. Неудача с публикацией романа мучила меня, он нуждался в доработке с литературной точки зрения. И короткие рассказы с любовью вынашивались многие годы; ведь вернуться к дням юности, к своей любимой литературной форме — это самая большая творческая радость, которая может выпасть на долю писателя.

Но пробежали три месяца, а я не притронулся ни к одной из этих работ. Произошло ли это из-за небрежности и лени или потому, что я слишком много времени уделял политической работе?

Ни то, ни другое.

Быть может, это объяснилось изменением планов в отношении очередности работ, намеченных в моем дневнике? Или моей решимостью закончить и издать, наконец, большой биографический роман о Генри Лоусоне, трагическом гении австралийской литературы, роман, для которого я семь лет собирал материал? Или желанием закончить начатый в 1952 году роман о сельском рабочем, который пришел в город и вступил в коммунистическую партию? Или неожиданным решением написать роман о боксерах, материал для которого уже собран? Быть может, я внезапно обратился к смутному замыслу романа, главным героем которого будет женщина, или к роману об австралийских моряках-каботажниках, для которого все готово? Нет, и не в этом дело.

Я был обязан этим непредвиденной писательской реакции на окружающую жизнь.

Случилось это так.

Решив, что ближайшей задачей является роман о моряке, который хочет бросить флот из-за жены и детей, но любит море и, кроме того, чувствует, что должен принять участие в битвах за повышение заработной платы, развернувшихся в 1960 году, я, чтобы собрать дополнительный материал и заработать необходимые деньги, снова вступил в Союз моряков и 8 ноября прошлого года нанялся помощником кочегара на грузовое судно... Однажды ночью после отплытия из Ньюкасла на судне был обнаружен безбилетный пассажир. Он оказался беглым каторжником. Его присутствие на судне создало напряженную атмосферу и обнажило классовую мораль различных социальных элементов, представленных преступником, собственниками корабля, рабочим-коммунистом и рабочим-анархистом. Этот волнующий случай дал мне блестящую идею для пьесы.

Я сделал беглые заметки и решил когда-нибудь в отдаленном будущем написать пьесу на эту тему. Но однажды утром я проснулся с уже готовой пьесой в голове. Я должен был написать ее, несмотря на все мои планы, у меня не было другого выхода.

Пьеса эта была закончена 24 марта, и теперь решается вопрос о ее постановке в Нью Тиэтр в Сиднее.

Возможно, теперь у меня дойдут руки и до сатирического романа, и до рассказов о депрессии, а там и до других работ, перечисленных в дневнике.

Кто знает? Мне бы, конечно, следовало знать, но писатель, у которого больше замыслов, чем он способен осуществить, никогда не может с уверенностью говорить о своих творческих планах.

Что до меня, то я все еще слышу голос старого пьяницы перед палаткой Джимми Шармена: «Пусть он наденет перчатки, и мы посмотрим, на что он способен».

АНГЛИЯ

Бэзил Дэвидсон

В последние четыре года я завершил две книги: «Новое открытие старой Африки» и «Черная мать, Африка: годы испытаний».

Первая из них опубликована в Лондоне в 1959 году (а теперь будет издана и в Москве). Вторая выйдет в Лондоне к концу нынешнего года.

Меня могут спросить: почему писатель, считающий себя прежде всего романистом, а не историком, обратился вдруг к жанру исторического исследования. Отвечаю. Я никогда не принадлежал к числу тех, кто полагает, что жизнь и творчество писателя можно или должно рассматривать как некие изолированные одна от другой категории. Наоборот, моя жизнь и мое творчество всегда представляли и представляют нерасторжимое единство. К этому я сознательно стремился.

Во время своих многочисленных поездок по Африке я не раз сталкивался с легендой о том, будто у африканцев нет истории, что это — народ, не имеющий якобы собственных значительных достижений. Ответить на это возможно было, лишь занявшись изучением прошлого Африки.

Случилось так (в этом отношении мне как писателю просто повезло), что последние несколько десятилетий оказались периодом крупных археологических открытий и переоценки взглядов на историческое прошлое Африки. Нужно было поделиться тем, что я узнал. Это я и попытался сделать.

Замечу между прочим (надеюсь, это не прозвучит нескромно), что прием, оказанный читателями первой из моих двух книг, полностью оправдал затраченные усилия.

Сейчас хочу вернуться к работе над романами — для писателя, мне кажется, не может быть цели более высокой и благодарной. Время от времени, правда, некоторые критики уверяют нас, что роман — это мертвая, старомодная форма, жанр отживающий, у которого все в прошлом и ничего значительного в будущем. Я никогда не верил и не верю этим критикам.

Наоборот, я считаю, что всякая литература, для которой роман (в той или иной мере) — жанр второстепенный, это литература незрелая или больная. По одной простой причине: только жанр романа позволяет полно охватить и воплотить объемность жизни и величие человека. Иначе говоря, только в романе литература — любая литература — может оправдать свое существование.

Таким образом, требования к роману очень высоки, и я отнюдь не хочу сказать, что мои собственные книги им соответствуют. Единственный смысл моих слов заключается в том, что каждый уважающий себя писатель должен иметь перед собой эти высокие ориентиры...

Есть у меня две темы — два романа, которые я хотел бы сейчас написать или попытаться написать. Оба они связаны — более или менее органично — с опубликованным мной в Лондоне в 1959 году романом «Линди», который я лично оцениваю как важный этап своего творческого пути.

Новые романы должны вместе с «Линди» войти в задуманный мной тематический цикл под общим названием «Яростные годы». Центральная проблема цикла — проблема стойкости человека перед лицом величайших испытаний, тема неистребимой веры человека в то, что в будущем жизнь может стать и станет лучше, достойнее, чем в прошлом, что в ней будет меньше боли и горечи. Подобные темы, я знаю, нередко оборачиваются плоским и банальным оптимизмом. Но разве это дает основания отрицать их абсолютное значение для нашей жизни и для нашего времени?

Тот факт, что существуют бумажные розы, не дает оснований сомневаться в существовании живых цветов. Наоборот, он побуждает славить подлинное.

Первый из моих двух романов будет, очевидно, «предысторией» «Линди»; он вернет читателя к временам войны. Второй продолжит историю Линди — с того момента, на котором я с ней расстался в 1958 году.

Вал Линдсей

Джек Линдсей

Мною сданы в печать пять книг, написанных в прошлом году. Среди них — две больших исследовательских работы: «Смерть героя» и «Краткий очерк истории культуры», который я, очевидно, в окончательном варианте назову «Человек, природа и искусство».

«Смерть героя» посвящена французской

живописи периода Великой французской революции, прежде всего творчеству Давида, но также и Прюдона, Жироде, Гро, Жерара, Жерико и молодого Делакруа. Пожалуй, это первое серьезное исследование искусства Французской революции и его воздействия на дальнейшее развитие культуры.

«Очерк истории культуры» поднимает на материале всех континентов проблемы развития искусства, литературы, музыки и, в меньшей степени, науки — со времен художников палеолита и до 1600 года нашей эры.

В этой книге в чрезвычайно сжатом виде «конденсируются» раздумья и заметки, накопившиеся за тридцать лет творчества, делается попытка охарактеризовать самые выдающиеся произведения и тенденции нашей культуры.

В печати находится и мой роман «В выдуманном мире» — сатира на некое «государство благосостояния» с его системой рассрочек и кредитов. Роман принят для выпуска в массовой серии, а также избран одной кинокомпанией для экранизации.

Подготовил для массового издания две книги поэм и лирики древней Греции и Рима в собственных переводах. В 1960 году в той же массовой серии были изданы в моих переводах «Сатирикон» и «Золотой осел».

Что начато, над чем работаю сейчас? Третий том автобиографии, два романа, труд по основам марксистской эстетики, книга о древнегреческой культуре и мифологии.

Первый из романов (частично уже написанный) поднимает проблему атомной и водородной угрозы, раскрывает, каким образом люди, живущие в такой стране, как Англия, отмахиваются от мысли об этой угрозе. Иначе говоря, цель книги — пробудить людей, сломать «убаюкивающую инерцию», поставить их лицом к лицу с острейшей проблемой нашего времени, проблемой жизни или смерти.

В основе сюжета — корейская война. Главный герой — призывник, отправленный воевать в Корею и пытающийся забыть об этом страшном периоде своей жизни.

Второй роман, который я пока еще только обдумываю, посвящен системе сделок и махинаций, на которых держится деятельность монополий. В частности, в моем романе речь будет идти о практике монополий, контролирующих газеты и массовые журналы.

Готовлю книгу о древней Греции, которая будет в основном посвящена Аполлону Дельфийскому.

Кроме того, мне заказаны переводы стихов Горация для издания в массовой серии, а также переводы «Илиады» и «Одиссеи» Гомера. Работаю над ними много лет и перевел уже почти целиком «Песни» Горация.

Еще упомяну о переводе и сокращении трагедии Еврипида «Ифигения в Авлиде», намеченной к постановке в конце года в театре «Мермейд».

Как видите, дел у меня сейчас и в будущем — великое множество. Возможно, я и не смогу осуществить до конца 1961 года все задуманное, но надеюсь все же, что мне это удастся, за исключением, пожалуй, второго романа.

Одна из задач, которую я ставлю перед собой как писатель, состоит в том, чтобы сочетать темы, наиболее злободневные и относящиеся к самому далекому прошлому. Я занимаюсь вопросами либо сугубо академического характера, либо самыми животрепещущими и актуальными. Порой взятые темпы кажутся мне непосильными, но я не отступаю, продолжаю осваивать оба своих «мира». Столько необходимо, не откладывая, сказать, что я готов работать до предела напряжения.

Jack Lindsay

Памела Хенсфорд Джонсон

Поездка за границу в прошлом году нарушила обычное течение моей жизни, и я до сих пор это ощущаю. Во время моего пребывания в Америке в университете Бёркли в Калифорнии я начала писать роман, но лекции, семинары и вечера со сту-

дентами замедлили темп моей работы. Сейчас, по возвращении в Англию, я обнаружила, что моя работа полностью приостановилась, но надеюсь возобновить ее через несколько недель. Обычно я работаю равномерно, но любой перерыв в работе нарушает установившийся ритм. Я предпочитаю писать с 10 до 12 утра и с 2 до 4 часов дня. Однако для меня это скорее идеал, далеко не всегда достижимый: женщина, у которой есть дети, редко имеет возможность работать четыре часа так, чтобы ее не отвлекли по какому-либо поводу, часто приятному, но тем не менее сказывающемуся на работе так же, как и повод неприятный.

Сейчас я работаю над романом «Заблуждение». В нем я возвращаюсь к теме, которая привлекала меня и раньше, но которую я постараюсь раскрыть по-новому. Это тема раздвоенности между внутренними склонностями человека и его поведением. Мой герой — врач, наделенный крайне требовательной совестью и убежденный в том, что он по натуре порочен, что ему свойственна скрытая склонность к жестокости, к наслаждению болью, которую испытывают другие, к грубости и духовной лени. Поэтому он решает жить так, чтобы ни один из этих инстинктов не причинял вреда окружающим. Он даже бросает медицину, ибо чувствует, что здесь могут найти проявление не только лучшие, но и худшие черты его характера. Он посвящает свою жизнь несчастным людям, страдающим по причинам личного или социального порядка. Не будучи способными понять его, они считают моего героя чуть ли не святым, что для него звучит горькой иронией. Он не верит в скрытый или явный «дар божий», тем более что он агностик. Он уверен только в том, что делает добро, в глубине души будучи порочным. Но он слишком скромен, чтобы тешить себя надеждой, что, стараясь обуздать зло, он достигает успеха. Главная идея моей книги заключается в том, что мы можем поступать так, как будто бы мы лучше, чем мы есть на самом деле, и что так мы и должны поступать, если хотим, чтобы на нашей планете можно было жить по-человечески.

Таковы мои творческие планы, хотя я и не знаю, смогу ли их осуществить.

Я уже написала одну пьесу, которая была принята театром сдержанно, но потом была поставлена на телевидении во многих странах. Мне нравится форма драмы, и когда я закончу этот роман, я напишу еще одну пьесу, хотя замысел ее мне еще не совсем ясен.

В Англии и Америке существует мода на нелогичность в драматургии; предполагается, что публика не понимает, что она видит, и, более того, драматурги не знают, что они делают. Это порождает довольно забавную комедию, но мне такой взгляд глубоко антипатичен. Я склонна смотреть на вещи прагматически; мне всегда нужно видеть реальную цель. Вот почему я так ценю Ибсена и столь многое в нынешнем театре нахожу скучным. Но стремиться дать людям полезную идею это одно, а найти ее — совсем другое. Я могу только надеяться, что в одно прекрасное утро меня увлечет тот поток, казалось бы, неожиданных и несвязных мыслей, который мы, за отсутствием лучшего слова, зовем вдохновением.

Pamela Hansford Johnson

ВЕНГРИЯ

Лайош Мештерхази

Несколько дней назад состоялась премьера моей новой пьесы «Одиннадцатая заповедь». К Неделе книги, которая проводилась в Венгрии в конце мая, было приурочено издание моей повести «Собака о четырех лапах». В этом же году выйдет в свет сборник моих пьес — многоактных, одноактных и для радио. Я сейчас готовлю его к печати и пишу к нему послесловие. Но это, собственно говоря, результат рабо-

ты прошлых лет. Больше крупных работ я на этот год не планирую. Буду выступать как журналист — с публицистикой, критикой и, главным образом, с репортажами. Я уже побывал кое-где и рассчитываю за несколько месяцев объездить страну, встретиться со старыми знакомыми. Результатом этой поездки будет серия репортажей для «Непсабадшаг» и одного из литературных изданий. С поездкой связаны и некоторые мои планы как писателя: буду искать ответ на возникшие у меня конкретные вопросы, искать сюжетные мотивы. Надеюсь, поиски будут не напрасными, и тогда с осени я приступлю к работе. Если же не найду того, что ищу, с осени буду работать над давно задуманным и даже начатым романом о жизни молодежи между двумя войнами, главным образом студенчества. В романе будет много автобиографического. С удовольствием взялся бы за эту работу, но еще охотнее написал бы что-нибудь новое, если во время журналистских поездок весной и летом сумею собрать недостающие мне материалы.

ГДР

Арнольд Цвейг

Во время моего пребывания в вашей большой столице Москве, где я имел честь в 1958 году получить Ленинскую премию «За укрепление мира между народами», я рассказывал в Библиотеке иностранной литературы о моей работе над романом «Мечта дорогá». Я все еще сижу за письменным столом и правлю то, что печатает мой секретарь. Эта шлифовка продлится до начала лета, а затем я сделаю большой перерыв, ибо считаю, что нужно дать возможность голове писателя отдохнуть, несмотря на лестные настроения радушных читателей, требующих новой продукции. В будущем году или еще через год предстоит большая работа: хочу вновь отредактировать роман «Лед тронулся» и, таким образом, надеюсь завершить многотомную серию романов «Большая война белых людей 1914—18».

Таковы мои «добрые намерения».

Макс Циммеринг

Если бы темпы жизни в нашу эпоху оставляли время для того, чтобы воплотить в книгах все те задачи, какие действительность ставит перед писателем, перечень литературных планов был бы поистине бесконечен. Что хотел бы сделать в нынешнем году я сам? Во-первых, хочу закончить детскую книгу, в основном созданную в 1960 году. Название книги еще не выбрал. В этой работе я рассказываю об одном из эпизодов борьбы немецкого рабочего класса против вновь поднявшихся после первой мировой войны сил немецкой реакции. Действие происходит в Дрездене в ноябре 1923 года — рейхсвер тогда насильственно оккупировал Саксонию, чтобы сместить социал - демократическо - коммунистическое коалиционное правительство. В центре действия — группа молодых коммунистов и подростков, выпускающих и распространяющих нелегальную газету. Рассказывая о прошлом, книга должна помочь молодому поколению Германии лучше понять события настоящего. На основе этой повести хочу еще написать пьесу для радио. Буду занят также и в кино, так как ДЕФА хочет экранизировать мою детскую книгу «Погоня за сапогом», это потребует моего участия. Но прежде всего я наметил некоторые планы как лирик. Хочу написать поэму,

посвященную освобождающейся Африке,— «Гигант восстает». Задумал более длительную работу под примерным названием «Немецкая баллада», в которой попытаюсь сделать зримым рост нового немецкого человека. И, как всегда, снова буду писать стихи для детей.

Max Zimmering

ИНДИЯ

Бхабани Бхаттачария

Я очень благодарен редакции журнала «Иностранная литература» за постоянный интерес к моей литературной работе. Пользуюсь возможностью сообщить советским читателям, что недавно вышел в свет мой новый роман «Богиня по имени Золото». Очень хотел бы видеть эту свою работу в советском издании на русском языке. Действие книги развертывается за сто дней до 15 августа 1947 года, когда официально была объявлена независимость Индии. Место действия — деревня Сонамитти. Ее жители разбились на две группировки. Одна с энтузиазмом готовится к предстоящему Дню освобождения, который положит начало независимости от британского колониального правления. Другая — цепляется за привилегии и доходы, которыми она пользовалась при англичанах. В эту группировку входят торговцы и мелкие чиновники, стремящиеся сохранить в новой Индии свои особые права, представить себя борцами за свободу, оттеснив истинных героев освобождения. В конце концов в результате целого ряда событий жители Сонамитти убеждаются, что легких путей нет и что чудеса иного рода, а не превращение меди в золото (таков сюжетный ход романа) нужны для того, чтобы сделать их сильными, стойкими и достойными высокого звания человека.

Несколько слов о другой моей работе. Некоторое время назад министр культуры Индии назначил меня секретарем общества по изданию юбилейного сборника произведений Тагора. Я также являюсь редактором и основным переводчиком этого собрания эссе Тагора на социальные, политические и культурные темы, которое мы назвали «К универсальному человеку». Мне также поручена еще одна работа, требующая серьезного внимания,— издание однотомной всемирной энциклопедии. Существующее издание такого рода (на английском языке) не уделяет Индии, Азии и Африке вместе взятым и одного процента места. Даже та информация, которая содержится в этом издании, страдает неточностями и носит вульгаризаторский характер. Надеюсь, что книга, которую поручено выпустить мне, устранит эти недостатки. Она будет издана на 15 языках Индии.

Bhabani Bhattacharya

КИТАЙ

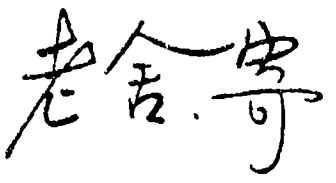
Лао Шэ

В начале этого года я написал трехактную детскую пьесу «Драгоценная лодка». В основе моего произведения лежит народная притча. Возможно, что эта пьеса будет поставлена пекинскими театрами летом нынешнего года.

Сейчас я собираю материалы, касающиеся развернувшегося в Китае движения за трудолюбие, бережливость и заботу о семье. Думаю написать многоактную комедию на эту тему. Трудолюбие и бережливость — замечательные качества, необходи-

мые людям в процессе строительства социалистического и коммунистического общества. Эти качества, на мой взгляд, присущи как советским людям, так и китайскому народу.

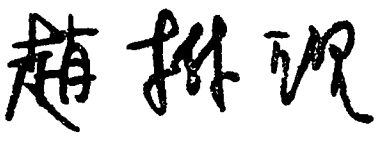
Кроме того, я регулярно пишу в газеты небольшие статьи и буду продолжать этим заниматься. Вот и все мои планы.



Чжао Шу-ли

Мои творческие планы на этот год таковы: я собираюсь написать повесть, а быть может, и роман о крестьянской жизни. Материалы к этому произведению я закончу собирать во втором квартале этого года. В основу повести (или романа) ляжет крестьянская жизнь, преодоление крестьянами феодальных пережитков. Помимо этого я буду участвовать в переработке местной традиционной музыкальной драмы.

В этом году я уже написал один небольшой рассказ под названием «Голыми руками», в котором я прославляю старого крестьянина за его трудолюбие и бережливость, и очерк «Честный труженик Пань Юн-фу», также посвященный движению за трудолюбие и бережливость в китайской деревне. Создание этих двух произведений первоначально не входило в мои творческие планы на этот год. Вполне возможно, что в течение ближайших трех кварталов этого года я напишу еще несколько статей или коротких произведений, которые тоже заранее не включил в свой творческий план.



МЕКСИКА

Хуан Мигель де Мора

В 1960 году я написал две пьесы. В одной из них, «Хуане д'Анжу», на фоне любовного конфликта ставятся социальные проблемы XIV века. Пьесу нельзя назвать исторической, хотя в ней и действуют исторические лица. Другая пьеса, «Победители», в которой довольно много действующих лиц, закончена два месяца тому назад. Она посвящена национально-революционной войне в Испании. Эта, казалось бы, не новая тема позволяет мне говорить о некоторых социальных и человеческих ценностях, которые никогда не теряют своей актуальности.

Стержнем пьесы является момент расстрела священника баска священником франкистом. Хоть я и не религиозный человек, мне показалось важным дать именно этот эпизод для того, чтобы разоблачить тех, кто грабит и убивает во имя бога. В Латинской Америке влияние религии очень велико, и поэтому необходимо, чтобы писатель обращался к народу на понятном ему языке.

В 1960 году я закончил книгу «Дракон и звезда», посвященную Китаю — древнему, находящемуся под игом империализма и, наконец, народному Китаю, освобожденному от векового гнета. Речь идет не о путевых заметках, а о серьезном исследовании, сопровождаемом документами, о своего рода беллетризованных очерках.

В мои планы входит также продолжение начатой в 1957 году и законченной наполовину работе о Спартаке. Эта тема связана с восстанием против социальной несправедливости во многих странах, с Крестьянской войной в Германии, с Жакерией во Франции, с бунтом Пугачева, о котором я собрал документы в Историческом музее в Москве, и т. д. Я выбрал именно эту тему не потому, что считаю, будто крестьянские революции по значению важнее великих революций в

истории человечества. Но о последних уже писалось много, и о них хорошо знают народы Латинской Америки. Мне кажется очень важным показать своему народу, что упорная борьба за социальную справедливость никогда не прекращалась, что после временных поражений народные массы вновь и вновь поднимались на борьбу. Книга построена в хронологическом порядке, и я рассчитываю кончить ее современными революционными событиями в Конго и на Кубе. Работа над этой книгой очень сложна, и я надеюсь завершить ее в этом году.

У меня задумана также новелла о борьбе за аграрную реформу в Мексике. Я собираю материал об этих событиях. Твердо убежден, что писатели в своем творчестве должны обращаться к большим проблемам современности, к человеку и его борьбе за свободу против нищеты. Это не значит, конечно, что писателю не следует говорить о менее актуальных темах (мне, например, очень бы хотелось написать о китайской живописи эпохи династии Сун), но, на мой взгляд, не в этом основная задача писателя.

Кроме того, я предполагаю написать большую и серьезную книгу о Советском Союзе, примерно такого же характера, как упоминавшаяся выше книга о Китае. Еще очень многое нужно рассказать народам Латинской Америки о вашей стране.

Juan Rulfo

США

Альберт Мальц

Над чем я сейчас работаю? Собираюсь писать роман, в основу которого будет положена история жизни одной француженки — героини Сопротивления периода второй мировой войны.

Какое-то время посвящаю работе над рассказами.

Романом и рассказами буду заниматься ближайшие два-три года.

Albert Maltz

Александр Сэкстон

Сейчас заканчиваю исторический роман, посвященный событиям столетней давности. Действие развертывается в Калифорнии в первые годы после Гражданской войны в одном из рудничных городков, расположенных в горах Сьерра-Невада.

Время от времени выступаю с рассказами и книжными обозрениями.

Недавно закончил роман, действие которого происходит на огромных верфях, бурно строившихся в Сан-Франциско и во многих других городах побережья Америки во время второй мировой войны. Эта книга вышла в Нью-Йорке под названием «Паутина, светящаяся в темноте».

Большую часть прошлого года я провел вместе с семьей в Мексике — стране необычайно динамичной и интересной, где никогда не бывал прежде. Надеюсь, что в не столь отдаленном будущем мне удастся еще раз съездить туда, чтобы написать книгу об этой стране.

С лучшими пожеланиями редакции и читателям журнала.

Alexander Saxton

ТУРЦИЯ

Суад Дервиш

Возможность рассказать советским читателям о моих произведениях доставила мне большую радость. За последние годы я написала два романа. Ни один из них еще не переведен на иностранные языки, и мне хочется рассказать о них.

Один из этих романов написан мной на французском языке. Турецкий вариант еще не закончен. Французское название романа «Слабый человек». В турецкой редакции я думаю назвать его «Перихан-ханым из Аксарая». В романе три главных героя. Один из них — Нури, «слабый человек». Он аристократ, выходец из знатной, но обедневшей семьи. Нури беден, в жизнь он вступает мелким чиновником. Героиня романа Перихан — девушка, выросшая на окраине Стамбула. Ее детство и юность прошли среди мелких торговцев, ремесленников, прислуги. У Перихан одна цель — выйти замуж, иметь много денег и перестать работать. В этом весь смысл ее жизни, и чтобы добиться своего, она выходит замуж за Нури, «слабого человека». И этот юноша с хорошими задатками и чистой душой целиком подчиняется ее влиянию. Отныне он должен забыть о своем гражданском долге, подавить в себе все хорошее, честное, он должен добывать деньги, не брезгуя никакими средствами. И атмосфера, царившая — особенно в последние годы — в Анкаре, давала ему такие возможности.

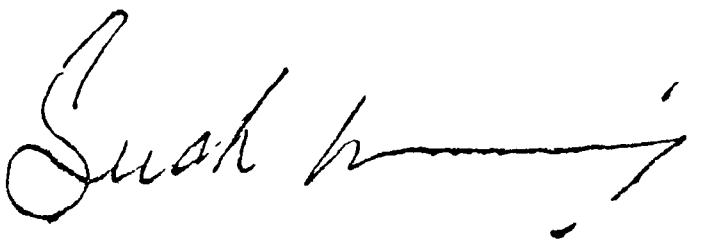
Другая героиня романа — старая женщина, некогда бывшая невольницей в семье Нури. Родители «слабого человека» отпустили ее на волю, она отправилась в свою деревню и вышла там замуж за крестьянина. Через роман проходит вся жизнь этой женщины, до ее последнего часа.

Перихан-ханым всеми правдами и неправдами удалось разбогатеть, она стала владелицей значительной земельной собственности, оградив ее стенами.

А старая одинокая крестьянка, с трудом обрабатывая свое жалкое поле, приходит к мысли о том, что, если бы не было этих стен, не было б межей, которые отгораживают собственность и жизнь одного человека от другого, люди не были бы так одиноки. Кончается роман манифестацией молодежи. Она, как поток, рушит стены, возведенные Перихан-ханым на недавно купленном ею участке. И это символизирует собой светлое будущее народа.

Вторая моя книга называется «Любовные романы». Это — судьба женщины-писательницы. Брат писательницы осужден по политическим мотивам и находится в тюрьме. Но сестра продолжает его поддерживать, и это влечет за собой разрыв с мужем, со всей прежней жизнью. От нее отрекаются даже самые близкие родственники. Но нужно жить, нужно помогать брату, значит, нужно работать. И она выполняет заказы — пишет любовные романы. Но придет день, когда она скажет: «Нет, я больше не буду писать такие романы. Я расскажу теперь о жизни писательницы, которая была вынуждена писать любовные романы»...

Сейчас я работаю над мемуарами. Они состоят из четырех частей: I. Детство. События и люди, прошедшие через годы моего детства. II. Первые шаги в литературе. Встречи с известными турецкими писателями. Я становлюсь профессиональной журналисткой и писательницей. III. Годы второй мировой войны. Политическая и литературная обстановка в Турции. Послевоенные годы. IV. Эмиграция. Жизнь в различных европейских городах. Последняя часть мемуаров охватывает период с 1953 года до сегодняшнего дня. Сейчас я заканчиваю третью часть книги и хочу скорее приступить к написанию завершающей части. Кроме того, я вынашиваю замысел новой пьесы, хочу написать также несколько небольших рассказов. За свою творческую жизнь я написала пять пьес. И есть у меня одна заветная мечта: я хочу, чтобы мои пьесы шли на советской сцене.



ФРАНЦИЯ

Морис Дрюон

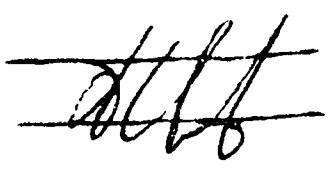
В этом и, быть может, в будущем году я намерен посвятить себя работе в области театра. Задумал также переработать для кино целый ряд произведений и собрать в одном томе свои литературно-критические статьи, в частности посвященные Толстому и Мопассану.

Мои планы, наконец, предусматривают поездку в СССР, где я не был с 1952 года. Эту поездку я в какой-то мере рассматриваю как один из аспектов своей творческой работы.

Андре Стиль

Подготовил для печати сборник рассказов под названием «Боль», продолжающих серию «Поставлен вопрос о счастье», в которую входили до сих пор «Египетский хлеб» и романы «Мы будем любить друг друга завтра» и «Обвал».

Работаю вот уже целый год и над новым романом, но о нем еще трудно говорить.



ФРГ

Генрих Бёль

Недавно закончил пьесу под названием «Глоток земли». Она написана в стиле сатирической утопии. Сейчас работаю над сравнительно небольшой сатирической повестью из жизни университетских кругов. Она будет закончена в ближайшее время.

Что касается дальнейших планов — имеется в виду роман,— то об этом ничего определенного еще сказать нельзя.

Карллюдвиг Опиц

В Федеративной Республике Германии непросто написать книгу. Литературой здесь торгуют так же, как сыром или домашними туфлями; издатель вкладывает капитал в производство книги, автор получает около 10 процентов с каждого проданного и оплаченного экземпляра.

На практике это выглядит примерно так: автор пишет книгу, он работает над ней приблизительно год. Для обеспечения скромного прожиточного минимума в таком крупном западногерманском городе, как, например, Гамбург, ему требуется ежемесячно пятьсот марок. Таким образом,

прежде чем начать писать, он должен иметь примерно шесть тысяч марок.

Средний тираж книги здесь — 5000 экземпляров, для ставших уже известными писателями — 7000, в исключительных случаях — 10 000. Разумеется, речь идет не о бульварной литературе, которую издают огромными тиражами.

Не утомляя читателя расчетами, скажу сразу, что писатель, в случае удачи, может рассчитывать на 235 марок 20 пфеннигов в месяц — в течение двух лет. Это меньше, чем он потратил на издание своей рукописи (учитывая расходы на бумагу, поездки, налоги и т. д.).

Год писатель работал над рукописью. По меньшей мере полгода проходит, пока книга будет издана. Первое начисление гонорара производится еще через полгода, большей частью с дополнительным сроком ожидания в два месяца.

Иностранные лицензии делятся пополам между издателем и автором. За книги, изданные за рубежом, удерживаются налоги за границей, в стране издания, и налоги в Федеративной Республике.

Такое положение приводит к тому, что писатель у нас в большинстве случаев должен иметь побочную профессию, что молодым дарованиям часто уже после первой своей книги приходится из материальных соображений отказываться от литературной деятельности. Такая система требует суровой борьбы за существование; в условиях «свободного предпринимательства» писатель должен постоянно выискивать возможность заработать деньги помимо своего творчества. Разумеется, лишь немногим авторам удается скопить какую-нибудь сумму, чтобы получить возможность снова писать книгу.

Я уже не говорю о том, что у нас сам писатель должен позаботиться о социальном страховании: он не имеет права ни на один из видов государственного социального обеспечения (пенсии, пособие по болезни, отпуск и т. д.).

Такова экономическая основа литературного труда в нашей стране.

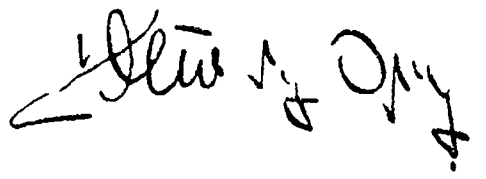
Зато у нас есть семь министров культа и сановников от культуры; десятки тысяч чиновников по делам культуры, многие из которых — кавалеры ордена «За заслуги перед Федерацией» (имеются в виду заслуги в области культуры). Есть у нас «Премия мира немецких книгоиздателей», ежегодный праздник в честь Гете, много остроумных фельетонистов, которые частенько указывают на то, что нашей западногерманской литературе не хватает гибкости. Власти весьма ревностно пекутся о том, чтобы мы, писатели, не говорили с коллегами из Германской Демократической Республики о бедности нашей литературы.

Но невзирая ни на что, типографские машины не стоят ни минуты. Они заняты изготовлением в миллионных тиражах бульварного чтива — лживых сентиментальных любовных историй, ковбойских романов, комиксов, грошовых книжек, рассказывающих о «подвигах» немецких солдат в минувшую войну. И конечно же вдосталь антикоммунистических брошюр, которые преподносятся как «гвоздь» нашей литературной эпохи.

При этих условиях перед западногерманским писателем, если он действительно считает себя писателем, встает задача содействовать тому, чтобы здесь решительно изменились условия духовной и художественной жизни.

По мере сил я старался своей работой содействовать решению этой задачи. Я написал книги — «Военщина», «Мой генерал», «Маршальский жезл в ранце», «О ты, моя Германия»,— книги, изданные в 21 стране. В феврале я закончил новую рукопись под названием «Страдайте ради Германии», из истории федеральной земли Баварии, оплота клерикализма в ФРГ. Эта книга о том, что наши мещане понимают под демократией,— очень злая книга. Назвать ее сатирой я не решаюсь. Описанная мною среда столь нелепа, что даже не поддается сатире. Как описать всех этих церковников, шовинистов, американских солдат, всяких неисправимых нацистов? И можно ли это сделать без того, чтобы автора не обуревали длительные приступы ярости?

Сейчас я работаю над пьесой. Именно ради того, чтобы ее создать, я и стал девять лет назад писателем.



Урсула Рютт

Охотно откликаюсь на дружескую просьбу — рассказать на страницах журнала «Иностранная литература» о моих творческих планах.

Составление планов присуще прогрессивному человеку. Для писателя постоянные планы, а также отмена их, пересмотр и обновление — необходимая часть работы в его стремлении творить. То, что планируется и создается, зависит от автора и общества, которому он как бы подчинен или, во всяком случае, должен быть подчинен.

Жан-Поль Сартр однажды сказал, что искусство становится реальностью в восприятии тех, для кого оно создается. В сегодняшней Федеративной Республике Германии, где я живу, серьезная литература не пользуется широким спросом. В большинстве своем здесь читатели ограничиваются потреблением легких безделиц. Поэтому нашим писателям, чтобы как-то материально обеспечить себя, зачастую ничего иного не остается, как ограничить свои планы работой для газет, радио и кино.

И все же мы не можем, хоть изредка и подчас в трудных условиях, не написать книгу.

Когда 15 марта 1959 года мюнхенский журнал «Культур» обратился с аналогичным вопросом о творческих планах и темах к немецким и зарубежным писателям, в том числе и ко мне, я заключила свой ответ фразой, каждый раз навевающей на меня грусть: «Так как потребность иметь время для написания книг не всегда может быть удовлетворена, эпизодическое писание переходит в неписание».

Да простит меня любезный читатель за этот экскурс в область общих размышлений. Но из них вытекает мой ответ на поставленный вопрос.

Я вижу свою неотложную задачу в том, чтобы бороться за достижение взаимопонимания между народами, против гонки вооружения. Это я делаю не только тем, что подписываю различные воззвания, но и своими выступлениями в еженедельных изданиях.

В этом году я очень хотела бы выпустить книгу, описывающую мои встречи в Южной Франции; французы дали мне наказ: «Скажите своему народу, что войны больше не должно быть».

Другая, уже давно запланированная мною книга будет посвящена молодежи, которую губит капитализм; получив свои первые жизненные впечатления в бомбоубежищах, молодежь после вынужденного блуждания завлекается, а затем и загоняется в казармы (при этом я думаю и о моем собственном сыне!).

Чтобы показать также и забавную сторону создания книг, я хочу написать для моих читателей и всех заинтересованных лиц документальную книгу о познаниях, дознаниях, встречах, письмах, документах, явных и тайных причинах, связанных с моим литературным опытом за последние три года. Я вижу в них характерные черты нашего общества.

Я планирую также книгу о Шпессарте — одном из самых больших лесов Германии, а также сборник рассказов о школьных годах под названием «Косинус».

В промежутках между делом время от времени возникает стихотворение, исчезающее в ящике письменного стола и тщетно — из-за недостатка времени — ожидающее обработки.

Планы имеют лишь в том случае смысл, если они реализуются, добиваться этого — тоже своего рода «план».

Урсула Рютт

ШВЕЦИЯ

Ян Мюрдаль

В семнадцать лет, уже около года проработав журналистом, я стал сотрудником газеты «Арбетартиднинген» в Гётеборге. В один прекрасный вечер меня послали в «Слотскуген» с заданием написать рецензию — первую мою театральную рецензию.

Это был простенький загородный театр, и спектакль был тоже очень средний. В антракте меня вместе с моими коллегами — представителями других гётеборгских газет, уже успевшими поседеть на службе, провели за кулисы. В уборной примадонны нам поднесли по рюмке коньяку. Я был молод и зелен, я проникся важностью момента, к тому же меня не часто угощали коньяком, и я не знал, как мне поступить с рюмкой. Поэтому я предложил выпить за успех спектакля. Примадонна вышибла рюмку у меня из рук, прежде чем я успел осушить ее. А старшие коллеги взглянули на меня так, что я съежился и втянул голову в плечи. Потом все поспешно заговорили о другом.

Ночью, дописав рецензию (из-за угрызений совести она получилась более хвалебной, чем спектакль того заслуживал), я попытался утешить себя соображением, что я человек рациональный, а артисты и рецензенты набиты суевериями и предрассудками. Но многолетний опыт доказал мне, что то не было ни предрассудком, ни суеверием. Негоже хвалить день до вечера, спектакль — до конца представления, а еще хуже — говорить о произведении до того, как оно написано.

Таким образом, предварив читателя, что ответить на вопросы редакции трудно, я все же попытаюсь это сделать.

С того самого дня, как начал писать, я много думал о взаимоотношениях литературы и действительности. У литературы двойная задача — изображать действительность и изменять ее. Наблюдать, изменять — только не искажать. Литература — это общественная сила. «Изображать действительность — значит яснее воспринять ее. В процессе работы меняется пишущий. В процессе чтения меняется читатель. Писать — значит изменять действительность». Так я сформулировал свою мысль недавно в другой связи.

И дальше. Писать — это значит бороться против войны и разрушения, против нужды и угнетения; взяться за долгий и нелегкий труд — создать людям лучшую жизнь; выступить против предрассудков, развенчать иллюзии, противоборствовать глупости, преступной глупости, и при этом всегда помнить, что борьба против страданий, несчастий, нужды не может происходить без страданий.

Даже при самом человечном строе, где личность является частицей общества, а не находится в конфликте с ним, счастье порой сменяется минутами боли. Эти человеческие трагедии становятся проще и чище по мере того, как человек начинает располагать своей судьбой и у него на пути больше не стоят ни застывшие общественные формы, ни мифы, ни вера в высшую справедливость. Эта мысль заводит далеко. Далеко за пределы нашего времени. Но даже писатель самого отдаленного будущего не сможет писать одни только идиллии.

Если говорить о себе, то я, по мере возможности, пытался изобразить свою страну, свое время. Литературные приемы были разные, и результаты получались как будто более или менее удовлетворительные — мне самому трудно судить об этом. После «Быть и стать» — реалистического повествования о стокгольмской молодежи — я написал романтический бурлеск «Кран ванны». Но я почувствовал, что к жизни Швеции надо подходить как-то глубже. Я понял, что мог бы лучше воспринимать шведскую действительность во взаимосвязи с общеевропейской. Но и Европа — это всего лишь часть света, и даже не самая значительная. Две рукописи я сжег. Они никуда не годились — не выражали того, что я хотел выразить, носили привкус дурного провинциализма. Знакомство с Европой не дало мне того, что я искал, и тогда я поехал в Азию и поездил по ней три года.

Я написал книгу об Афганистане — «Перекресток культур». Это не путевые заметки. (Ездить на автомобиле по пустыне и встречаться с разными людьми само по себе неинтересно — географическая отдаленность еще не знаменует опыта.) Эта книга дала мне возможность поставить волнующие меня вопросы. Одновременно я требовал от себя такой правдивости, что приходилось все время воевать с материалом. (Если я где и допускал ошибки, неточности, то неведомо для себя самого.) Кружных путей в литературе нет. Я не мог прибегнуть к приятной лжи для сокрытия неприятных фактов. Избранная мной форма заставила меня напряженнее работать, оттачивать стиль, совершенствоваться.

Три года — большой срок. И моя работа над осмыслением собранного мною необъятного материала еще только начинается. Я снова в пути и собираюсь до-

полнить «Перекресток культур» тремя книгами того же типа и объема. Одна будет о советской Средней Азии. Для этой цели я уже совершил подготовительное шестинедельное путешествие. Теперь хочу совершить в этом или в будущем году рабочую поездку более продолжительную и концентрированную. Вторая книга посвящена Китаю. Третья — Индии. Заметьте, я не говорю «об Индии» или «о Китае». С моей стороны было бы самонадеянно пытаться создать полную картину жизни этих стран.

Создать эти книги для меня не значит просто описать свое путешествие. Для меня это необходимое звено в моем творчестве, и притом не бегство от литературы, как не были бегством «Среди французских крестьян» Стриндберга или «Немецкая осень» Дагермана. Это важная и составная часть того, что я (по крайней мере, для себя лично) могу назвать литературным трудом. Одна книга из намеченных четырех уже вышла. Еще три года уйдут на собирание материала, на поездки, накапливание опыта. А за ними я вижу романы о Швеции. Путь к Швеции лежит для меня через Азию.

Есть ли у меня твердые планы, наброски и идеи, связанные с этой, не столь уже отдаленной работой? Откровенно говоря, есть. Но, памятуя об опыте юных лет в бытность мою журналистом, я не осмеливаюсь говорить о них.

Беседуя с советскими писателями и читателями, я часто думал о том, что они не всегда достаточно ясно представляют себе положение писателей в других странах. Да и странно было бы, если бы им все было понятно. Давно уже миновали те времена, когда ваша литература создавалась в рамках буржуазного общества. Верно, что наше экономическое положение часто бывает тяжелым. Верно также и то, что в наших странах очень значительны силы, враждебные культуре. Верно, что, когда у нас заседают писательские организации, мы говорим по большей части о контрактах, авансах, гонорарах за переведенные произведения и гораздо меньше — о литературе, культуре, гуманизме.

Однако это только одна сторона дела. На том рынке, где торгуют мыслями, мечтами и идеями, мы продаем слова. Но продавать слова еще не значит продавать самих себя. Для меня и для моих коллег очень много значит быть свободным писателем. Знать, что каждая твоя трапеза, каждый костюм, каждый ночлег оплачен трудом и словами и что при этом самого себя ты не продал. Это капиталистическая мораль в том смысле, что это мораль, порожденная тем обществом, в котором мы живем; но конечно же было бы ошибочно полагать, что наша борьба за каждую десятую долю процента гонорара, за каждое примечание в договоре с издательством есть выражение мелкобуржуазного мировоззрения. Мы гордимся тем, что можем жить литературным трудом, мы боремся за это, и наша гордость сродни гордости крестьянина или рабочего-металлиста, которые живут трудом своих рук, наша борьба сродни борьбе крестьян и рабочих-металлистов за это право.

НАШИ ГОСТИ

ИЗ ОКОПОВ, ГДЕ ЗАЩИЩАЮТ КУЛЬТУРУ

«Мы горды тем, что в окопах отстаиваем культуру, кровь и мысль Латинской Америки...» — говорил Фидель Кастро, выступая как-то в Гаване перед представителями латиноамериканских стран.

Да, бойцы Народной милиции и Повстанческой армии вместе со всем народом Кубы защищают не только честь, свободу и независимость своей родины и Латинской Америки, но и культуру — древнюю, богатую, самобытную культуру огромного континента к югу от Рио Гранде дель Норте.

В огне революционных боев в горах Сьерры Маэстра выковывалось освобождение Кубы и возрождалась,— насыщаясь боевым духом, оттачивая собственный стиль, избирая иные направления,— новая кубинская литература, которую ныне кубинцы так горделиво называют «литературой Сьерры». Вместе с народом писатели Кубы — на переднем крае, самоотверженно защищают завоевания революции перед угрозой империалистической агрессии. Революция и культура неотделимы друг от друга. Поэтому-то виднейшие литераторы, художники, артисты, композиторы и архитекторы страны в заявлении, скрепленном тремястами двадцатью подписями, подчеркнули: «Защищать революцию — это защищать культуру».

Вполне естественно, что такая же мысль, хотя и по-разному, была высказана тремя кубинскими писателями, посетившими в последнее время редакцию «Иностранной литературы». Каждый из трех — представитель своего поколения в литературе Кубы. Каждый из них идет своим путем творчества. И каждый занял свое место в рядах защитников революции.

Уже свыше тридцати лет кубинская проза неразрывно связана с именем Алехо Карпентьера, автора прославленного романа «Экуэ́ Ямба-О», страницы которого пронизаны афрокубинским ритмом и колоритом, и многих других произведений. Можно с полным правом сказать, что для кубинской прозы последних десятилетий Алехо Карпентьер сделал столько же, сколько Николас Гильен — для поэзии; да и, кстати, они почти ровесники, чуть не одновремен-

Алехо Карпентьер

Онелио Хорхе Кардосо

но начали литературную деятельность. И хотя на этот раз сеньор доктор Алехо Карпентьер Вальмонт прибыл в нашу страну, собственно, не по писательским делам, а с официальной миссией в качестве заместителя председателя Национального совета культуры Кубы, тем не менее в редакции нашего журнала он, по его словам, выступал только как писатель. Уместно вспомнить: еще в 1927 году молодой Алехо вместе с другими, тогда такими же молодыми прогрессивными писателями (среди которых был и Хуан Маринельо), образовавшими так называемую Группу меньшинства, подписал знаменитый «Манифест», провозглашавший защиту национальной культуры и борьбу против империализма янки. И вполне понятным становится, почему один из крупнейших современных романистов испанского языка, как назвал его известный кубинский литературовед Хосе Антонио Портуондо, решил идти с б о л ь ш и н с т в о м в революции.

Характерно, что два других писателя, побывавших в редакции,— Онелио Хорхе Кардосо и Мануэль Регера Саумель,— вошли в литературу в дни революционных выступлений кубинского народа. И в этом кроется своя закономерность.

Когда в тридцатых годах Куба поднялась против диктатуры кровавого генерала Херардо Мачадо, стал писать первые рассказы о тяжкой доле кубинских крестьян-гуахиро Онелио Хорхе Кардосо. И не удивительно, что теперь писатель работает в редакции журнала «ИНРА», издаваемого Национальным институтом аграрной реформы революционного правительства.

Победоносная революция «бородачей» Фиделя Кастро, покончившая с диктатурой кровавого сержанта Фульхенсио Батисты, совсем недавно воодушевила взяться за перо молодого архитектора Мануэля Регеру Саумеля. И опять же ничего удивительного нет в том, что литературная деятельность не мешает ему строить новые дома в одном из районов Гаваны.

— В течение многих лет я пишу рассказы,— говорит Онелио Хорхе Кардосо.— Считают, что и у моих старых, уже давно написанных рассказов есть революционная направленность. Об этом, правда, я не думал, когда писал их. Теперь передо мной встал вопрос — как лучше писать, чтобы мои произведения принесли больше пользы народу. Я понимаю, надо создавать что-то новое и, прежде всего, нужное, полезное делу революции, моим читателям. Планов будущих произведений у меня пока нет, но это, по правде говоря, меня не беспокоит: революционная действительность подсказывает столько тем...

В неторопливую, по-крестьянски рассудительную речь Онелио Хорхе Кардосо врывается реплика его темпераментного спутника:

— В Лас Вильяс вышел сборник очень интересных рассказов Кардосо!

Однако Онелио Хорхе предпочитает говорить о произведениях других писателей:

— Я хотел бы обратить внимание на своеобразную и интересную книгу Лисандро Отеро «Куба — зона аграрного развития». Это сборник хорошо написанных репортажей. Первое издание разошлось за каких-то полтора месяца, было выпущено второе издание — и оно не залежалось. Видите ли, там, где аграрная реформа у

нас уже была проведена, ставили опознавательный знак с табличкой «Зона аграрного развития». Автор книги символически поставил такую табличку над всем островом — удачный портрет революционной Кубы. А вот молодая писательница Ильда Перера получила национальную премию за сборник детских рассказов. Впервые в кубинской литературе появилась настоящая книга для детей...

— А ваше творчество?

— В первый год революции я был занят репортажами, написал массу публицистических статей. В наших условиях такая работа особенно важна. А потом возникла срочная необходимость в текстах для телевизионных постановок об аграрной реформе... Что касается театра и драматургии — пьес издано еще мало. Только пьеса написана, ее сразу же ставят на сцене: публиковать некогда...

Перу Мануэля Регеры Саумеля принадлежат в основном пьесы. Первая из поставленных пьес, написанная еще никому не известным провинциальным автором, была отмечена премией Национальной дирекции по делам культуры Министерства просвещения революционного правительства.

— Вопрос с театром сложнее,— замечает Мануэль Регера Саумель.— Наш театр еще не сумел должным образом отразить нашу революцию. Пока еще не создана пьеса, которая имела бы силу революционного воздействия.

— Этому две причины,— поясняет Кардосо.— Прошло мало времени после победы революции. И нельзя забывать другое обстоятельство. Ряд наших литераторов — не только драматурги — с трудом могли уделять время творческому писательскому труду. Надо было готовиться к отпору империалистической агрессии. Все мы находились либо еще находимся в рядах Народной милиции. Для Кубы предпочтительнее иметь еще одного подготовленного бойца, чем отсиживающегося в кабинете профессионального писателя... Этим я не хочу как-то принизить значение нашей литературной работы. Но ведь нас, кубинцев, только семь миллионов — каждый боец на счету...

Опасность нового вторжения врага угрожает Кубе. Но литературная жизнь не свертывается. Свидетельство этому — многие новые книги и пьесы кубинских авторов.

На проведенном недавно втором латиноамериканском литературном конкурсе издательства «Каса де лас Американас» премия присуждена талантливой кубинской писательнице, активной участнице революционного движения Доре Алонсо за роман «Невооруженная земля» (на первом конкурсе, в 1960 году, премию получил кубинец Хосе Солер Пуиг за роман «Бертильон 166», известный советскому читателю). Кроме того, жюри конкурсов рекомендовали к изданию новые произведения кубинских авторов — Рауля Гонсалеса де Каскорро, Рене Хордана, Марии Иренэ Форнес, Глории Паррадо, Гильермо Кабреры Инфанте, Абелярдо Эсторино, Антона Арруфата, Файяда Хамиса, Рамона Феррейры. Большим успехом в Гаване пользовалась новая пьеса Мануэля Регеры Саумеля «Генерал Антонио был здесь...».

Интересен сам по себе замысел этой пьесы, утверждающей преемственность революционных традиций кубинского народа.

Автор рассказывает о пьесе:

— Генерал Антонио — легендарный герой нашей национально-освободительной борьбы в конце прошлого века. Но действие пьесы происходит в недавние дни. Кубинская революция показана через восприятие одного из главных персонажей пьесы — старой женщины, в памяти которой еще живы воспоминания детства о борьбе генерала Антонио Масео за независимость. «Бородачи» Фиделя и «мамби́» генерала Антонио, эпизоды нашей революции и той войны — все совместилось в понимании этой женщины. Перед ее глазами всплывают образы деда и отца, сражавшихся за освобождение Кубы; вспоминается ей и тот случай, когда вместе с ними генерал Антонио как-то ночью был здесь... Нет, генералу Антонио не будет стыдно за своих потомков, уходящих в Сьерру Маэстра, к Фиделю...

— Теперь,— добавляет Мануэль,— мне предложили написать пьесу на тему о ликвидации неграмотности: 1961 год — год просвещения на Кубе.

— Тяжелое наследие нам досталось от тирании Батисты: малограмотность и неграмотность,— говорит Онелио Хорхе Кардосо.— Используя темноту людей, отсталость, буржуазные правители вкупе с империалистами и клерикалами у нас вели, например, лживую пропаганду против Совет-

ского Союза. Лишь после нашей революции кубинцы узнали, что такое Советский Союз, и в советских людях увидели братьев. А день, когда широкие массы возьмут в руки книги и журналы, будет днем нашей величайшей победы. Ликвидируя неграмотность, мы укрепляем дело революции. И в этом — одна из задач писателя.

Писатель и революция — большой вопрос, до сих пор являющийся актуальным, животрепещущим. Об этом главным образом говорил наш гость — романист Алехо Карпентьер:

— Наши писатели вынуждены держать в руках и авторучку и автомат — и мы уже к этому привыкли. Ныне мы переживаем такое время, когда нам, литераторам, приходится работать не только в газетах и журналах, но и на улицах, площадях. Многие литераторы — более молодые, чем я или Николас Гильен,— ежедневно занимаются военной подготовкой. Да и все мы что-то делаем... Когда перед нами встала задача боевой мобилизации народа во имя защиты революции, некоторые писатели предложили создать специальную бригаду из поэтов и прозаиков. Фидель нашел замечательное решение: отряд был сформирован из писателей и... грузчиков гаванского порта. Уже не говоря о том, что литераторы окунулись в гущу народа, кроме того...— и Алехо Карпентьер улыбается,— нам было не до извечных литературных споров, порой носивших схоластический характер. Хотя, признаться, у нас и так не хватает времени на дискуссии — работы гора. Вот, например, пришлось срочно пересмотреть учебники для школ, в частности учебники по истории Кубы. Раньше кубинских школьников учили: единственный покровитель и благодетель Кубы — это Соединенные Штаты. Нашим детям надо рассказать подлинную историю родины, пробудить чувство национального самосознания — и мы вспоминали о наших национальных героях и наших классиках литературы, о борьбе нашего народа за свободу и независимость. Можно ли в таких условиях тратить время на бесплодные дискуссии!.. Конечно, в писательской среде мы обсуждаем творческие вопросы.

— Что характерно для новой кубинской литературы?

— В творчестве многих наших писателей, наблюдается удивительное и вместе с тем вполне объяснимое явление. При диктатуре реакции чуть ли не все литераторы искали, неустанно, подчас до самоистязания искали новые творческие формы, бесконечно экспериментировали. Не было, пожалуй, такого писателя, который бы не пытался найти что-то необычное. Но вот произошла революция. И мы нашли искомое — это была п р о с т о т а. В самом лучшем смысле этого слова — простота. Мы упростили наш язык, да и сами стали проще. Что же было раньше? Мы ломали головы над тем, как найти изысканнейшие, вычурнейшие, мудренейшие выразительные средства, образы, чтобы передать ощущения, чувства, мысли, краски... Кстати, этим же болел и я. Однажды я написал такую книгу, которая распадалась на три или четыре произведения. Кое-кто из наших молодых писателей и сейчас пробует искать необычнейшую форму — «головоломку». Что ж, не испытав напряженнейших мук творчества, не пролив пота, они не придут к мудрому решению. Да, много усилий нами было потрачено в поисках новейшего — и, лишь пройдя революционное горнило, мы поняли, что надо искать простое, цельное. Мне, принадлежавшему к тем писателям, которым свойственно усложнять все в своих произведениях, было так радостно открыть красоту простого: дом — это дом, небо — это небо, море — это море...

Отвечая на вопрос о творческих планах, Алехо Карпентьер сказал:

— Писать прежде всего нужно о кубинской революции. А о ней писать и легко и не легко. Литератор в процессе творчества сталкивается с определенными трудностями. Мне думается, что в свое время — скажем, в первые годы после Октябрьской революции — с подобными явлениями сталкивались и советские писатели. Бесспорно, революционное выступление народа предоставляет писателю обилие благодарных тем. Но одно — писать о революции, происходившей когда-то, а другое — писать о революции, свидетелем или участником которой являешься сам и которую непосредственно видишь, ощущаешь.

Что же затрудняет работу писателя, особенно романиста?

Темп революционных событий столь стремителен, что литератору иногда трудно успевать. Подчас ему грозит риск оказаться где-то позади; он даже начинает сомневаться, сумеет ли найти нужные краски, сумеет

Мануэль Рогера Саумель

ли передать все. Легче, когда пройдет какое-то время, отстоятся впечатления. Тогда романист располагает прекрасным материалом для будущего произведения.

— В своем творчестве,— продолжал Алехо Карпентьер,— я, конечно, не могу оторваться от революционных процессов, происходящих в нашей стране. Работаю над двумя вещами. Короткие новеллы на тему о революции — они составят сборник. В новеллах я хочу раскрыть, как разные люди на Кубе воспринимали революцию, переживали ее, какие чувства и чаяния возбудила революция у этих людей. Затем я работаю над большим романом, в котором развертывается широкое полотно жизни на Кубе до революции, во время нее и после нее. В центре событий — судьба одного, так сказать, потомственного интеллигента, которому приходится пересматривать свое отношение к жизни. Наконец он приходит к выводу: нельзя стоять в стороне от событий А человеку, который за многие годы привык считать, что надо жить только для самого себя, поверьте мне, принять такое решение нелегко, болезненно. И наш герой увлечен революционным потоком...

Революционный поток увлекает и поднимает. Я расскажу об одном факте, характерном для литературы кубинской революции. Расскажу о судьбе автора романа «Бертильон 166». Я был членом жюри первого латиноамериканского литературного конкурса, проведенного издательством «Каса де лас Американас». На конкурс поступило свыше семисот произведений кубинских и других латиноамериканских авторов. Наше внимание привлек роман «Бертильон 166», ярко воспроизводящий эпизоды борьбы против Батисты в городе Сантьяго де Куба. Все члены жюри были единодушны в оценке этого произведения, хотя и отметили, что оно написано не профессионально. Каким же было наше удивление — и вместе с тем, как мы все были довольны,— когда появился автор премированного романа, сорокатрехлетний рабочий-самоучка Хосе Солер Пуиг, и роман действительно оказался его первой книгой. Сейчас Хосе Солер Пуиг работает над новым романом. Мы, естественно, помогаем ему советами, хотя советы давать трудно: он очень талантлив, но пишет, не имея профессионального мастерства, почти интуитивно. Судьба этого подающего очень большие надежды писателя из рабочих — это тоже кубинская революция!

***

Многим нашим читателям, очевидно, запомнилась интересная статья Алехо Карпентьера «Значение Льва Толстого для Латинской Америки», опубликованная в журнале «Иностранная литература» (№ 11, 1960 г.). Русская и советская литература давно близки кубинскому романисту:

— Я хочу заметить, что самая первая книга советского писателя, которую я прочел примерно в 1925—1926 годах и которую я никогда не забуду, это был «Бронепоезд № 14-69»; повесть Всеволода Иванова произвела на меня неизгладимое впечатление. Помнится, тогда я еще написал о ней большую статью. Потом я познакомился с книгами Маяковского, Сейфуллиной, Федина, Гладкова, Бабеля, Алексея Толстого, Эренбурга, Симонова. К советской литературе у нас всегда был большой интерес, а

теперь — огромное влечение. Все советское, русское дорого кубинцам. Все, что связано с Советским Союзом — нашим другом, настоящим другом.

И Алехо Карпентьер — так же как и Онелио Хорхе Кардосо и Мануэль Регера Саумель — с энтузиазмом рассказывал нам о чувствах искренней благодарности и признательности кубинского народа Советскому Союзу, оказавшему решительную поддержку революционной Кубе.

— Если бы вы видели, как обрадовался Николас Гильен, узнав, что мы едем в Москву,— сказал Онелио Хорхе Кардосо.— Гильен вспоминал Москву как нечто близкое-близкое сердцу. И похоже, даже завидовал нам. Ему трудно — просто некогда — покинуть Кубу. В стихах и статьях, в выступлениях на митингах он говорит о нашей Кубе и о кубино-советской дружбе.

...В те дни, когда интервенты пытались осуществить вторжение на Кубу, редакция нашего журнала послала кубинским писателям телеграмму с выражением чувств солидарности. На редакционном столе лежит ответная телеграмма из Гаваны: «От всей души благодарим вас за благородную поддержку нашего народа перед трусливой империалистической агрессией США. Родина или смерть! Мы победим! — Николас Гильен, президент Союза кубинских писателей и деятелей искусств».

Юрий Дашкевич

Издано в СССР

Почти полвека

Антал Гидаш. Избранное. В двух томах. Перевод с венгерского. Вступительная статья Е. Книпович. Москва, Гослитиздат, 1960. Т. I — 624 стр., т. II — 612 стр.

Имя Гидаша у нас в стране хорошо известно. Два тома его избранных произведений, выпущенные в свет Государственным издательством художественной литературы, охватывают почти полвека творчества, и волей обстоятельств писателю больше половины этого времени довелось провести в эмиграции, в Советском Союзе.

Наше послевоенное поколение больше знает, пожалуй, Гидаша-прозаика — автора талантливого романа «Господин Фицек» (1936) и книги о замечательном венгерском поэте и революционере Шандоре Петефи («Шандор Петефи», 1949). В «Избранном» эти два произведения Гидаша и заняли основное место.

Роман «Господин Фицек» успешно выдержал испытание временем — теперь, по прошествии более чем двух десятилетий, это можно сказать с полной определенностью. Интерес читателя прежде всего вызывает сам образ главного героя — превосходно очерченная, живая фигура ремесленника, мелкого буржуа пештских предместий, который с маньякальным упорством стремится вверх, в «господа», в «предприниматели», хотя жизнь снова и снова сталкивает его в болото нищеты.

Ситуация трагикомическая, и писатель с тонким чувством действительности раскрывает ее жизненные истоки. Со всей своей слепотой и здравым смыслом, донкихотскими фантазиями и убогим практицизмом, искренними страданиями и тиранническим самодурством, составляющими его индивидуальную природу, Фицек — глубоко типическая фигура. Его духовный облик определяется реальным положением таких, как он, «господ» в буржуазном обществе—двойственным, противоречивым положением между «молотом» и «наковальней», между собственниками и тружениками.

При этом само существование Фицека, в душе которого Дон-Кихот неожиданным образом объединяется с Санчо Пансой, лишь служит как бы фокусом, собирающим, связующим другие, более широкие и глубокие противоречия окружающей действительности. За Фицеком стоит сложная картина жизни городской окраины начала века, где смыкаются и сталкиваются мир «вчерашний», патриархальный, крестьянско-ремесленный и «сегодняшний», буржуазный; городское «дно» и разлагающиеся «верхи»; стихия капиталистической наживы и пролетарская борьба... Здесь, «на стыке» нового и старого, разбиваются иллюзии, зато куется и закаляется жизнеспособная, здоровая идеология и мораль.

Реальная жизненная пестрота обусловливает и эмоционально - художественное богатство романа. Юмор, с каким изображаются злоключения Фицека, подчас отсвечивает сатирой, направленной против ненавистной писателю социальной и моральной скверны капитализма (эту сатирическую линию заостряет антифашистский памфлет «Проект графа Курта фон Эйхена»). Четкий реалистический рисунок иногда переходит в гротеск, карикатуру (фигура социал-демократа карьериста Швитцера); драматические страницы сменяются лирическими, овеянными романтикой жизни, юности, борьбы, надежды.

«Господин Фицек» был первым большим произведением молодой революционной венгерской литературы, показавшим, что ей уже по плечу по-настоящему глубокие реалистические обобщения.

И в этой реалистической глубине романа—секрет его «долголетия».

Уже в «Господине Фицеке» — в Новаке, отчасти в Мартоне — намечены черты, предвещающие будущих борцов. В книжке о Петефи образ молодого человека чистых и пылких стремлений, отдающего себя революции, выдвигается на передний план. Этого молодого человека — Шандора Петефи — автор любит всей душой; любит за верность идеалам, за беззаветное служение им, за благород-

ное желание совершить подвиг во имя своего народа и человечества, за ненависть ко всякой низости и двоедушию. Петефи для Гидаша — не отвлеченный моральный идеал. Утверждая цельный, стойкий характер этого революционного борца, писатель — в строгом согласии с исторической правдой — рисует предшественника революционеров нового времени. Читая гидашевского «Петефи», невозможно не вспомнить вдохновенные слова выдающегося венгерского поэта Эндре Ади, написанные еще в начале века в защиту юного духом революционера Петефи, который «не примирялся, который принадлежал революции» и если бы не погиб в 1849 году, то «наверняка оказался бы в Париже, написал бы чудесные вещи и, быть может, нашел смерть на баррикадах Парижской коммуны...»

Книга «Шандор Петефи», хотя и содержит меткий исторический и литературный анализ,— произведение не собственно литературоведческое, а скорее художественно - публицистическое. Кроме реального исторического и сюжетного героя, в нем постоянно присутствует, борется и сам автор, чей голос, гневный, обличительный или восхищенный и нежный, слышен вполне отчетливо.

Эта взволнованная публицистичность революционера, пишущего о революционере, связывает «Шандора Петефи» с поэзией Гидаша, где его собственная личность, его лирическое «я», раскрывается уже полностью, встает во весь рост.

Гидаш-поэт пришел в литературу как сознательный боец коммунистической партии, собиравшей после поражения венгерской социалистической революции 1919 года народные силы для нового натиска на угнетателей. В его смелой, темпераментной лирике начала двадцатых годов — песнях и маршах (многие из них до сих пор поются в Венгрии) — зазвучал мужественный голос венгерского пролетариата, который понес тяжелый урон в дни белого террора, но не пал духом и встречал будущее во всеоружии сурового политического опыта, готовый к борьбе. И, вставая на новые битвы, венгерский пролетарий протягивал братскую руку крестьянину, обращался со словами ободрения и надежды к рабочим других стран, к угнетенным народам колоний.

Таким — поэтом-борцом, поэтом-агитатором — и узнали Гидаша в Советском Союзе, где стихи его не раз печатались в двадцатых—тридцатых годах и позже, после войны. Но только теперь, в «Избранном», где около половины всех стихов публикуется на русском языке впервые, перед нами широко раскрылся внутренний мир этого большого, чуткого поэта, которого глубоко ранит всякая несправедливость, всякое унижение человека.

Еще в самом первом сборнике, «На земле контрреволюции», где трагическое воспоминание о поверженной пролетарской диктатуре переплетается с уверенностью в возмездии, раздавался требовательный вопрос, стон окровавленной души:

...доколе еще будет человек
себе подобных угнетать,
доколе?!

(«В вечерний час...». Перевод Л. Мартынова)

Гидаш и теперь — прежний боец, но словно бы умудренный жизнью, ставший восприимчивее, тоньше, человечней. Воля, мужество его не ослабли, но сердце и «каждая клетка тела» несут боль израненного войной и фашизмом человечества. Гидаш сам говорит: «стать поэтом» — значит вместить не только радость, но и «все человеческие огорченья» («Теперь и сам скажу...»). А это нелегкое бремя: душевные раны не скоро заживают, и стихотворения Гидаша порой потрясают напряженной глубиной чувства, скорбной силой образных ассоциаций («Чьи кулаки...», «Бойня», «Видение» и другие).

И, плача, я хватаю за рога
мои бодающиеся воспоминанья,
я волоку на бойню их, пока
не разорвалось сердце от страданья.
И за ударом падает удар,
и предо мною, вскакивая с ревом,
они хрипят в беспамятстве, и пар
их застилает облаком багровым.
И вот, на крючьях подняты вдали,
Они висят, качаясь еле-еле,
и морды их волочатся в пыли,
и слезы на глазах застекленели
И буря поднимается во мне,
и от рыданий вздрагивают веки,
и плачу я, истерзанный вдвойне,—
навеки окровавленный, навеки...

(«Бойня». Перевод Н. Заболоцкого)

Но в мучительном борении покоряет сила несогнувшейся души. Перед нами — страдания сильного человека, возмужание коммуниста. Да, построить новый, справедливый мир, переделать человеческое общество оказалось не так просто, как мечталось на заре юности. Беспечную юную веру, едва она расцвела, постиг жестокий удар: падение Венгерской коммуны. Пришли и другие, новые удары... Сколько лет уже миновало, а слезы на земле все еще льются («Легка слеза людская...»). Но из веры, юношеских порывов выросло мужественное убеждение.

«Это — зрелая, мужественная лирика, исполненная трудной внутренней борьбы, забот, сомнений, но в конечном счете — несокрушимой уверенности», — отмечает венгерская критика. И никакие испытания не могут подавить уверенность поэта, заставить поступиться тем, что делает его человеком, заслонить прекрасный лик будущего и загасить радость борьбы за него. Об этом с вдохновенным убеждением говорит стихотворение «Спрашивал закаты...»

или «Эпилог» — присяга высоким идеалам.

О нет. не умру я,
покуда,
очнувшись от боли
опасной,
душа, как великое
чудо,
наш мир не полюбит
прекрасный.
Покуда великое слово,
в полотнище рея
багровом,
наш мир не окутает
снова
счастливым весенним
покровом
Покуда скала Эвереста
не скажет с вершин
Гималаев:
«Нет в мире прекраснее
места.
чем наша земля
молодая!..»
И если б в видения эти
не верил доныне я
страстно —
напрасно я жил бы на
свете,
напрасно, напрасно,
напрасно!

(«Эпилог». Перевод Н. Заболоцкого)

В поэзии Гидаша коммунистическое—это всегда человеческое и человечное, общественное — это глубоко личное. Венгерская пролетарская революция 1919 года, расцветающая Советская страна, страдающая под игом фашизма Венгрия — это все его собственное сердце, ликующее или обливающееся кровью. Трудно, пожалуй, найти зарубежного поэта, который с такой радостной и светлой непосредственностью произносил бы слова любви к своей второй, советской родине («Новый год», «Москва», «Севастополь»).

Критик невольно станет в тупик: любовная это лирика или гражданская?.. Обычные определения оказываются бессильными — здесь слито и то и другое. Точно так же сыновняя скорбь по убитым фашистами матери и отце не отделима от тяжкой муки патриота, боли за поруганную Венгрию. Это и придает циклу «Сад моей тетушки» патетическую силу, которая ставит его вровень с лучшими образцами венгерской антифашистской лирики. И даже если сейчас иная строка прошлых лет прозвучит, может быть, для нашего уха «зарифмованным лозунгом», вспомним, что она писалась, когда и простая политическая истина несла огромный эмоциональный заряд, была для проснувшихся к сознательной жизни масс живым образом, затмевавшим всякую литературу...

Из нерасторжимого ощущения личного и общественного рождается, в частности, особенность образного ви́дения мира у Гидаша. Она свойственна еще венгерской народной поэзии, характерна для Петефи и Ади. Это — «очеловечение» природы, окружающего или наоборот — метафорическое «овеществление», материализация собственных переживаний.

Примеров можно найти много. Закат, «бьющий по щекам растерянную высь», когда «кровь облакам бросается в лицо, и мысль, раздавленная, корчится от боли...» («В вечерний час...»); алая вишня, удержавшаяся среди заиндевелых веток, словно человеческое сердце, не угасшее в снежных бурях жизни («Вишня»); ночное море, несущее на себе трепетный отблеск «вечных людских мечтаний» («Сверху, с неба...»).

Образы Гидаша и на русском языке сохраняют свою напряженную выразительность: переводы в «Избранном» в общем удачны. Поэтическим мастерством и эмоциональной верностью оригиналу в особенности отличаются переводы Н. Заболоцкого, Л Мартынова, А. Суркова, Н. Тихонова, а также Д. Самойлова, Б. Слуцкого, В. Корчагина.

Внешняя форма стихов Гидаша порой разорванна, дисгармонична, ритмы прерывисты. Он сам говорит об этом:

Я — взорванная гора
взбудораженной
африканской земли
где щетинятся скалы
в дыму и в пыли
как готовые к залпу
арабы.

(«Ты сказала, в стихах моих...» Перевод Л. Мартынова)

Но в его глубоко драматической поэзии заложена своя внутренняя гармония В ней во весь рост встает цельная натура коммуниста, которому «ничто человеческое не чуждо». В ней звучат разные струны нашей бурной эпохи и в то же время — ее главная, путеводная идея. Как в большом музыкальном произведении, и в симфонии этой нелегкой человеческой жизни есть свое эмоциональное единство, свой героический лейтмотив. И этот связующий личное и общественное лейтмотив — борьба за счастье человечества, в которой нет покоя, но в которой — настоящая полнота жизни и духовная молодость.

Почти полвека творчества — большой путь, и вышедший на русском языке двухтомник — это уже некоторый итог. Немало сделано и пережито. Немало отдано сил, душевного огня. Хватит ли его и на будущее? Удастся ли и сегодня сказать новое, принести его родине после возвращения, о котором столько мечталось?.. Это понятное беспокойство немолодого уже поэта звучит во многих стихах последнего цикла «Возвращение».

Но светлая, молодая уверенность опрокидывает злые тревоги («Старость», «Ручей», «Юным»). И нам, кому близки труды и заботы братской венгерской литературы, радостно видеть ее революционного ветерана в общем строю, черпающего на родине новые силы.

Роман «Мартон и его друзья» (1959), в котором нашли свежее художественное продолжение сатирическая и лирико-романтическая линии «Господина Фицека». Переводы советских поэтов Новые боевые стихи в газете «Непсабадшаг» на жгучие международные и венгерские темы..

Жизнь идет вперед, и юный сердцем поэт продолжает борьбу своей молодости за тот день, «когда весь род людской найдет весну освобожденья».

О. Россиянов

История одной жизни

Сюльви Кекконен. Амалия. Повесть. Перевод с финского Владимира Богачева. Послесловие Геннадия Фиша. Москва, Издательство иностранной литературы, 1960. 207 стр.

Подробно и неторопливо, просто и задушевно ведет свой рассказ о судьбе Амалии Ээвала, хозяйки «самостоятельной» крестьянской усадьбы, финская писательница Сюльви Кекконен. Но спокойные, нередко нарочито обыденные слова не снижают, а скорее подчеркивают скрытую напряженность внешне размеренного повествования: судьба Амалии глубоко типична для тысяч середняцких хозяйств Финляндии наших дней, типична развертывающаяся в повести жизненная драма героини.

Одинокая могучая сосна с подрубленными корнями у развилки дорог — этот образ в романе становится как бы символом. Корни самого существования Амалии, подобно корням одинокой сосны, подточены, подрублены, безжалостно изъедены губительной «властью земли», властью частной собственности. Подобно старой сосне, обречено на медленное умирание хозяйство Амалии.

Основное содержание жизни Амалии — труд. «Работать на совесть — вот это Амалия понимает. От работы она никогда не отлынивала: помогала на конюшне и в хлеву, да и с домашними делами неплохо управлялась...»

Кекконен показывает духовное богатство этой костлявой женщины со шрамом на лбу. Амалия замкнута, немногословна. Кипящие в ней чувства словно стиснуты железным обручем строгого религиозного воспитания и суровой жизни. За всем этим, подчеркивает писательница, скрывается твердая воля, щедрое сердце, способность тонко чувствовать и беззаветно любить Но страшная власть собственности искалечила и опустошила ее душу.

Из-за фанатичной преданности *своему* куску земли, *своему* хозяйству Амалия постепенно теряет привязанность горячо любимого мужа, бывшего батрака Таави. Имение становится между нею и Таави, болезненно ощущающим свое «низкое» звание. «...Ограда разделила их. По одну сторону — хозяйка со своим домом, по другую — батрак». Гибель Таави на войне, изнуряющей и разорительной для народа, обрывает развертывающуюся между супругами драму.

Имение разделяет и мать с сыном. Антти, «этот любимый, желанный, единственный сын», женившись, оседает на той самой земле, от которой в начале самостоятельной жизни он уходил в поисках другого пути. Став хозяином материнского имения Ийккала, он забирает бразды правления в свои руки, вынуждая мать уехать в Хельсинки. Там, в чуждой городской обстановке, Амалии предстоит вести домашнее хозяйство в семье брата.

Ненавязчиво, всей логикой развития образа, Кекконен подсказывает читателю, что Амалия, покинув усадьбу, в которой она родилась и выросла, которой она отдала лучшие силы своей души, вряд ли перенесет «пересадку» на чужую почву. В самый страшный для героини миг, когда она осознает необходимость отъезда в Хельсинки, даже старая сосна словно отказывает ей в поддержке. На миг она представляется Амалии страшным, губительным облаком: «...Теперь дерево похоже на столб дыма, что поднимается из земли, вырастая в черное облако, губительное облако, сотрясающее землю...»

Трагедия Амалии усугубляется тем, что, несмотря на все усилия, хозяйство Ээвалов постепенно клонится к упадку. Пусть в имении появилась новая сельскохозяйственная машина, пусть больше не нужен молочный сепаратор — после утренней дойки молоко на приемный пункт увозит грузовик, — пусть ежедневно по гладкому шоссе линейный автобус доставляет газеты и почту — все эти новшества не могут спасти хозяйство Амалии и ее сына от постепенного разорения под нажимом подлинного хозяина страны — монополистического капитала.

Повесть Сюльви Кекконен открывает одну из важных и актуальных страниц современной жизни Финляндии. Глубоко прочувствованная и талантливо написанная книга безусловно не останется не замеченной советским читателем.

И. Марцина

Радость открытия большого поэта

Орхан Вели. Для вас. Стихи. Перевод с турецкого и вступительная статья Р. Фиша. Москва, Гослитиздат, 1961. 144 стр.

Впервые имя Орхана Вели советские читатели узнали недавно — несколько его стихотворений вошло в небольшую антологию современной турецкой поэзии, выпущенную Издательством иностранной литературы в 1959 году. Этот поэтический голос показался тогда удивительно мудрым и в то же время каким-то очень свежим, задорным, молодым. И вот теперь, когда стихи Орхана Вели, умершего несколько лет назад в нищете на больничной койке в Стамбуле, изданы в русском переводе отдельной книжкой, убеждаешься в правильности первого впечатления. Да, Орхан Вели — поэт самобытный, большой, настоящий поэт.

Младший собрат и ученик Назыма Хикмета, один из обновителей демократической поэзии Турции, он немного успел написать за свою короткую жизнь, но сделанное им несомненно станет — и уже становится — достоянием не только турецкой, но и всей революционной поэзии середины двадцатого века.

С творческой биографией поэта знакомит вступительная статья. Р. Фиш интересно рассказывает о пути, пройденном Орханом Вели,— от бунтарства «вообще» и дерзкого вызова всему старому до политически зрелого протеста, до органического слияния личного и гражданского начал.

Читаешь стихи Орхана Вели — и ощущаешь радость открытия. Поэт радует свежим взглядом на самые привычные, порой обыденные вещи, в каждом стихотворении — свой неожиданный поворот, свой ход, свой нерв. Это касается и хлестких сатирических строк поэта, и его философских или пейзажных миниатюр, и его любовной лирики.

Ради отечества что мы
только не делали:
Кто головы сложил,
Кто речи говорил.

В этих трех строках, составляющих стихотворение «Все ради отечества», прием наглядно обнажен: поэту не нужны словесные хитросплетения, изысканные метафоры, броские эпитеты, весь секрет неожиданности этих строчек — в поэтической интонации, в наигранном простодушии язвительной народной шутки. Находки поэта идут от умения зорко вглядываться в существо социальных отношений, от пристального внимания к современной жизни; парадоксы, свойственные Вели, говорят не о пристрастии поэта к остранению привычного, а о том, насколько нелепа и парадоксальна сама эта жизнь, абсурдны те ситуации, в которых каждодневно оказываются друзья и современники поэта, трудовые люди Турции. К этим людям и обращено все его творчество.

Название книге дало стихотворение «Для вас» — своего рода поэтический манифест Орхана Вели. Вначале автор перечисляет самые разные приметы действительности, сталкивая понятия разных логических рядов и создавая впечатление многообразия жизни, ее сумбурности. А потом, почти незаметно, вплетаются интонации многозначительно тревожные — и вдруг резкий переход к трагизму, к обобщению высокого социального накала.

Для вас
и ноги почтальона,
для вас
и руки водоноса,
и пот со лба,
и пули в лоб...

Почти всегда Вели идет от детали — пейзажной, портретной, психологической — к обобщению, емкому, предметному по своему существу, хотя иногда подаваемому в шутливой или в трагически парадоксальной форме. Вот, например, «Дырявые стихи»:

Дырявый жилет,
дырявый кафтан,
Дырявый рукав,
дырявый карман,
Дырявый подол,
дырявый халат.
Да разве ты решето,
мой брат?

А вот несколько иной рисунок, иной путь движения мысли-образа:

Если откос, по которому
с фабрики
Мы после работы
бредем домой,
В мире загробном
не столь крутой,
То и смерть — неплохая
штука.

Стихи Орхана Вели лаконичны; поэт экономен в выразительных средствах, что, впрочем, прекрасно уживается у него с патетикой чувств, которая особенно впечатляет, когда она, словно вопреки воле поэта, вырывается из тисков словесной краткости. Многообразны конкретные поэтические решения, к которым приходит Орхан Вели, но един и целен образ лирического героя, проходящий через всю книгу,— мятущийся и влюбчивый поэт, шутник и бунтарь, зоркий наблюдатель, который оставаться простым наблюдателем не умеет.

Р. Фишу, переводчику стихов Вели, предстояло передать в русских стихах прихотливое движение свободного стиха, того многоликого «вер-либра», к которому так часто обращаются в наши дни поэты на Западе и на Востоке. Этот стих, с его кажущейся свободой от ритмических и прочих формальных канонов, на самом деле подчинен своим внутренним закономерностям. Его сложный ритмический рисунок, свободно рассыпанная рифма, подчеркнутая прозаичность на поверку оказываются лишь иной формой поэтичности.

Думается, что Р. Фишу в целом удалось найти правильное решение. Стихи Орхана Вели звучат по-русски естественно, разговорная интонация передана с чувством меры, нет назойливой стилизации лексики «под Восток», форма стихов помогает ощутить и то национально-неповторимое, турецкое, что живет в поэзии Орхана Вели, и то близкое и понятное всем людям, что выражается словами «боль», «гнев», «любовь», «человечность» и — такими дорогими для Орхана Вели словами — «день настанет!»

М. Ваксмахер

Рассказы Станислава Лема

Станислав Лем. Вторжение с Альдебарана. Научно-фантастические рассказы. Перевод с польского. Москва, Издательство иностранной литературы, 1960. 235 стр.

В след за романами «Астронавты» и «Магелланово облако» в русском переводе появился сборник рассказов Станислава Лема. Советский читатель теперь получит более полное представление о творчестве этого интересного польского писателя.

Лем — мастер научно-фантастического жанра. Увлекая читателя описанием чудес техники будущего, покоряя его смелой и неистощимой «звездной» фантазией, ведя его сквозь многочисленные захватывающие приключения, он ни технику, ни фантазию, ни приключения никогда не делает самоцелью. Главное для Лема — человек, его торжествующий разум; ко всему, что враждебно разуму, Лем беспощаден.

Разуму уже давно противоречит капиталистическая собственность — и Лем предает ее осмеянию в открывающем сборник рассказе «Существуете ли вы, мистер Джонс?», выбирая для этого парадоксальную «научно-фантастическую» ситуацию. Некая американская электронная компания по суду требует признать за ней право собственности на... автомобильного гонщика Джонса: дело в том, что компания постепенно заменила кибернетическими протезами все органы мистера Джонса, потерявшего их во время многочисленных автомобильных катастроф. Но гонщик не рассчитался с компанией — и она хотела бы в возмещение убытков «разобрать» его на части... Научно-фантастический рассказ приобретает черты острого политического памфлета.

Совсем иные, героические, ноты звучат в рассказах «Испытание» и «Альбатрос». В первом из них молодой астронавт Пиркс, чудаковатый и нескладный, столкнувшись со смертельной опасностью, ведет себя как герой, а его самоуверенный и самодовольный товарищ не выдерживает испытания. Традиционная тема несоответствия внешнего облика и внутреннего содержания человека очень своеобразно выглядит на «космическом» фоне, особенно в сочетании с совершенно неожиданной концовкой.

Во втором рассказе экипаж космического корабля, потерпевшего серьезную аварию, гибнет, до конца выполняя долг, не уронив человеческого достоинства.

Вера в Человека, гордость за него — вот что составляет главную силу этих двух превосходных рассказов.

Особо следует выделить рассказы «Вторжение с Альдебарана», «Друг», «Вторжение». В них Лем, иронически осмысливая ультрапессимизм буржуазной научно-фантастической литературы, пародирует произведения тех американских писателей, которые одинаково мрачно расценивают возможности «мирного сосуществования» жителей разных планет или человека и созданных им «мыслящих» машин, не верят в познаваемость Вселенной.

В последнем рассказе сборника, «Exodus», звучит ненависть Лема к поджигателям новой войны, писатель вместе со своими героями отказывается считать их людьми. Они — лишь извращенное подобие людей, злая и подлая выдумка притаившихся где-то в космосе врагов человечества, мечтающих вызвать на Земле междоусобную войну, чтобы потом захватить нашу планету. И если можно спорить с лемовской концепцией «межпланетных отношений», то его благородного беспокойства за судьбы «землян» оспорить нельзя.

Лем — писатель, много и напряженно думающий, ищущий, непрестанно стремящийся вперед. У нас есть все основания ждать от него не только новых произведений, но и новых ярких мыслей о путях и судьбах людей сегодняшнего и завтрашнего дня.

Г. Рабинович

Вышли в свет

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Арагон, Л. Неоконченный роман. Эльза. Поэмы. Перевод с французского М. Алигер. 352 стр.

Брехт, Б. Дела господина Юлия Цезаря. Фрагмент романа. Перевод с немецкого В. Курелла. Предисловие И Фрадкина. 310 стр.

Вежинов, П. Вдали от берегов. Повесть Перевод с болгарского Н. Попова. Редактор В. Острогорская 219 стр.

Гечко, Ф. Святая тьма. Роман. Перевод со словацкого Б Петровой Предисловие Э. Олоновой. 208 стр.

Го Мо-жо. Стихи о цветах. Перевод с китайского А. Гитовича. Составление. общая редакция и примечания В. С. Колоколова. С рисунками китайских художников. 83 стр.

Года, Г. Паноптикум. Избранные сатирические рассказы. Перевод с венгерского Е. Бочарниковой. Предисловие Л. Ленча. 558 стр.

Зегерс, А. Решение. Роман. Перевод с немецкого Послесловие Т. Мотылевой 652 стр.

Кадарэ, И. Лирика. Перевод с албанского под редакцией и с предисловием Д. Самойлова. 119 стр.

Лендьел, Й. Беспокойная жизнь Ференца Пренна, или Стрелки указывают будущее. Роман Перевод с венгерского Э. Керекеш. Послесловие А. Гидаша. 302 стр.

Моэм, В. С. Дождь. Рассказы. Перевод с английского Предисловие Дж. Олдриджа 432 стр.

Отеро Сильва, М. Мертвые дома. Роман. Перевод с испанского Э. Люберецкой и А. Морова. 105 стр.

Пиллэ, Т. Ш. Креветки. Роман. Перевод с малаялам Чандра Секара и А. Сиповича. Послесловие Чандра Секара. 208 стр.

Понс, М. Башмачник Аристотель. Роман. Перевод с французского Л. Галинской и О Граевской. Предисловие Ю. Уварова. 242 стр.

Рид, А. В. Мифы и легенды страны Маори. Перевод с английского С. Серпинского. Предисловие В. Бахты 104 стр.

Хан Сер Я. Тэдонган. Роман Перевод с корейского Е Те. Предисловие Д. Усатова. 313 стр.

Харпер, Ф. Земля гончаров. Роман. Перевод с английского В Грибанова. Предисловие Н. Лопырева. 287 стр.

Хемингуэй, Э. За рекой, в тени деревьев. Роман. Перевод с английского Е. Голышевой и Б. Изакова. Предисловие Е. Литошко. 213 стр.

Издано за рубежом

Наследие великого сатирика

Radko Pytlík—Miroslav Laiske. Bibliografie Jaroslava Haška, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1960.

Перед составителями библиографии Ярослава Гашека стояли задачи особой сложности.

Авторы не имели возможности просто собрать и расположить по намеченной схеме напечатанные, известные и кем-то уже однажды учтенные произведения Гашека. Крупнейший сатирик нашего времени, творчество которого получило мировое признание, не был допущен у себя дома в «большую литературу». Официальные круги буржуазной Чехословакии не устраивали ни его творчество, ни тем более тот факт, что после Великой Октябрьской социалистической революции Гашек стал коммунистом и сражался в рядах Красной Армии против международной контрреволюции, в том числе и чехословацкой.

Буржуазная критика замалчивала произведения «красного комиссара», стремилась всячески опорочить Гашека в глазах читателей. Его творчество квалифицировалось как «внелитературное чтение». «Похождения бравого солдата Швейка» были изъяты из военных и школьных библиотек. А сам автор изображался «гулякой праздным» и «бездельником».

В народно-демократической Чехословакии произведения Гашека получили всеобщее признание. Но собирание, систематизация и изучение его наследия еще долгое время отставали от все растущего интереса к нему со стороны читателей. Не случайно поэтому газета «Руде право» писала в 1948 году: «Мы в долгу перед этим гениальным человеком».

Гашек сотрудничал чуть ли не во всех пражских и провинциальных периодических изданиях, а во время пребывания в России — в многочисленных фронтовых газетах Сибири. Чтобы «выловить» его произведения из этого моря периодической прессы, нужно было пересмотреть сотни различных газет и журналов по меньшей мере за двадцать лет

Кроме того, писатель пользовался большим количеством псевдонимов (свыше ста). Установить принадлежность ему того или иного псевдонима было не легким делом. Тем более что Гашек никогда не оставлял черновиков своих рукописей (вернее, вовсе не имел их) и никогда не вел никакого учета того, что писал и печатал. Долгие годы кропотливейшей исследовательской работы понадобились Р. Питлику и М. Лайске, чтобы преодолеть эти трудности

В их книге впервые творческое наследие Гашека систематизировано почти в полном объеме и — что не менее важно — довольно точно определены границы материала, оставшегося ненайденным.

Не бездельником, а великим тружеником предстает Гашек перед читателями, автором около 1200 рассказов, статей и фельетонов, романа «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны», повести «Бравый солдат Швейк в плену», обширной «Истории партии умеренного прогресса в рамках закона» (47 глав), двух пьес и нескольких коротких театральных представлений. Гашеком был издан ряд сборников: «Бравый солдат Швейк и другие удивительные истории», «Хлопоты пана Тенкрата», «Моя торговля собаками», «Две дюжины рассказов», «Трое мужчин с акулой» и другие.

Беднее представлена в книге критическая и мемуарная литература о писателе. Есть некоторые пробелы, неточности и в перечислении и наименовании русских изданий Гашека. Но это частности.

Полнота собранного материала, удачное его расположение по хронологическому принципу, обзор ненапечатанных произведений, газет и журналов, в которых сотрудничал Гашек, переводов его произведений на иностранные языки, перечень псевдонимов — все это делает «Библиографию» незаменимым пособием для исследователей творчества замечательного сатирика.

С. Востокова

Дорогами Европы?

F. Oyono. Chemin d'Europe. Paris, Julliard, 1960.

«Дорога Европы» — так называется новая книга камерунского романиста Фердинанда Ойоно, знакомого нашим читателям по повести «Старый негр и ме-

даль».* «Дорога Европы» — роман странный, гротескный. Злой памфлет? Да, но на кого же?.. Прежде всего на европейцев, которые, захватив Африку, не только наживались на ее нищете, но и вносили в жизнь ее дух наживы и корысти. «Африка обуржуазивается» — эта фраза романа, быть может, ключ к этим зарисовкам грязного, уродливого камерунского захолустья, каким оно было лет 15 назад. Ирония Ойоно относится не только к европейцам, но и к африканцам в той мере, в какой колонизаторы наложили на них свою печать. Острые бытовые картинки складываются в образ обесчеловеченной Африки.

Жажда наживы становится в этом захолустье единственной и страшной одержимостью бедняка африканца; Варнава, от имени которого написана книга, униженный своим положением «черного», хочет лишь одного — разбогатеть.

Большинство африканских романов показывают, как преодоление «комплекса неполноценности» шло у молодежи через бунт. В книге Ойоно Варнава (а он сам откровенно не причисляет себя к «честным») видит возможность преодолеть унижение только в подражании белым. «Я чувствовал к Франции такую любовь, как будто был французом в предыдущей жизни». Бедняк, выгнанный из семинарии (но отнюдь не за бунтарские взгляды), он одержим одной мыслью — уехать во Францию, там, на «дорогах Европы» выбиться в люди, и если уж вернуться в Африку, то человеком с положением. Достойный ученик тех европейцев — администраторов, коммерсантов, авантюристов,— которых этот молодой африканец видел в колониях.

Описывая попытки Варнавы отыскать средства для поездки во Францию, Ойоно рисует отвратительные образы того «дома», из которого бежал Варнава.

Страшная Африка. Француз Грюше, трус, во время войны развратничавший в туземных кварталах. Его маленькая дочь, соблазненная учителем-аббатом. Школьники, которых секут учителя-садисты. Омерзительный, выживший из ума старик, вождь племени. Рынок: в глубине палаток — постели, где женщины платят натурой. Святой отец, расспрашивающий негритянок на исповеди, как именно они спят с мужьями, и обучающий их таким образом европейским приемам любви. Заезжие африканисты, падкие до экзотики, жаждущие дикарей, обрядов, обезьян, женщин. «Отель де Франс»: карикатурная толстая француженка хозяйка с отвисшими ляжками и не менее карикатурное трио старых, поседевших на службе черных слуг, более двадцати лет непрерывно снующих между баром и кассой. Сам Варнава, опустошенный, злой насмешник, подобострастный с чиновниками, заядлый бездельник, который, очутившись без работы, целыми днями сидит в хижине, созерцая пауков и тараканов.

Наконец, Яунде, центр Камеруна — «безжизненные дома, напоминающие гигантские могилы некрополя», «автобус, похожий на труп слона». Нелепые пассажиры автобуса, неожиданно сующие Варнаве тысячефранковые билеты на поездку во Францию, принимая его за богом избранного пророка или хотя бы за будущего начальника. Унизительная, страшная сцена в кабачке «для белых»: при виде негров, Варнавы и его спутника,— всеобщее оцепенение, наэлектризованное, напряженное молчание; «...никогда еще,— вырывается у Варнавы,— существование не причиняло мне подобного шока».

Страшный мир! Единственное светлое пятно — мать, молодая, несчастная, которая самоотверженно гонит водку, чтобы набрать денег для бездельника Варнавы. Страшный мир, созданный европейцами и поддержанный теми камерунцами, которые его терпели. Но других в романе Ойоно нет. Мы расстаемся с Варнавой, когда он уезжает во Францию своей мечты.

Как нужно понять образ Варнавы? Что это — начало предателя, «воспитание» которого довершится в Париже? Или иллюзии юноши, которые разобьются на дорогах Европы?

Следующая книга Ойоно, анонсированная издательством Жюллиар, должна носить мрачное название «Пандемониум». Относится ли это заглавие к Европе, к Западу, путями которого пройдет Варнава и прошел сам Ойоно? Тогда это отбрасывает обратный свет и на замысел романа «Дорога Европы», означая, что от страшного захолустья Камеруна молодой африканец придет в еще гораздо более страшный мир Европы. Не стоит гадать.

Но возникает и еще один вопрос, обращенный уже не к Варнаве, а к самому автору. Что порождает эту гротескную мрачную прозу Ойоно — щедринская горькая злость патриота, видевшего, как испоганили его любимую родину? Или, может быть, известный скепсис человека, который создает в романах мир, где нет людей, а только белые и черные химеры колониализма? Ответом должны стать следующие книги талантливого камерунского романиста.

Название «Дорога Европы» может, однако, иметь и еще одно, более широкое подтекстовое значение, далеко перерастающее судьбу Варнавы. Пойдет ли Африка дорогами Европы, Запада, дорогами капитализма? Это огромный вопрос, остро стоящий сейчас, когда страны Африки выбирают свои пути. И на этот вопрос, думается, роман Ойоно дает недвусмысленный ответ — такой путь внушает ужас мыслящим африканцам.

Е. Гальперина

---

* См. «Иностранную литературу», № 12, 1957 г.

«Дневник» братьев Гонкур

Jules et Edmond Goncourt "Journal". L'Imprimerie Nationale de Monaco, 1959.

С выходом двух последних томов «Дневника» братьев Гонкур завершено их полное издание.

У «Дневника» длинная история.

Писатели начали заносить свои впечатления в особую тетрадь начиная со 2 декабря 1851 года. Это был рассказ о событиях в стране, запись разговоров, которые они вели, либо описание фактов из их повседневной жизни. Вплоть до самой смерти в 1870 году эту обязанность почти ежедневно исполнял Жюль, а после него Эдмон. Позднее он назвал «Дневник» самым значительным из всех произведений, под которым стоит подпись обоих братьев.

Все издание состоит из 22 томов, им предшествуют три тома биографии, написанной французским писателем Андре Бийи, ныне одним из десяти членов Гонкуровской академии, основанной по завещанию писателей.

При жизни Эдмона было осуществлено лишь частичное, девятитомное, издание «Дневника», содержащего, по определению писателя, «приятную правду». Он подчеркивал, что «абсолютная правда» находится в неизданной части, которая имеет куда большее значение, но будет опубликована только спустя двадцать лет после его смерти. Братья Гонкур справедливо опасались, что если полный текст «Дневника» станет общественным достоянием сразу же после их смерти, то найдутся очевидцы описанных ими событий или их потомки, которые будут шокированы тем, что прочтут на его страницах.

Но это пугало не только Гонкуров. Эдмон умер в 1896 году, и издание полного текста «Дневника» было намечено на 1916 год. Однако в этот год министерство просвещения Франции воспротивилось его публикации. Запрет был подтвержден и пять лет спустя под предлогом, что подобное произведение может поколебать «общественный порядок». «Дневник» еще многие годы пролежал в шкафах Национальной библиотеки в Париже. И только после целого ряда громких процессов Гонкуровская академия получила, наконец, возможность предпринять полное его издание.

«Дневник» полон живых документов, из них авторы черпали затем все необходимое для своих романов. Именно эта масса документов и делает «Дневник» незаменимым источником сведений об эпохе и о живших тогда людях.

В центре событий, конечно, сами Гонкуры. Это дает возможность составить ясное представление о среднем буржуа и о том, как он мог реагировать на важнейшие события своего времени.

Чрезвычайно ценны для истории литературы Франции определения того нового искусства (натурализма), которое Гонкуры стремились утвердить в своем творчестве и многочисленных эпигонов которого можно найти во французской литературе и сегодня.

«Нынешний роман,— писали они в «Дневнике»,— делается на основании устных документов или действительных происшествий, подобно тому как история — на основе написанных документов. Историки рассказывают о прошлом, писатели— о настоящем».

Сколько бы ни писали Гонкуры в «Дневнике» о том, что они «интересовались только литературой, а не политикой», они никогда не оставались пассивными перед лицом общественных событий, к которым проявляли столь же страстное внимание, как и к литературным.

Первые записи «Дневника» совпадают с первыми днями переворота Луи Бонапарта. Они относятся, быть может, к самому смелому из того, что когда-либо было написано братьями: «...В день страшного суда, когда все души будут доставлены на суд огромными ангелами... когда бог, наш отец, с большой белой бородой... спросив меня сначала, что я делал, задаст вопрос о том, что я видел, иначе говоря, о событиях, участником которых я стал как зритель, он, вероятно, спросит затем меня: «О ты, создание, которое я сделал гуманным и добрым, не видел ли ты случайно бой быков или пять огромных голодных догов, раздирающих на части старого худого и тощего осла?» — «Увы, нет, о господи,—скажу я ему,—я видел худшее. я видел государственный переворот».

В этих, написанных в декабре 1851 года, строках мы ощущаем перо памфлетистов, почти таких же острых, как Виктор Гюго в «Истории одного преступления».

18 брюмера «Наполеона Маленького» встречено Гонкурами враждебно. Их враждебность не иссякала и все последующие двадцать лет, хотя карьера братьев Гонкур была сделана при империи. В одном месте они пишут о «цезарианском социализме империи», в другом — рисуют такую картину: «Сегодня у нас демократическое правительство с легендарным императором наверху и с принципами 1789 года, культом и обожествлением личности, церковью, лижущей сапоги Цезаря,— внизу! Ужасно и отвратительно!» Гонкурам пришлось неоднократно иметь дело с полицией и судом империи, которые преследовали их за то, что они писали. После снятия по приказу императора их пьесы «Анриетта Марешаль» братья констатируют: «Это действительно трусливое правительство». Тем не менее на основании таких страстных суждений не следует делать вывод, что Гонкуры были либералами.

Отнюдь нет. Достаточно обратиться к их оценке всех крупнейших событий второй половины прошлого века.

Возьмем, к примеру, Парижскую коммуну. Жюль де Гонкур умер в 1870 году. «Дневник» продолжает его брат. Об этом периоде можно найти блестящие, с литературной точки зрения, репортажи, написанные человеком, по-прежнему внимательным к тому, что происходит вокруг него. Но в это же время с особой яркостью раскрываются и политические взгляды Эдмона де Гонкур. Он вторит всякой идущей из лагеря версальцев клевете на Коммуну, на ее бойцов. Он больше печалится о своем пострадавшем от боев саде, чем о сотнях несчастных, расстрелянных версальцами. И хотя в последний день вооруженной борьбы Эдмон и отмечает, что это зрелище «печально», он тут же не упускает случая подчеркнуть свой «ужас перед этими людьми», то есть коммунарами. Цинизм записи, сделанной в «Дневнике» после поражения парижского пролетариата 31 мая 1871 года, вызывает чувство отвращения.

Реакционные настроения у обоих Гонкуров мы находим на всем протяжении их жизни. Их программа — «Полностью отрицать пресловутые блага 1789 года». Поэтому-то Гонкуры пишут, что прогресс «сделал несчастными всех тех, кто имел маленькое состояние», что образование для всех — «бедствие», а стремление женщины из народа дать своему ребенку образование, которого она сама была лишена,— «безумие». Подчас они могут себе позволить немного «благородства» «Вид бедного повергает меня в грусть на целый день», или: «Я мечтал о правительстве, которое постарается уничтожить нищету». Но всю свою жизнь оба остаются консерваторами, которые в 1868 году разрабатывают на будущее программу «элиты мыслящих», то есть «рабства каналий при благодетельном господстве интеллигентной аристократии».

В течение минувшего века имели место и другие события, давшие повод Гонкурам высказать в «Дневнике» идеи, которые они с достойной лучшего применения последовательностью защищали всю жизнь. Например, дело Дрейфуса, разделявшее в течение многих лет Францию на два лагеря. Разумеется, Эдмон не участвует в потасовке. Это противно его темпераменту. Но уже с самого начала капитан Дрейфус является для него «предателем Дрейфусом». Спустя месяц Дрейфус продолжает оставаться в его глазах «негодяем», хотя наедине с самим собой перед чистым листом бумаги, с глазу на глаз с «Дневником» он признает, что офицер — «мерзавец, но в его предательстве я все же не убежден».

Однако говорить, что двадцать два тома «Дневника» братьев Гонкур дают нам возможность лишь составить себе представление о них самих только как о неприятных людях, было бы, конечно, совершенно неверно. Ценность этого произведения определяется в первую очередь тем, что оно является необычайно живой, точной, скрупулезной хроникой литературной жизни Франции за полвека.

Режи Бержерон

Париж

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

На албанском языке, как сообщает газета «Башкими», выходят роман Максима Горького «Фома Гордеев», вторая часть «Поднятой целины» Михаила Шолохова, «Города и годы» Константина Федина и «Братья Ершовы» Всеволода Кочетова.

□

В берлинском издательстве «Киндербух-ферлаг» (ГДР) вышел сборник произведений М. Горького. В этот сборник, по сообщению еженедельника «Зонntаг», включены «Песня о Соколе» и рассказы.

□

Цюрихское издательство «Архе-ферлаг» выпускает серию книг под названием «Горизонт». Первые советские авторы, имена которых появились недавно в этой серии,— Владимир Маяковский и Сергей Эйзенштейн.

Вслед за работой Маяковского «Как делать стихи» «Архе-ферлаг» издало и другое произведение поэта — «Мое открытие Америки», которое газета «Зюддейче цейтунг» называет «немаловажным и интересным путевым репортажем в прозе о поездке в Мексику и Соединенные Штаты, где Маяковский побывал в 1925 году».

□

По случаю 70-летия со дня рождения Д. А. Фурманова болгарский журнал «Септември» опубликовал статью, посвященную автору «Чапаева» и «Мятежа».

«Фурманов — один из первых писателей, рожденных могучим влиянием Великой Октябрьской социалистической революции,— отмечает журнал.— Наряду с Серафимовичем, Бедным и Маяковским, он — один из основоположников советской художественной литературы...

Фурманов — идеальный образец полного слияния творца и революционера. Все его творчество отражает первую в мире социалистическую революцию. Вряд ли есть другой советский писатель, так непринужденно и точно передавший боевой дух Красной Армии, как Фурманов. С каждой страницы его рассказов и романов льется великая романтика революционной борьбы за лучшую жизнь, за человеческое счастье».

«Имя Дмитрия Фурманова,— подчеркивается в статье,— дорого всем прогрессивным читателям. Это имя писателя-революционера, отдавшего всю жизнь, весь свой талант идеям и делу Великой Октябрьской социалистической революции».

Под названием «Фронтовая хроника» румынское Военное издательство выпустило сборник стихотворений Александра Твардовского в переводе И. Мейцою.

«Твардовский является великим мастером стиха,— пишет румынский еженедельник «Контемпоранул».— И корни его мастерства питаются творчеством своего народа. Чувством патриотизма проникнуты все произведения Твардовского... Художественный способ отображения патриотического чувства, его поэзия — совершенно своеобразны».

□

Роман Галины Николаевой «Битва в пути» вызвал многочисленные отклики в Румынии. Литературовед Хория Брату в журнале «Вяца ромыняскэ» определяет роман как одно из значительных произведений современности.

Сюжет книги чрезвычайно сложен. Множество знаний необходимо, чтобы написать подобный роман.

«Битва в пути» — книга о страстном стремлении к новому. В ней раскрывается пафос строителя социализма, восставшего против сил инерции.

Основное достоинство книги Х. Брату видит в том, что ее герои сочетают в себе страсть, дерзновение и настойчивость, особую техническую подготовку, незаурядный организаторский талант.

Значение романа, по словам Брату, заключается в его достоверности. Книга заставляет думать, действовать. В ней — призыв бороться под знаменем партии за коммунизм, бороться настойчиво и уверенно.

□

Две повести молодого прозаика Юрия Бондарева — «Батальоны просят огня» и «Последние залпы» — были недавно изданы в Чехословакии. Посвященные последним дням Великой Отечественной войны, оба произведения тепло встречены критикой. Большую симпатию вызывают у читателей герои повестей — скромные люди, вершащие героические дела.

«Величие и красота героев Юрия Бондарева,— говорится в еженедельнике «Литерарни новины»,— познаются в трагически великой простоте». Отмечая, что именно изображение великого в простом, панорамы в эпизоде и привело советского прозаика к форме повести, еженедельник подчеркивает: «Чешский читатель может выразить Юрию Бондареву свою глубокую благодарность».

„Великие темы повторяются, но они неисчерпаемы,— пишет рецензент чехословацкого журнала «Пламен» в статье, посвященной роману Ю. Бессонова «Восстание» и автобиографической повести Н. Кочина, вышедшей в Чехословакии под названием «Очевидец». Эти произведения советских писателей говорят о том, по мнению автора рецензии, что «тема гражданской войны в современной советской литературе продолжает жить... Эти произведения пополняют наши знания о том историческом периоде».

Несмотря на общность темы, произведения эти являются различными как по форме, так и по принципу подхода к теме, ее разработке и изображению характеров.

Роман Ю. Бессонова, сложный по композиции и сюжетной канве, переносит читателя в далекую Сибирь, когда там властвовал Колчак,— «...для чешского читателя роман особенно интересен тем, что многие его страницы повествуют о чешских красноармейцах».

Прозаиком, обладающим даром своеобразного литературного видения, называет автор рецензии представителя старшего поколения советских писателей Николая Кочина.

Его повесть «Очевидец», действие которой тоже происходит в период гражданской войны в Нижнем Новгороде, основывается на личных воспоминаниях автора, его собственном опыте.

Рецензент журнала «Пламен» особо выделяет характерный для повести народный юмор, естественный, своеобразный и близкий чешскому народу, тонко чувствующему все его нюансы.

□

„Клава Назарова» — книга Алексея Мусатова о жизни советской комсомолки — появилась, по сообщению болгарского еженедельника «Литературен фронт», в книжных магазинах Софии.

Книгу в переводе Првана Стефанова выпустило издательство «Народна младеж».

□

Большой интерес итальянских читателей, как сообщает римская печать, привлекает сборник советских научно-фантастических рассказов, выпущенный издательством Фельтринелли. В сборник вошли 14 рассказов разных авторов, отобранные Жаком Бержье для издания, вышедшего ранее во Франции. В рецензии на сборник, помещенной в литературном приложении к газете «Паэзе сера», критик Берто Дель Бьянко отмечает отличие советской научно-фантастической литературы (самым большим достижением которой он считает «Туманность Андромеды» Ефремова) от американской.

«Советская научная фантастика,— пишет критик,— более считается с наукой и техникой, более реалистична; даже самые смелые догадки и предположения находятся в соответствии с общими законами Вселенной, чему очень часто — и преднамеренно — не следуют американские писатели».

Приветствуя выход сборника, Дель Бьянко вместе с тем критикует принцип отбора Бержье, включившего в сборник некоторые рассказы, не носящие характер научной фантастики, и не представившего в сборнике другие, более характерные произведения советской научно-фантастической литературы.

□

О повести В. Тендрякова «Чудотворная», недавно переведенной на румынский язык, пишет критик М. Шербан в «Газета литерарэ»:

«Уже первые повести Тендрякова, появившиеся в румынском переводе в 1956 году, показали, что писатель не выбирает «проторенные» дороги. И на этот раз в его повести действуют весьма интересные герои». Наиболее удачными критик считает страницы, в которых воспроизведены резкие споры учительницы-коммунистки со служителями церкви.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

«ЗРЕЕТ ВИНОГРАД»

Три девушки-подруги отправились в Южную Австралию на сбор винограда... О том, с чем пришлось им столкнуться, рассказывается в новом романе австралийской писательницы Нэнси Кейто «Зреет виноград», недавно вышедшем в свет.

«Чувство товарищества и радость труда, демократизм и презрение к шовинизму и снобизму, юмор и лиризм — вот что делает эту книгу настоящим произведением искусства»,— пишет в газете «Трибюн» литературный обозреватель Поль Мортье.

В НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

— В предстоящем сезоне национальный австралийский театр «Элизабет тиэтр траст» будет проводить новую репертуарную политику,— заявил директор театра Нийл Хатчинсон корреспонденту газеты «Трибюн».— Театр подготовит сразу несколько спектаклей, объединенных общей темой, но по-разному ее трактующих.

В новом сезоне пойдет нашумевшая в Англии пьеса Шейлы Делани «Вкус меда», драма Тенесси Уильямса «Стеклянный зверинец» и новая пьеса сиднейского драматурга Алана Сеймура «Один день в году».

Основная тема каждой из этих пьес, сказал Хатчинсон, это конфликт между двумя поколениями в Англии, в Америке, в Австралии.

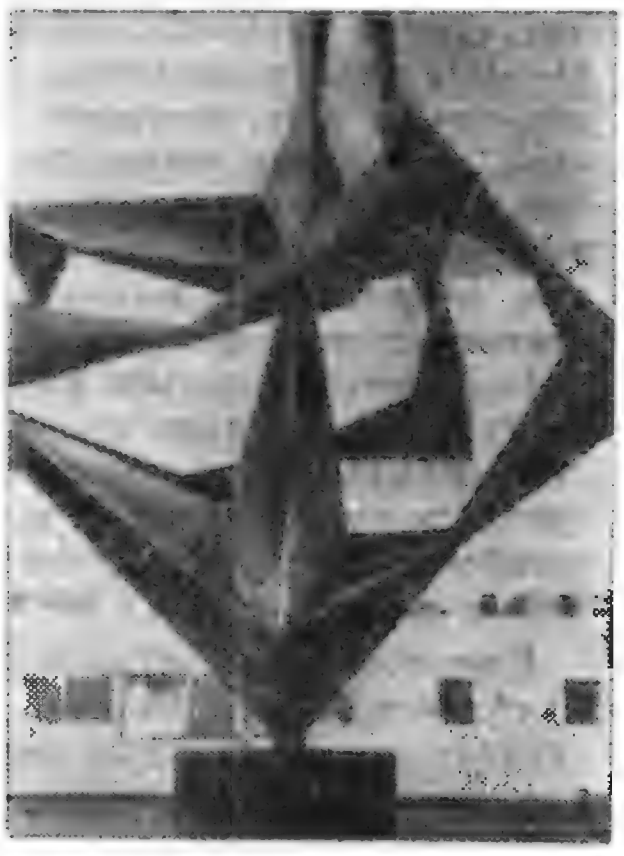
АВСТРИЯ

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ СТАРЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

В последнее время прогрессивная пресса Австрии уделяет много внимания пропаганде среди широкого круга читателей произведений отечественной и зарубежной литературы. Боль-

По замыслу скульптора, это «произведение искусства», украшающее новый Концертный зал в Вене, должно символизировать... восприятие человеком музыки. Однако почему-то далеко не все любители музыки склонны разделять мнение автора скульптуры.

(Газета «Фольксштимме»)



шое место отводится австрийским писателям-классикам.

«Многие десятилетия,— пишет газета «Фольксштимме»,— австрийскую литературу считали «дочерней ветвью» немецкой литературы. В мрачные времена фашизма нацисты пытались некоторых австрийских писателей — в частности, Раймунда, Штифтера и Розеггера — истолковывать как якобы национал-социалистов. А произведения таких классиков австрийской литературы, как Нестрой, Мария фон Эбнер-Эшенбах, и других, которые не удавалось толковать по-своему, фашисты изымали из обращения. Новые издания старых австрийских литераторов, произведения большинства которых и сегодня имеют большое политическое и воспитательное значение, следует всячески приветствовать».

Рекомендуя своим читателям лучшие произведения современных авторов — борцов за мир, за новый общественный уклад, за светлое будущее человечества, газета «Фольксштимме» выступает против бульварной литературы.

ВЫСТАВКА БОЛГАРСКОГО ИСКУССТВА В ВЕНЕ

В здании венского этнографического музея была устроена выставка «2500 лет болгарского искусства».

Газеты Вены уделяли выставке большое внимание.

АЛЖИР

«На собрании профсоюза сельскохозяйственных рабочих в Алжире». Рисунок французского художника Бориса Таслицкого.

(Еженедельник «Франс-нувель»)

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В ТЮРЬМЕ

Еженедельник «Франс нувель» опубликовал поэму «Альбану Лихти» алжирского поэта и журналиста Буалема Хальфы, члена ЦК Алжирской коммунистической партии. Это произведение, проникнутое чувством братства к французскому народу, посвящено французскому солдату Альбану Лихти, отказавшемуся сражаться против алжирских патриотов.

«Стихи Хальфы, проникшие к нам из тюремной камеры, необычайно дороги для нас,— пишет «Франс нувель»,— их автор говорит о том же, о чем мы не перестаем говорить с самого начала этой бессмысленной войны. Неразрывные братские узы связывают с Алжиром ту Францию, которая борется за мир, за равноправие рас, за освобождение колониальных народов. Колониалисты убивают и посылают на каторгу наших алжирских братьев и подвергают преследованиям тех французов, которые открыто выражают солидарность с ними».

АНГЛИЯ

МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ — ПРОТИВ АТОМНОЙ ВОЙНЫ

Все шире и шире охватывает народ Англии сознание необходимости усиления борьбы за мир, против угрозы атомной войны. Не остались, естественно, в стороне от того, что волнует умы, и молодые поэты Англии. За последнее время появилось множество стихов, отражающих понятную тревогу людей, что ядерная война может начаться даже случайно — в результате какого-нибудь недоразумения, несчастного случая или ошибочно воспринятых сигналов радара.

Еженедельник «Трибюн» опубликовал ряд поэм и стихотворений молодых поэтов, назвав их произведения «стихами протеста».

Поэтесса Джейн Уайт пишет:

«Нам должно быть стыдно перед пеплом мучеников Майданека за нынешний день, когда вновь над человечеством нависла опасность. Нам должно быть стыдно перед героями в шинелях, перед призраками героев Украины за то, что в этом году на землю может падать стронций-90...»

«Однако, — продолжает Джейн Уайт,— если наши голоса зазвучат громко и на весь мир против проклятия водородной бомбы, тогда, лишь тогда мы сумеем сказать священным призракам — нашим судьям: нас не вините, мы — в неустанной борьбе против бомбы».

В стихах Джеймса Корбетта «Последние слова» говорится:

Навязчиво слышатся мне
Рокового приказа слова –
И кнопка нажата,
И вот клубится атомный гриб катастрофы...

Молодые поэты Англии глубоко прочувствованными

Оксфордским театром поставлена пьеса Гарвея Брейта и Патриции Райнхарт «Гид», написанная по одноименному роману Р. К. Нарайяна (под названием «Святой Раджу» этот роман опубликован в «Иностранной литературе» №№ 6 и 7 за 1960 г.). Постановка осуществлена режиссером Фрэнком Хаузером. На снимке Артист Зиа Мохеддин в роли Раджу и артистка Йоланда в роли Деви.

(Журнал «Тиэтр уорлд»)

стихами предостерегают соотечественников против нависшей угрозы и призывают к борьбе с теми, кто развязывает новую мировую войну.

ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЛИВУД НА ТЕМЗЕ»

Операцией «Голливуд на Темзе» американцы с откровенным цинизмом называют колонизацию английских кинокомпаний крупными голливудскими фирмами. Вполне естественно, что это подается в прессе чуть ли не как благодеяние, за которое англичане должны быть глубоко признательны. Газета «Нью-Йорк геральд трибюн» опубликовала статью своего лондонского корреспондента, буквально ликующего по поводу операции «Голливуд на Темзе»: «Голливудское нашествие вдохнуло новые силы в британское кино, и все кругом, по-видимому, счастливы».

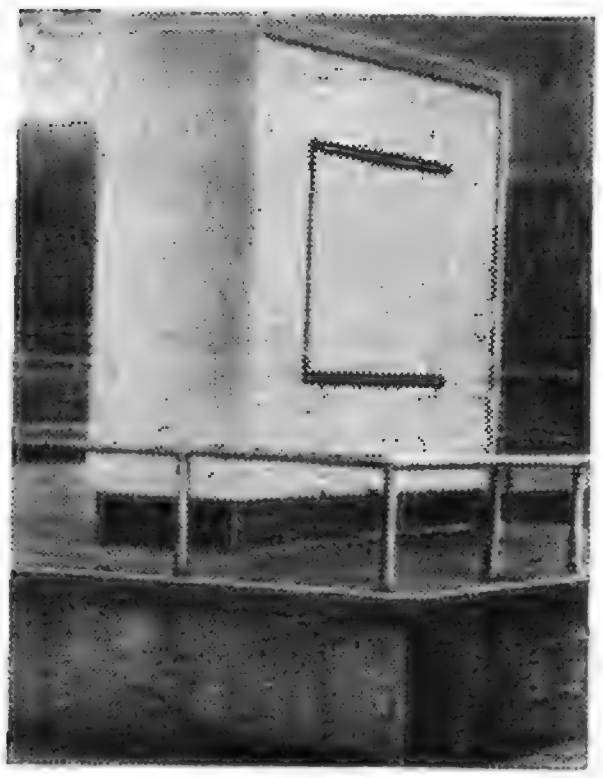
Однако эта же корреспонденция свидетельствует отнюдь не о «процветании» киноискусства Англии после «высадки» заокеанских кузенов: «Кинотеатры по всей стране закрываются, стулья выносятся из зрительных залов, и вместо них устанавливаются огромные кегельбаны для любимой американской игры в шары — «боулинг».

А вот еще одно свидетельство «Нью-Йорк геральд трибюн»: «Многие английские кинотеатры еще пытаются работать, хотя зрительные залы полупусты. В закрытых кинотеатрах со стен облупливается краска. Дождь смывает остатки афиш старых фильмов».

Так чем же вызвано массированное вторжение на Британские острова голливудских бизнесменов?

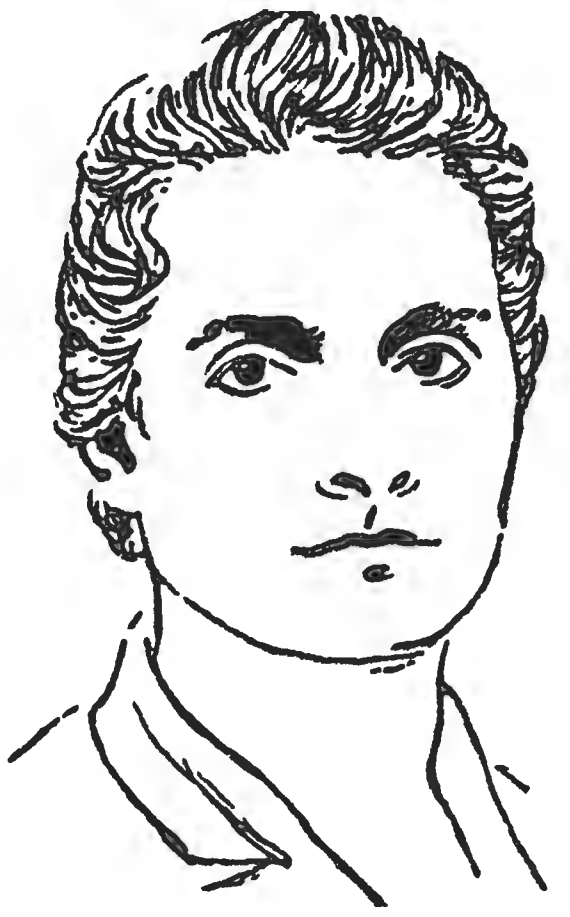
Об этом откровенно рассказывает «Нью-Йорк геральд трибюн»: «Крупные американские кинопродюсеры стремятся в Англию, привлеченные идеей, что там они смогут ставить фильмы куда дешевле, чем в Америке». Доллар и непрестанная погоня за ним лежат в основе операции «Голливуд на Темзе».

Десять лет назад, в 1951 году, на одном из пустырей Лондона был заложен первый камень будущего фундамента Национального театра Великобритании. Как будто наконец должна была осуществиться давнишняя мечта английских артистов и театральной общественности о создании национального театра, тем более что и английское правительство дало обещание построить театр, достойный крупных художественных сил страны. Высокопарная надпись, высеченная крупными буквами на этом «первом камне», многообещающе гласит: «В честь вечно живой памяти Уильяма Шекспира на этом месте, предоставленном в соответствии с законом о создании Национального театра, принятом в 1949 году Советом Лондонского графства... закладывается сей фундамент Национального театра. И заложен он XIII июля MCMLI Ее Величеством Королевой» (имеется в виду Елизавета, мать нынешней королевы). Доска на «первом камне» стала мемориальной. В 1961 году у английского правительства не нашлось для строительства театра денег. «Лишь с горькой иронией,— пишет еженедельник «Нью стейтсмен»,— можно воспринять отказ правительства дать средства театру тогда, когда безрассудно выбрасывается миллиард шестьсот пятьдесят миллионов фунтов стерлингов в год на строительство ракет и на самые разнообразные, все более крупные и все более усовершенствованные способы взорвать нас всех на воздух».



(Еженедельник «Обзёрвер»)

БОЛГАРИЯ



Люба Ивошевич-Димитрова.
(Журнал «Септември»)

СТИХИ ЛЮБЫ ИВОШЕВИЧ-ДИМИТРОВОЙ

В журнале «Септември» опубликован большой цикл стихов Любы Ивошевич-Димитровой.

В 1933 году, в те дни, когда Георгий Димитров мужественно сражался против фашизма в судебном зале в Лейпциге, его жена Люба Ивошевич умерла в Москве. Подруга и соратница Димитрова, она была темпераментной журналисткой и вдохновенной поэтессой.

Уроженка Сербии, Люба Ивошевич еще в ранней юности включилась в революционное профсоюзное движение, вступила в ряды социал-демократической партии. В 1920 году она была делегатом Болгарской коммунистической партии на Вуковарском съезде Югославской компартии. После Сентябрьского восстания 1923 года ей пришлось эмигрировать в СССР.

Стихи и статьи Любы Ивошевич-Димитровой насыщены непримиримой ненавистью к врагам трудящихся и глубокой верой в победу рабочего класса.

Стихи Любы Ивошевич — «Плебейка я, да!», «Я видела вас!», «Люблю жизнь», «Над колыбелью пролетария», «Нищета» — журнал опубликовал в переводах известных болгарских поэтесс Елисаветы Багряны и Марии Грубешлиевой.

СТОЛЕТИЕ СБОРНИКА НАРОДНЫХ ПЕСЕН

В этом году в Болгарии, как сообщает газета «Работническо дело», будет отмечаться столетие сборника «Болгарские народные песни», составленного Дмитрием и Константином Милодиновыми. Самоотверженная борьба братьев Милодиновых за создание национальной болгарской литературы, борьба против греческих фанариотов и турецкого рабства вызывала жгучую ненависть всех реакционных сил.

Братья Милодиновы трагически погибли в тюрьме в январе 1862 года. Незадолго перед гибелью, в 1861 году, им удалось издать свой сборник «Болгарские народные песни». Сборник, включающий 700 песен, является ценнейшим собранием болгарского фольклора. Наибольший интерес представляют песни, связанные с героической борьбой болгарского народа.

«КОНЕЦ ПУТИ»

Молодой геолог Юлия нашла уран. Враги народа стремятся всеми силами помешать использованию этого открытия. Они убивают Юлию. По едва заметным следам убийц направляются органы госбезопасности, и майору Терзиеву после долгой, полной драматизма борьбы удается обезвредить врага. Таков несложный сюжет нового болгарского фильма «Конец пути».

«В старый криминально-психологический жанр этот фильм вносит нечто новое,— пишет журнал «Филмови новини».— И новое заключается в целеустремленности и патриотическом звучании, что чуждо западным фильмам и романам подобного типа».

Сценарий фильма написан известным болгарским писателем Павлом Вежиновым, поставлена картина режиссером Петром Василевым.

Кадр из фильма «Конец пути»
(Журнал «Филмови новини»)

БРАЗИЛИЯ

Под редакцией известного бразильского писателя Афонсу Шмидта в Сан-Паулу издается ежемесячник «Жорнал ду фолклори», посвященный народному творчеству бразильцев. «Задача «Жорнал ду фолклори»,— пишет Афонсу Шмидт,— открыть перед широким кругом читателей почти неведомый мир. Воодушевляясь народным творчеством, поэты и прозаики, художники и композиторы создают изумительные творения...» В каждом номере ежемесячника публикуется много разнообразных материалов, в том числе — народные легенды, сказки, песни бразильского народа.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ФОЛЬКЛОРА

Издательство «Литерарт» в Сан-Паулу приступило к выпуску многотомной «Иллюстрированной антологии бразильского фольклора».

Первый том этой своеобразной энциклопедии народного творчества, как сообщает журнал «Лейтура», посвящен легендам и сказаниям индейцев. Последующие тома включают легенды разных штатов страны. Литературная обработка текста поручена писателю Афонсу Шмидту (романы которого — «Поход» и «Тайны Сан-Паулу» — изданы в Советском Союзе). Антология богато иллюстрирована, снабжена словарем и комментариями.

«Никто не может отрицать»,— пишет «Лейтура»,— что в настоящее время читатели жаждут как можно больше узнать о Бразилии... Отсюда — несомненный успех этой инициативы, в добрый час проявленной издательством»...

ВЕНГРИЯ

Кадр из фильма «Пушки и голуби».

(Журнал «Филмвилаг»)

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМЕНИ АТТИЛЫ ЙОЖЕФА

Творчество семи венгерских прозаиков и поэтов отмечено высокой наградой — премией имени Аттилы Йожефа.

Шандору Татаи присуждена премия первой степени за роман для юношества «Пушки и голуби», воскрешающий славные события революции 1919 года. По мотивам этого романа в Венгрии недавно был поставлен фильм.

Премией первой степени удостоены два видных венгерских поэта Ференц Киш и Иштван Ваш.

Автору известного советскому читателю романа «Лохматая» Пауле Оравец присуждена премия второй степени за роман «Деревянные стружки».

Звания лауреата премии имени Аттилы Йожефа удостоены также писатели Андраш Декани, Имре Такач и Лайош Киш.

НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

В Будапеште стал выходить ежемесячный литературный журнал «Уй ираш» («Новые произведения»). Его страницы будут предоставляться молодым авторам.

«Роль и задачи нашего журнала мы видим в том,— пишет в своем обращении к читателям редакция,— чтобы в первую очередь он стал форумом произведений современной социалистической литературы, боевым представителем марксистско-ленинских идей и социалистического гуманизма в нашей литературе».

Главным редактором журнала назначен критик Лайош Иллеш.

ГАНА

«НЕЛЬЗЯ НЕ ЗНАТЬ ЧЕХОВА»

«Проблемой № 1» — называют сейчас во многих африканских странах проблему образования. И большую роль в деле просвещения народных масс, освободившихся от колониального гнета, по мнению ганского журнала «Университас», должно сыграть знакомство с мировой классической литературой.

Многие выпускники средних школ в Западной Африке, пишет журнал, обладают минимальнейшими познаниями в области литературы, изучению которой пока не придается должного внимания. Но ведь трудно, даже невозможно изучить в университете какой-нибудь гуманитарный предмет, не зная великие творения человечества.

Для молодого человека в Гане, продолжает автор статьи, очень важно познакомиться с произведениями Гомера, Софокла, Вергилия, Расина, Достоевского.

В числе произведений, которые журнал особо рекомендует своим читателям,— сборники пьес Чехова.

«Пять больших и три коротких пьесы Чехова,— говорится в статье,— составят ценное добавление к любой домашней библиотечке. Уже из-за одного только «Вишневого сада» стоит иметь сборник чеховских пьес. Нельзя не знать Чехова...»

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПРОБУДИВШАЯСЯ ЮНОСТЬ

«Вернер Хейдучек принадлежит к числу талантливых молодых литераторов республики»,— пишет газета «Нейес Дейчланд», сообщая о выходе в свет повести этого писателя «Маттес и бургомистр». Произведение Хейдучека обращено к молодым немцам, влившимся после падения нацизма в

Пьесу западногерманского драматурга Гюнтера Вайзенборна «Нелегальные» поставил берлинский театр «Камершпиле» (ГДР). Ни на одной западногерманской сцене эта пьеса до сих пор не шла, потому что в ней рассказывается о борцах против фашизма и о жертвах гитлеровского режима. Демократическая печать подчеркивает, что теперь, когда в Западной Германии фашистские убийцы и военные преступники занимают высокооплачиваемые государственные посты, пьеса «Нелегальные» заставляет зрителя глубоко задуматься, вспомнить борцов за мир, демократию и свободу, погибших от рук нацистских извергов. На снимке: Исполнители главных ролей пьесы — молодые артисты Иоганна Клас (Лиль) и Отто Меллис (Вальтер).

(Газета «Берлинер цейтунг»)

демократическое юношеское движение.

...До того как коммунист Фенц стал бургомистром деревни, он двенадцать лет провел в гитлеровских концентрационных лагерях. Трудно, очень трудно было переломить сознание людей, отравленных фашизмом,— помочь им найти новый, правильный путь в жизни. Активно помогают бургомистру в решении сложной задачи шестнадцатилетние Маттес и Ханка. Это они взяли на себя инициативу создания местной организации свободной немецкой молодежи, приступившей к демократическим преобразованиям в деревне. Это они обезвредили недобитых фашистских «оборотней», хотя Маттес и поплатился за незаконное применение оружия. По словам «Нейес Дейчланд», автор напоминает читателям о первых годах становления республики, о воспитании новой молодежи, о борьбе с влиянием фашистской идеологии.

Несмотря на отдельные недостатки, как отмечает газета, повесть Хейдучека, написанная на важную и интересную тему, найдет широкий круг читателей всех возрастов.

ВПЕРВЫЕ НА НЕМЕЦКОЙ СЦЕНЕ

В 1930 году Фридрих Вольф написал пьесу «Джон Д. завоевывает мир». Два года спустя пьеса была показана на сцене театров в Базеле и Праге. И вот недавно пьесу выдающегося немецкого драматурга впервые поставили на родине автора — в театре имени Фридриха Вольфа в городе Нёйстрелице.

Фридрих Вольф в своем произведении показал жизнь «Джона Д.» — американского монополиста Джона Рокфеллера, его возвышение от мелкого частного предпринимателя до могущественного хозяина одного из крупнейших капиталистических концернов.

По словам газеты «Берлинер цейтунг», раскрывая живую картину времени, Фридрих Вольф вместе с тем в интересной, оригинальной форме преподносит своеобразный урок политэкономии. Мы видим, пишет газета, как капитализм превращается в свою последнюю стадию — империализм, как беспощадно попираются люди и законы, как мелкие предприятия объединяются в крупные, как покупаются и подчиняются власти монополистов парламенты и как сфера власти концернов расширяется «мирным» путем за пределами страны.

В конце пьесы зритель «присутствует» при встрече Рокфеллера с Джоном Ридом, будущим автором книги «Десять дней, которые потрясли мир». Эта глубоко символичная сцена знаменует собой встречу представителя уходящего, обреченного на гибель капитализма с представителем новых сил — сил побеждающего социализма.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ДИТЕРУ НОЛЮ

В связи с 90-летием со дня рождения Генриха Манна президент Немецкой академии искусств профессор Отто Нагель вручил премию имени Генриха Манна за 1961 год берлинскому писателю Дитеру Нолю. 34-летний писатель отмечен премией за роман «Приключения Вернера Хольта».

В этом романе, как сообщает газета «Нейес Дейчланд», рассказывается о поколении, которому сегодня 30—35 лет.

«Новая жизнь — новое искусство» — под таким девизом в Берлинской Национальной галерее была устроена большая выставка произведений изобразительного искусства. Отличительной чертой этой выставки было стремление художников показать нового человека, строящего социализм. Среди экспонатов критика отметила, в частности, рисунки художника Арно Моора, одну из работ которого — «Читающие рабочие» — мы здесь воспроизводим.

(Газета «Нейес Дейчланд»)

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР О КОРОТКИХ РАССКАЗАХ

Книжку Альфреда Бермана «Так пишут короткие рассказы» западногерманским критикам трудно отнести к какой-либо определенной рубрике. Одни склонны видеть в ней вклад в литературоведение, другие, не отрицая, что она по-своему характеризует современную литературу, считают ее едкой иронией в адрес западногерманских издательств.

Журналу «Дейче рунд-

шау» эта книжка дала повод для неприятных раздумий. На его страницах приведены характерные советы Альфреда Бермана, адресованные авторам коротких рассказов:

«Не сочиняйте историй об инвалидах, душевнобольных, самоубийцах, пьяницах, опустившихся субъектах, бедных вдовах, больных детях, о стоящих вне нормы персонах и о людях, страдающих в жизни... Избегайте область политики и религии. Не пишите длинных фраз и абзацев... Выбросьте из ваших историй свои персональные взгляды... Ничего не пишите о литераторах и обо всем том, что имеет отношение к писательству. Никогда не смейтесь над вещами, рекламируемыми в газетных объявлениях. Избегайте всего того, что звучит как ирония, цинизм, насмешка и издевательство. Не пишите сатир. Не пишите коротких историй с несчастным концом. Не пишите осуждающе о государственных инстанциях, о полиции и о законах...»

Перечислив все эти советы, журнал «Дейче рундшау» приходит к неутешительным выводам. Еще полбеды, если бы такую «инструкцию» составил для себя беспринципный человек в погоне за заработком, пишет журнал. Но все дело в том, что «правила для авторов выкристаллизовывались у практика на основании его собственного опыта. Таким образом, эти правила — требование дня».

Трудно представить себе, отмечает в заключение журнал, «более неприятное разоблачение редакционных принципов и директив, даваемых издателями...»

ФИЛЬМ СНЯТ В... «ЭМИГРАЦИИ»

... Две влиятельные группы экономических воротил противостоят друг другу. Взаимная вражда и соперничество этих групп толкают их на крайние меры, заставляют не брезгать никакими средствами. И та и другая

Артист Вальтер Гиллер в кинофильме «Афера Нины Б.»

(Газета «Дер морген»)

группа знает слабости соперника: одна занималась грязными финансовыми махинациями, другая скомпрометирована военными преступлениями во времена фашизма, вскрывшимися после обнародования соответствующих документов прессой ГДР.

Сценарий этого фильма — «Афера Нины Б.» — написан по одноименному роману писателя Иоганнеса Марио Зиммеля. Режиссер фильма — Роберт Зиодмак, в съемках участвуют известные актеры Надя Тиллер, Вальтер Гиллер и другие.

Итак, пишет газета «Дер морген», «налицо западногерманская тема по западногерманскому роману с западногерманскими исполнителями. Можно было бы, конечно, предположить, что этот фильм и снимается тоже в Западной Германии. Но как бы не так! Немецкие кинематографисты «эмигрировали» для съемок фильма в одно парижское кинoателье и в качестве ответственного за производство выступает французская кинофирма».

Газета указывает, что режиссер попытался было объяснить столь необычную ситуацию тем, будто дело здесь всего лишь в экономической подоплеке: в Западной Германии, мол, правительство не оказывает никакой поддержки большим кинопроектам... В действительности же — и это ясно каждому — не что иное, как политические соображения, определили отношение правящих кругов к злободневной теме.

Те немногие фильмы западногерманского производства, отмечает газета, которые раскрывают острые и нелицеприятные проблемы, не принесли их создателям лавров, «стóит ли после этого удивляться целлулоидной эмиграции?»

ГОЛЛАНДИЯ

ФАШИСТСКАЯ ПРОПАГАНДА В КАТОЛИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЬЧИКЕ

...Фриц Карстен прыгает с парашютом. Попав в окружение, Карстен храбро сражается, пулеметной очередью он легко отправляет на тот свет несколько дюжин людей. Но вот лента кончилась, и Карстен хватается за гранату. Бок о бок с ним воюет и Шмидт. Вокруг чудо-богатырей горы убитых ими врагов. Но увы! В конце концов Карстен и Шмидт попадают в плен... Такова вкратце история лейтенанта гитлеровской армии Фрица Карстена и сержанта Шмидта, голландского «добровольца».

Нет, это архихвастливое шовинистическое «произведение» на сей раз было опубликовано не в западногерманской бундесверовской печати!

Рассказ о «подвигах» эсэсовца и его голландского подручного помещен в голландском еженедельнике «Сальво», издаваемом католической церковью для вооруженных сил Голландии.

Двойная железная решетка отделяет томящихся в тюрьмах борцов движения национального сопротивления Греции от родных и близких даже тогда, когда им удается добиться свидания. Этот момент изобразил на своем рисунке неизвестный греческий художник. Шестнадцать лет — со дня освобождения страны от немецких захватчиков — томятся в греческих тюрьмах патриоты. В семнадцати тюрьмах для политзаключенных, по данным греческой печати, находится свыше двух тысяч узников, и среди них много ученых, журналистов, поэтов. В одной из тюрем находится национальный герой Греции журналист Манолис Глезос, который в темную ночь 31 мая 1941 года сорвал гитлеровский флаг с Акрополя.

(Газета «Авги»)

«Эротика и милитаризм, разнузданная пропаганда «мощи» фашистской армии — такова установка католического журнала»,— пишет известный голландский публицист, профессор уголовного права лейденского университета Ж. Б. Чарльс в журнале «Маатстаф».

Действие рассказа «Залп» происходит на острове Крит в 1940—1941 гг., когда греческий народ оказывал героическое сопротивление фашистским оккупантам и внутренней реакции. Но преподобных патеров мало интересует трагедия и самоотверженная борьба критян. Вместо этого, пишет Чарльс, налицо явное желание показать «трагедию фашистского парашютиста», очутившегося в руках греческих партизан и их союзников. Такое нарочито фальсифицированное, грубо искаженное изображение подлинных событий наносит, по словам Чарльса, тягчайшее оскорбление не только греческому народу, но и голландским патриотам, их вдовам, всем тем, кто отдал жизнь за уничтожение фашизма, всему прогрессивному человечеству.

Профессор Чарльс подчеркивает, что рассказ, опубликованный в «Сальво»,— не случайность, он лишний раз свидетельствует, что представляет собой этот католический еженедельник. Далее Чарльс приводит напечатанное в этом еженедельнике «Письмо к родителям», автор которого — молодой испанец, бывший участник гражданской войны 1936—1939 гг. в Испании. В письме, относящемся будто бы к 1936 году, испанец якобы раскаивается в том, что он принял участие в «восстании людей против бога». Именно так журнал «Сальво» называет героическую борьбу испанского народа. «Бог, очевидно, находится лишь на стороне тех, кто уничтожал миллионы ни в чем не повинных людей,— на стороне фашистских орд, бомбивших Варшаву, Роттердам, Ковентри»,— заключает профессор Чарльс свою статью о католическом журнальчике «Сальво».

ГРЕЦИЯ

ГОЙЯ ОБВИНЯЕТ

Греческий комитет защиты мира устроил в Афинах выставку работ великого испанского художника-гуманиста Франсиско Гойи. На выставке представлены 82 офорта из знаменитой серии «Ужасы войны».

Экспозиция офортов Гойи вызвала широкий интерес греческой общественности. Газета «Авги», одобряя инициативу Греческого комитета защиты мира в организации выставки, указывает, что бедствия войны и голода издавна знакомы человечеству, но сегодня работы Гойи приобретают особую актуальность. Эта выставка явилась как бы обвинительным актом войне.

Выставку, имевшую большой успех, посетили тысячи людей.

ИНДОНЕЗИЯ

УДАЧА ВИМА УМБО

В последнее время, по мнению газеты «Индонисиэн обзёрвер», наметился определенный рост молодой индонезийской кинематографии, о чем свидетельствует и новый фильм «Забытый особняк».

Как и многие другие произведения национальной литературы и искусства — в частности, известный советскому читателю роман А. Муиса «Неправильное воспитание»,— он посвящен весьма актуальной для Индонезии проблеме воспитания молодого поколения.

Фильм рассказывает об истории одной индонезийской семьи, жизнь которой едва не закончилась трагедией.

Несмотря на излишнюю дидактичность и другие недостатки, фильм, по словам газеты, является творческим успехом режиссера Вима Умбо.

ИСПАНИЯ

СЛОВА СВОБОДЫ

Две большие подборки стихотворений испанских поэтов в переводах Александра Муратова и Атанаса Далчева опубликовал болгарский еженедельник «Литературен фронт».

Наряду со стихами поэтов-политэмигрантов в еженедельнике напечатаны произведения поэтов, живущих в Испании. Представлено творчество Леона Фелипе, Хорхе Гильена, Рафаэля Альберти, Луиса Сернуды, Бласа де Отеро, Хосе Иерро, Леопольдо де Луиса и других.

«Испания свободы и красоты не мертва,— пишет еженедельник,— она живет в сердцах своих певцов, и нет никакого сомнения, что вскоре она станет такой, какой они ее воспевают...

Франкистская диктатура пользуется самыми страшными методами инквизиции, чтобы удержать в оковах родину Гарсиа Лорки. Но раз поэты уже произнесли слова свободы — эти слова скоро будут повторены винтовками рабочих, крестьян и солдат».

ЖЕНЩИНА ПРИЕХАЛА В МАДРИД...

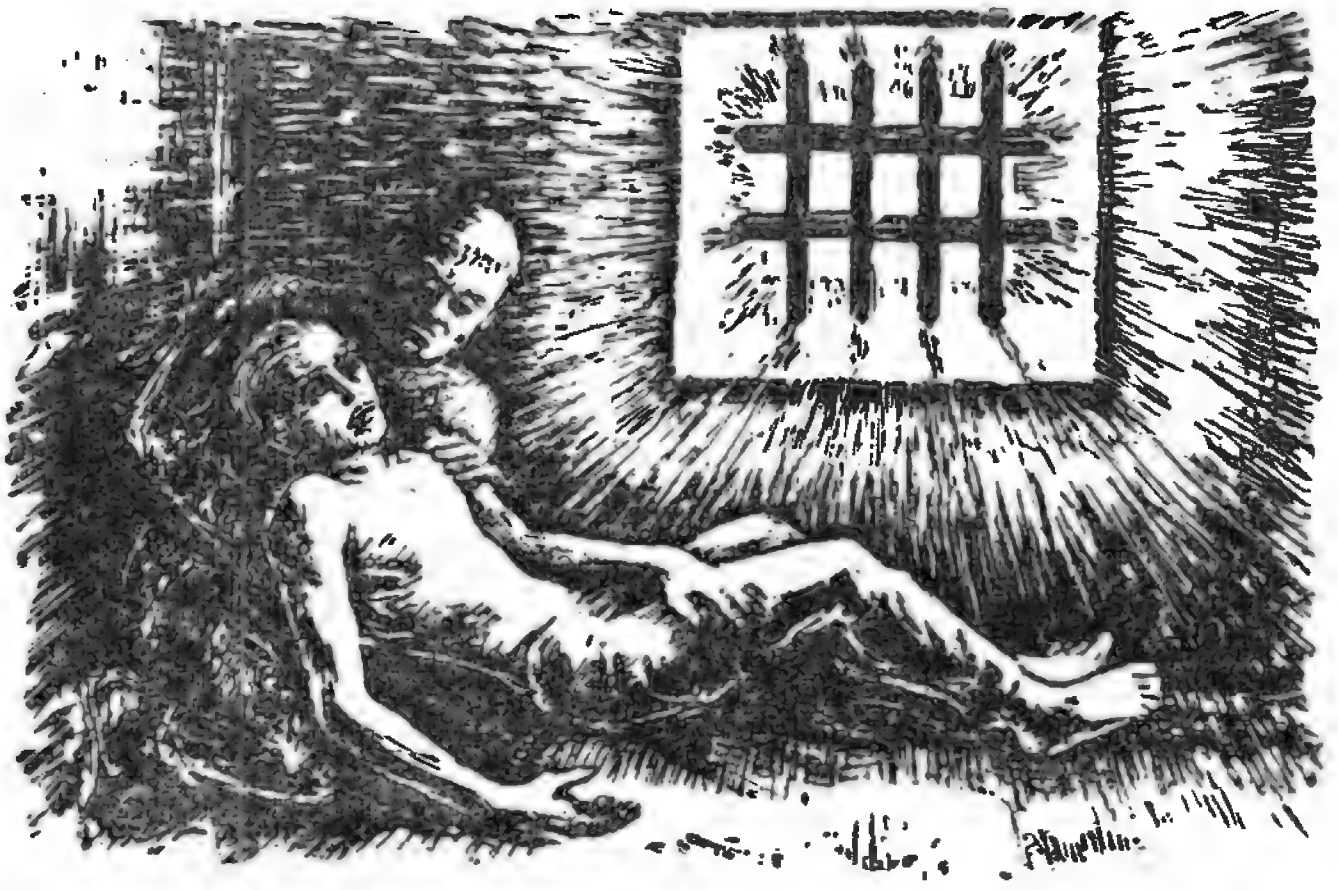
Издательством «Эдиториаль Ногер» выпущен в свет новый роман одного из крупнейших современных писателей Испании Хуана Антонио де Сунсунеги «Женщина на земле».

По оценке критики, из всех произведений о жизни Мадрида в период франкистской диктатуры роман «Женщина на земле» наиболее ярко отображает неприкрашенную действительность этого большого города, нищету его окраин и богатство фешенебельных районов. В основу сюжета Сунсунеги положил борьбу за существование и в конце концов гибель от лишений и голода одной женщины-крестьянки, приехавшей из провинции в столицу.

ГОЛОС ЖЕРТВ ФАШИЗМА

В адрес состоявшейся в Париже Западноевропейской конференции за амнистию испанским политзаключенным и эмигрантам, в работах которой приняли участие более 600 делегатов от 17 стран, поступило много писем от испанских политзаключенных и их близких. Каждое письмо — это волнующая повесть о трагических человеческих судьбах. Дети, никогда не знавшие семейного очага и родительской ласки, невесты, многие годы ждущие возвращения из тюрьмы своих женихов, семьи, оказавшиеся под угрозой голодной смерти...

Газета «Юманите» опубликовала многие полученные письма и рисунки.



Рисунки испанских антифашистов, полученные из франкистских тюрем (опубликованы в «Юманите» «Франс нувель» и «Юнге вельт»).

ИТАЛИЯ

Рисунок Пабло Пикассо.
(Газета «Паэзе-сера»)

В ЗАЩИТУ ИСПАНСКИХ АНТИФАШИСТОВ

В Риме была устроена выставка рисунков итальянских художников, которые, откликнувшись на призыв Пабло Пикассо, жертвуют свои работы в фонд проведения кампании за освобождение испанских политических заключенных и амнистию политическим эмигрантам.

На выставке, как сообщает газета «Унита», были представлены рисунок Пикассо «Амнистию!», воспроизводимый здесь, его литографии, а также работы видных итальянских художников.

СТИХИ МАЯКОВСКОГО И БРЕХТА В ОПЕРЕ

На Венецианском фестивале современной музыки была показана опера «Нетерпимость, 1960 год» композитора Луиджи Ноно (либретто написано на тему, предложенную поэтом Анджело Мария Риппелино — известным знатоком и переводчиком русской и советской литературы). Новаторский, смелый спектакль имел большой успех у зрителей и заслужил самые высокие похвалы прогрессивной критики, которая считает его значительным достижением в борьбе за обновление оперного жанра, создание современной по содержанию и по форме оперы.

В опере символически повествуется о страданиях человека в современном капиталистическом обществе.

В спектакле широко использованы стихи Маяковского и Брехта, что, по отзывам критики, немало увеличивает силу художественного воздействия спектакля.

ПРЕМИЯ «ОМЕНЬЯ» — САРТРУ

В клубе миланской прогрессивной интеллигенции — Доме культуры была вручена «Премия Сопротивления» города Оменья французскому писателю Жан-Полю Сартру.

Премия вручена Сартру как писателю, в настоящее время выступающему против колониалистской войны в Алжире.

Предыдущая премия г. Оменья, как известно, была присуждена также французу — Аллегу, автору книги «Допрос под пыткой» (опубликована в «Иностранной литературе» № 6, 1958 г.).

БИДЖАРЕТТИ — СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

На съезде Итальянского союза писателей секретарем избран известный прогрессивный литератор Либеро Биджаретти, который вместе с покойным писателем Коррадо Альваро был одним из основателей Союза, образованного в 1945 году после освобождения Италии от фашизма. До сих пор Биджаретти занимал пост заместителя секретаря Союза. Теперь заместителем секретаря избран писатель Микеле Приско.

Помимо Биджаретти и Приско, в состав Руководящего совета Союза вошли: Анджолетти, Балдини, Белончи, Бернари, Чекки, Пьовене, Скьяффини, Унгаретти и Валери.

КИТАЙ

ШИ БУ-ЛАНЬ И ЕГО ДРУЗЬЯ

«В своем произведении я рассказал о переломном моменте в ходе китайской революции, воспел китайский народ, который под руководством Коммунистической партии вел героическую революционную борьбу»,— так пишет в послесловии к своей новой поэме «Биография возницы» известный китайский поэт Тянь Цзянь.

По словам литературоведа Тао Яна, опубликовавшего рецензию на эту поэму в газете «Жэньминь жибао», Тянь Цзянь создал широкое историческое полотно, на фоне которого развертывается ожесточенная классовая борьба.

В поэме Тянь Цзяня живут и действуют замечательные люди—возница Ши Бу-лань, коммунисты Цзинь Бу-хуань, Ши Мин-вэй и другие. Особенно, по мнению рецензента, привлекателен образ простого труженика Ши Бу-ланя.

По известному советскому читателю роману Чжоу Либо «Ураган» режиссером Се Те-ли (сценарий Линь Ланя) снят фильм. Главный герой фильма — коммунист Сяо Сян, простой крестьянин; из забитого и темного батрака он вырастает в государственного деятеля. Здесь помещен кадр из фильма «Ураган» — артист Юй Ян в роли Сяо Сяна.

(Журнал «Шанхай дяньин»)

КУБА

Лет тридцать назад американские сахарные монополии, расширяя плантации сахарного тростника, стали активно вытеснять кубинских крестьян с их земель. Однако в районе Реаленго-18 крестьяне поднялись против захватчиков и, создав крестьянские отряды начали вооруженную борьбу... Эпизоды этой борьбы воскрешает фильм «Крестьяне» («Реаленго-18»), выпущенный Кубинским институтом кинематографии. В фильме, созданном силами кубинских киноработников, участвуют, кроме актеров-профессионалов, также многие крестьяне района Реаленго.

(Журнал «Боэмиа»)

МЕКСИКА

РАССКАЗЫ О РЕВОЛЮЦИИ

Издательство «Либро-Мекс, эдиторес» выпустило в свет сборник рассказов известного мексиканского писателя Рафаэля Ф. Муньоса «Огонь на Севере».

Муньос — уроженец штата Чиуауа, района наиболее активных действий партизан национального героя Панчо Вильи, в дни мексиканской революции сам был свидетелем революционных событий. Поэтому его рассказы, написанные по личным воспоминаниям или сообщениям очевидцев, правдиво воспроизводят эпизоды борьбы мексиканского народа против диктатуры генерала Диаса и американских интервентов.

Мексиканская критика, высоко оценивая рассказы Рафаэля Ф. Муньоса, рекомендует их как реалистические произведения о революции в Мексике.

ДИЕГО РИВЕРА В ВОСПОМИНАНИЯХ

Мексиканский Национальный университет выпустил в свет сборник, посвященный памяти выдающегося мексиканского художника Диего Риверы. В книге, подготовленной к печати личными друзьями художника Долорес Ольмедо, Ольвидо Тапиа де Саласар Мальен, Рафаэлой Эспино де Кастро Леаль и Еленой Васкес Гомес, собраны наиболее значительные материалы из периодической печати о мастере живописи.

Среди авторов воспоминаний о Ривере — бывший президент Мексики генерал Ласаро Карденас, бывший ректор университета Набор Каррильо, писатель и критик Антонио Кастро Леаль, президент Конфедерации трудящихся Латинской Америки Висенте Ломбардо Толедано, драматург Сальвадор Ново, архитектор Карлос Обрегон Сантасилиа, поэт Альфонсо Рейес, многие видные политические и общественные деятели, литераторы и художники Мексики и других стран.

НИГЕРИЯ

НА СМЕРТЬ ЛУМУМБЫ

Подлые происки колонизаторов в Конго, вероломное убийство вождя конголезского народа Патриса Лумумбы и его верных соратников глубокой болью отозвались в сердцах нигерийских поэтов и прозаиков. Их мысли и чувства по поводу этой тяжелой утраты выражены в новых произведениях, опубликованных на страницах нигерийской печати.

Дух Патриса Лумумбы живет.
Он живет в сердце каждого гражданина...
И совесть людей не успокоится до тех пор,
Пока Лумумба не будет отомщен...

говорится в стихотворении «Дух Лумумбы живет» Дениса Осадебая, напечатанном в газете «Уэст африкен пайлот».

Произведения, написанные на смерть Патриса Лумумбы, отражают горячее стремление народов Африки пресечь коварные планы империалистов, продолжать до победного конца борьбу за свободу.

НИКАРАГУА

ПРОТИВ РЕАКЦИОННОЙ ДИКТАТУРЫ

Находящийся в изгнании в Мексике никарагуанский поэт Эрнан Роблето выпустил книгу стихов «Воспоминания». В этом сборнике, по сообщению журнала «Тьемпо», так же как и в ранее изданных им произведениях, Роблето выступает против господствующей в Никарагуа тирании Сомосы, рассказывает о жизни и борьбе никарагуанского народа против диктатуры.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

«МАОРИЙСКАЯ ДЕВУШКА»

Современной Новой Зеландии и проблемам, волнующим как коренное население страны — маори, так и всех простых новозеландских тружеников, посвятил свой роман «Маорийская девушка» местный писатель Ноэл Хиллиярд.

В центре книги — судьба девушки маори Нетты Сэмюэль, дочери мелкого фермера. Писатель рассказывает о тяжелой, полной лишений жизни семьи Нетты и других маори, которые, разорившись, вынуждены переселяться из деревень в Веллингтон. В городе героиня романа встречает рабочего Артура — такого же бедняка, как и она сама. Но Нетта понимает, что дружба и любовь, вспыхнувшая между ними, «не может — в тех условиях, в которых они живут,— принести им ничего другого, кроме еще более горького разочарования».

Газета «Пиплз войс» считает «Маорийскую девушку» «одним из самых лучших новозеландских романов, написанных до сего времени».

В своем произведении автор, по мнению газеты, проявляя большое уважение к маорийским трудящимся, показывает, что проблемы народа маори неразрывно связаны с интересами всего рабочего класса. Вместе с тем автор отмечает, что даже самые передовые рабочие страны еще далеко не достаточно знают жизнь и стремления своих маорийских друзей.

НОРВЕГИЯ

«ЗАДАЧА ПИСАТЕЛЯ СЕГОДНЯ — БОРЬБА ЗА МИР»

Так заявил известный норвежский писатель Эйвин Болстад в интервью с корреспондентом газеты «Фрихетен».

Эйвин Болстад.

(Газета «Фрихетен»)

По словам «Фрихетен», Болстад — один из самых активных литераторов Норвегии. Его перу принадлежат романы, пьесы, рассказы. Он пишет о многом, но главной своей задачей считает борьбу за мир.

Еще в начале 1950 года Болстад в статье «Куда мы идем», опубликованной во «Фрихетен», заявил, что Норвегия, затрачивающая колоссальные средства на военные приготовления, похоже, управляется безумцами. Его подпись стоит под Стокгольмским воззванием и под обращением Всемирного Совета Мира о заключении пакта мира между пятью великими державами.

— Я хотел бы осуществить заветную мечту Гете — писать в интересах общества и для человечества,— сказал Болстад корреспонденту «Фрихетен». — Однако в Норвегии каждый думает только о своем личном благополучии. Издательства бесстыдно спекулируют. Ими руководят люди, которые готовы задушить литературу, не угодную Норвегии — члену НАТО.

По мнению Болстада, в Норвегии никогда еще не было столько талантливых литераторов, как в настоящее время. Из молодых писателей он особо отметил Коре Холта и Эвенсму.

ХЕРДИС ИЗ БЕРГЕНА

Главные герои романов и новелл талантливой норвежской писательницы Турборг Недреос (см. «Иностранную литературу» № 1, 1960 г.)— обычно дети или юные девушки. Но эта видимая «узость» тематики вовсе не означает какой-либо ограниченности. Писательница, по оценке критики, нашла свою собственную тему и постоянно возвращается к ней. По существу, ее занимает чрезвычайно важная, актуальная и в то же время вечная проблема — раскрепощение человека.

Последний роман Недреос «Музыка голубого колодца», как считает норвежский критик Мартин Наг, является кульминацией ее творчества.

Писательница рассказывает о молодой девушке, о ее судьбе, сложившейся во время первой мировой войны. На формирование мировоззрения героини оказывают решающее влияние Октябрьская революция и личность Ленина.

ПАКИСТАН

ПРОТИВ КОМИКСОВ

«Отрадно отметить,— пишет журнал «Иллюстрейтид уикли оф Пакистан»,— что не только наши писатели, но даже большинство здравомыслящих издателей теперь понимают, что если они не будут выпускать для юных читателей высоконравственные и увлекательные книги, то наполненные ужасами заокеанские комиксы и надуманные рассказы о космических приключениях, не имеющие ничего общего с реальной действительностью, окончательно наводнят наши рынки, оказывая плохое влияние на юных читателей».

Ввиду усилившегося влияния низкопробной американской литературы на молодое поколение многие известные писатели Пакистана присту-

пили к созданию книг для детей.

Среди первых удачных произведений журнал называет повесть «Бай забан дост» Анвара Инайатуллаха — молодого литератора, ранее писавшего для взрослых. Он показал «умение глубоко проникать в тайны детской души» и создал ряд интересных образов, полных жизни и энергии.

ПОЛЬША

«ДНЕВНИК МАТЕРИ»

Марцианна Форнальская — старая коммунистка, вступившая в партию в годы Октябрьской революции. Дочь ее, Малгожата, во время второй мировой войны была одной из основательниц Польской рабочей партии; в 1944 году гестаповцы ее арестовали и расстреляли. Марцианна Форнальская вырастила внучку Оленьку — дочь Малгожаты и ее товарища по революционной борьбе Болеслава Берута. Для внучки восьмидесятилетняя коммунистка и написала воспоминания о своей жизни — «Дневник матери».

«Свой дневник я начала писать в 1951 году,— рассказывала впоследствии Марцианна Форнальская.— Тяжкое это было писание — нет у меня никакого образования, читать научилась еще ребенком в доме родителей, в деревне, и только по-печатному, писать же почти совсем не умею, всегда подписывалась крестиком... А читать любила и читаю много.

В 1951 году моя дочь Феля и внучка Оленька приобрели небольшую пишущую машинку.

И вот тогда я присмотрелась, как на ней пишут, и, несмотря на то что очень плохо вижу — у меня больные глаза, начала одним пальцем выстукивать буквы. Время, в которое я жила, и жизнь моя были сложными, и я подумала, что хорошо бы оставить своей внучке дневник о старом времени, о двух пережитых мною войнах. Я считала, что внучка должна знать, как жилось при старом режиме, в темноте и невежестве, сколько несчастий несет война и как люди боролись за новую жизнь, за новый строй, при котором мы сейчас живем».

В «Дневнике» Марцианна Форнальская описала необыкновенную историю своей семьи профессиональных революционеров. В числе польских беженцев семья попала в Россию, где ее захватили революционные события 1917 года. Мать и ее старшие дети, в том числе Малгожата, стали коммунистами. В 1919 году Марцианна Форнальская переехала в Польшу, откуда ей пришлось эмигрировать в 1925 году.

В Польшу, где боролись и погибли почти все ее дети, Марцианна Форнальская вернулась вместе с внучкой Оленькой в 1944 году, когда началось освобождение польской земли от гитлеровцев.

Характеризуя изданную в Польше книгу Марцианны Форнальской как «широкое полотно, показывающее молодому поколению прошедшие десятилетия», журнал «Нове дроги» называет ее «повестью горячего сердца, книгой-документом, воздающей должное пролетарским бойцам за свободу родины».

КНИГИ О БОЕВОМ БРАТСТВЕ

Польские издательства за последнее время выпустили несколько книг, посвященных Советской Армии и ее боевому взаимодействию с частями Войска Польского в годы войны с гитлеровской Германией.

О польско-советском братстве рассказывает книга «Висла — Одра» Ежи Рыдловского и Збигнева Сафиана. Это хроника большого наступления, осуществленного в 1945 году Советской Армией с участием Первой армии Войска Польского.

Вышел из печати сборник «Братство», в котором опубликованы воспоминания участников борьбы с гитлеровскими оккупантами — советских и польских солдат и партизан. Иллюстрировал книгу известный польский художник Игнацы Виш.

По повести Ежи Путрамента «Действительность», рассказывающей о буднях редакции прогрессивного студенческого журнала в предвоенной, буржуазной Польше, режиссер Антони Богдзевич снял фильм, кадр из которого здесь воспроизведен. В роли студента Юлека Шульца, бросившего вызов фашистской охранке на судебном процессе, возбужденном против редакции, снимался Хенрик Боуколовский; роль его любимой девушки Марыси Хорошувны исполняет Поля Ракса.

(Журнал «Фильм»)

РУМЫНИЯ

СВЕЖИЕ ГОЛОСА ЛИРИКИ

Недавно прошедшее совещание молодых литераторов Румынии отметило значительные успехи в творчестве поэтов-дебютантов. Широкую известность приобретают имена А. Андрицою, Й. Брада, А. Рэу, Т. Утана и многих других поэтов.

Оценивая сборник стихов Илие Константина «Ветер бродит над водами», критик О. Крохмэлничану подчеркивает, что суть творчества этого поэта — движение эпохи.

В статье, опубликованной журналом «Вяца ромыняскэ», критик пишет: «Это — голос молодости, вознаренной на земле социалистическим обществом. Мир представляется поэту озаренным чистым утренним светом. Его лирика призывает к свершению великих дел».

По словам Крохмэлничану, в сборнике «Суть любви» Н. Стэнеску воспевает радость долгожданной весны, обретенный новый и справедливый мир.

Отличительная черта поэзии Л. Нямцу, ясно вырисовывающаяся в сборнике «Песня созвездия», это раскрытие красноречивой сущности переживаемых нами будней. Поэтические раздумья Нямцу не оторваны от жизни, от действительности.

В пламени века, как пишет Крохмэлничану, нашел свои образы поэт Чезар Балтаг, выступивший со сборником «Золотая коммуна». Свет коммунизма для молодого поэта — не отвлеченное понятие, это «нескончаемая лавина штурмующих сердец».

Поэт говорит о коммунистической партии, способной воплотить в жизнь священные стремления масс.

...Как-то весенним утром 1945 года два солдата — Григоре и Тикэ — вернулись в родную деревню. Вернулись ненадолго, получив отпуск всего на два дня. О том, что ждало их в деревне, о бурной весне того года, когда в Румынии произошла аграрная реформа, рассказывает новый румынский фильм «Доброє vтро, весна!», поставленный режиссером Мирчей Сэуканом. Критика отмечает, что в этом фильме, кадр из которого здесь воспроизведен, удачно сочетается лиризм в изображении частных судеб героев с почти документальной достоверностью массовых сцен.

(Журнал «Флакэра»)

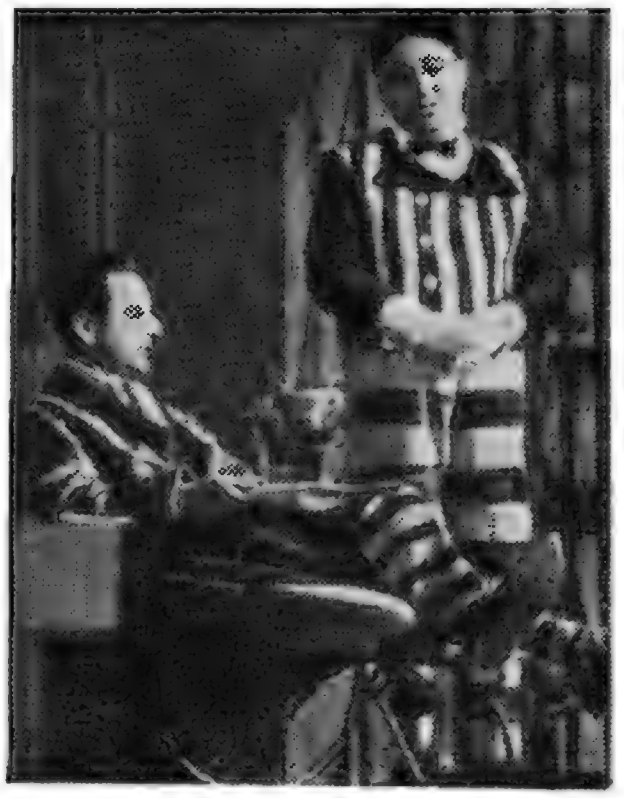
«ЗНАМЕНИТЫЙ 702»

В бухарестском Театре комедии с большим успехом идет пьеса молодого румынского драматурга Ал. Миродана «Знаменитый 702».

Подлинная история, происшедшая не так давно в США с неким Кэрилом Чессменом, казненным на электрическом стуле, послужила поводом к созданию острой сатирической комедии, разоблачающей «американский образ жизни».

Успех спектакля, пишет журнал «Театрул», обусловлен гармоническим единством авторского текста, режиссерской трактовки, игры всего актерского коллектива и декораций.

«Более того,— продолжает журнал,— здесь торжествует идея театра, в котором сцена является главным, но не единственным местом действия. Плакаты, фотографии в фойе, программа, сохраняющие дух пьесы, ин-



Сцена из спектакля «Знаменитый 702».

(Журнал «Театрул»)

формируют зрителя, создают ощущение драматической связи между тем, что было в жизни, и тем, что происходит в свете рампы. Актуальность комедии становится ощутимее из этого сочетания сведений, образов, комментариев и мысли, которую несет пьеса; и это один из путей сближения театра с современностью, который мы спешим приветствовать».

«Знаменитый 702» — первый спектакль Театра комедии, созданного в нынешнем сезоне под руководством Раду Белигана, кстати, исполняющего в этой пьесе главную роль.

США

УИЛЬЯМ САРОЯН О СЕБЕ

Известный американский писатель Уильям Сароян опубликовал в еженедельнике «Сэтердей ревью» статью под названием «Почему писатели пишут?». Автор статьи делится некоторыми любопытными воспоминаниями о начале своей литературной деятельности.

«Ни один писатель по сути дела не знает, почему он творит, хотя каждый любит воображать, что знает причину,— пишет Сароян. —

...Мой первый сборник коротких рассказов был создан таким образом: я работал над одним, двумя или тремя рассказами в день в течение тридцати трех дней. Это было в январе 1934 года.

Все задумывалось мною как некий демонстративный акт. Начнем с того, что писатель, о котором идет речь, в то время еще не издавался и подобное положение вещей ему здорово осточертело.

Итак, вышеупомянутый писатель был без денег и, по правде говоря, без особого честолюбия. Он не пытался даже стать писателем, поскольку он уже *был* писателем. Большую часть своей жизни он был писателем. А вот ему еще хотелось, чтобы его печатали.

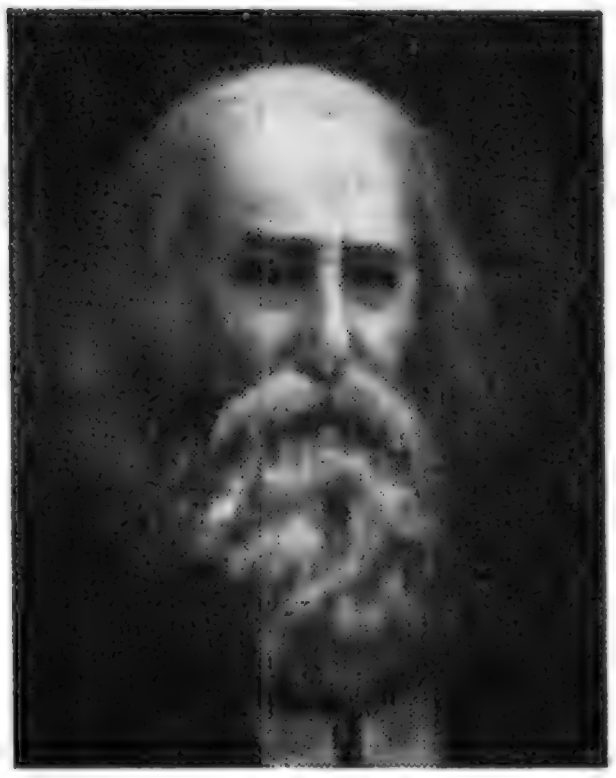
За тридцать три дня он написал тридцать девять коротких рассказов, ежедневно отсылая их редактору журнала «Отор», после того как он наконец принял к печати один из рассказов.

Писателю этому хотелось доказать, что, видимо, нет предела разнообразию рассказов, создаваемых одним человеком.

Что же можно сказать о самых коротких рассказах? Стоят ли они чего-нибудь? Ну, пожалуй, они неплохи, особенно некоторые из них. Это рассказы определенного периода — периода национальной депрессии, хотя лично для меня депрессия ровно ничего не означала, поскольку у меня все равно никогда не было никаких денег. Я узнал о депрессии много лет спустя из статей и комментариев критиков, которые вечно занимаются тем, что разъясняют писателям, что́ теми сделано или что́ ими не сделано.

Другие же рассказы слабые, а есть просто из рук вон плохие...

Теперь же, двадцать шесть лет спустя, люди, читавшие сборник моих избранных рассказов, утверждают, что это — самая лучшая моя книга... Так ли это? Нет, это только моя первая книга. А самой лучшей книги у меня нет...»



Весной нынешнего года в одной из антикварных лавок Нью-Йорка был обнаружен писанный маслом портрет, в правом углу которого стояла подпись: «У. Уитмен. 1878». Холст с изображением старика вызвал большой интерес среди специалистов — художников и литературоведов, которые пришли к почти единодушному заключению, что перед ними — автопортрет великого американского поэта. Чем же подтверждаются догадки? Историки живописи заявляют, что им неизвестен художник, который подписывался бы именем «У. Уитмен» Сам поэт недурно рисовал пером и карандашом, а по мнению художников портрет «выполнен человеком, который обладал зорким глазом и опытной рукой, хотя и побаивался ярких красок, не вполне владел ими». В 1878 году видный художник Гарольд Джилкрист писал с Уитмена портрет, но этот портрет не понравился Уитмену. По-видимому, он решил написать автопортрет. Кстати, на обратной стороне рамы стоит торговая марка той фирмы, где обычно покупал принадлежности Г. Джилкрист.

(Газета «Нью-Йорк таймс»)

БЕЗЫДЕЙНОСТЬ И ОПУСТОШЕННОСТЬ

Молодой американский писатель Ричард Йейтс опубликовал свой первый роман, привлекший внимание критики. Название романа «Улица Революции», однако речь идет не о революции: так, видимо, в память войны США за свою независимость от британского владычества, называется улица в предместье провинциального городка в штате Коннектикут, где развертывается действие.

Еженедельник «Сэтердей ревью», рецензируя книгу Йейтса, признает тлетворное влияние среды на, казалось бы, счастливую чету Уилеров. Фрэнк и Эприл — молоды, красивы, любят друг друга. У Фрэнка есть работа, правда, неинтересная: он — агент по продаже имущества; Эприл — неудавшаяся актриса, но, по американским стандартам, поскольку у нее есть муж, дети и дом, ей надлежит быть вполне счастливой. Живут они в небольшой уютной квартире. Казалось бы, все в порядке.

Однако писатель умело показывает, что если у людей нет захватывающей их работы, если нет духовной жизни, то они неизбежно обречены на бесцветное существование.

«Автору удалось показать,— пишет рецензент,— и притом показать с большой силой, как по существу исковеркаиа жизнь у этих вполне положительных людей».

Отдавая отчет в иронич-ности названия романа «Улица Революции», рецензент озаглавил свою статью: «Супружеская пара в долине юдоли...».

ЖЕРТВА СЕГРЕГАЦИИ

Несмотря на то что американский театр переживает полосу трудностей, нет-нет да и появляются драмы, авторы которых пытаются воспроизвести на сцене наиболее волнующие их соотечественников события своей страны. К числу таких пьес газета «Уоркер» относит и «Черный понедельник» драматурга Реджиналда Роуза.

Роуз обратился к одной из острых в США тем — расизму. Рецензируя эту пьесу, Майк Ньюберри писал в газете «Уоркер»: «Давно не звучала так мощно на сцене современная тема».

Но на пути реалистических пьес в США ставятся

различные преграды. Не увидела света рампы и новая вещь Роуза. «Драма Реджиналда Роуза, рассказывающая о борьбе против расовой дискриминации в небольшом южном городке, подверглась сегрегации со стороны состоятельных продюсеров, которые один за другим отвергли ее»,— пишет Ньюберри.

Пьес, затрагивающих «негритянскую проблему», продолжает рецензент, не так уж мало, но в большинстве случаев негры и белые рисуются как обитатели двух обособленных, не связанных между собой миров. А Роузу удалось не только «свести негров и белых в единой борьбе, но и в драматическом конфликте». Это получилось потому, что события, развертывающиеся в городке Бетлеэме, как бы увидены глазами самых разных людей. В пьесе сталкиваются точки зрения и устремления «истого» южанина, старого сенатора, мелкого торговца-зеленщика и негритянской женщины, чей двенадцатилетний сынишка познает всю мерзость расизма.

Ньюберри отмечает некоторые слабости пьесы, неверные оценки деятельности Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. И тем не менее он заключает: «Черный понедельник», насколько мне кажется, получит международный резонанс... Пьеса затронет сердца людей сильным, правдивым изображением картин жизни и смерти того, что умирает, а также того нового, что нарождается в эти критические годы в Америке...»

ГОЛЛИВУД С ЧЕРНОГО ХОДА

Эзра Гудмен проработал двадцать лет в Голливуде в качестве критика, корреспондента и публициста, поэтому изнанка «мекки американского кино» ему хорошо знакома. Большая часть американской печати признает, что вышедшая недавно в свет книга Гудмена «Пятьдесят лет падения и крах Голливуда» представляет собой весьма интересный, ценный и живо изложенный документ.

Гудмен не побоялся сорвать маски с легенды о «волшебных» карьерах кинозвезд, раскрыл закулисную политику магнатов кинопромышленности. Это, естественно, не всем понравилось. Отдельные органы печати, в том числе газета «Сан-Франциско кроникл», даже обиделись за американское кино. Еженедельник «Сэтердей ревью» упрекает автора в том, что он дает «нелестные характеристики» знаменитым обитателям Голливуда, что у него «желчное отношение» к кинопромышленности и «слишком много горечи».

ФИНЛЯНДИЯ

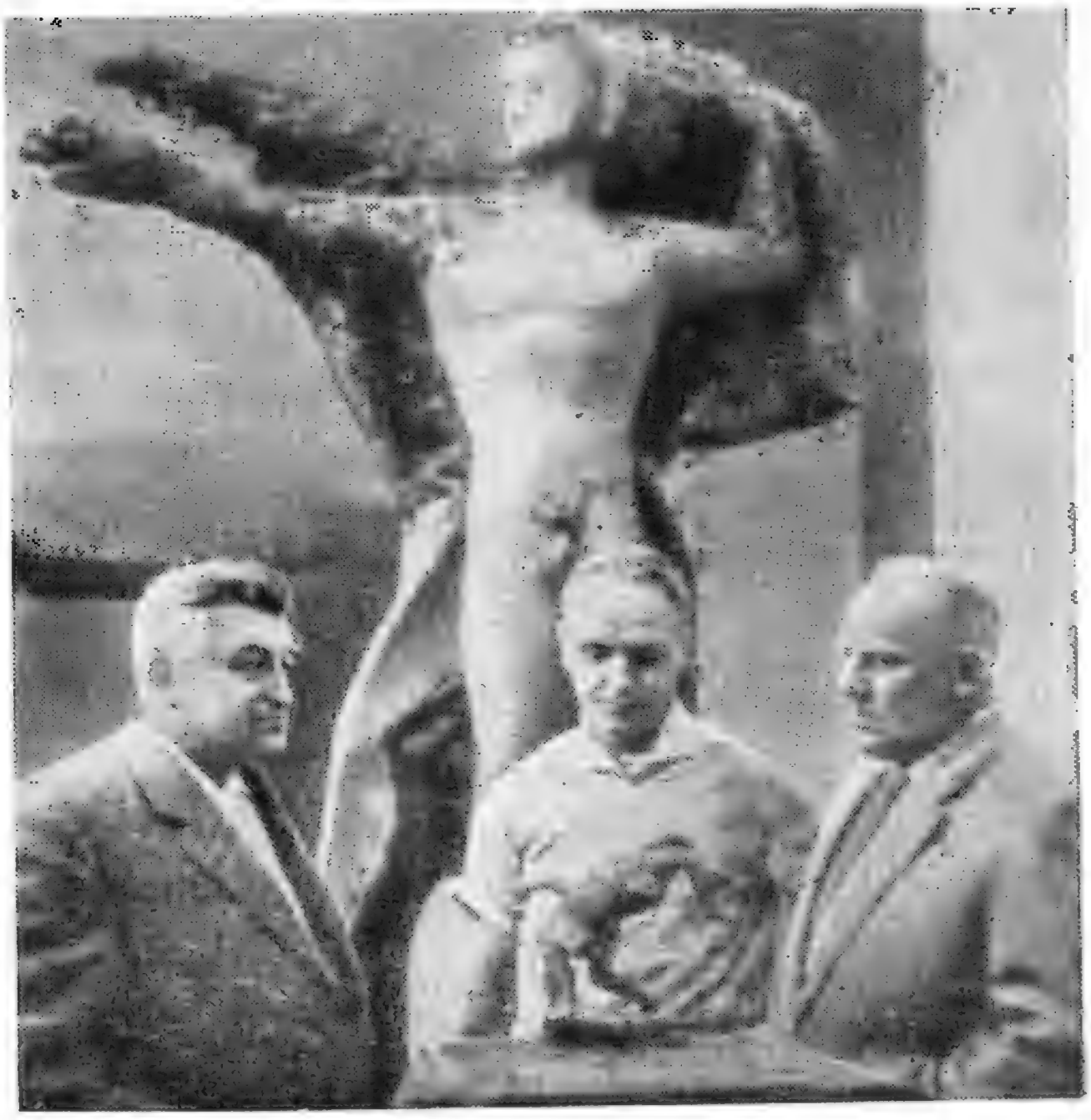
НЕУДАЧНАЯ ИНСЦЕНИРОВКА

Хельсинкский Народный театр включил в свой репертуар «Мертвые души» Н. В. Гоголя в инсценировке французского писателя Артюра Адамова.

По свидетельству критика газеты «Кансан уутисет» Майю Савутие, спектакль оставил у зрителя чувство неудовлетворенности: «многие блестящие сцены гоголевского романа в трактовке Адамова оказались упрощенными и сокращенными, по-гоголевски богатые массовые сцены заменены однолинейно развивающимся действием с участием двух персонажей».

Выдающийся финский скульптор Вяйне Аалтонен — горячий поклонник физкультуры и спорта. Одна из его работ, посвященная знаменитому финскому бегуну, обладателю двадцати четырех мировых рекордов Пааво Нурми (см. «Иностранную литературу» № 12, 1958), воздвигнута у Олимпийского стадиона в Хельсинки. До 1932 года Аалтонен был активным членом рабочего спортивного общества «Вейкот» («Братья») в городе Турку. Недавно Аалтонен создал небольшую скульптурную группу, изображающую двух борцов. На снимке: В своей мастерской Вяйне Аалтонен (слева) вручает новую скульптуру представителю спортивного общества. На заднем плане — незаконченная работа Аалтонена, предназначенная для вестибюля туркусского университета.

(Газета «Кансан уутисет»)



ФРАНЦИЯ

КОНГРЕСС ЦЕНТРОВ КУЛЬТУРЫ

Во Франции насчитывается несколько так называемых центров культуры, призванных способствовать распространению культуры среди широких народных масс, разрабатывать планы культурных мероприятий, поддерживать инициативу отдельных деятелей культуры или целых коллективов. В работе этих центров принимают участие прогрессивные молодежные и профсоюзные организации, «Ассоциация Франция — СССР» и другие. Министр культуры Мальро, пишет помощник мэра Сен-Дени Рене Бенаму в еженедельнике «Франснувель», тщетно пытается установить контроль над центрами культуры и заставить их проводить правительственную политику.

Не так давно центры культуры решили объединиться для более тесного сотрудничества в рамках Национальной федерации центров культуры. Состоявшийся весной в Париже объединительный конгресс утвердил решение об организации федерации.

«Парижский конгресс собрался в обстановке, когда клерикальное мракобесие стало государственной политикой и официальной моралью,— подчеркивает Бенаму.— Власти пытаются фальсифицировать историю и превратить профессорские кафедры в полицейские комиссариаты, поэтому созыв этого конгресса имеет особенно большое значение».

ВМЕСТЕ С ПАРТИЗАНАМИ

Немецкая оккупация. Маленькая деревушка на юге Франции. Здесь живет и работает на цементном заводе алжирец Мохаммед. Он смутно помнит свою родину, но не перестает мечтать о ней.

Вследствие роковой ошибки Мохаммед арестован вместе с партизанами французского Сопротивления, его

Бюст первого советского космонавта Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина был выполнен французскими мастерами для известного парижского музея Гревен.

(Газета «Юманите»)

ждут пытки. В соседней комнате пытают арестованного, но тот молчит. Трагически погибает Мохаммед .. Таково вкратце содержание последней книги Пьера Гамарры «Сады аллаха».

Читая эту поэтичную повесть о человеке с прекрасной душой, невольно думаешь об актуальнейших событиях современности, пишет газета «Юманите».

ЦЕНЗУРА ПРОТИВ АНТИРАСИСТСКОГО ФИЛЬМА

Новый антирасистский фильм Клода Бернара-Обера «Трусы живут надеждой» повествует о любви белой девушки и студента негра. Французская цензура разрешила демонстрацию фильма только при условии, если из него будут исключены отдельные сцены, например, скандал в семье девушки, родители которой, верующие католики, возмущены связью дочери с негром.

Кстати, по требованию цензуры Бернару-Оберу пришлось вносить изменения и в два свои предыдущие фильма — «Патруль без надежды» и «Потроха на солнце».

«При существующем во Франции режиме,— пишет газета «Юманите»,— артист должен ставить себя под удар или молчать о насущных проблемах современности. Новое правительственное постановление о цензуре еще больше ухудшает положение, так как дает властям право запретить фильм прежде, чем закончатся съемки».

ЦЕЙЛОН

ДРЕВНЕЙШАЯ РУКОПИСЬ

Как сообщает журнал «Силон тудэй», профессор Видьяланкарского университета в Коломбо Рахула Санкритьяяна во время поездки в древний тибетский монастырь Саискья обнаружил рукопись на сингалезском языке, написанную на пальмовых листьях. Эта рукопись является древнейшей из имеющихся в стране.

Рукопись, носящая название «Карма-вибхагая», относится к XII или XIII векам. Она представляет собой текст в прозе на сингалезском языке, написанный на 85 пальмовых листьях.

По мнению журнала, рукопись имеет огромную ценность, являясь документом, содержащим важные данные для изучения развития сингалезской письменности.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

АВТОР — ГЕРОЙ РОМАНА

В 1933 году умер двадцатичетырехлетний учитель Й. Коцоурек, успевший написать три книги из жизни северо-моравского края в период буржуазной республики. Одна из них, законченная накануне смерти, впервые увидела свет лишь в этом году.

«Забытые патриоты, год 1932» — так назвал автор свой последний роман, в каждой строке которого звучит ненависть и отчая-

ние, внутренний протест против буржуазного строя в республике, где «передовое» законодательство допускает тяжелый детский труд, заменяющий им школу, а во время голода и массовых расстрелов звучат елейные слова о «социальной справедливости».

Герой романа, молодой учитель Коуколь, приезжает в небольшую пограничную деревушку в северо-моравском крае. Он видит вокруг себя голод, несчастье, бедность и ложь, пропитавшую все поступки, речи и отношения между людьми. Школа для чешских детей пустует. Дети не могут учиться, с утра и до ночи они должны делать пуговицы, чтобы заработать несколько крон. Безработица и жалкие подачки благотворителей — старые изношенные ботинки для детей. Жизнь без цели, без мысли, оканчивающаяся подчас самоубийством.

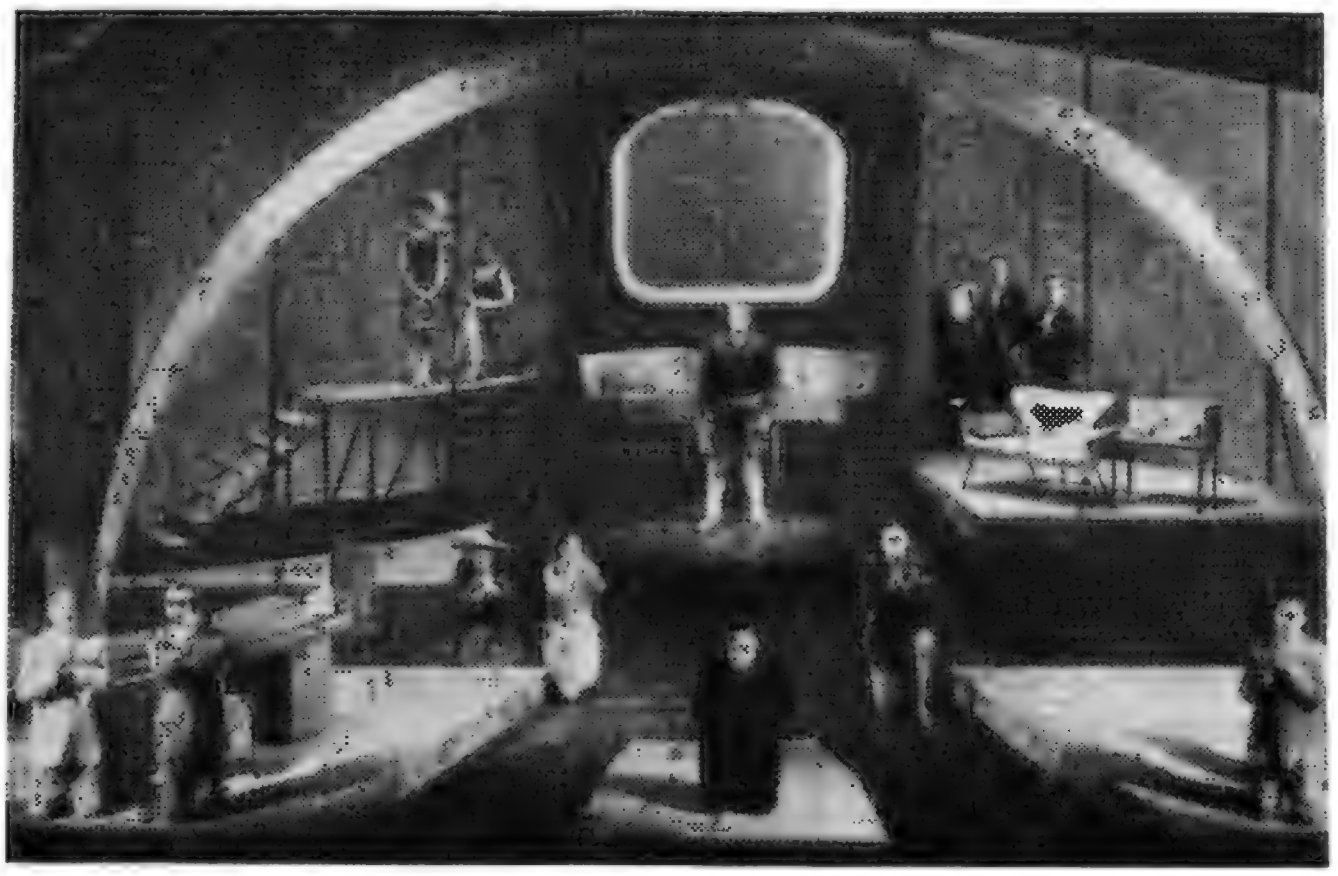
Учителя Коуколя спасли книги советских писателей Шолохова и Гладкова; рабочие помогли ему понять силу интернациональной пролетарской солидарности. Он включается в борьбу: распространяет листовки, книги, разоблачает врагов Советского Союза. Он понимает, что «его путь с теми, которые изменят мир так, чтобы люди в нем жили во имя жизни, а не смерти». По-фучиковски звучит эта фраза, написанная в 1933 году.

Чешская критика отмечает, что роман является скорее дневником, правдивым, страстным, откликающимся болью в сердце читателя. Иногда страстный рассказ автора прерывается цитатами из газет того времени, например, данными о прибылях чешских банков, тогда как количество безработных в буржуазной Чехословакии превышало 700 тысяч человек. Цитаты и цифры настолько закономерны и правомочны, что не нарушают общий ход повествования.

Рецензент еженедельника «Литерарни новины» отмечает умение Й. Коцоурека видеть события. И естественно поэтому, что писатель, обладавший даром ви́дения, должен был найти путь из мрака к рабочему классу, мог закончить книгу словами: «Все мы пойдем в одном строю!»

Театр в городе Оломоуце поставил пьесу польского драматурга Крыштофа Грушинского «Большой Бобби», представляющую собой сатиру, в которой трагическое чередуется с комическим. Главный персонаж пьесы — американский сержант Бобби попадает в центр атомного арсенала и становится абсолютным владыкой, в руках которого жизнь и смерть людей. Нажатием на кнопку он может произвести атомный взрыв и уничтожить любой город на поверхности земли. Бобби отказывается покинуть арсенал, желая доказать бессмысленность системы, при которой авантюристы от империализма могут держать весь мир под угрозой войны. Его попытка терпит крах, но основной смысл пьесы, по словам чехословацкой критики, заключается в другом: «заставить зрителя почувствовать, что все мы несем ответственность за мир и никто из нас не может оставаться безразличным и пассивным». На снимке: Сцена из спектакля «Большой Бобби».

(Журнал «Свет в образех»)



ЧИЛИ

ОТВЕТ ПАБЛО НЕРУДЫ ПРЕЗИДЕНТУ ВЕНЕСУЭЛЫ

Поэма Пабло Неруды «Песнь о подвиге» (главы из которой опубликованы в «Иностранной литературе» № 12, 1960 г.) вывела из себя президента Венесуэлы Ромуло Бетанкура, которого поэт назвал в этой поэме «странным демократом». Напоминая о том, что Бетанкур пришел к власти, демагогически спекулируя разными демократическими лозунгами, нагло обманув венесуэльский народ, поэт писал: «Ныне Бетанкур рухнул на надежды Венесуэлы тяжким грузом». Как известно, правительство Бетанкура, заняв реакционную позицию, преследует прогрессивные силы в стране, репрессирует сторонников революционной Кубы.

Познакомившись с поэмой Пабло Неруды в ультраправом журнале «Элите», Бетанкур не нашел ничего лучшего, как прибегнуть к грязным инсинуациям насчет пресловутого «московского золота». Самым «веским» аргументом Бетанкура, как сообщает чилийский еженедельник «Вистасо», было смехотворное обвинение в адрес Неруды, что тот написал свою поэму якобы «в знак мести» после того, как ему «не удалось заполучить кафедру в Каракасском университете».

В связи с измышлениями Бетанкура Пабло Неруда заявил в чилийской газете «Сигло»: «У меня нет каких-либо комментариев. Ведь его терминология — это типичная терминология чиновника американского госдепартамента, хотя случайно он и возглавляет правительство братской республики. Очевидно, сеньору Бетанкуру моя поэма попала не в бровь, а в глаз. На этот раз он не мог ни открывать огонь по ребятам — учащимся колледжей, ни закрывать левые газеты, так ему показалось легче пробавляться разными выдумками и глупостями по моему адресу... Что ж, ему приходится брать с собой пулеметы для поездок по улицам Каракаса. А мне? Моя поэзия мне открывает всюду путь».

ШВЕЙЦАРИЯ

БЕСЕДА С ФРИДРИХОМ ДЮРРЕНМАТТОМ

Корреспондент западногерманского еженедельника «Форвертс» обратился к швейцарскому драматургу Фридриху Дюрренматту с рядом вопросов на литературные темы.

— Слово «писатель»,— заметил Дюрренматт,— следовало бы вообще не употреблять... Все беды в немецкой литературе от того, что все хотят быть писателями. И вот появляются книги, которые никто не желает читать.

В ответ на другие вопросы Дюрренматт сказал:

— Цензуры у нас нет. Есть лишь известный террор со стороны прессы, террор пятиразрядных писателей. Однако все это сразу не изменить. Всякое писательство — это борьба...

Далее Дюрренматт заявил, что реакция западногерманской критики на его пьесу «Франк V» свидетельствует о непонимании театра вообще: «Они (критики) судят обычно лишь о форме, в Германии всегда важна только формальность, а не сама пьеса. «Франк V» стал скандалом... А что еще может пожелать себе драматург?»

Сообщив, что книгой, более всего увлекшей его в последнее время, был математический труд одного канадского профессора, Дюрренматт рассказал о своей работе над новым произведением — новеллой под названием «Физик».

ШВЕЦИЯ

«БРОШЕННЫЙ КАМЕНЬ»

Роман шведского писателя Боссе Густафсона «Брошенный камень» посвящен периоду оккупации Норвегии. Писатель затрагивает такие вопросы, как немецкий транспорт через Швецию, позиция норвежских коммунистов во время и после войны, нейтралитет в годы оккупации.

По мнению рецензента газеты «Фрихетен» Филипа Хоума, писатель стремился дать реалистическое изображение людей, но это ему не полностью удалось: люди в его романе то и дело тонут в проблемах. Герои не настолько жизненны, чтобы читатель мог им сочувствовать.

На Художественной выставке 1961 года в стокгольмском Салоне изобразительных искусств пока еще преобладали произведения абстракционистов, однако, по мнению шведской печати, шпульки от швейных машин, грубые тотемические столбы и медная проволока, обработанная кое-как паяльной лампой, и все прочее в том же духе, выдаваемое за шедевры скульптуры, успело уже порядком надоесть зрителю. Публика предпочитала смотреть произведения художников и скульпторов-реалистов. Кстати, многие из этих произведений носят печать подлинного таланта и упорных творческих поисков, пишет о них критик Пер-Улув Зеннстрем. К ним относится, в частности, фигура из железа «Музыкант» работы Лисса Эрикссона, деталь из композиции в Лунде (на фото)

(Газета «Ню даг»)

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Санжмятовын Дашдэндэв (род. в 1912 г.) — монгольский поэт, прозаик и общественный деятель. В 1960 г. в МНР вышла его книга «Избранные произведения».

Чойжилжавын Лхамсурэн (род. в 1919 г.) — монгольский поэт и прозаик, автор книг «Стихотворения», «Повести и рассказы», «Мамий Жукей», «Пегий конь» и др.

Мишигийн Ширчинсурэн (род. в 1933 г.) — монгольский поэт и переводчик. Автор сборников стихов «Капли дождя» и «У горной тропинки».

Лувсанданбын Хуушаан (род. в 1929 г.) — монгольский поэт. Автор сборника стихов «Моя любовь» (1959), из которого и взято публикуемое стихотворение.

Луиса Карнес — Luisa Carnés — испанская писательница-антифашистка. Автор книг «Пилигримы из Кальварио» («Peregrinos de Calvario»), «Чайные» («Tea rooms»), «Наташа» («Natacha»). Ее роман «Хуан Кабальеро» («Juan Caballero»), написанный в Мексике, посвящен борьбе испанских партизан.

Публикуемые рассказы присланы в журнал «Иностранная литература» в рукописи.

Фан Цзи — китайский поэт. Публикуемые стихи взяты из журнала «Шикань» № 7, 1959 г.

Юпп Мюллер — Jupp Müller — молодой немецкий поэт. Стихотворение «Пой вместе с нами, ветер!» взято из сборника «По заданию моего класса» («Im Auftrag meiner Klasse», 1959).

Габор Гараи — Garai Gábor — венгерский поэт. Автор сборников стихов «Наполненные дни» («Zsufólt napok», 1956), «Песня исцеления» («Ének gyógyulásért», 1958).

Из сборника «Песня исцеления» взяты публикуемые в этом номере стихи.

Фридрих Дюрренматт — Friedrich Dürrenmatt (род. в 1921 г.) — швейцарский писатель. Автор пьес «Так написано» («Es steht geschrieben», 1947), «Слепой» («Der Blinde», 1948), комедии «Ромул Великий» («Romulus der Grosse», 1949), «Брак господина Миссисипи» («Die Ehe des Herrn Mississippi», 1952), трагической комедии «Визит старой дамы» («Der Besuch der alten Dame», 1956, см. «Иностранную литературу» № 3, 1958 г.). Перевод повести «Авария» («Die Panne») сделан по цюрихскому изданию 1959 года.

Мухаммед Диб — Mahammed Dib (род. в 1920 г.) — алжирский писатель, поэт и журналист. Автор трилогии «Алжир» («Algérie»), в которую входит «Большой дом» («La grande maison», 1952, напечатанный в журнале «Иностранная литература» №№ 5, 6, 1955 г.), романа «Африканское лето» («Un été africain», 1959), а также поэтических сборников.

Публикуемый рассказ «На холмах» («Sur les collines») прислан в наш журнал в рукописи.

Гаррисон Солсбери — Salisbury Harrison (род. в 1908 г.) — американский журналист, корреспондент газеты «Нью-Йорк таймс»; с 1949 по 1954 г. был корреспондентом этой газеты в Москве. Автор книг «Россия в пути» («Russia on the Way», 1946), «Американец в России» («American in Russia», 1955), «Поколение, выбитое из седла» («The Shook-Up Generation», 1958).

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**
Редакционная коллегия:
И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов,
В. И. Верховский (ответственный секретарь), **Б. Г. Гафуров,**
С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора),
Е. А. Долматовский, Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин,
М. И. Рудомино, В. П. Терешкин, Е. Ф. Трущенко, М. А. Шолохов.

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.
Телефон: В 3-51-47.

Художеств. редактор *М. М. Милославский* Технический редактор *В. Л. Шачнев*

А 03320. Сдано в производство 12/V 1961 г. Подписано к печати 30/VI 1961 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.; печ. л. 24,66 + 2 вкл. Зак. 933.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.